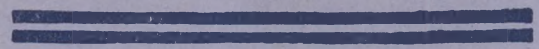


2

ИГО ВЪЛѢТѢ
МѢСѢЦѢ

ИГО ВЪЛѢТѢ
МѢСѢЦѢ

2



1954

1954

НОВАЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXX

№ 2

Февраль, 1954 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ФЕДОР ГЛАДКОВ — Лихая година, повесть. Продолжение	3
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Новые стихи. Перевод с белорусского Дмитрия Осина	62
В. ТЕНДРЯКОВ — Ненастье, очерк	66
АБУЛЬКАСИМ ЛАХУТИ — Страница славы, стихи. Перевод с фарси Т. Спендиаровой	86
ГОВАРД ФАСТ — Подвиг Сакко и Ванцетти, роман. Окончание. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова	91

К 10-летию Корсунь-Шевченковской битвы

С. СМЕРНОВ — Сталинград на Днепре	149
-----------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ЯРОСЛАВ ГАЛАН — О чём нельзя забывать. Перевод с украинского Л. Шапиро	192
Кандидат химических наук О. ДОБРОЛЮБСКИЙ. Неиспользованные резервы	197

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МИХ. ЛИФШИЦ — Дневник Мариэтты Шагинян	206
КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ — От дилетантизма к науке. Заметки текстолога	232

КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	255
Ю. Карасёв. «Звезда Востока». — Ю. Герман. Повесть о русских полярных мореходах. — З. Богуславская. Творчество Тренёва	
<i>Политика и наука</i>	273
Н. Симонов. Опыт передового совхоза. — Вал. Зорин. «Остановите печатные машины!» — В. Жаров. Сражающийся Вьетнам. — И. Иноземцев. В мире минералов.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

ФЕДОР ГЛАДКОВ

★

ЛИХАЯ ГОДИНА

*Повесть**

XII

Хотя в некоторых избах метались в жару больные горячкой и с горы мимо нашей избёнки пронесли на носилках два гроба, жизнь воскресла в деревне, облегчённо вздохнула и как будто заулыбалась. Даже галки на вѣтлах над речкой орали веселей и хлопотливей. Только серая церковь, как дряхлая старуха на коленях, высоко вскидывала свой длинный блестящий шпиль, словно костлявым пальцем угрожала карой небесной. Но в эти дни вдруг пропали стрижи, которые целыми стайками реяли высоко в воздухе, трепеща острыми крылышками, как будто испугались чего-то. Впрочем, я знал, что эти птички всегда внезапно и незаметно улетают в тёплые края в самом начале августа. А касатки, вероятно, не заметили их отлёта: они попрежнему сизыми стрелками носились над землёй и говорливо щебетали под застрехами.

Несколько раз мы с Кузярём пытались незаметно пробраться к кучке парней и молодых мужиков, которые обычно в тёмные вечера сходились по одному, по два за селом, на высоком прибрежном отложье, у маленького болотца, заросшего цвелью. В осенней тьме исчезали и взгорки, и ямины, и полевые дали. Пахло прелой сыростью и блёклой полынью. Каким-то загадочным чутьём Кузярь узнавал о сборище и прибегал за мной засветло.

В холодной тьме мы незаметно подходили к мужикам и садились на землю поодаль от них. Сначала они прогоняли нас и грозились «надрать нам виски», но Кузярь храбро отлаивался:

— Чего рычите? Чего без толку бородами трясёте? Об ищеях-то вы подумали? Кто вас сторожить-то будет, коли не мы?

Подходил Тихон и дружелюбно наставлял нас:

— Хорошо, правильно, ребяташки! Глаза у вас острые, а душонки — верные. Сядьте-ка вон там на бугорке и караульте нас. Ежели почувете какого-нибудь беспутного, сейчас же свистните.

Мы усаживались на увальчике неподалёку от них, чтобы слышно было, о чём они говорят, и зорко всматривались в ночную темноту. С высокого обрыва спускался студент Антон Макарыч, без картуза, в деревенской рубахе. Мы прислушивались к глухим, невнятным голосам и подсказывали друг другу то, что недослышал кто-нибудь из нас. Что-то разъяснял Яков, уверенно бросал слова Тихон. Подолгу говорил Антон Макарыч, и все слушали его молча и внимательно. Так мы с Иванкой узнавали волнующие новости о смутах и бунтах в разных уездах и волостях. Вот в Сердобском уезде мужики избили станового и земского начальника за

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

то, что они нагрянули в одно село, чтобы выпороть крестьян. Прискакал губернатор с казаками и учинил расправу в селе. А в ответ на это мужики разгромили помещичью усадьбу и сожгли её. Всё произошло из-за того, что голодающие выгребли хлеб из амбаров барина. Значит, не только у нас отбирали зерно и муку у богачей. А вот в Балашовском уезде помещик обещал открыть свои закрома голодающим, а в решительную минуту, когда должна была нагрянуть полиция, прогнал их. Но мужики всем селом ворвались в усадьбу, вывезли весь хлеб, угнали скот, а имение сожгли. Помещик едва уволок ноги. Где-то в нашем уезде голодные крестьяне напали на хутора богатых мироедов и спалили их, а хлеб увезли. В ярости на этих кровососов поломали и молотилки, и веялки, и сеялки и порезали скот. Эти новости приносили наши же мужики неизвестно откуда, сообщал такие же известия и Антон Макарыч, но уговаривал не думать о таких бунтах. Он рассказывал, как в одном большом селе голодающим крестьянам помещик отдал весь хлеб и запасы картошки. Бунта не было там, потому что мужикам помогли рабочие спиртогонного завода: они заявили помещику, что остановят завод, работать не будут, если помещик, как владелец завода, не отдаст голодающим свои запасы зерна и картошки.

Наши мужики волновались:

— А где у нас заводы? Где такие рабочие? Нам, Антон Макарыч, помогать некому.

Антон Макарыч успокаивал их и обнадеживал:

— Давайте подумаем сообща. Не горячитесь. Мы с молодым Измайловым потолкуем: он очень близко к сердцу принимает все ваши беды. Потом я схожу в Ключи, к Ермолаевым, и с братом Михаила Сергеича — с горбатеньким, с мировым судьёй, — пообсудим, как быть. А ты, Тихон Кузьмич, прихвати кого-нибудь из друзей и сходи к рабочим в их экономии — там есть хорошие ребята — и войди в союз с тамошними мужиками. По всему видно, хлеб придётся отбирать от помещиков, только надо делать всё умно, без разбоя...

Так мы сторожили эти ночные сходбища несколько раз. Но однажды мы заметили на другом берегу маленькую тень, которая как будто шла, крадучись, под обрывом. Кузьярь свистнул и вскочил на ноги.

— Не Шустёнок ли это? Пронюхали, сволочи. Бежим, Федяха, встретим его и выкупаем в речке.

Мы прыжками перескочили на ту сторону и столкнулись с Петькой-кузнечом. Он, должно быть, решил встретить нас, как боец: руки держал на отлёте и крепко сжимал кулаки. Даже в темноте я видел, как он грозно сдвигал брови.

— Ты чего тут скачешь, кузнечик? — надел на него Кузьярь. — Чего тебе тут надо? Аль дома не сидится?

Петька сердито отбил его наскок:

— А вам чего не спится? На лягушек, что ли, охотитесь? Я хоть за тяткой иду — в кузницу надо, шины на колёса натягивать у проезжего. А вы баклуши бьёте.

Но Кузьярь не отступал от него:

— Это куда же за тяткой-то? Аль он тут у тебя в омуте язей ловит?

— Ну, ты, Ванёк, дурачком не прикидывайся. Я знаю, где его найти: он мне сам наказывал, где его взять при надобности.

Я оттолкнул Кузьяря и успокоил его:

— Петька — наш. Он никого не выдаст. Из него и клещами слова не вытащишь. Аль ты его не знаешь, Ванёк?

— А чего он без пути ползает? Из-за него мы людей разогнали. Больше чтобы этого не было! Дяде Потапу надо нагоняй дать, чтобы держал язык за зубами.

На Петьку негодование Кузьяря совсем не подействовало: он как будто пропустил мимо ушей слова Кузьяря и озабоченно смотрел мимо нас в ту сторону, где до этого сидели мужики. Вероятно, он считал нас бездельниками, которые по ночам выдумывают себе бестолковую игру: не считаясь с нами, он шагнул вперёд, приложил ладони ко рту и крикнул сердито:

— Тятяшка!

Но Кузьярь рванулся к нему и зажал ему рот своей рукой.

— Молчи, чёрт! Тебе, дураку, словами не вдолбишь. Ты только кулак почувешь.

— Не замай меня! — с угрюмой угрозой огрызнулся Петька. — Я тоже умею на кулак кулаком отвечать.

Я втиснул их между ними и оттолкнул их в разные стороны.

— Ты, Петя, не перечь, — примирительно разъяснил я ему. — Мы — караульщики: следим, чтоб никто близко не подошёл к сходбищу. Елѣхова, да Шустёнок, да мироеды только и разнохивают, где мужики собираются.

— Да я сам тятяшку уговаривал, чтоб не связывался со смутьянами: у нас делов невпроворот.

— Это какие такие смутьяны? — враждебно оборвал его Кузьярь. — Дурак ты, дурак и есть.

Но Петька рассудительно закончил:

— Днём-то он один в кузнице работает — не справляется. Я только вечерами ему сподручнаю. Сторонних-то сколько по тракту проезжает!

На нас вдруг нагрянула чёрная большая тень и ласково окликнула:

— Это ты, Петяшка? Аль тебя накрыли ребятишки-то?

Кузьярь недовольно отозвался:

— Вот видишь, дядя Потап, как несходно вышло? Разогнали людей-то... А кто виноват?

— Ну, чего же сделаешь? — повинился Потап. — Вперёд умнее будем. Да вы не унывайте: Петяшка у меня — могила.

Потап склонился ко мне и прошептал:

— Народ-то в другое место пошёл, а вы домой шагайте. Не ищите и не пугайте людей.

Кузьярь, обозлённый, пошёл через речку к себе домой, а я вместе с Потапом и Петькой — своей дорогой. Издали мне мерцал навстречу жёлтый огонёк в оконцах нашей избушки.

ХІІІ

Тихон с Олѣхой и Исаем пошли в соседнее село Ключи: оно было рядом — в двух верстах. К кому и зачем они ходили — неизвестно, но в селе быстро разнёсся слух, что ключевские мужики заставили барина Ермолаева раскрыть свои закрома и на барских же лошадях вывезли хлеб в село для раздачи голодающим. В один и тот же день по уговору с Ключами заставили отпереть амбары своих помещиков и мужики в трёх соседних деревнях. Но в волостном селе помещик из охотничьего ружья всадил дробь в нескольких человек. Мужики набросились на него, отняли ружьё, а самого его связали.

Утром Тихон с Исаем, Гордеем и Олѣхой повели с собою толпу мужиков к барину Измайлову. Говорили, что Измайлов тоже размахивал ружьём, но сын — студент Дмитрий — прибежал в эти минуты из дому и выхватил у отца ружьё, приказал приказчику распахнуть закрома и погрузить мешки на барские подводы. Рассвирепевший отец ударил его в грудь, но сын вцепился в его руку и простонал:

— Как вам не стыдно, папаша!

И у него изо рта хлынула кровь. Отец рявкнул, поражённый, подхватил его на руки и стал звать доктора. Но студента Антона не было дома: он ходил по больным. Измайлов заорал на приказчика, затопал ногами:

— Сейчас же объехать Чернавку и Моревку и доставить врача. Пускай мужики нагружают хлеб и везут на село. Это воля Мити.

Этот день прошёл в радости: хлеб развозили по всем порядкам и раздавали его неимущим.

Однажды утром я проснулся от смутной тревоги, словно кто-то стоял надо мною: «Вставай, Федя! Вставай — беда!» В избе было пусто, за окном горячо сияло солнце, и в пучках лучей голубой дымок мерцал переливом искорок. Пахло печёным хлебом. За окном ворковали голуби. Должно быть, это их воркованье, похожее на глухие стоны, и разбудило меня. Но тревога не потухала в сердце. Я вскочил с кошмы и выбежал во двор, но и там не было отца и матери. Костистая пегашка стояла перед кормушкой, голодная и грустная. Я выскочил в открытую калитку и, ослеплённый сверкающим воздухом, сразу же почувствовал себя так же легко и радостно, как касатки. Забывались страдания и страхи, обиды и беды, гроба и гробики, а пылал солнцем воздух, ослепительно сверкала речка пронзительными вспышками на перекатах, и кудрявый лужок зеленеет под босыми ногами плысовым ковриком.

Отца и матери не было на улице. Петька-кузнец махал мне рукой с бугорка перед своей избой и угрюмо басил:

— Поди-ка, поди-ка сюда... проворней! Продрыхал, грамотей, лютую оказию. Аль не чуеть, как село-то притаилось?

Он исподлобья смотрел на высокий яр той стороны и трудно сопел. Этот маленький мужичок со старообразным лицом уж много пережил за свои двенадцать лет: у него и морщина перерезала лоб и в серых детских глазах застыла суровая озабоченность взрослого.

— Начальство прискакало. Урядников по всем порядкам отрядили. Сгоняют народ на площадь.

Откуда он это узнал — для меня было загадкой. Но я сразу поверил ему, потому что он никогда не болтал по пустякам: он больше молчал, а слова его всегда были связаны с делом. Но если сообщал что-нибудь — говорил положительно и только правду.

— Бежим туда! — позвал я его, хватая за рукав. — Мужики вожакон не выдадут. Каменной стеной стоять будут.

— Не пойду. Зенки пялить на лютости я не охотник.

Он отшагнул от меня и угрюмо оглядел и наш порядок на крутояре и луку на той стороне.

— Людей только жалко, — вздохнул он, повернувшись ко мне спиной. — Запорют. Затерзают до смерти. И чего, как бараны, на рожон лезут?

Он обернулся ко мне и хорошо улыбнулся. Мне показалось, что в глазах его блеснули слёзы.

— Не ходил бы ты туда, Федюк! Не нашего там ума дело.

Я и растроган был участием его ко мне и вознегодовал на него:

— Ты, Петька, как таракан, в щёлку прячешься. Всё равно ведь найдут.

— Не замай меня! — вдруг окрысился он. — Иди на пожарной крыше с Кузырём пляши да грызи шиши!

Он прыгнул с бугорка и пошёл развалисто к себе в огород за избой. Этот парень, значит, наблюдал за нами, когда мы были на крыше пожарной, и сейчас что-то таил у себя на уме. Я смотрел ему в спину в пропитанную потом рубаху и завидовал ему: какой он молодец! Сколько бед перенёс — и выдержал!

Я оглянулся на свою пустую избу и хотел было бежать на ту сторону, но застыл от удивления: Петька торопливо шагал ко мне, размахивая руками и болтая головой. Лицо его дрожало в плаксивой судороге.

— Погоди-ка, Федюк! — срывающимся басишком бормотал он. — Мочи нет, как жалко их... Тихона-то да Олёху с Костей... И Гордей с Исаем — тоже в жигулёвке... До солнышка их провели — сам видел. До костей их засекут...

Слёзы залили ему глаза, и он быстро отвернулся, встряхнул руками, словно хотел смахнуть свою душевную боль, и совсем по-ребячьи побегал в огород.

От перехода через речку и от кузницы на тот берег широкая полоса снежно-белого песку тянулась далеко до круглого изгиба речки, упираясь в подошву высокого обрывистого яра. Этот мелкий искристый песок, перемешанный с разноцветными гольшами, со звонкими плитками окаменелого дерева, раковинками и «промовыми стрелами», всегда привлекал меня своей жемчужной россыпью. Хорошо было поелозить по упругой, плисовой ряби, пересыпать песочек с ладони на ладонь, зарыть ноги в его мягкую теплоту и чувствовать, как он шевелится и щекочет тело. Но сейчас я пробежал это белое поле что есть духу и остановился только в прибрежных волнишках речки, чтобы засучить штаны. Она чудилась мне живой, радостно смеющейся, говорливо утекающей в стоячее озеро варыпаевского мельничного пруда, а оттуда в неизвестные дали — в Узу, Суру и Волгу. И на этот раз я не утерпел и стал буровить ногами воду навстречу течению и охотиться за стайками пескарей. Они прятались в кучках гольшей, прыскали ртутью на солнце и мгновенно рассыпались в разные стороны, исчезая в волнистых водорослях.

Мимо колодца, по тропочке через вётлы я вскарабкался на взлобок позади двора дедушки и увидел около жигулёвки дылду сотского и двух урядников. Олёхина молодуха, маленькая, похожая на девчонку, без платка и волосника, билась головой о стенку жигулёвки у окошечка и голосила:

— Олёшенька! Олёшенька! Пропадёшь ты, несчастная твоя головушка!

И что-то причитала невнятно. Её отталкивал красноусый урядник, а она взвизгивала и отбивалась от него скомканным платком.

— Не тронь меня, отхлещу демона!..

Рядом с ней стояла жена Кости-крашенинника Феня — стояла как будто спокойно, опираясь плечом о переплётёты венцов на углу. Но лицо её было бледное и строгое.

Со всех концов по луке торопливо и испуганно шли к пожарной мужики, парни и старики. По дороге из-за избы дедушки мужики и бабы сбивались в плотные кучки и, толкаясь плечами, смотрели на жигулёвку с мутной оторопью.

Парнишки тормозились в сторонке шайками: заречники — в одной шайке, с длинного здешнего порядка — в другой, да и эти шайки разделялись на кучки. Девки держались тоже поодаль и плотно прижимались друг к другу, как испуганные овцы. Мужики и старики теснились у самой стены пожарного сарая. Даже издали мне видно было, как все они угрюмо глядели на длинный порядок, где была съезжая и откуда доносились переливы поддужных колокольчиков.

Кузьяр подбежал ко мне, как всегда, внезапно. Он грохнулся на землю, распластался вниз лицом и в отчаянии заколотил кулачишками по сухому лужку. Задыхаясь от слёз, он выкрикивал:

— Вот... видишь? Скрутили, сволочи, ночью... Урядников нагнали... А Гришка-сотский королём-kozyрем в избы с урядниками врывался... Ну, это ему даром не пройдёт...

Он вскочил на ноги и с судорогой в худеньком лице схватил меня за руку. Мы побежали к жигулёвке. Сотский, как грозный начальник, подражая становому, заорал в чёрную дыру распахнутой двери:

— Ну-ка, крамола, выползай по одному! — И злорадно заехидничал: — Будет пир на весь мир. Гостинцы-то свежие привезли. А тебе, Тишка, и от меня особый отдарок будет. Покажут вам, как с полицией драться...

Из чёрного нутра жигулёвки вышли Тихон, Олёха, Исая с Гордеем и крашенинник Костя. Все они показались мне взъерошенными, измятыми, угоревшими, словно их избili там и долго не давали спать. Но Тихон поглядел на небо, прищурился на солнышко и блеснул зубами от улыбки. Олёха угрюмо озирался исподлобья, а Исая плюнул в ноги сотского и надсадно взвизгнул:

— Сволочь поганая! Холуй! Июда!

Но Гордей сердито буркнул ему что-то в затылок. Сотский, оскалив зубы, шагнул к Исаю и ударил его по лицу. Исая пошатнулся и, обезумев, сразу же рванулся к Гришке и пнул его босой ногой в пах. Гришка взвыл и хотел было опять ударить Исаю, но испугался чего-то и отшагнул назад, погрозив кулаком Исаю.

Урядники с саблями у плеча повели арестованных к пожарной. Народ толпился тревожно, с болью в лицах и жутко молчал. Несколько женщин надрывно плакали.

Кузьяр дрожал, как в ознобе; и с судорогами в посиневшем личишке бормотал:

— Тоже... народ! Отбили бы и в себя бы сглотнули.

— А урядники-то... видишь, с саблями... — срезал я его. — Они не помиловали бы...

— Молчи, много ты знаешь! Их смяли бы... Они бы дёру дали, как в прошлый раз...

Галопом, с истошным звоном колокольчиков из-за амбаров, прямо по луке, пронеслись две тройки. На тарантасах сидели в белых кителях и белых фуражках знакомые супостаты. Впереди скакал исправник с густыми баками и бритым подбородком, а рядом с ним, опираясь на шашку, сидел какой-то новый начальник, похожий на царя Александра третьего. Он сидел по-барски важно и тяжело, как каменный. На другом тарантасе, позади, трясся становой с бородатым волостным старшиной и старостой в поддёвках. За ними трусил пара ребрастых лошадей, запряжённая в дроги. Спина в спину сидели на них урядники и сторонние мужики, а позади, перед задними колёсами, лежал пузатый мешок, из которого торчали щетинистые комли зелёных прутьев.

— Розги везут. Видишь? Это для них... Аль народ даст своих пороть?

Кузьяр метался, словно в огонь попал, и взвизгивал от боли. В глазах его дрожали слёзы. Он смахивал их рукой и в отчаянии порывался к толпе. А я был уверен, что ни Тихон, ни Олёха, ни Гордей не дадутся в руки начальству: ведь в прошлый раз Тихон вырвался из лап урядников, а народ взбунтовался и прогнал их.

Кузьяр, надрываясь, лепетал:

— Не руками, так ногами отбивайтесь! Дядя Тиша, Олёша! Аль вы для того людей-то будоражили, чтобы под розги ложиться?

Мы со всех ног бросились к пожарной. Толпа молчала и следила за начальством враждебно и хмуро. Только рыдающе повизгивали отдельные голоса баб. Тихон стоял впереди своих дружков, которые теснились за ним с тревожно-злыми усмешками. Окружённые урядниками, арестованные стояли плотной кучкой, а народ испуганно смотрел на них и как-то толчками отползал от них и опять напирал, как будто норовил втянуть их в себя и скрыть в тугой своей массе.

Новый важный начальник сказал что-то исправнику, и тот сердито скомандовал:

— Урядники, окружить толпу и не давать разбежаться. Стать на три шага друг от друга! Сабли наголо!

Несколько урядников, которые теснились около начальства, быстро выдернули из ножен сабли, вскинули их к плечам и один за другим побежали вокруг толпы. Одни останавливались, а другие бежали дальше. Так мы все оказались тоже арестованными. Толпа тревожно зашевелилась, зашумела, заволновалась, в задних рядах закричали бабы. Мы с Кузярём и ещё трое парнишек из заречья оказались как раз около исправника. Становой сделал нам страшные глаза и хрипло рявкнул:

— Эт-то что такое! Крысята паршивые! Вон отсюда!

Но исправник так же хрипло успокоил его:

— Оставьте их в покое, становой. Пускай полюбуются: это им будет на всю жизнь.

Важный начальник неохотно, с одышкой, барским голосом выкрикивал, разрывая слова:

— Бесчинничаете... самовольничаете... Дошла весть о вас и до губернатора... И вот я послан... послан усмирить... усмирить вас немного... чтоб впредь не забывали закона. А вожakov ваших... этих вот... кроме всего... судить по всей строгости... Весь же захваченный вами хлеб... немедленно возвратить... законным владельцам... Но особо за неподчинение... за противодействие власти... за то, что осмелились пойти на насилие... подвергнем этих мятежников... и ещё кое-кого из охотников до чужого добра... подвергнем наказанию розгами...

Он вытер платком лицо и что-то приказал исправнику, а исправник поманил пальцем старосту и благодушно сказал:

— Выдели мужиков из толпы, которые будут пороть этих мерзавцев. Раз нашлись среди вас такие герои, сами же с ними и расправьтесь.

Староста тяжело задышал, вытаращил глаза, неуклюже шагнул к толпе и переваливаясь с ноги на ногу, но вдруг остановился и насунился.

— Ну? В чём дело, чурбан?

Староста через силу поднял голову и с натугой просипел, словно его душило что-то:

— Нет у нас таких, вашблагородие. Никто не выйдет.

— Какой же ты староста, болван, если не можешь показать своей власти в селе?

Олёха крикнул мужикам с усмешкой:

— Слыхали? Начальство хочет, чтобы вы сами себя выпороли.

А Тихон подхватил:

— Благодарите, друзья, начальство-то: видите, как оно воюет за барыши мироедов и помещиков? Кому — барыш в карман, а кому — на шею аркан.

Исправник затрясся от бешенства и затопал ногами.

— Становой! Без пощады заткнуть глотки этим сукиным сынам.

Становой остервенело, с выпученными глазами и оскаленными зубами, зашлёпал нагайкой по спинам и плечам Тихона, Олёхи и Кости-красенинника.

Костя надсадно закричал от боли, закорчился и замахал голубыми руками, защищаясь от нагайки, а Олёха старался увернуться от ударов. Тихон как будто не чувствовал ожогов нагайки: он вырвал её из руки пристава и отбросил далеко в сторону. Бледное его лицо было спокойно и жёстко, но глаза прыгали из стороны в сторону, а рыжая бородака судорожно вздрагивала. Исай выкрикивал визгливо, выбрасывая руки к толпе:

— Мужики! Общественники! Бьют ведь... наших бьют!.. За что терзают нас?.. Ослобоните нас от гонителей!..

Толпа заволновалась, закипела, заорала. Но никто не бросился на помощь арестованным, словно все присосли к месту. Лица у всех застыли от ужаса, и все старались спрятаться друг за друга. Двое полицейских облапили Тихона, и кто-то из них пинком ударил его по ногам. Он грохнулся на землю, и на него надели ещё двое урядников.

Максим Зусин подскочил юрко к Исаю с Гордеем и крикнул радостной фистулой:

— Ложись, ложись, Исайка! Пострадай за мир! И ты, Гордейка! Снимайте портки-то!.. Уж я над первым тобой, Гордейка, потружусь, вор-беззаконник...

— Уйди!.. — хрипло заорал на него Гордей, замахиваясь кулаком. — Это чего я у тебя украл?

Максим с ядовитой улыбочкой и весёлым убеждением открикнулся:

— Не украл сейчас — ужó украдёшь... Григорий, иди-ка сюда — потрудимся...

Но Исай замахал кулаками и, как слепой, замолотил ими по Максиму. Сотский подшиб его ноги, свалил на землю и стал бить его сапогами. Гордей кинулся на сотского, но Максим с размаху ударил его толстой палкой по голове.

Тихон вскочил на ноги и отшвырнул от себя урядников.

— Ребята, мужики! — задыхаясь, крикнул он. — Видите, как они правляются с нами? Гоните их, не бойтесь!.. Ведь они поодиночке всех выпорют...

— Молчать, скотина! — рявкнул исправник и вырвал револьвер из кобуры. — Заткните глотки, становой, этим двум прохвостам. Приготовьте оружие!

Я взвизгнул от ужаса и ткнулся в Кузяря, а он, не чувствуя меня, метался, корчился и кричал надрывно:

— Убивают же, мужики!.. Аль вы бараны?

Вопили и визжали бабы и девки.

Как во сне, передо мною забурилась какая-то суматоха: люди боролись, взмахивали руками, кричали, рычали. Вдруг я увидел, как Тихон, с кровавой полосой поперёк лица, отшибал от себя кулаками урядников, которые остервенело бросались на него. Он, как волк, огрызался, скалил зубы, и широко открытые глаза его прыгали в разные стороны и обжигали, как огонь. Олёха барахтался на земле в обнимку с урядником, а Исай и Гордей в изодранных рубахах боролись на земле с сотским и Максимом-кривым.

Толпа ревела и бурлила, но её сдерживали обнажёнными шашками. Исправник бесился и хрипел:

— Распластать их!.. Содрать с них все тряпки. Староста, старшина! Толкайте сюда секуторов, розги сюда!

Старшина и староста ошарашенно засуетились, затормозили чужих мужиков. Кто-то из них бросал к ногам станового охапки лозы.

— Не лезьте, собаки! — грозно кричал Тихон, тяжело дыша. — Всё равно вам не взять меня. Драться буду до смерти.

На него сзади бросился становой и ударил его револьвером. Тихон рявкнул, пошатнулся, но, как зверь, схватил станового поперёк тела и с размаху отбросил его от себя. По лицу его и по шее струйками лилась кровь. Олёха боролся на земле с урядниками и хрипел:

— Лучше подохнуть, а не под розгами охать...

Толпа стояла плотно, тупо и ошалело таращила глаза на Тихона с товарищами. Но задавленный выкрик Олёхи словно потряс всех: люди хлынули на урядников, закричали все вместе, замахали руками, но сразу же осели перед револьверами, которые нацелили на них исправник и становой.

-- Назад! — заорал исправник. — Стрелять будем. Отдай назад!

Из толпы вырвался растрёпанный, с безумным лицом Филарет и завыл, разрывая обеими руками рубашку на груди:

— На! Стреляй!.. Вы уж убили одного... злодеи, душегубцы!.. Мужики! Аль терпеть будем?.. Видите, до порки дело дошло... На кого бросили ребят-то своих?..

И опять толпа забурлила, заорала, навалилась на урядников с саблями, но в этот момент раздался выстрел, и она отпрянула назад.

Исправник как будто сам испугался своего выстрела. Он тяжело задыхался и скомандовал дрогнувшим голосом:

— Становой, этих барбосов, желающих пули, — в кутузку!.. Без них мы справимся легче. Их угостим особо!..

Важный начальник что-то с досадой сказал в ухо исправнику и позвал кого-то взмахом руки.

Городской полицейский подбежал к нему и поставил складной стульчик. Начальник сел и вынул из бокового кармана белого пиджака серебряную коробочку с папиросами. А исправник опять резким голосом приказал:

— Связать их там покрепче! Старшина, нарядить подводу — доставить их сегодня же в стан. Урядники, увести их под замок!

Урядники с саблями повели Тихона с Олёхой к жигулёвке.

Мне почудилось, что толпа дерётся с урядниками: люди бурлили, махали руками, истошно и озлоблённо орали. Урядники боролись с Костей и Исаем, которые с остервенелой отчаянностью рвались из их рук. Гордея я не заметил, а видел только, как взмахивали лозинами Максим-кривой и сотский.

Становой подтолкнул к ним двух сторонних мужиков с испуганными, голодными лицами, с розгами в руках и прохрипел:

— Лупи!

Толпа как будто вдруг ужаснулась и замерла: согнанные в полукруг перед начальством и мужики и бабы не сводили глаз с распластанных тел.

Вдруг страшно взвыл и пронзительно взвизгнул Костя и заорал кто-то другой — может быть, Исай. Два сторонних мужика, с искажёнными лицами, со свистом взмахивали зелёными розгами. Продолжали хлестать и Максим с Гришкой Шустовым.

Оглушённый надсадным криком и воем, обезумевший от ужаса, я бежал в какую-то муть, в вихрь, лишь бы спастись от кошмара. И мне казалось, что воет и стонет, взвизгивая, не один Костя, а много людей, и не свист лозин резал уши, а оглушительное щёлканье длинных пастушьих кнутов.

Очнулся я перед избой Потапа на грудах песку, как и в тот день, когда был раздавлен колёсами телеги, и так же, как тогда, Петька был рядом со мною. Только он сейчас сидел около меня и утешал угрюмо:

— А ты не плачь... Чего плачешь-то? Сейчас барин туда проскакал на дрожках со старшаком да дохтуром. Они живо там всех супостатов разгонят. Вон тётка Настя к тебе бежит. Вставай, отряхнись... Эх, ты! А ещё мужик... Говорил я тебе... Достукался, неслух...

Я со всех ног бросился навстречу матери. Без кровинки в лице, она лепетала что-то и протягивала ко мне руки.

XIV

Знойная гарь растаяла, воздух стал прозрачный, прохладные и тугие облака, живые, весёлые, плыли толпами, как ковры-самолёты, а выше их голубое небо казалось мягким, тёплым и милым. Лука опять зашестинилась зелёной травкой, и всюду вспыхнули жёлтые одуванчики. Пронеси-

лись по луке пепельные тени, и бархатная зелень, пылающая на солнце, вдруг потухала, темнела и казалась сочной и жирной. Пахло полынью, богородской травкой и вётрами.

А на полях и рожь и яровые сгорели, и бурые стебли заглушала сорная трава — сурепка, лопухи, куколь и буйный пырей. В редких дворах чудом не пали лошадь или корова, только сохранился скот у богатеев, вроде барышника Сергея Ивагина, старосты Пантелея и Максима Сусина.

Мужики отдавали свои наделы кулакам, заколачивали окошки и двери обломками старых слег из прясла и с котомками за плечами гурьбой потянулись по большой дороге — одни на Волгу, другие в Пензу, а четыре семьи при одной костлявой лошади сложили в телегу свои пожитки и направились в Сибирь. Порка мужиков и отправка бунтарей, связанных верёвками, в стан и в острог потрясли всех до ошаления. Волость паспортов не выдавала: за каждым числились недоимки, и люди бежали тайком — по ночам, не думая о том, что их переловят по дороге и доставят обратно по этапу. Родное село, родительские избы терзали их ужасом, как проклятое место. Завтрашний день ничего не сулил им, кроме нищеты и бездоля. В селе остались только семьи, где валялись больные, где старики не могли переступить порога от дряхлости и где уцелели лошадёнки и коровёнки, которые в самые чёрные дни утешали мужика: вот переждем нужду, а там как-нибудь оклемаемся — заработаем на пропитание и расквитаемся с податями и повинностями.

Барышник и мироед Сергей Ивагин, белолицый, лупоглазый, с чёрной бородой, в дорогой бекешке, в касторовом картузе и смазных сапогах, часто проезжал по селу на дрожках и, молодцевато вытянув руки, правил атласным жеребчиком серой масти в яблоках. Он подъезжал к заколоченным избам, стучал черенком ремённого кнутика по старым венцам и ковылял на кривых ногах вокруг брошенных дворов. Потом переезжал речку и мимо нашей избы поднимался по крутой дороге на верхний порядок, а там форсисто заставлял плясать перед избами жеребчика вплоть до барского двора. В барском доме он был постоянным гостем, и мужики хмуру толковали, напяливая картузы на глаза:

— Не иначе он, разбойник, к барской земле лапы протягивает. Полсела надельных забрал и все пустые избёнки на слом обрёл. Снюхался со старшиной, с волостным писарем, сунул в волости копейку за мужичью недоимку и всё себе под метлу.

О том, как он сделался богачом, как вылез «из грязи в князи», слышал я не раз и на улице от стариков и от отца, который клеймил Ивагина как негодяя, хотя в его голосе чувствовалась не злая зависть, а восхищение.

Несколько лет назад этот Сергей тянул такое же тягло, как и все крестьяне. Вместе с дедушкой Фомой он каждую зиму ездил в извоз. В Саратове у Ивагина жил близкий родственник, который содержал постоянный двор с трактиром и воскобойню. В этой воскобойне, в подвале, сидел высохший до костей, облезлый, молчаливый человек. Однажды, когда Сергей приехал с возами вошины и ночевал в воскобойне, глухой ночью неожиданно и неслышно, как видение, явился хозяин, старик святого вида, и, как будто не замечая Сергея, постучал клюшкой по крышке подполья. Крышка поднялась, и из чёрной дыры высунулась высохшая голова загадочного человека. Сергей ещё раньше смекнул, что там, в подполье, делается какая-то тайная работа. Он знал, что в подполье — большое помещение и там при свете керосиновых ламп этим костлявым человеком провакивается через ряд отверстий в доске бесконечная струна. Она проходит через расплавленный воск в котлах и, утолщаясь, наматывается с барабана на барабан. Раза два при нём приходили глухой ночью какие-то немые люди в башлыках, и свечной мастер выносил из

подполья два-три небольших ящика, в которых обычно покупаются готовые свечи. Ящики со свечами грузились на телеги только днём, а эта полуночная молчаливая передача двух-трёх ящичков была похожа на какое-то преступное дело. Как изворотливый и догадливый мужик, Сергей делал вид, что ничего не замечает. Но подпольный человек однажды высунулся и глухо сказал:

— Ну, вот... такой ты нам и нужен. Хозяин знает, кого сюда на проверку втолкнуть. Держи язык за зубами и вырви свои глаза. Ты служить нам будешь на стороне. А ежели сболтнёшь нечаянно — везде достанем и застукаем.

Сергей не сробел и, хитро подмигивая подземному человеку, понимающе успокоил его:

— Молчанье — золото, а выгодная компания — бралиант.

Но в компании участвовать ему не пришлось. Святovidный старичок вызвал поздней ночью свечного мастера клюшкой и кротко приказал ему:

— Полиция нагрянет через часок. Всё в чистую спрячь в могилу. То, что есть у тебя, вручи Сергею. Сам ложись спать здесь, наверху. А ты, Сергейка, живо запрягай лошадей и через задний двор гони их на большую дорогу. Эти ящики спрячь дома понадёжней и сделай потом так, как я тебе велю. Не вздумай их вскрывать своевольно, ежели тебе жизнь дорога. Ну, господь с тобой, храни тебя пречистая своим святым покровом. Бери ящики — и чтобы духу твоего не было.

Говорили, что Сергей по приезде домой ящики всё-таки вскрыл и нашёл в них новенькие, хрустящие ассигнации разной ценности — от пятишники до катёнки. С тех пор Сергей зажил, как богач: начал торговать хлебом, шерстью, кожами и гуртами скота.

Рассказывали также, что старичок-сродник в Саратове поджёт постоялый двор и воскобойню со свечным заводом и получил большие страховые деньги. Костлявого мастера он будто бы задушил сонного перед поджогом. После этого набожный старик стал вращать большими делами: его караваны барж стали гулять по Волге сверху донизу, а новые буксирные пароходы носили имена святых и чины ангелов и архангелов.

Сергей Ивагин часто ездил к барину Измайлову и подолгу пропадал там. Он и язык свой перевернул на чужеродный лад, подражая барскому говору: стал чванливо акать и выворачивать странные, неслыханные слова:

— Нам и трынка — катеринка... Крэдит — саломка ломка... У меня процент на процент лягает...

Должно быть, он был уверен, что так именно говорят образованные господа. Сына своего, который не якшался с деревенскими ребятами, он отвёз в город — в гимназию. Пробовал он ездить на своём рысаке и в Ключи — к барину Ермолаеву, но там, вероятно, его скоро отшили.

После Стоднева он стал в селе царём и богом. К удивлению мужиков, он купил у Измайлова полтора десятин земли, смежной с крестьянской надельной и с владением Стоднева.

Однажды отец пошёл с докукой к барину Ермолаеву в Ключи: нельзя ли взять в аренду десятины две исполу. К нему вышел конторщик, городской щёголь, с закрученными усиками, в соломенной шляпе, и выслушал отца небрежно, с ухмылкой.

— Хоть ты, сударь, и в сапогах и в пиджачке, а чем ты лучше нашего лапотника? Мы и своих чуть ли не травим собаками. Поворачивай оглобли и шагай обратно. И другим закажи: на нас, мол, управляющий грозитя собак из псарни выпустить.

Отец рассказывал об этом без обиды, как о чём-то естественном и неизбежном, и даже посмеивался снисходительно.

— Ну, и шарлёт!.. Ну, и стрекулист! А видит, что не лапотник, не вахлак, ну и смяк и с голосу спал.

Мать молчала и делала вид, что занята починкой рубах. Стряпать было нечего: щи из крапивы, приправленные луком, пшённая каша, смешанная с тыквой.

Мы с отцом ездили в поле на свою полосу (на мою мужскую долю тоже полагался полный душевой надел). Отец пахал, сеял рожь, я боронил посев. Кое-где тоже тащили сохи и бороны костлявые клячи, а кое-где мужики и бабы с ребятишками копали землю лопатами. Когда мы отпахались и отборонились, отец давал свою кобылёнку безлошадным за бабы холсты и выклады. Он, как дедушка, имел склонность к выгодным сделкам с соседями, пользуясь их нуждой. Но матери это не нравилось: она однажды смело поспорила с отцом и от холста отказалась.

— Я души своей не убью, Фомич, — с печалью в глазах и с совестью гордостью в голосе сказала она. — Чужой бедой живот свой не спасала. А в беде да в напасти первая на помощь побегу и себя не пожалею. Меня на ватаге-то люди словно под руки подхватили и на свет божий вывели. Там нужда заставляет друг за дружку стоять да одной душой жить. А эти холсты слезами политы, в них горе горит.

Я замер от этих смелых и убеждённых слов матери. В наступившей тишине я вдруг услышал смущённый смешок отца и шуточные слова:

— С твоей добротой, Настёнка, мы свои руки до кости изложем. Доброта-то — простота, настезь ворота. Так уж и быть, отнесу бабёнкам это тряпье. Скажу: Настёнка воротить велела да кланяться.

Отец был доволен поведением матери: он любовался ею. Но я уже хорошо знал его: он не понимал и не чувствовал её души.

Хотя Петька жил рядом с нами, ниже, под горкой, но с ним я редко встречался: после смерти матери он взвалил на себя всё хозяйство — и в огороде позади избы всзился, и рубахи стирал, и обед варил, и за отцом ухаживал. На меня он не обращал внимания, а лицо у него было строгое и озабоченное, как у взрослого мужика. И ни разу я не видел, чтобы он плакал или в отчаянии болтался без дела, убитый бедами, которые обрушились на него, ещё зелёного подростка. Он только ожесточился и немного ссутулился.

Мать не могла на него налюбоваться:

— Парнишка-то какой золотой! И горе его не берёт... Другой бы на его месте свалился бы, с ума бы сошёл.

Она каждый день нет-нет да и побежит в избу Потапа — похлопотать там по-хозяйски: постирать, почистить грязь и сердечно поговорить с Петькой. Иногда она пропадала там долго и возвращалась домой оживлённая.

Я пытался несколько раз завязать с Петькой прежнюю дружбу, но он встречал меня равнодушно и слепо, как взрослый, которому некогда заниматься со мной пустяками.

— Ты меня покамест не замай, — с суровым добродушием предупреждал он меня. — Дохнуть мне неколи — дел невпроворот. Вот тятку поставлю на ноги, кузницу откроем, тогда приходи на мехах стоять. Сейчас у нас и есть-то нечего, не то что квас пить. Квасом-то я всегда тятку отпаивал. Летось я его беленой напоил, когда квас его не брал. Он на стену полез, по полу катался, кровью его прошибло, а на другой день — как рукой сняло.

С Кузярём мы сходились у пожарной. Казалось, он совсем забросил своё хозяйство и норовил удрать от больной матери, но я хорошо знал своего друга: расторопный, горячий, он вставал задолго до солнышка, убирался во дворе, варил какое-то месиво на завтрак, уезжал на полу-

живой лошаде́нке в поле, кормил её на межах, а сам грабельцами косил реденькую рожь.

Он встречал меня обычно снисходительными шуточками:

— Ну, вольница бесшабашная! Выспался, свистнул, брыкнул да и на облачке покатался. А я вот успел уж и руки косо́й отмотать. Хочу на помочь тебя звать, всё-таки с полосы-то моей сно́пик наберёшь. Скирда не скирда, а два сно́па — пара.

А мне совсем не хотелось отвечать на его балагурство: болтать да дурачиться на этом месте я считал тяжким грехом. Здесь пороли людей, здесь я потрясён был раздирающим криком Кости, здесь Тихон с Олёхой дрались с полицейскими, здесь плакала Паруша... А сейчас Тихон с дружка́ми томится в остроге и ждут суда. Они стояли передо мною, как живые, в крови, истерзанные, но неукротимые. При второй встрече я оборвал Иванку:

— Аль ты забыл, чего тут делалось?

— Как это «забыл»? — вспыхнул он от обиды. — Я, может, и хожу-то сюда неспроста...

— Ну, и не зубоскаль! Это хуже всякого греха. Давай лучше приходить сюда, чтобы письма Тихону писать.

Иванка ошарашенно вытаращил на меня глаза и схватился за голову.

— Вот досада-то! Как это не я, а ты надумал? А я всё тоскую, чего это мне тошно... хоть плачь!..

И мы решили на следующий же день принести бумагу с чернилами и вместе с Миколькой написать в тюрьму Тихону большое письмо. Взволнованные этим решением, мы пошли к школе, где плотники достраивали крылечки и украшали наличники и карнизы причудливой резьбой, а маляры из Моревки красили рамы белилами. На площадке между церковной оградой и школой столяры вязали парты. Классная доска стояла тут же, ожидая, когда её покроют чёрной краской.

Работу возглавляли Архип Уколов и отец Микольки — Мосей. Сейчас Мосей уже не шутоломил, не разыгрывал из себя юродивого, а выпрямился, помолодел и, не выпуская топора из рук, по-хозяйски покрикивал. Он быстро и ловко выпиливал и вырезывал кружевные накладки на наличниках, на крылечках и на карнизах здания. Он встретил нас ласковой улыбочкой и крикнул скрипучим фальцетиком:

— Ребятишки! Аль неймётся вам? Смотрите, школа-то какая нарядная будет. Учитесь да помните нас, стариков. Была моленна пятистенна для покаяния да въздыхания, а сейчас — светёлка вся в резных цветах да вькладях. Сроду у нас училища не было, а нынче мы с Архипом на старости лет лепотою облекаемся.

Архип, не отрываясь от работы, по-солдатски хрипло завывал:

— Ой, ребята, brave солдаты.. пойдём с туркой воевать! Мальчи́ки вы мои любезные! Только с вами, негрешными чертятами, и жить хорошо... Мы с Иванкой закричали наперекор ему:

— Мы, дедушка Архип, в солдаты не пойдём.

— Как это так «не пойдём»? — сердито ощетинился он. — Любово́й не волён в своей воле: его берут и бреют.

А мы норобили уязвить его побольнее:

— Солдат-то вон на мужиков гоняют. В подмётных-то бума́жках что́ было написано? В Балашовском уезде да в Бекове солдаты в народ стреляли. Да и Тихон гсворил, и люди толкуют...

Мосей визжал с изумлённым ликованием хлопал себя по бёдрам.

— А ты гляди-ка, Архип, какие ребятишки-то! В ихние годочки мы сми́рные телята были. И не мы их, а они нас норовят уму-разуму учить. Слышь, Архип? Народи́шка-то какой растёт?

Архип слушал его и притворялся свирепым. Он взрывал землю своей деревяшкой, тарачил на нас глаза и рычал:

— Ах вы, бунтари-пескари! Кто это вас на дыбышки поднял? Кто на сердчишках забарабанил?

Кузьярь с дерзкой прямою и негодованием обрушился на Архипа:

— А что земский да становой сделали? Этого до смерти не забудешь. Я ведь, дедушка Архип, не слепой был: видал, как слёзы-то у тебя капали... А где сейчас Тихон с Олёхой да Гордей с Исаем? Завтра мы с Федяшкой письмо писать им будем, что об них думают...

Архип бросил инструменты, сурово посмотрел на небо, и у него затряслась голова. Вдруг он смешно подпрыгнул на своей деревяшке, сорвал с головы картуз и шлёпнул им по ладони.

— Эй, Мосей-рукоделец! Школу-то надо им вековешную построить. Они вот, младолетки, уж не забудут нас. Не зря, значит, я и с турком воевал, кровь свою пролил... а бог сохранил меня, чтобы людям умельством послужить. Мы с тобой, Мосей, гоголями должны ходить. Слыхал, чай, какое понятие-то у них? И сердчишки и умишки, как кипятки, башуют... Эх, народишки вы мои любезные!..

Мосей ухмылялся в бороду и, стругая рубанком, певуче приговаривал:

— С тобой мы, Архип-кудесник, всё делали да переделали: и дома и домовины, мельницы и сеницы... А для кого делали? Для бар да лихоимцев — для Стодневых да Измайловых. И все они — писаря да книжники. Не на свою бы голову школу-то эту построить... Ведь в школе-то писаря и делают. Страсть я боюсь писарей всяких! Вон мой большак, писарь-то, и себя в кандалы заковал и безвинного парня сгубил.

Архип теребил бачки и бил по земле своей деревяшкой.

— Дьяволу продал свою душу писарь твой — мироеду и кровососу... Туда ему и дорога!.. А за парня всю жизнь казнить будет. Грамота не злом, а правдой сильна.

Я впервые видел Архипа в таком негодующем волнении. Этот старик на скрипучей деревяшке, безобидный, одинокий, казался мне до сих пор старчески слабым, потерявшим здоровье в многолетней солдатчине и каждодневном труде. Только нам, ребятишкам, он был близок и понятен и только с нами да с молодёжью держал себя играючи. А сейчас вдруг он оказался сильным, мудрым, кипучим и хранил в душе что-то заветное, чего не ведали наши мужики. В эти минуты он напоминал мне Володи-мирыча.

— Милые вы мои ребятишки! — хрипел он растроганно. — Дай вам бог доброго ученья! Живите храбро да покрепче правдой опояштесь!.. Сильнее правды ничего нет на свете.

А Мосей без обычного шутовства сказал сам себе, вздыхая:

— Не зря молвится: беда на беде скачет, кручиной погоняет да плачет...

XV

Когда школа была уже готова и на открытых рамах и на косяках просыхали белила, поодаль от неё плотники начали собирать сруб. Покинутые избы мироед Сергей Ивагин всё ломал да ломал и свозил потемневшие венцы к срубу — поодаль от школы. В селе уже знали, что этот пятистенный дом с глухим двором строят для попа, который приедет из другого уезда. Знали также, что поп этот недавно был старообрядческим настоятелем, а потом перешёл в «казённую веру», то есть стал отступником. А таких попов боялись даже сами «мирские»: по губернии эти «перевертны» гнали «поморцев» беспощаднее, чем попы-щепотники. Сергей Ивагин почему-то рьяно хлопотал об этом попе, служившем где-то в захудалом селишке в соседнем уезде. Мужики толковали украд-

кой меж собой, что Сергей Ивагин обдeldывал с его помощью какие-то бесчестные дела, а открыто говорили, что в своей волости поп добился высылки всех упрямых поморцев и отобрал у них всё имущество. Но мужики разозлились и выгнали его из своего села.

В один из свежих осенних дней, очень прозрачных и чётких в даях, мы с Кузярём, как обычно, сидели на крыльчке школы и перечитывали книжечку стихов Некрасова, которую мне подарил Антон Макарыч. Эту книжечку я постоянно носил в кармане, и она чудилась мне живой и беспокойной. Я как-то сросся с нею и чувствовал её не отдельно, а в себе, и её складные слова и задушевные напевы больно тревожили сердце. Они были похожи на грустную и задумчивую исповедь бабушки Натальи и на мудрые речи швеца Володимирыча. Но каждый раз, когда я раскрывал эту книжечку, я видел пристальные и глубокие глаза матери, полные печали и мечтательной надежды. Кузярь так ошарашен был этими стихами, что долго не мог говорить ни о чём, как о них.

Задыхаясь не то от беготни, не то от волнения, Иванка с кипящими глазами певуче выкрикивал:

Поженившись на Прасковье,
Муж имущество казал:
— Вот и стойлице коровье,
А коровку бог прибрал!..

Мы с ним никогда не читали таких стихов, как в этой книжечке: каждое их слово было понятно и жгуче, каждый стих потрясал своей правдой и настоящей, подлинной жизнью. Это была наша жизнь с её заботами, невзгодами, с подъярёмным трудом, с барами и богатеями, с безземельем и бедностью, с голодом и болезнями, с думами о лучшей доле и с исканием человеческой правды.

Скоро мы много стихов уже знали наизусть, и оба читали или пели их на голос.

Вместе с Некрасовым звучали песни Кольцова, «Песня про купца Калашникова». Но зачем написаны «Бова», «Гуак», «Пошехонцы»? Мы уже тогда знали, что в жизни не бывает того, о чём эти книжки рассказывали. Это враньё и глупая небывальщина вызывали в нас с Кузярём вражду к ним и отвращение, как к обману и пустой болтовне. Даже сказочные рассказы Гоголя, хоть и захватывали нас забавными и необыкновенными приключениями, но мы уже достаточно испытали удары неласковой нашей действительности и приучились быть реалистами. Нам казалось, что гоголевские парубки и девчата только и знают, что пляшут гопака да поют песни, а мужики только веселятся да едят галушки, и все-то сытые да нарядные и не испытывают ни горя, ни нужды, и нет над ними ни бар, ни начальства, ни мироедов! Да и слова нам казались очень нарядными и праздничными. А каждое стихотворение Некрасова хватало за душу.

Из-за церковной ограды, со стороны пожарной, шла к нам лёгкой плывущей походкой очень молоденькая девушка. Одета она была невиданно для деревни; из-под серой суконной кофты, похожей на пиджак, голубая юбка играла оборками в несколько рядов. Белокурые волосы двумя косами спускались на грудь. Розовое её лицо с прямым носиком улыбалось нам. Кузярь схватил меня за руку и испуганно прошептал:

— Это кто? Откуда она? Вот так — да!

Но сразу тихо засмеялся:

— А я знаю, кто...

У меня гулко забилося сердце, и я вскочил на ноги. Кузярь тарасил глаза на девушку и смеялся судорожно, толчками, закрывая рот ладонью,

словно хотел остановить этот нелепый смех. От пожарной вдогонку за девушкой широко шагал длинноногий Миколька. Он заправил свою деревенскую рубаху в городские брюки и вышагивал форсисто и смешно: откинув голову назад и сложив руки на груди, он как-то потешно играл ногами. Видно было, что он бахвалится перед нами: он первый встретил и проводил к нам эту девушку. Но, по деревенской деликатности, он почтительно отстал от неё, как подобает парню, которого пора женить.

Девушка бойко и весело подлетела к нам, играя яркой одеждой, как бабочка.

— Ну, здравствуйте, ребятки! Давайте познакомимся: я — учительница, зовут меня Еленой Григорьевной. А вы, должно быть, ждёте меня здесь и мечтаете, когда откроют школу? Вот мы с вами и обновим её. А школка хорошенькая: вся как будто кружевами украшена.

Мы не могли вымолвить ни одного слова и стояли перед нею, как дурачки. Оправился я первый. Такие барышни были мне не в диковинку: я ведь много встречал их в Астрахани и на пристанях по Волге.

— Ну, ребятки, ведите меня в школу. Вы — хозяева, а я пока — гостья. Чего же вы дичитесь? Разве я такая страшная?

Словно играя, она неощутимо провела нежной ладонью по моему плечу и волосам.

Мне хотелось доказать ей, что я человек бывалый и меня она совсем не поразила.

— Село-то наше — в култуке, — храбро ответил я. — Школы-то у нас никогда не было. И никто к нам из образованных не появлялся. На барский двор наезжают, да мы их и не видим. Я-то и на Волге и в Астрахани был, и на ватаге с матерью жил, а Иванка вот дальше гумна никуда и не ездил.

— А это мне нравится, — засмеялась она. — Я тоже люблю всё новое и небывалое... и удивляться люблю...

Она выхватила книжку из моих рук.

— О! Некрасов! Вы, значит, оба читаете? И любите читать? Какие же вы книги читали? Каких писателей? Вот он, Некрасов, писал когда-то, что настанет времечко и деревенские люди не Милорда глупого, а Белинского и Гоголя с базара понесут.

А я, задыхаясь от волнения, выпалил, перебивая её:

— Мы уже и Лермонтова, и Гоголя, и Пушкина прочитали. А песни Кольцова да Некрасова на память говорим.

Кузьяр успокоился, потускнел и посматривал на нас с досадой и ядовитой насмешкой.

— Да нам сейчас и читать-то неколи... мне наипаче... Всё хозяйство на мне. А тут ещё голодуха, неурожай... холера в каждой избе была. Люди в горячке мечутся... Летом людей пороли... а неких в острог утащили. В такой беде не до чтения.

Учительница подхватила нас под руки, поднялась с нами на крыльцо и повела по коридорчику. Мы вошли в просторную прихожую, потом в светлый класс с открытыми настежь окнами. И в прихожей и здесь, в классе, хорошо пахло сосной и масляной краской. Чёрные, глянцевые парты уже стояли в три ряда и заполняли всю комнату, а на узенькой площадке перед ними прижималась к стене такая же глянцево-чёрная классная доска. Дальше, у окна, блестел политурой маленький столик с новым стулом.

Елена Григорьевна дотронулась пальчиками до доски, потом повернулась к партам и тоже погладила чёрный их блеск.

— Всё готово. С завтрашнего дня начинаем принимать в школу детей. Я привезла из города и книжки и письменные принадлежности. Ах, какой милый запах сосновой смолы!..

Миколька опирался плечом о косяк двери и многозначительно подмигивал нам. Но мы с Иванкой делали вид, что не замечаем его.

— Особенно хорошо, что вы читать любите. Читать мы будем с вами каждый день. Вы узнаете чудесные книги и замечательных писателей.

Миколька с обычной своей лукавой вкрадчивостью в голосе потушил восторженные слова учительницы:

— Кузярёк-то всё едино в школу ходить не будет: неколи ему — на нём всё хозяйство. Федяшке-то хорошо: он — вольный. А Кузярёк — сам себе батрак. Да и у хворой матери как на цепочке.

Елена Григорьевна смущённо улыбнулась и пытливо уставилась на Кузяря. Голос Микольки как будто ожёг его, он бешено рванулся к двери и надсадно крикнул:

— Не твоё дело, дылда! Не ты будешь мной распоряжаться. Знай свою пожарную, лежебока, и в чужие дела не суйся!

А Миколька дружелюбно посмеивался, потешаясь над Иванкой. Он явно хотел показать себя перед учительницей взрослым и умным парнем, который любит подразнить подростков.

— Чай, я сказал любя, Ваня. Ты ведь у нас — на диво всему селу: и в поле — пахарь. и в избе — кормилец да знахарь.

Иванка сразу успокоился, но злые огоньки ещё трепетали в его глазах. Он повернулся спиной к Микольке и, судорожно улыбаясь, упрямо и твёрдо сказал:

— И по хозяйству справлюсь и учиться буду. В ноги никому не поклонюсь и не заплачу.

Елена Григорьевна не сводила с него своих изумлённых глаз: она увидела в нём что-то неожиданное. Она положила руки на его плечи и откинулась назад, любуясь им, потом быстро наклонилась и поцеловала его в лоб. Иванка растерялся, обмяк и, осовело озираясь, жалко улыбнулся. Глаза его залились слезами, и он опротясь бросился к двери. Миколька, довольный тем, что произвёл такой переполох, вышел вслед за Иванкой.

Пришёл звонарь Лукич, седенький, жёлтенький, как всегда умильный, и низко поклонился Елене Григорьевне. Он был приставлен сторожем в школу.

— Помоги тебе, господи, в праведном деле! Не обидели бы тебя, такую молоденькую, наши озорники... Ну, да я поберегу тебя, милка... Хоть я и старенький, а хватит меня и на звон и тебе на поклон...

Учительница тоже поклонилась ему и пожала руку.

— Кланяться мне не надо, дедушка. Будем жить хорошо и помогать друг другу.

Она вместе с ним осмотрела все парты, а в прихожей обследовала два новых шкафа, проверила замки, а ключи положила в карман.

Миколька с Кузярём как ни в чём не бывало стояли у крыльца и горстями бросали в рот чечевичу. Миколька ел нехотя, он, должно быть, уже был сыт, а Кузярёк жевал торопливо и жадно. Он успевал и набивать рот и подставлять карман под горсть Микольки. Чечевича и горох считались у нас, парнишек, лакомством, а чечевичная каша в домах была редкостью. Эту чечевичу Мосей получил от Ивагина за какую-то работу.

Иванка подбежал ко мне и радостно сообщил:

— Вот... на своей усадьбе щевичу весной посею. Это мне Миколька за воробятину дал.

Елена Григорьевна залюбопытствовала, что это за воробятина. Я рассказал ей, как голод надоумил Иванку ловить воробьёв и зажаривать их в печи и как он соблазнил Микольку съесть его воробья, что считалось большим грехом в деревне. В эту голодуху люди ели даже павших

коров и овец, но ни голубей, ни воробьёв не трогали: голубей считали священной птицей, а воробьёв — погаными.

Елена Григорьевна посмеялась и ласково потрепала Кузьяря по плечу.
— Ну и греховодник ты, Ваня!

— Да чёрт ли! — возмутился он. — У нас такой старинный обычай: тараканов не мори, воробьёв не гони, не лови и даже мышей жалей, потому что все они сытый достаток сулят. Вот тоже старикам в ноги кланяйся, какой бы иной старик супостат ни был. А эта дурость — спроть моей души. Я не поглядел, что Максим-кривой — старик. Я ему, иуде-предателю, голышом в скулу запустил.

— Вот это, Ваня, отвратительно, — осудила его Елена Григорьевна, но глаза её весело смеялись. — Это недопустимое озорство.

Лукич стоял позади учительницы в своей старинной шляпе плоской и по-бабьи тонкоголосо совестил Иванку:

— Охальник какой! Хоть и работник ты, Ванька, дай тебе бог здоровья, а охальник... Максим-то — хозяин, рачитель. Он — церковный староста. Когда батюшка ключовский приезжает служить к нам, он за ручку с ним.

Кузьярь не остался в долгу:

— А зачем он, кулачина, наших вожаков хотел начальству выдать? Знамо, ему надо было глотку заткнуть.

Лукич скорбно и гневно качал головой и ныл:

— Ещё мозгляк, аршин с шапкой, а греха-то у тебя сколько!

Елена Григорьевна молчала и внимательно прислушивалась к разговору.

Миколька подогревал негодование Кузьяря:

— Ежели бы не я, они с Федяшкой и другой бы глаз Максиму вышибли голышами-то. Одна беда с ними!

Мы проводили учительницу до пантелеевой съезжей избы и хотели разойтись по домам, но как-то оба спохватились и в переглядке поняли, что подумали об одном и том же.

— Елена Григорьевна, — спросил я с тревогой, — а где вы жить-то будете? У нас ведь пятистенки-то только у зажиточных.

Она с пытливым вопросом в глазах оглядела нас.

— Ваш староста предложил мне поселиться у какого-то Максима Сусина. У него одна половина избы пустует.

Кузьярь даже подпрыгнул от злости.

— Это в него я голышами-то кидал. Он вас со свету сживёт.

— А куда же мне деться, друзья мой? Помогайте!

Мы стали в тупик и растерянно переглянулись.

— К бабушке Паруше! — вдруг обрадовался Кузьярь, но я погасил его пылкую радость:

— У бабушки Паруши — большая семья. Выдумал тоже!

Я вспомнил о пустой избе крашенинников: горница у них просторная и светлая. Костя с женой живут в чёрной избе.

Мы пошли по улице мимо опрятной избы Паруши с кудрявым палисадником перед окошками. А дальше, поодаль, стояла дряхлая избушка Кузьяря, словно старушка, повязанная полинявшим платком. Кузьярь хотел было забежать домой, но раздумал, хотя лицо его стало скучным и усталым. Из открытых окон «жилых» изб с любопытством смотрели на нас бабы и девки. Лёсынька и Малаша — невестки Паруши — тоже глазели на нас удивленно и приветливо, а Лёсынька певуче крикнула:

— Да тебе, этакой молоденькой, и не сладить с нашими ребятишками-то.

Учительница весело откликнулась:

— А вот смотрите, какие у меня друзья-то! Они уж и приют мне наши.

И засмеялась.

Паруша растроганно глядела на нас из-за их плеч и ласково гудела:

— Куда это вы, милые, ведёте её? Дивоваться нечему — везде бедность да горе.

Кузьярь хозяйственно разъяснил:

— А мы, бабушка Паруша, — к крашенинникам. Хотим Елену Григорьевну в горницу к ним поместить. Ей ведь без особицы нельзя.

Паруша всполошилась и замахала своей большой рукой.

— Погодите-ка, стойте-ка, самовольники! И я — с вами. Чего вы одни-то нахлопчете?

Невестки отпрянули от окошка, забеспокоились и наперебой закудахтали:

— И не трудись, матушка! Это кто-нибудь из нас пойдёт, кого ты пошлешь. А чего велишь — всё сделаем.

— Нету, нету, милки! И вам дело там найдётся.

Паруша, большая, тяжёлая, вышла из калитки, опираясь на высокий падог.

— Ну, лён-зелён, веди нас. А ты, Иванушка, показался бы матери-то...

Кузьярь обидчиво отозвался:

— Чай, она не умирает. Покажусь, когда надо. У неё всё под рукой.

Двор у крашенинников попрежнему загромождён был синими ворохами. И, хотя за старым пряслом зеленел яблочный садик, заросший густыми плетями ежевики, этот двор всегда пугал меня своими ядовитыми отбросами. Теперь здесь всё было в запустении, а изба казалась нежилой и облезлой.

В сенях было темно, пахло чем-то терпким и едучим. Учительница молчала и как будто растерялась. Когда Паруша распахнула дверь в чёрную половину, мы с Иванкой бросились в чистую горницу. Дверь была старинная, массивная, обитая войлоком. Мы отворили её настежь, и учительница первая вошла в просторную, светлую комнату, загромождённую кадучками, синими столами, какими-то инструментами и всяким хламом. В одном углу стояла круглая голанка, обитая железом, а направо передний угол был отгорожен дырявым пологом с пустой деревянной кроватью.

— Превосходная комната, ребята! Если её хорошенько вычистить и прибрать — лучшей и не надо.

Но мне эта изба не понравилась: казалось, что она пропитана отравой. Ведь все здесь задыхались от смрадных паров, желтели и медленно умирали. Старики уже в земле, а один из сыновей сбежал куда-то на сторону. Костя после порки отправлен был вместе с Тихоном и Олёхой в стан. Возвратился он оттуда больной, весь опухший, с подвязанной рукой, с выбитыми зубами. Он не выходил из избы, а молодуху его встречали только у колодца.

Паруша вошла вместе с Костей в горницу, как хозяйка, и стала распорядиться, словно дома.

— Вот тебе, Костянтин, и жительница. Гляди-ка, какое солнышко! Сейчас я пришлю невесток, они живо уберут отсюда весь хлам, выскребут, вымоют, проветрят... Кроватьку я у Пантелея из съезжей возьму — железную, с пружинами. Девушке-то негоже спать на деревянном рыдване. А стулья гнутые у Сергея Ивагина выхлопочу. Он, бес, скупой, да я сумею его умиловить.

Костя стоял безучастно и молчал, словно пришёл со стороны. Пожелтевший, потухший, какой-то забытый, он уже не был прежним Костей, хорошим песенником и приглядным парнем. Губы у него провалились, как у старичка, и в глазах застыл не то страх, не то боль.

— Больше девушке негде головку приклонить, — гудела Паруша. — Платить тебе будет она — с ней и договорись.

Костя глухо отозвался:

— Что хошь, то и делай, тётушка Паруша.

И он медленно и расслабленно вышел из избы.

Учительница не отрывала от него тревожных глаз и проводила его с участливым любопытством.

— Что с ним случилось? Почему он такой несчастный?

— Ну, матушка моя, — грозно пробасила Паруша, стучая падогом об пол. — После такого терзания — диво, что жив остался...

Кузьярь горячо перебил Парушу:

— У нас мужики хлеб для голодных и неимущих у мироеда отобрали. Приехал земский с полицией. А потом, когда и у барина хлеб взяли, целая орава урядников нагрязнула. Вот и его пороли... А потом в стане терзали и зубы выбили.

— Ужас, ужас! — возмутилась Елена Григорьевна. — Такие расправы с крестьянами везде... Но эти расправы только возмущают народ и заставляют думать.

XVI

С этого дня началась новая полоса моей жизни. Это была пора неожиданных открытий, незабываемых радостей, гнетущих невзгод и очень сложных для моих лет душевных потрясений. Но память об этих годах дорога для меня, потому что это было время моего роста — время трудной борьбы за жизнь, за право быть человеком. И не раз в эти годы я был на вершок от гибели, а спасали меня не только счастливые случайности, но и мечта о грядущих светлых днях.

В нашем селе в эти тяжёлые дни голода, холерного поветрия и горячек появились уже бесстрашные люди, как студент Антон, а среди мужиков — Тихон Кувыркин, Олёха, крашенинник Костя и Исай с Гордеем. И словно земля выбросила из своих истощённых недр невиданные раньше призывные и гневные листки, как пророческие обличения богачей и бар.

Эти листки тогда обнаружили и мы с Кузьярём и Миколькой и прочитали их с замиранием сердца. Мы побежали к Тихону и сунули ему свою находку. Он не удивился, только улыбнулся и сказал многозначительно:

— Ну вот, ребятишки, и земля заговорила. Я такие листки да книжки уж знаю.

Староста Пантелей да сотский бегали по селу из избы в избу, шарили по углам, обливались потом, но никаких листков и книжек не нашли. Поморцы с давних пор научились скрывать от начальства свои заветные реликвии, и никакие ищейки не могли их найти. С давних пор между «поморцами» и «мирскими» было общее согласие — стоять друг за друга и дурачить начальство. Так спрятаны были иконы и книги из моленной, так же ни у кого не найдено было ни зерна, ни муки во время облавы, когда нагрязнул земский начальник и исправник с полицией. Долгие годы гонений на поморцев приучили их к скрытности и тайности в своей борьбе с полицией. Слушая благочестивые разговоры и беседы на «стояниях», я понимал их просто, без всяких душеспасительных иносказаний: чтобы сохранить от разгрома свой «толк», свою общину, свою крестьянскую цельность и обезоружить «игёмонов» — помещиков, полицию и попов, — надо крепко держаться друг за друга, стоять «сойнмом» — сплочённо, не предавать своих братьев. — быть немым перед властями и господами и не бояться никаких терзаний, как не боялись деды и прадеды. Поморцы принимали в свою среду всякого, кто уважал их твёрдость в содружестве и исполнял их обычаи.

Эта «крестьянская вера», вера бедняков и вечно обездоленных, была близка большинству мужиков, и гонимые беспоповцы, которых начальство и попы считали врагами церкви и полицейского правопорядка, вызывали сочувствие к себе и почтительное удивление перед их стойкостью. И все в деревне преклонялись перед стариком Микитушкой, который пострадал за мужицкую правду, и вспоминали о нём как о подвижнике, а себя упрекали за слабость и за отступничество от своего вожака в последний час.

Но в этом году деревня стала как будто другой. Мужики уже не разбегались от начальства, а враждебно молчали. Они никого не выдали из вожakov, и когда Тихона, Олёху и Исаю урядники хотели расплатать на земле для порки, а те не дались и стали драться, вся толпа словно с цепи сорвалась — смяла и урядников и станового. И не мужики бежали, а полиция уже удирала от них, спасая свою шкуру. Озлобила и сплотила мужиков и голодуха и холод, растревожили их и «подмётные листки», которыми зачитывались все, кто даже разбирал печатные строки по складам. Возможно, что они много передумали за этот год после неудачи с самовольной запашкой барской земли и ареста Микитушки и Петруши. Ведь даже в тот страшный день, когда ночью схватили и Тихона, и Исаю с Гордеем, и Олёху с Костей и, избитых до полусмерти, связанных, отправили в стан, а с десяток мужиков пороли на луке, у пожарной, — никто не калялся, не оговаривал соседей, а только выл и стонал под розгами.

Вот с какими душевными потрясениями и пережитыми ужасами начал я свою жизнь в школе.

В первое утро прибежали в училище охотники — набралось их не больше десятка. Это были подростки старше меня. Среди них были и Миколька с Сёмой, который очень похудел после горячки. Пришёл и Шустёнок, надутый, чванный, с колючей улыбочкой в прищуренных глазах.

Елена Григорьевна явилась в школу в том же платье и кофте, но в белом полушалке, повязанном по-деревенски.

В классе она записала всех на бумагу, заставила прочитать каждого по книжке и вызывала к доске — написать несколько слов. Сёма попал в первое отделение — к неграмотным, и я видел, что ему было обидно и совестно сидеть одному, большому, с малышами. Мы четверо — я, Кузьярь, Миколька и Шустёнок — попали во второе отделение. Для старшего отделения никого не было. Хотя мы читали и писали хорошо, но ни арифметики, ни грамматики не знали.

Сначала Шустёнок сидел в общей куче, а потом, когда нас разделили по группам, он нелюдно забрался на заднюю парту и, словно нарочно, раз за разом дохал простудным кашлем. Он кособоко поднялся и с ухмылкой стал клевать носом то одно, то другое своё плечо. Это было смешно, и все повизгивали от хохота. Даже Сёма, измученный болезнью, заливался смехом. Учительница удивлённо спросила Шустёнка, что с ним происходит, но он не ответил, а только искоса взглянул на неё одним глазом и отвёл его в сторону. Миколька повернулся к нему и с серьёзным видом пояснил:

— У Шустова язык-то — в кармане. Он там таится — людей боится: ябедник.

Все засмеялись опять, но Елена Григорьевна недовольно сдвинула брови и осадила Микольку:

— Не балагурь, Николай! Надо уважать место и товарищей.

Она подошла к Шустёнку, но он отпрянул от неё в самый угол.

— Не замай! — хрипло промычал он.

Елена Григорьевна покраснела и вернулась к своему столу. Она задумчиво и строго оглядела всех и заговорила с нами, как со взрослыми.

Она внушала нам, что ученье в школе — это тоже работа, но работа не в одиночку, а общая, многолюдная, дружная, как на сенокосе или на гумне или как на «помочи». А для того, чтобы эта работа — ученье — была спорой, успешной и радостной, необходим порядок, общее согласие, тишина, как это бывает в хороших больших семьях. В семье есть отец, мать, их слушаются, им попусту не перечат: они опытни, много прожили и пережили и знают, как надо вести хозяйство и как мудро воспитывать детей. Школа — это тоже семья. Она должна быть крепкой и слаженной, и старшая в этой семье — учительница. Ученики должны слушать её и подчиняться, как матери. Она наставляет только на добро, учит читать, писать и считать, чтобы в жизни быть разумными и сильными.

Однажды утром подлетел к школе вороной рысак с вытянутой атласной шеей, как на картинке. На блестящем чёрном тарантасе сидел ключовский барин — Михайло Сергеич Ермолаев, а рядом с ним — обрюзглый поп в шляпе и фиолетовой рясе. Михайло Сергеич прыгнул легко и, высокий, подвижной, с тёмной бородкой клинышком и длинным галчиным носом, широкими шагами подошёл к Елене Григорьевне с доброй улыбкой и приветливо снял измятую шляпу.

— Здравствуйте, милая девушка! Как устроились? Огляделись немножко?

Елена Григорьевна покраснела и сдержанно и учтиво ответила:

— Но ведь мне не привыкать стать, Михаил Сергеич.

К попу по-стариковски подбежал Лукич и протянул ему руки, сложенные вместе горсточкой.

— Ну, помогай мне вывалиться из колымаги, старик. Потом благословлю.

Лукич что-то бормотал ему бабьим голоском. Поп действительно не слез с тарантаса, а вывалился, опираясь пухлыми руками о плечи Лукича.

Михайло Сергеич поглядел на нашу ребячью толпу и ласково пробасил:

— Здорово, ребяташки! Вот и школа у вас. Учитесь прилежно.

Он повернулся к попу и запросто распорядился:

— Проходите, батюшка! Сейчас же начнём освящение. Приглашайте нас, молодая хозяйюшка!

Учительница смущённо и с поклоном проговорила:

— Милости просим, Михаил Сергеич! Пожалуйте, батюшка!

Поп жирно прорычал:

— Лукич, разжигай кадило!

Он тяжело поднялся на крылечко и скрылся за дверью.

За ним легко вбежал Ермолаев и с крыльца опять оглядел ребяташек.

— Вводите своих питомцев, Елена Григорьевна! А вы, дети, входите по порядку, по двое, чинно-благородно.

Он показал из-под усов жёлтые зубы, и глаза у него стали свежими и молодыми.

— Люблю этих маленьких мужичков! Труженики, умники, с природной смёткой.

Учительница смело ответила:

— Потому и умники, Михаил Сергеич, что с ранних лет живут в труде. А это лето было для них тяжёлым испытанием: и неурожай, и холера, и потеря близких, и полное разорение, и обиды... Эти подростки и размышляют не по-детски.

Михаил Сергеич внимательно, с пристальным любопытством всмотрелся в неё, и над переносьем у него прорезались кверху две морщины.

— Да, да... Печальные события, которые даром не проходят... Так-с!.. Ведите детвору, Елена Григорьевна!

Он по-барски кивнул головой и перешагнул порог в коридорчик.

В школу явилось уже человек двадцать, половина из них — из поморских домов. Во время молебна никто из них — конечно, и мы с Кузьярём и Сёмой — не крестились и не кланялись, а стояли столбом. Барин Ермолаев стоял позади попа, сбоку у окна, и подпевал ему глухим басом, выпячивая кадык:

— Го-осподи, поми-илу-уй!

А поп в епитрахили играл кадиллом, а иногда взмахивал им, и синий пахучий дымок вился колечками и клубочками, поднимаясь к потолку.

Лукич подкрадывался к нам и со злым ужасом в выцветших глазах шипел:

— Молитесь, окаянные! Кулугуры беспутные! Он, батюшка-то, башки вам свернёт, святотатцы!

Но мы стояли истово, неподвижно, как чучела. Учительница подошла к нему и что-то прошептала с упрёком.

Вошли староста Пантелей и сотский. Они по-хозяйски пробрались вперёд, а Пантелей даже оттолкнул Елену Григорьевну назад.

Поп сказал непонятное строгое напутствие, а потом начал разбрызгивать кистью из лошадиного хвоста воду и на нас и на парты. Потом он помахал нам крестом и протянул его Ермолаеву. Барин приложился к нему губами, поцеловала крест и учительница, а затем один за другим стали подходить ребятишки. Но мы, беспоповцы, попрежнему стояли, как истуканы, и теснились позади всех, у самой двери.

— А вы там чего торчите, шелудивые? — с добродушной строгостью крикнул поп. — Кулугуры, что ли? Ну, бог с вами, еретики!

Михаил Сергееч повернулся к нам и, улыбаясь в усы и в бородку клинышком, глухим ласковым баском поздравил нас со школой и проговорил какие-то скучные, чужие слова.

Миколька с Сёмой, как большие, стыдливо выглядывали из-за косяков двери, словно пришли со стороны. Шустёнок выскочил из толпы учеников и прилепился к отцу. Он часто оборачивался к нам и нахально ухмылялся: я, мол, за тятяшкой-то, как за каменной горой.

Поп снял епитрахиль, поправил обеими руками свои бабьи волосы и с почтительной улыбочкой поклонился Ермолаеву.

— Великое деяние совершили вы, Михаил Сергееч: вот и ещё школку сткрыли — зажгли светильник во тьме, и тьма его не объят. Свет христов просвещает всех — даже раскольников. А тьма здесь и трясина болотная — многолетние. И вы жезлом просвещения ударили по твердыне тьмы — и брызнул источник живой воды.

Ермолаев рассеянно выслушал попа, оглядывая классную комнату, и почему-то торопливо пригласил его:

— Ну, поехали, батюшка!

Он подошёл к учительнице и пожал ей руку.

— Желаю вам успеха в вашей плодотворной работе, Елена Григорьевна. Милости прошу посещать нас. Всегда будем рады вас видеть. Если будете нуждаться в моей помощи, прошу не стесняться.

Елена Григорьевна неробко улыбнулась и поблагодарила его. Ермолаев прошёл мимо старосты с сотским и даже не взглянул на них.

Михаила Сергеевича Ермолаева и свои и окрестные мужики считали справедливым человеком. Говорили, что ни кабалы, ни отработок у него в хозяйстве не было, что беднякам он помогал и семенами на очень льготных условиях и запашкой своими лошадьми их полосок, а в своём имении держал сторонних рабочих. Наш барин, Измайлов, хоть и дружил с ним, но, не стесняясь своей дворни, ругал его за то, что он валандается с мужиками, держится с ними запанибрата, мирволит лентяям и пьяницам, устраивает школы и больницы в волостных сёлах, а главное — подрывает дворянское хозяйство и сеет смуту среди мужиков.

А смута потрясла и нашу деревню, когда Ермолаев продал часть своей земли, примыкающей к нашим угодьям, своим мужикам по сходной цене с рассрочкой выплаты долга на десять лет. Наши мужики ещё не забыли сделку Измайлова за их счёт с мироедом Стодневым и решили предъявить Измайлову требование уступить им землю у Красного Мара, которую у него через крестьянский банк пожелало купить даниловское общество. Но Даниловка — село большое и богатое: там много было торгашей, барышников, которые держали в своих руках ткачих, решётников, шорников, лошкарей и токарей. Наши мужики не захотели новой кабалы: крестьянский банк как будто давал большие льготы, но по их расчёту выходило, что банк хоть называется крестьянским, но был ещё более бесплощадным живодёром, чем помещик. Это были те же выкупные платежи, которые наложены были на крестьян при выходе их на «волю». Повторилась та же история, какая была с продажей земли Стодневу. А когда мужики заявили, что они хотели бы купить землю по той же цене и на тех же условиях, как и ключовское общество, Измайлов заорал и затопал на них ногами.

Так наши мужики и остались ни при чём.

XVII

Сначала ребятишек было мало: отшибал от школы давнишний страх перед учением у малограмотных стариков, которые вбивали буквы в память детишек жгутом из утиральника или чересседельником. А в семьях не только у поморцев, но и в мирских к светской школе, открытой земством, в которой, играючи, запорхала сторонняя барышнёшка, отношение было недоверчивое, хмурое, скитское: учение привыкли связывать со словом божьим, душеспасительным подвигом, а попросту — с истязанием. Не всякий мог пройти это испытание, выдерживали только способные к грамоте или с детских лет приученные к благочестивому смирению, а норовистые неслухи отбивались от такой пытки и предпочитали оставаться неграмотными.

Когда же ребятишки разбегались из школы по домам и, захлёбываясь, рассказывали, как в школе вольготно да гоже, да какая учительница ласковая и для каждого находит милое слово, а с малышами вместе грамоту по звукам запела и заставила их с чёрной доски палочки да оники в тетради списывать, — в школу день ото дня прибегали парнишки. Несмело и стыдливо пришли и девчонки. Недели через две ни одного пустого места на партах уже не было. В нашем отделении прибавилось только два человека: сынишка барского садовника — Гараська, худенький, бледненький, но вертлявый всезнайка, похожий по разговору на барчат, и, к моему изумлению, Петька-кузнец. Он вошёл в класс вместе с Еленой Григорьевной, хоть и стеснительно, но с обычной деловой серьёзностью, как большой.

Елена Григорьевна приветливо ободрила его:

— Не смущайся, Петя: видишь, здесь всё свои, всех знаешь.

Петька ответил рассудительно:

— Чай, я не в дремучем лесу.

Никто на эти его слова не усмехнулся, все чувствовали к нему уважение.

Только Гараська не сдержался по своей живости и с весёлым блеском в жизнерадостных глазах пошутил:

— Мужичок — с ноготок, а слова — как дрова.

Петька сидел за партой с достоинством разумного труженика, которому непристойно огрызаться на озорные глупости бездельников. Он даже и ухом не повёл на дерзость Гараськи. Мы с Кузырём толкнули

друг друга локтями и переглянулись. У Кузяря блеснули в глазах злые огоньки.

Но отнеслись мы к Гараське по-разному: он мне понравился и чистоплотностью, и недеревенской смелостью, и голубыми весёлыми глазами, которые пристально смотрели на нас с дружелюбной доверчивостью. А Кузярь косился на него враждебно: он не терпел никого, кто приходил с барского двора. Только уважительно и не по характеру робко держался с Антоном Макарычем, который посещал его больную мать.

— Ты не твяквей, барбосик! — озорно пригрозил он Гараське. — Тут тебе не барская дворня.

Елена Григорьевна погрозила Кузярю пальчиком и с укором покачала головой, но глаза её лукаво улыбались.

— Я не барбосик... — с обидой воскликнул Гараська и покраснел от возмущения. — Сам-то чего лаешься? Мы в школе-то все ровня.

А Кузярь неожиданно заявил с серьёзным видом:

— Ныне же подерёмся на кулачках! На язык ты гораздый, а вот в поединке какой — кулаки расскажут.

Елена Григорьевна встревожилась.

— Вот этого не надо, Ваня. Дружба требует рукопожатия, а не драки.

Но все ребяташки взбудоражились, а девчонки жались друг к дружке и по-бабьи ворчали на Кузяря и Гараську.

Елена Григорьевна рассадила наше отделение по-новому: Микольку, как большого, водворила на заднюю парту, Петьку с Гараськой поместила за нами, а Шустёнок опять оказался один на парте перед Миколькой и позади Петьки с Гараськой. Я оглядывался на Петьку и видел только его сосредоточенное, деловое лицо и ожидающе-пристальный взгляд на учительницу. Это был прежний Петька — работяга-разумник, который был старше себя, хозяин над собой, и я удивлялся, когда и у кого сн смог научиться читать и писать: ведь он по горло был занят работой по дому, в кузнице, а этим летом на него обрушились такие беды, которые раздавили бы и мужика. Значит, он не один год корпел над азбукой, над книжкой, над бумагой, на которой старательно и упорно выводил буквы и выписывал слова. Кто же помогал ему? У кого он перенял умение владеть перышком? Какая у него должна быть воля и терпение, чтобы не пасть духом, не надорваться, не потерять своей ребячьей бодрости! Я знал только одно, что такой труженик, как Потап, всё время держал Петьку при себе, приучал его к труду и свою любовь к работе незаметно передавал ему с добродушием хорошего человека. Я вспомнил, как он в позапрошлую зиму равнодушно отвечал на моё хвастовство, что я умею читать: на что ему в кузнице и в хозяйстве азбучка? Отец и без грамоты на всю округу искусник. И мне стало смешно: Гараська верно угадал его характер хитрого мужичка-коротышки, который таит про себя свои мысли и поступки и не упустит ничего для своей пользы.

Елена Григорьевна словно играла с ребяташками. Она переходила от одного отделения к другому: позанимается с малышами, даст им самостоятельную работу — разные палочки да оники писать — и подходит к нам. И каждый раз в простую задачу или в примеры вносила что-то неожиданно новое, увлекательное. Но стоило кому-нибудь из перваков завозиться или заскучать, она подходила к малышам:

— Встаньте, дети! Сядьте! Опять встаньте!

И начинала вместе с ними вскидывать руки вверх и в стороны. Детишки веселели, улыбались, словно пробуждались от дремоты.

Возвращалась она к нам с улыбкой в синих глазах, оглядываясь на малышей, словно ей ещё хотелось поиграть с ними. Но около нас она, не погашая улыбки, задавала вопросы и слушала наши ответы. Первым

вскидывал руку Кузьярь и с торжествующим блеском в глазах нетерпеливо тянулся к ней. За ним с обычной усмешечкой себе на уме поднимал руку Миколька. Как рослый парень, он только подавал знак, что готов говорить, если учительнице охота потолковать с ним. Редко поднимали руки и Петька с Шустёнком. Петька был несловоохотлив и на вопросы отвечал без вызова, когда не соглашался с кем-нибудь из учеников. А Шустёнок только смотрел исподлобья маленькими, прижатыми к носу глазишками и сопел, наклоняясь над партой. Весёлым живчиком вёл себя Гараська.

Одна из таких поразивших меня бесед навсегда осталась в памяти: спор разгорелся до конца урока и продолжался всю перемену и в прихожей.

— Вот мы, ребята, прочли и разобрали стихи Алексея Толстого о дожде, который золотом падает с неба, и золото будет собрано тучным зерном, которым заполнятся амбары. Старики говорят, что это было в давние времена, а теперь вот замаяли неурожаи. Но ведь земля-то та же и люди те же, а почему такие перемены?

Елена Григорьевна обратилась к Микольке. Он вышел из-за парты и вкрадчиво сказал:

— Да ведь год на год не приходится. Иной год бог посылает дождик круглое лето, а то вот, как летось аль нынче,— сушь да гарь. Старики-то всегда толкуют, что в былое время всё лучше было. Поговори с ними — они скажут, что и люди были раньше в два роста, а в плечах — косяя сажень.

Кузьярь фыркал, подпрыгивал, злился и обжигал Микольку глазами.

— Это что же? Старики-то, по-твоему, небыль да дурь плетут? Дубина!

— Ваня, не груби! — одёрнула его Елена Григорьевна. — Надо приучать выслушивать товарища, а потом уж возражать.

— А чего он дурачком прикидывается? — ещё сильнее разгорячился Кузьярь. — Старики-то правду говорят: наше место в лесах было, вся речка пряталась в зелени, полноводная была, а по берегам родники гремели — издали слышать было. А с каменных обрывов вода, как стекло, падала. Земля-то досыту водой напитывалась. Вот и урожаи были. А сейчас что? Везде голо, глина да песок, родники высыхают, да и речка — не речка, а лягушиная лунка.

— Это барская плотина её запрудила,— поправил его Петька, но Кузьярь и на него окрылся:

— Чай, вода-то там через гауз идёт: лишки-то никакая плотина не удержит.

Миколька не обиделся, он сморщился и защурил глаза от молчаливого смеха. Сел он как будто безучастно, но исподтишка возражал Кузьярю кроткими вопросиками, как несмышлёныш:

— А куда же, Ваня, лес-то делся?

— Вырубили — вот куда. И не мужики вырубили, хоть лес-то по речке нашинский был, а бары. Покойник тятка говорил, что это вскорости после воли было. Нагнал барин дворовых с топорами да пилами, а мужики на них — с косами да вилами. Драка-то, бывало, до убийства доходила из года в год. Наши мужики в суд подавали, да суд-то судил мужиков за разбой.

Из отделения перваков Сёма вдруг выпалил:

— Правду-то мужик за пазухой носит, а кривда жиреет да по свету гуляет.

Эту поговорку я сам не раз слышал от мужиков. Только Сёма её продумал да прочувствовал вместе с дедушкой и бабушкой.

Елена Григорьевна слушала очень внимательно и не останавливала Кузьяра: она даже подошла к нему и всматривалась в него с изумлением.

— А потом, откуда урожай-то будет? — совсем уже разгорячился Кузьярь. — На душевом клине не разгонишься: земля-то не отдыхает — всё рожь да рожь. Она и под паром не бывает, а округ нас — глазом не окинешь, и всё барская земля да мироедова...

Он неожиданно засмеялся.

— Золото, золото падает с неба... Только золото собираем не мы, а бары да кулаки, вроде Стоднева да Ивагина. Стихи-то эти тоже барин написал про себя да про барчат.

Я настойчиво дёргал вниз рукав Кузьяра, но Иванка отбрыкивался. Я шепнул ему сердито:

— Кто за нами сидит — забыл? Шустёнок только и ловит, как бы поддеть нас с тобой.

Елена Григорьевна тоже с тревогой оборвала разговор:

— Итак, разберёмся, ребята, в чём старики правы и почему повторяются неурожаи. Ваня верно сказал: речки и родники высыхают от того, что во многих местах вырубаются леса. А леса охраняют воду. Волга лет сто назад была глубока и широка, потому что текла в густых лесах, а теперь леса вырубали, и она обмелела. Конечно, при малоземелье, при переделах, при плохом удобрении да при посеве одним и тем же зерном поля истощаются. Тут уж и дождик мало помогает. Только имейте в виду, ребята, мы не вольны разбираться в законах и ещё малы годами, чтобы осуждать порядки. Мы вольны читать только то, что в книжке напечатано.

И тут нас всех ошарашил Шустёнок — испорченным от давнишней простуды голосом он просипел:

— То-то и есть. А Кузьярь с Федькой — кулугуры. Они только среди бунтарей и мызгали. Тятяша уж давно нарочается на съезжей их отпороть.

В классе сразу все обмерли, даже малыши обернулись в нашу сторону и со страхом прижались друг к дружке.

Кузьярь разъярённо обернулся к Шустёнку.

— Руки коротки!

Елена Григорьевна впервые рассердилась.

— Ваня Шустов, я запрещаю тебе запугивать товарищей. Ты — ученик, а не сотский. Ты ещё ребёнок! А в школе ты должен с нами жить в мире и согласии и заслужить любовь и доверие товарищей. Иначе у нас будет учение не в учение. Если ты хочешь учиться, дорожи дружбой учеников, а будешь кляузничать — самому будет невтерпёж. А ты, Ваня, — так же строго предупредила она Кузьяра, — не говори, чего не спрашивают. Не тебе рассуждать о вещах, о которых ты не имеешь понятия.

После уроков мы обычно гурьбой провожали Елену Григорьевну до самой её квартиры. Сёма отставал от нас у своей избы. Он обиженно ворчал на меня:

— Надо, чай, баушку-то Анну наведывать. Она глаза проглядела на вашу избу-то: тоскует об тебе. А отец с матерью и думать об нас забыли. Приходи, я тебе кой-чего покажу — обневедаетесь.

Я хорошо его знал: школа не интересовала его, и он чувствовал в ней себя чужаком. Он занят был только своим делом — корпел над какой-то выдумкой. Его тянуло в свою норку — в выход, где у него было что-то вроде мастерской, а чтение, письмо и арифметика не увлекали его.

В нашей жизни вспыхнул жар-цвет — живое счастье, которое ослепило нас и заиграло в душе неугасимой радостью, похожей на чудесную песню. Я переживал волнующую сказку наяву. Невольно вспоминалась

былина об Иване Буяныче, об удивительных подводных чертогах, о призрачно-лёгкой деве Моряне. И в эти мгновения я верил, что сказки есть и в нашей жизни, что счастье всегда теплится в душе, как свечка, и витает над человеком, как ангел-хранитель, но не такой, о каком говорила бабушка Анна, а похожий на трепетную касаточку и на весеннее солнышко.

Кузьяр посветлел, горячие его глаза преданно смотрели на учительницу, и в них таяло озлоблённое и мстительное ожесточение. Он, как и я, готов был не отходить от неё ни днём, ни ночью и охранять её, не жалея жизни. А Миколька стал серьёзным, задумчивым и как-то издали любовался ею, словно боялся оскорбить её своей деревенской нескладностью.

В низинке, в вётлах, Елена Григорьевна останавливалась и почему-то выдыхала.

— Как здесь хорошо! Пахнет осенними вётлами и речкой.

Я тоже любил это место: весь крутой склон горы был густо покрыт зарослями колючего тёрна и заплетён непроходимыми кистями ежевики, а внизу, между вётлами, росли молодые осинки, дубки и черёмуха. Слева, под обрывчиком, рокотала по камням речка. Оттуда пахло голубой глиной. Эта глина, вязкая, маслянистая, длинным пластом лежала под чёрным перегноем и рухляком, спускалась к воде. Мы, ребята, брали эту нежную глину, как густое тесто, и лепили лошадок, коровок и кукол. От горьковатого запаха вётел и пряного аромата глины, в дни прохладной осени становилось на душе спокойно, благостно и почему-то грустно. Хотелось дышать всей грудью, молчать и ни о чём не думать.

Мы ходили провожать Елену Григорьевну только этой дорогой: она была безлюдна, а к колодцу за водой бабы приходили только по утрам и вечерам. Для нас эта дорога была полна чудесных открытий, похожих на волшебные сказки.

Каждый день Елена Григорьевна раскрывала перед нами удивительные тайны, которые до этих дней были для нас только обычными обрывками, буераками, высокими взлётами крутых взгорьев заречья, на гребнях которых тянулся длинный ряд изб с глухими дворами, крытыми соломой. Всё это было близким и понятным — всё это было нашим родным местом, нашим селом, где мы знали каждый камешек, каждую колдобину, каждый гремучий родничок и каждую тропочку. И вдруг оказалось, что всё это живёт своей скрытой, огромной, необъятной жизнью в бесконечных веках. Мне и раньше мерещилось по ночам, под звёздами, в жуткой тишине, что земля — живая, что она дышит и смотрит в звёздную бездну так же, как я, и так же ей страшно этой таинственной ночной тишины.

Поразительно было, откуда наша учительница знает, что скрыто в земле и как земля жила в прошлые времена.

Вот эти наши горы и эту низину в обрывах, оказывается, выгрызла и вымыла наша маленькая речушка. Она добралась до могил невообразимо древних веков и выкопала для нашего ребячьего развлечения эти сугробики рассыпчатого песку. А «громовые стрелы» — «чёртовы пальцы» — вовсе не стрелы и вовсе не пальцы демонов, а хвостики каких-то морских уродцев. Значит, здесь у нас бушевало такое безбрежное море, как Каспий. В какие-то далёкие времена здесь росли дремучие леса, но вот хлынуло на них море-океан, и они захлебнулись в пучине. Занесло их илом, извёсткой и всякими солями. А над ними плавали всякие рыбы и эти уродцы. Елена Григорьевна очень интересно и увлекательно рассказывала нам, как деревья превращались в камень, а потом, когда речка вымыла их, стали они раскалываться звонкими плитками, белыми, как снег. Эти каменные пни выходили наружу в мокрых прибрежных осыпях на том крутом берегу, и ребята приносили их в школу

целыми кусками. Но когда же и как родился человек? Елена Григорьевна загадочно улыбалась и обещающе отговаривалась:

— Вот подождите, поучитесь, будете читать разные умные книги — и многое узнаете.

И я видел по её глазам, что ей известно и это событие, но почему-то она не хотела раскрыть нам свою тайну.

Петька был как будто равнодушен к рассказам учительницы: он рассеянно смотрел на вётры, заложив руки за спину, и слушал галок.

XVIII

Каждый день после школы Елена Григорьевна ходила по избам, где лежали больные. Начала она с Груни, матери Кузяря. Возилась она с ней по целым часам: осматривала и прощупывала её, сама клала ей на живот припарки, давала какое-то лекарство и кормила её жиденькой кашницей, поила чаем и приказывала Кузярю не давать ей ни капусты, ни квасу, ни картошки. Потом стала заходить к ней с Антоном Макарычем, который почему-то не уезжал из села. Каждый день после школьных занятий Елена Григорьевна гуляла с ним по луке, а иногда они ходили вместе в Ключи — или к Ермолаеву, или к тамошнему учителю. Груня скоро стала поправляться и попыталась встать с постели, но Елена Григорьевна уложила её опять. По селу пошла молва, что учительница поставила Груню на ноги, и к Елене Григорьевне стали приходиться бабы даже в школу. Они ждали её до конца занятий и уводили с собою.

У паружиной невестки, Лёсыньки, заболел парнишка лет шести. Он ходил с матерью на речку, где она полоскала и отбивала вальком бельё, а парнишка бродил по осенней воде. Пришёл он домой весь мокрый и синий от холода, а ночью задышался от кашля и метался в жару. Лёсынька рано утром прибежала к Елене Григорьевне и со слезами утащила её к себе. Елена Григорьевна решила, что у него воспаление лёгких. Она положила ему согревающий компресс и велела Лёсыньке до её прихода из школы два раза переменить его. Но из школы она побегала на барский двор и возвратилась с Антоном Макарычем. Ушёл он в сумерки один, а Елена Григорьевна продежурила около мальчонки всю ночь. Около неё сидела и Лёсынька и сама металась, как больная, от горя. И эта всегда жизнерадостная бабёнка вдруг так ослабела и пала духом, что вся омертвела, осунулась и обливалась слезами.

— Это я, окаянная, виновата... — стонала она. — Моя это вина... Не уберегла моего сыночка... Умрёт он, и я с ним в одну могилу лягу...

Входила Паруша из чёрной половины избы и, строгая в скорби, нежным басом уговаривала её, но Лёсынька вырывалась из её рук, сбрасывала с головы платок и волосник, падала на кровать и прижималась к ребёнку. Малаша в чёрной половине читала псалтырь на избавление младенца от хвори.

Елена Григорьевна проделала и с Лёсынькой чудеса. Она пошептала с Парушей и вывела её из комнаты, а сама обняла Лёсыньку и с ней зашептала. Так она сидела с ней в обнимку долго, а потом засмеялась, как девочка. Лёсынька затихла и, слушая её, сама заулыбалась. Потом они вместе захопотали около парнишки. И Лёсынька слышала только уверенно-бодрый голосок Елены Григорьевны:

— Он скоро выздоровеет... жить будет... Антон Макарыч его вылечит. И он такой же будет озорной и весёлый, как ты же. И не смей реветь и отчаиваться: этим ты только повредишь ему. Ведь он слышит, как ты оплакиваешь его.

И, словно в ответ на эти слова Елены Григорьевны, парнишка пропищал, как в бреду:

— Не надо, мама... Мне больно... А чего ты не поёшь? Ты поёшь гоже...

— Вот видишь, Лёсочка! Чтобы ребёнка воскресить, ты должна быть, как и раньше, весёлой и улыбаться ему... и тихонечко иногда попеть...

И Лёсынька, к удивлению домашних, попрежнему стала пряткой, хлопотливой по хозяйству, и опять её певучий голосок заиграл и на дворе и в избе, а в глазах светилась радостная надежда.

Всякий слух в деревне разносился очень быстро. Всякие передраги и перебранки, всякие большие и маленькие невзгоды и радости сразу долетают до ушей в каждой избе и горячо обсуждаются в семьях. Обычно всякие толки и пересуды начинаются среди баб и девок у колодцев, где они собираются утром и вечером. Они долго стоят с коромыслами на плечах и перебирают всякие семейные мелочи — сплетничают, судачат, жалуются на свои горести и отводят душу в слезах и потешном смехе.

Мать узнала там же, как убивается Лёсынька над заболевшим сынишкой, и рано утром побежала к Паруше. Взволнованная, трепетная, она в такие минуты вся напрягалась от жажды деятельности и казалась очень бодрой и сильной. Она обняла и поцеловала Парушу, бросилась к Лёсыньке, которая уже успокоилась после задушевного разговора с учительницей, хотя и ослабела от пережитого отчаяния, и так же порывисто расцеловалась с ней. Не отрываясь от неё, она заговорила с нею бойко, страстно, с ласковой строгостью и любовной настойчивостью: разве можно над постелькой сына убиваться и слёзы лить? Ведь смерть-то только этого и ждёт. А парнишечка терзается, тает, как воск от огня, и в глазках у него потухает солнышко. Надо со светлой верой к нему подходить, веять на него бодростью и переливать в его маленькую душу свою силу. Вечером она опять убежала к Паруше, запросто обошлась с Еленой Григорьевной, которая хлопотала около парнишки, и последила, как учительница накладывает компресс и как ободряюще лепечет что-то, наклонившись над ребёнком. Елена Григорьевна очень ей понравилась, и она сразу же прилепилась к ней. Она расспросила, что и как надо делать и осталась у Паруши до самого обеда. С тех пор мать сдружилась с учительницей. Они как-то сразу почувствовали друг друга и заулыбались.

Парнишка выздоровел, и все в деревне решили, что Елена Григорьевна — чудесная докторша. И в самом деле, она подняла на ноги Груню, которая лежала в постели уже не один год, и спасла от смерти внучонка Паруши. Ведь даже лекарка Лукерья ничем не могла помочь Груне, а учительница, весёлая барышня, словно ангел, исцелила их как-то легко и походя. Но самое главное, что поразило людей, — это её бескорыстие.

Иногда она забегала и к нам, и в нашей старенькой избушке, всегда сумеречно-тёмной, вдруг словно вспыхивал свет. Жизнерадостный голосок Елены Григорьевны и её смех звенели ещё во дворе: это она встречалась с отцом или матерью и шуточно разговаривала с ними. Я порывисто вскакивал из-за стола, где корпел над домашними уроками, и с бурей в сердце распахивал двери и летел ей навстречу.

Отец, польщённый её приходом, старался показать себя перед нею бывалым человеком, который знает, как держать себя с образованными городскими людьми. Он подтягивался, склонял голову к плечу и рисовался перед учительницей. Говорил он с ней играющим голосом, улыбался в бороду и закатывал глаза. Дворик у нас был круто-покатый, в каменных пластах и сумрачный от соломенной плоскуши. В углу перед кормушкой стояла пегая лошаде́нка, всюду бродили куры, пахло сеном, которым был забит другой угол, и дёгтем.

Она брала мать под руку, и они, как подружки, уходили в избу. И мне казалось, что Елене Григорьевне не место здесь, в сумрачном нашем дворике, загромождённом у плетней всяким хозяйственным хламом.

Я бежал вслед за нею в сенцы, в низенькую нашу конуру с маленькими мутными оконцами и выбеленными извѣсткой стенами, и мне чудилось, что в комнате сразу становилось вольготнее. Рядом с учительницей и мать вдруг начинала светиться, трепетно улыбаться, и в широко открытых её глазах вспыхивал огонёк счастья.

Елена Григорьевна прижималась своей нежной щѣчкой к щеке матери и осторожно гладила её руки.

— Ну, до чего ты нервная, Настя! Право же, по твоим рукам можно сразу узнать и твою душу и твою жизнь.

Мать говорила своим певучим голосом:

— И откуда ты к нам прилетела? Вот вижу тебя — и сердце у меня тоже, как голубка, бьѣтся. Думаю, что я здесь так и сгину — в этом нашем бездолье, а гляжу на тебя — и чую: не жильцы мы тут — чего бы ни было, убежим без оглядки.

Елена Григорьевна оглядывала избу и восхищалась:

— Ты, Настя, из хлевушка делаешь нарядную хоромку. Красивая у тебя душа. В этом чистеньком, опрятненьком гнёздышке может жить только женщина с хорошими думами.

Мне и матери было приятно, что учительница нашу избушку называла хоромкой. Мать привередливо чистила и украшала её каждый день: пол хоть и столетний, но половицы всегда были жѣлтые, как воск. Самотканная набойная скатерть не снималась со стола. На старинном киотике и на окошках висели белые полотенца с широкими выкладами, вытканными матерью. А на стенах я прибил сапожными шпильками картинки, которые выменял на тряпки у «шебалятника»: «Демон и Тамара», «Сирин и Алконост» и портреты Пушкина, Лермонтова и Гоголя. В комнатке всегда пахло мятой, которая лежала на киоте кудрявыми букетиками.

Мать очень любила красивое вышиванье, и Елена Григорьевна приносила ей своё рукоделье — вышивки по канве и гладью, с которых мать переносила на своё льняное полотно сложные рисунки. Обе они садились за стол, и Елена Григорьевна учила мать шить гладью так, чтобы на изнанке не было ни путаницы, ни махров. И я чувствовал, что мать всем сердцем привязалась к Елене Григорьевне и наслаждалась её близостью.

— И зачем ты к нам, в это болото, приехала, Олѣнушка? — удивлялась мать, а Елена Григорьевна ласково отшучивалась:

— Как зачем? Меня зовѣт братец Иванушка.

— А я с Федей улетела бы отсюда на край света. Тут я — как птица в клетке.

Елена Григорьевна пристально вглядывалась в лицо матери и раздумчиво, словно сама с собой, говорила:

— Простым людям, Настя, везде трудно живѣтся. Вот ты была на ватаге. Разве там лучше? Ведь из вас там все силы выматывали.

— Чего и говорить... — соглашалась мать, но вспыхивала от улыбки. — Да зато люди-то там какие! Уж как ни погибельно там бытьѣ, а сейчас бы птицей туда улетела.

Уроки в школе для меня были занятнее и увлекательнее игры: каждый день нам открывалось неожиданно новое и негаланное. Земля, трава, воздух, синее небо, солнышко, месяц и звѣзды мы видели каждый день и каждую ночь — это был наш мир, привычный и обыденный, но в беседах с Еленой Григорьевной этот мир вдруг превращался в великую бесконечность, полную тайн и необычайных открытий. И потрясающе любопытно было сознать, что и я и все мы — это лучи солнца, волшебным образом претворѣнные в людей. Для чего сотворил это бог? Что такое бог? С наших икон он смотрел древним стариком, седым, бородатым. Значит, он тоже дряхлеет, как дедушка Фома или как сторож Лукич? А ежели стареет, значит умирает? Но его называют бессмертным. Почему же он

постарел? Зачем ему вздумалось на старости лет творить? Почему не творил молодым? Он и раньше представлялся мне жестоким и грозным стариком, который только и делал, что карал людей ни за что ни про что: насылал на них болезни, голод, нужду, бар и мироедов, которые обирали народ, а земские начальники и полиция пороли людей розгами и засаживали в остроги. Должно быть, и ангелы не вытерпели его самодурства — взбунтовались, а он расправился с ними, как исправник с нашими жожаками.

Пока стояли ясные осенние дни, очень прозрачные, безветренные, мы по воскресеньям уходили с учительницей за деревню, в берёзовую рощу. Очень старые берёзы толпились здесь густо в зарослях молодого осинника, ивняка и малинника, а внизу звонко рокотал ручей в каменных пластах и в ворохах голышей.

Здесь пряно пахло горьковатым ароматом увядающих и прелых листьев, блёклой травой и ещё какими-то хмельными запахами, которыми дышат только эти тихие и грустные осенние дни. Но в этой странно воздушной лёгкости серебристых с чернядью берёзовых стволов, в ожидающе приветливой заросли молоденьких осинков, в багрянце трепетных листьев и стройных берёзок, осыпанных золотом, Елена Григорьевна ликовала от счастья. Она срывала платок, и её волосы тоже переливались золотом. Она забывала и о нас, и о себе и бегала между серебряными стволами, как девочка. Потом внезапно останавливалась, прислушивалась к лесной тишине, полной призрачных шорохов, чёткого постукивания дятлов, робкого пересвиста невидимых птичек, и певуче говорила:

Унылая пора! очей очарованье!
 Приятна мне твоя прощальная краса —
 Люблю я пышное природы увяданье,
 В багрец и в золото одетые леса...

Ей, должно быть, хотелось скрыться в зарослях, остаться одной в непроходимой гущине и помолчать. Она словно не замечала нас и, оборачиваясь, смотрела на стройную толпу белых стволов, которые как будто светились, поднимаясь по крутым склонам впадины. Длинные плети тонких ветвей спускались донизу, как расплетённые косы. И, медленно падая, всюду трепетали, как бабочки, жёлтые листья. Мне тоже хотелось думать о чём-то грустном и милом и смотреть на крылатый полёт золотых листьев.

Словно по уговору, мы отставали от неё, спрыгивали с обрыва к ручью, к водопадам в камнях и принимались делать запруды, а Миколька, как взрослый парень, садился поодаль от нас на старый пенёк и скучал. Не отставал от нас и Шустёнок, хотя и держался нелюбимо, волчком. С ним никто не дружил: все опасались его, как ищейки, и считали, что он способен на всякие коварства.

В один из таких золотых дней мы сидели на берегу ручья и теснились вокруг Елены Григорьевны, которая рассказывала нам о перелётах птиц и об осенних листьях, тоже улетающих с деревьев. Она говорила так живо и увлекательно, что опадающие мотыльками жёлтые листья, казались живыми, а деревья, которые оголялись на зиму, казались по-новому загадочными: они тоже были живые и у каждого дерева был свой характер, но было смешно, что они раздевались на зиму, вместо того чтобы теплее одеться. Но тут же мы узнали, что это неспроста: листья — не шуба, а орган питания и дыхания. Они всасывают лучи летнего солнышка, и эти лучи в зелени производят чудесную работу — и варят пищу и выделяют кислород, которым дышим. Деревья и травы — это наши ближайшие друзья: без них мы не могли бы жить — ни дышать, ни есть, ни одеваться.

Шустёнок выше по ручью буровил палкой воду, и к нам она текла грязная и сорная. Как и всегда, он и теперь старался пакостить нам. Кузьяр следил за ним, и глаза его вскипали ненавистью.

Елена Григорьевна приветливо звала Шустёнка:

— Ваня, иди сюда! Чего ты там воду мутишь?

А мы издевательски подхватили:

— Он всегда воду мутит... Ему абы в прязи барахтаться.

— Нет, он способен быть хорошим товарищем. Он знает и чувствует, что без дружбы не проживёшь.

Но он упрямо буровил воду.

— Мне и тут хорошо. А с ненавистниками мне хлеб-соль не есть.

— Так какого же ты чёрта увязался с нами? — рассвирепел Кузьяр.—

Сидел бы дома и глаз нам не мозолил.

Гараська с весёлым презрением язвил:

— А кто же тятке ябедничать будет?

Елена Григорьевна укорительно покачала головой и подошла к Шустёнку.

— Ну, брось свою палку, Ваня, и пойдём со мной — будем все вместе. Нельзя враждовать с товарищами, от этого плохо прежде всего тебе же. Слышал, как мы интересно беседуем?

Шустёнок, как назло, начал с размаху шлёпать палкой по грязи, и чёрные брызги далеко полетели в нашу сторону. Елена Григорьевна отскочила назад и испуганно оглядела рукава кофточки.

Меня как будто опалило огнём: этот сволочонок посмел оскорбить Елену Григорьевну! Не помня себя, я бросился к нему со всех ног, вышиб из его рук палку и стал трясти его за уши.

Он так был ошарашен, что и руки не поднял, а только замычал от боли.

Меня оторвала от него Елена Григорьевна, а Миколька, посмеиваясь, поощрительно припугнул меня:

— Молодец-то молодец, а теперь берегись — от сотского житья не будет.

— Боялся я, как же...

Кузьяр толчками гнал Шустёнка куда-то в лес.

— Bravo! Доблестные у тебя защитники, Лёля!

С крутого спуска между стволами берёз сбегал Антон Макарыч. В серой тужурке, в примятом, сдвинутом на затылок картузе с голубым околышем, размашистый, полный здоровья, он пленял меня своей простотой, жизнерадостностью и какой-то неотразимой внутренней силой.

Елена Григорьевна покраснела и вся затрепетала от радости. А он подошёл к ней, взял её руку и поднёс к губам. Это было так ошеломительно для нас, что мы сбились в плотную кучку и глазели на учительницу и Антона Макарыча с немым изумлением. Только Кузьяр ошалело гмыкал и глупо чмокал свою руку. Но Гараська ударил его по руке и забормотал сердито, как парень, который знает барское обращение:

— Чего передразниваешь, дурак! У городских это в обычае. Кавалер всегда к ручке прикладывается.

XIX

Как-то во время уроков внезапно раздался весёлый церковный трезвон. В окно видно было, как Лукич на колокольне прыгал и махал обеими руками, словно лихо плясал вприсядку. Ребятишки всполошились и вскочили с мест. Елена Григорьевна, встревоженная, побледневшая, кое-как утихомирила ребят и упавшим голосом сказала, словно сообщила о несчастье:

— К нам в село въезжает священник. Хотя трезвоном встречают только архиерея, но староста, вероятно, решил со звоном принять батюшку. Для прихожан это большое событие: ведь своего священника не было здесь много лет.

Дверь в класс быстро распахнулась, и на пороге появился сотский с грозно выпученными глазами, в суконной поддёвке, с шашкой на боку.

— Учительша! — по-солдатски скомандовал он. — Веди своих учеников встречать его преподобие, батюшку. Чтобы у меня всё было, елёха-воха, чинно-благородно... Марш все на улицу!

Елену Григорьевну я никогда ещё не видел такой разгневанной и властной. Она твёрдо и храбро пошла к двери, высоко подняв голову, и сердито накинута на сотского:

— Как вы смели, сотский, ворваться в класс без моего разрешения и нарушить занятия? Убирайтесь вон и носа своего больше не показывайте!

Я с ликующей радостью следил за каждым движением учительницы и торжествовал, наблюдая за сотским, который ошарашенно стоял в распахе двери и бормотал несурзано:

— Это как, елёха-воха?.. Не слушаться?.. Кто ты здесь?

— Хозяйка! А ты здесь — никто! Я подчиняюсь только инспектору народных училищ. Закрой дверь и больше сюда ни ногой!

Сотский со злобной растерянностью попятился назад и огрызнулся:

— Ну, погоди же... я становому донесу... батюшке доложу...

Елена Григорьевна молча отстранила его рукой и затворила дверь. Возвратилась она к своему столу хоть и бледная, потрясённая, но в глазах её горячо переливались лихорадочные огоньки, а сама она стала как будто выше ростом, и во всей её стройной фигурке чувствовалась гордость и боевое удовлетворение.

С милой улыбкой она оглядела всех ребятишек и сказала просто и спокойно:

— Ну, ребятки, за дело! Продолжим наши уроки!

Колокольный трезвон разливался попрежнему лихо и оглушительно, но почему-то не тушил голоса Елены Григорьевны. Кузьяр шептал мне, задыхаясь от удовольствия:

— Вот так да! И не побоялась в морду Гришке плюнуть. Вот надо-то как! А он, как барбос, и хвост перед ней поджал.

Миколька хитренько подмигивал нам и поглядывал на Елену Григорьевну озадаченно и встревоженно: я видел, что он не ожидает ничего хорошего от столкновения её с сотским и боится за её судьбу.

На перемене мы увидели толпу мужиков и баб у нового дома попа, тройку лошадей поодаль и два воза с поклажей. Высокий поп в коричневой рясе, гладко причёсанный, с бабьей косой, свёрнутой в дулю на шее, крестил толпу двуперстием и говорил что-то благочестиво и елейно. Лицо в тёмной бороде улыбалось морщинками около глаз, и издали он был очень похож на иерея Иоанна Кронштадтского, лубочный портрет которого висел на стене в мирских избах. Около него без картузов увидались староста и сотский.

В этот день он к нам в школу не пришёл, и мы, как обычно, слушали чтение Елены Григорьевны. Она рассмешила нас стихотворением Алексея Толстого:

У приказных ворот собирался народ
Густо...

Мы с Кузьяром и Гараськой просили её прочитать ещё и ещё раз.

Она лукаво спрашивала:

— А чем стихи вам понравились?

Нам казалось, что эти ядовитые, складные слова написаны про наше село, про бар и мироедов: каждая фраза была понятна, близка нам и прочно въедалась в память своей солёной остротой. Мы наперебой перекликались отдельными строфами. Кузьяр насмешливо сообщил:

Говорит в простоте, что в его животе
Пусто.

А Гарэська озорно налетел на него:

Дурачьё! сказал дьяк, из вас должен быть всяк
В теле...

Я спрашивал их обоих обличительно:

— Да ведь народу-то жрать нечего. Откуда же у него тело-то будет?

Гарэська или Кузьяр самодовольно отвечали:

Ещё в думе вчера мы с трудом осетра
Съели!..

Ребятишки хохотали и приставали к нам:

— А ну-ка, ещё... Эх, как гоже-то!

Елена Григорьевна заражалась нашей игрой и читала стихи о Спеси. А Кузьяр проходил по прихожей, задирая голову, и важно тянул:

Ходит Спесь, надуваючись,
С боку на бок переваливаясь...

Ребятишки и девочки обмирали со смеху и повизгивали от восторга:

— Ведь чудодей-то какой! Ну, вылитый Сергей Ивагин!

Смеялась и Елена Григорьевна, пристально наблюдая каждого из нас. А Миколька стоял, как взрослый, поодаль и, ухмыляясь себе на уме, с притворной простоватостью поощрял нас:

— Вам бы в балагане на ярманке представлять... Глядишь, по гривне заработали бы.

Сложив руки на груди, как умный мужик, Сёма снисходительно усмеялся. Он чуждался наших весёлых проказ. Ему было здесь не по себе: у него по домашности много было забот. Дедушка недужил и больше лежал на печи: последний год подкосил его и неурожаем, и бескормией, и расколом семьи.

Мать рассказывала мне, как однажды он пришёл к нам в избушку и, словно нищий, просил отца помочь допахать арендованную дедушкину землю на нашей стороне вместе с Титом. Отец с матерью гостеприимно приветили его, угостили обедом и ухаживали за ним, как за дорогим гостем. А дедушка, растроганный, жаловался на свои недостатки — на разор, вспоминал о былых годах и плакал, стряхивая заскорузлыми пальцами слёзы с седой бороды. А потом начал по старой привычке владыки дома поучать отца, как надо жить исправно, как хозяйничать, и ругать его за уход из семьи и за распутство на чужой стороне. Отец сидел за столом рядом с дедом и тёр ладонями глаза, скрывая злорадную усмешку.

— Это разоренье от тебя с женёнкой пошло: избаловались на стороне, обмирились, испакостились, забыли заветы дедов-прадедов... Вот нас бог и наказывает, а бес-то мутит, раздор сеет. И парнишку на потеху дьяволу в мирской загон бросили...

Отец не возражал, не злился, а с сознанием своего достоинства посоветовал:

— Ты, батюшка, за Титкой гляди: не ровён час, он тебя по миру пустит. Ты думаешь, что он всё в дом тащит, а он исподтишка, невидимо тебя обирает.

Дед совсем забылся и, как прежде, гневно закричал:

— Поговори у меня! У него учиться надо, как домашность соблюдать. Такого сына на редкость у кого найдёшь. Он ни днём, ни ночью божьего слова да крестного знаменья не забывает.

— Вот он тебе, батюшка, крестом-то да божьим словом, как заклятьём, и глаза отводит.

А дед постукивал по столу кулаком и кипятился:

— Я вот к тебе с докукой приплёлся — старость свою не пожалел из-за нужды, а он мне в ноги кланяется да за грехи мои перед иконами по десяти лестовок отстоит. У него подрушник-то весь в дырах — протёрся! А передо мной да перед матерью слова не промолвит, шагу не шагнёт без благословения. У кого такие сыновья в селе?

— Моё дело — сторона, батюшка: как хочешь — так и прочишь. А со стороны мне виднее стало: божьим-то словом обманывать нехитро — легче лёгкого. Ты бы пощупал, чего зарыто у этого богомольца да смиренника на гумне.

Дед вскочил из-за стола и яростно обрезал отца:

— Не ты, Васька, хоронить меня будешь, а он — Титка. Он и похоронит меня, как послушный сын. С тобой у нас нет божьего сожития: ты дьяволу предался и весь в соблазнах погряз.

Он истово помолился на иконы, повздыхал покаянно, стараясь укротить свою строптивость, и, насилуя себя, кротко изрёк:

— Бог тебя простит, Васянька. Грехов-то на нас, как желудей на дубу. Выезжай завтра на поле-то.

И сутуло пошёл, по-стариковски, к двери. Отец почтительно проводил его за калитку, не скрывая своей снисходительной и знающей усмешки. Дед пошёл вниз, шаркая сапогами по песку, а мать подняла нижнюю половинку окна и смотрела вслед ему с жалостью в потемневших глазах. Этот маленький, заросший седым руном старик словно сросся с землёй: он шагал зыбко согнутыми в коленях ногами, не поднимая их, а вспахивая песок, — корявый и вековечный, как домовый, который с молоденьких её лет заедал ей жизнь. Но сердце её сжималось от жалости: в этой согнутой, загерзанной барщиной и бедностью фигуре старика была какая-то скорбная покорность и безнадежность. Так и казалось, что вот-вот споткнётся и упадёт на дорогу и больше уже не поднимется.

Вдруг он остановился и, оглянувшись, взмахнул рукой, подзывая отца. Он зашагал обратно, навстречу ему, бодро и прытко, как молодой, и мать издали видела, как глаза его под седыми ключьями бровей пронзительно и жадно воткнулись в лицо отца.

— Ты вот, Васянька, с Сергеем Ивагиным связался: по округе ездешь на своей кляче — скупаешь на его деньги шкуры, холсты да шетину. От барышей своих он тебе семишник с рубля даёт, как нищему. Взял бы ты меня в долю: я сам бы рубь в карман клал, а ему — семишник.

Мать не стала слушать и с треском закрыла окно.

XX

Поп пришёл в школу на другой же день после приезда. Лукич, издавна по-собачьи служивший ключовскому попу, распахнул дверь в класс и с восторженно-слёзной улыбкой и ужасом воскликнул по-бабьи:

— Батюшка к нам жалуется!.. Батюшка! Пастырь наш благословенный!.. К ручке все, к ручке, к целованию!..

Елена Григорьевна с мягкой строгостью оборвала его:

— Ну и пусть идёт... Что же в этом особенного? А в класс врываться самовольно я ведь тебе запретила, Лукич.

— Да ведь батюшка... священник, чай...

Он опрометью, по-стариковски юрко, беспамятно, как шальной, побежал обратно, оставив дверь открытой настежь.

Поп, высокий, уверенно-властный, в фиолетовой рясе, с серебряным крестом на груди, вошёл в класс, приглаживая ладонью волосы на голове. Мы дружно встали при его появлении, а Елена Григорьевна пошла ему навстречу, потухшая, холодно-почтительная.

Он перекрестил учительницу и сунул руку к её лицу. Она смутилась, очень покраснела и как-то неловко приложилась губами к его руке, которая показалась мне большой и тяжёлой.

— Ну, здорово, дети!

Он опять вскинул руку и широко перекрестил нас.

— Благословляю вас во имя отца и сына и святого духа. По воле божьей я послан сюда как пастырь, чтобы собрать воедино всех овец, которые отбились от стада.

Он, как хозяин и владыка, прошёл вперёд, оттолкнув учительницу в сторону, и, пылливо взглядываясь в нас, вдруг строго приказал:

— Сядьте, православные, а поморцы стойте!

Перед классной доской, на чёрном её квадрате, поп казался угрожающе зловещим. Ключовский поп в сравнении с ним был добродушным толстяком — приезжал к нам на уроки закона божия всегда навеселе и совсем не интересовался, кто из нас — поморец, кто — церковник.

Но вот новый поп, отец Иван, сразу заполнил всю комнату. Свет в ней помутнел и стал густым и тяжёлым, а Елена Григорьевна отошла к своему столику и, туго натянув за концы пуховый платок на груди, словно защищаясь от попа, насторожённо поглядывала на него и, бледная, оцепеневшая, думала о чём-то — вероятно, о том, как достойно держать себя с ним, чтобы защитить нас от его самовластия и самой не ударить лицом в грязь.

Елена Григорьевна, сдерживая волнение, очень тихо и ласково разрешила нам сесть. А поп важно и плавно прошёлся перед нами от столика учительницы до двери и обратно, поглаживая рясу на животе, и вцепился пухлыми пальцами в серебряный крест на груди.

— Я, дети мои, с младых лет, с юности и до мужества утопал во мраке заблуждения, как червь в болотной тине, пребывая в поморском расколе. Но явился мне во сне пресветлый ангел и коснулся огненным перстом моего лба. И я мгновенно прозрел, объятый пламенем. Вот этот свет я принёс и в вашу тьму, чтобы исцелить слепоту ваших родителей, а в души ваши вложить истинный талант познания.

Слова его лились тоже плавно, бархатно, вдохновенно. Он был похож своим пастырским красноречием на Митрия Стоднева, погубившего и брата своего и правдоискателя Микитушку, и уж одно это пробуждало у меня тревогу и неприязнь к попу.

Он взбудоражил всё село: через старосту нарядил две подводы и вместе с Лукичом пошёл в епитрахили из конца в конец, из избы в избы с крестом в руке и после молитвы приказывал:

— Несите на подводу ячеч, мучки, пшеница... Такой побор будет во имя господи и пресвятой пречистой богородицы.

Он заходил без разборки и к «мирским» и к «поморцам» и строго велел старообрядцам целовать крест. Но они противились и отказывались от целования креста и от новой повинности. Он молча крестился на иконы

двуперстием и уходил из избы с улыбчивыми морщинками вокруг глаз. А на другой день к поморцам подъезжала подвода, и Гришка Шустов с двумя десятскими приказывал отпирать амбаришки, елозил по клетям и забирал яйца. Тех же упрямых мужиков, которые не подчинялись приказу сотского, запирали в жигулёвке. А по праздникам, во время службы в церкви, поп Иван произносил красноречивые обличительные проповеди против поморцев и натравлял на них молящихся. В селе начались свары и вражда.

Чтобы не попасть в жигулёвку, отец злобно отрывал от своих запасов то, что требовал поп, но к кресту не подходил. Поп кротко, как добрый пастырь, улыбался морщинками на висках и говорил с сожалением:

— А тебя, Василий, твои единоверцы сильно ненавидят. Ты им — поперёк горла: на стороне был, обмирщился. И соблазн вносишь — других смущаешь из села бежать.

Отец бледнел и хрипло оправдывался:

— Мне самому до себя, а до других мне дела нет. Всяк по-своему с ума сходит.

— Я тоже не одобряю твоего поведения, Василий. Смущать народ негоже. Говорят, ты с деньгами из Астрахани вернулся, а деньги эти нечистым путём добыл. Блюда, как бы и парнишку до безбожных дел не довёл. Говорят, он у вас вынуждает старух да солдаток за своё грамотейство на всякую мзду — яички там, маслице и всякую всячину... С малых лет до чего он дойдёт по этой дорожке? Ты бы, Василий, с семьёй-то от греха к церкви присоединился: она защитит тебя от всякого зла и напастей. В ней — вся сила: она и казнит и милует. А схизма эта поморская — вне закона, как тать. За тобой и другие пойдут ко спасению.

Я впервые слышал попа в домашнем разговоре. Он стоял у нас в избушке большой, под самый потолок, в длинной рясе, на которой лежала шёлковая чёрная борода, а бороду окаймляла серебряная цепь с серебряным крестом.

Отец стоял перед ним маленький и тусклый, словно покрытый пылью, но не сгибался, не робел, а, скосив голову к плечу и судорожно задирая брови на лоб, смотрел злыми глазами мимо попа и с занозой в голосе отвечал:

— Мы, батюшка, живём, как нам совесть велит. А тебе бы собирать людские пересуды не к лицу. Получил с меня Христа ради ни за что от моих трудов — и доволен. А честь мою чернить тебе грешно и парнишку обижать по сану твоему не пристало. Чем он тебе досадил?

Такой смелости я совсем не ждал от него: должно быть, злоба и ненависть к непрощенному гостю и вымогателю довели его до бешенства, и он уже не владел собою. Мать смотрела на попа с гневным изумлением, и я впервые заметил, что она довольна поведением отца.

Поп широко перекрестился на иконы, сделал низкий поклон и смиренно сказал:

— Бог тебя простит за гордыню и пренебрежение к духовному отцу. Но ежели случится с тобою какая-нибудь поруха по воле божьей, приходи ко мне, и я облегчу твой душевный недуг.

— Добрый путь, батюшка. Я не был отступником и никогда им не буду.

Поп сверкнул глазами и важно пошагал к двери, опираясь на длинную трость.

Каждый день он в широкой своей рясе, в чёрной шляпе медленно и спесиво, как хозяин, проходил по улицам села, с тростью в руке, и с хитрой улыбочкой соглядатая присматривался и принохивался к избам. Старики и старухи вставали с завалин и низко кланялись ему. Он важно подходил к ним, крестил их, взмахивая рукавом, а они протягивали к

нему ладони ковшичком, ловили его руку и истоиво целовали её. И всегда он участливо беседовал с ними об их хозяйстве, о семье, интересовался их здоровьем и призывал на них божью благодать. Но тут же, как будто сочувствуя им, вздыхал и соболезнавал:

— А вон Паруша-то на вас зlobится: гуляла она раньше по улице, как власть имущая, и все её почитали, когда церковь в запустении была и поморцы вас невидимо в пленении держали. Настоятель-то их Митрий Стоднев ещё и сейчас гнетёт вас кабалой. А она, Паруша-то, верная его духовная сотрапезница, гордыню свою под видом праведности и милосердия перед вами держала. А сейчас вот я ей поперёк горла встал.

Так он однажды натравил на Парушу давнишнюю её подругу — соседку Орину, «мирскую», — высохшую, темнолицую от трудной жизни.

— Как пастырь, я скорблю от всяких ваших наветов друг на друга, семьи на семью. Вот говорят, что кто-то из вашей семьи снопы у Паруши на гумне ворует. Калякают прихожане, что Терентий грозитя вилами кого-то из вас проколоть. Вот грех-то какой!

— Да чего это ты, батюшка, небыль творишь? — отмахивались от него старик и старуха. — Чай, мы с Парушиными век в добром согласии жили.

— Простодушные вы люди, — сокрушался поп Иван. — А вот не Парушины ли тайком, по-воровски, пожарными насосами да бочками пользовались, чтобы поливать свои полосы? На старости лет Паруша-то и на сходе людей к самоуправству подбивала, на грех наводила. И сейчас вот коварством православных и меня с ними бесчестит. Вы и не догадываетесь, а они, кулугуры-то, сейчас вредить православным будут всяким поношением: воры, мол, — снопы крадут, а там, мол, норовят и избу поджечь. Ну, да бог нам поможет, а я не оставлю вас.

Он, как апостол, благословлял их и уходил дальше, обременённый заботами о своих пасомых.

А в этой избе вспыхнула тревога: кричали бабы, орали мужики, а старуха Орина, гневная, пошла к Паруше. После взаимных поклонов по обычаю и учтивых расспросов о здоровье, о благополучии старуха, как будто между прочим, спросила со скорбной обидой, когда это и кто видел, что у Паруши кто-то из орининой семьи снопы воровал и как это у Терентия совести хватило грозить её семье вилами...

Паруша всплеснула могучими руками и, поражённая, с изумлением пристально всмотрелась в лицо соседки.

— Спаси, господи, и помилуй! Да какой это негодяй тебе в уши-то надул, Оринушка? Ведь вот я верой и правдой дружбу с тобой вела с самой молодости и не слушала никаких изветов. И в уме у меня никогда не было и не будет пойти к тебе с камнем за пазухой, с назолой в сердце. Ведь вот рази я поверю поклёпам-то на вас? Я падогом от них отмахиваюсь и души своей замутить никому не дам. Содружье наше сохранию до гробовой доски.

— Батюшки, светы!... — пугалась Орина. — Это какие поклёпы-то, Парушенька?

— Да как же... Попался мне на улице ваш долгогривый да и начал крестить меня издали. И пыхтит, и качается весь, и скорбит: Орина-то со стариком чего поведали... Крест целовали и молили храм по ночам охранять — будто мы хотим храм поджечь.

Орина затряслась от рыданий и закричала:

— Господи! Парушенька!.. И в мыслях-то не было... верь не верь — душеньки своей не убью...

— Знаю, Ориша. Не убивайся! Тычу я ему пальцем в грудной крест-от и стыжу его: который ты раз Христа распинаешь, поп? Лжу-то зачем на добрых людей возводишь? С Ориной да с семьёй её мы век, как род-

ные, жили. Не богу служишь — демону. А сама — грудью на него. Знаю, мол, на какое зло идёшь: грех да свары сеешь, до убийства людей хочешь довести, ради маммоны да антихриста.

Орина в отчаянии каялась:

— Прости меня, христа ради, Парушенька! Чего я наделала-то, легионерная!.. Жизнь нашу, подруженька, осрамила...

— Не то ещё будет, Орина. Не раз ещё он нам душу замутит — не ручайся. Он только лжой и злом живёт, отступник. Вишь, поборами, да хищением, да наговорами зачал приход свой к спасенью вести! И бродит и вынюхивает, как волк перед стадом...

Хитроумный поп стал сбивать около себя и приучать самых обездоленных мужиков. В дни побора он заходил к какому-нибудь нищему и голодному бедолаге, приказывал Лукичу принести с воза яиц, пшеницы или гороха и с кротким участием говорил:

— Вот этот дар господь посылает тебе, чадо, ради спасения души. Не ропщи, молись, в грехах кайся. Исповедуйся у меня в церкви, кто смущает душу твою. По воле божьей помогать тебе буду и телесно и духовно.

Ошарашенный мужик падал перед ним на колени. А поп, как добрый пастырь, наставлял его быть смиренным и послушным праведному слову священника. Так он сумел в короткое время привязать к себе не одного бедняка. Этим мужиков он ловко натравлял на поморцев и на соседей, настроенных «крамольно».

Но однажды он напоролся на крикливый бабий скандал. Переходя от избы к избе, он в день побора зашёл к исаевой бабе, которая со своей подругой, бабой Гордей, очень бедствовала. Исай и Гордей сидели ещё в остроге. Эта беда теснее связала женщин. Обе они с детишками стали жить в одной избе и делили между собою каждую крошку. Хоть и ослабели они от голодухи и прибаливали, но ни у кого из шабров ничего не просили и не унижались перед мироедами. А когда ходили в город, на свидание с мужьями, уносили с собою последние холсты, которые когда-то выткали на своих станах. Из города они приносили и по краюхе хлеба и по полумешку муки. Сначала поп не заходил с молитвой в эти избы «крамольников», а в церкви обличал бунтарей и смутьянов в тяжких грехах против властей предержавших, в грабежах, в своеволии, в зависти к богатым и в лености неимущих. Кара господня постигает всех таких грешников, но кающихся и исповедующихся в грехах бог в милосердии своём прощает и награждает сторицей. А бабы обоих «крамольников» — Марфа и Фросинья — после этих поповских обличений перестали ходить в церковь и охалили «долгогривого» всякими словами. Тогда поп решил, должно быть, покорить их своей добротой и незлопамятностью. Во время очередного побора он в епитрахили вошёл в избу к Марфе и Фросинье вместе с Лукичом, пропел молитву и после креста велел Лукичу выложить на стол яички, полведра гороху и совок муки, воркуя о даре владычицы. Неожиданно обе бабы взбесились и заорали во всё горло одна другой голосистей:

— Тащи назад, Лукич! Мы — не нищие, чужого добра нам не надо. Не подкидывай нам, батюшка, того, что у других отнял, у таких же голодных, как мы. Ишь, чем прельстить задумал! У нас совесть есть, а у тебя нет. Убирайся отсюда подобру-поздорову!

Они не дали Лукичу даже к столу подойти с милостыней и чуть не вытолкали его за дверь. Уж на что поп был опытен в тёмных делах и в знании людских слабостей, но и он растерялся от этого внезапного отпора. Деревенские бабы обычно лизали ему руки и гнули перед ним спину в три погибели, а тут вдруг оглушили его две лядащие, обездоленные бабёнки... Он попытался укротить их словом божьим и притворным

своим смирением, но бабы ещё злее набросились на него. Он не стерпел такого поношения — стал обличать их в нечестии, в оскорблении его сана, в том, что они соблазнились крамолой своих мужей. За такое их неслыханное кощунство он пригрозил им отлучением от церкви, если они не покаются, и потребует от старосты наказать их — запереть в жигулёвке. А бабы и ум потеряли — выбежали вслед за ним на улицу, и их надсадные крики сквозь плач и визг детишек разносились по всей деревне. Выбежали соседи и издали глазели на этот невиданный скандал. Фросинья и Марфа — обе худущие, почерневшие — наперебой кидались на попа, клеймили его, как пса и обиралу, который тащит у несчастных людей последние крошки, и орала на зевак, что они бесчуживные свиные и тусы — не хлопочут за мужиков, которые страдают за всё село, которые не жалели себя, чтобы спасти от смерти народ...

Это происшествие долго обсуждали в селе. Одни бранили баб за неуважение к батюшке, другие смеялись и хвалили их за смелость. Но скандал этот был всё-таки на руку попу: свара и разлад среди мужиков и баб доходили до уличных драк. А поп подогревал вражду и проповедями и благочестивыми беседами по избам. И всю эту деревенскую междоусобицу сваливал на злобу и лукавство раскольников.

XXI

Мы с Кузарём сразу почувствовали в попе Иване зловещего человека. Лукич благоговел перед ним, как перед грозным святым, — в первые дни он распахивал дверь в класс настезь и в ужасе шептал:

— Батюшка шествует... Встречайте!..

Хотя учительница и запрещала ему открывать дверь и тревожить учеников, он никак не мог утерпеть, чтобы не возвестить о приближении попа, как о необыкновенном событии: тощенький, жёлтый, с реденькой седой бородёнкой, он сгибался, трепетал, как грешник, ожидающий страшного суда, и таял от набожного восторга. Елена Григорьевна уже не могла вести урока: она мгновенно блёкла, замыкалась в себе и становилась странно чужой в нервной насторожённости и враждебном ожидании. А отец Иван не считался с расписанием: он приходил в школу внезапно, обычно во время урока, как властитель, крестил широким взмахом руки толпу стоящих ребятишек и, не обращая внимания на Елену Григорьевну, кротким и поющим баском приказывал:

— Читай молитву, дежурный!

Но учительница однажды не выдержала и, бледная от возмущения, пошла ему навстречу. Она лицом к лицу остановилась перед ним у самого порога и сказала строго и учтиво:

— Я очень прошу вас, батюшка, не прерывать моих уроков. У вас есть свой час по расписанию — им и пользуйтесь.

Но он властно отстранил её рукою и молча прошёл к столу, с застывшей своей пастырской улыбочкой.

И вдруг Лукич перестал распахивать дверь и предупреждать о приходе попа. После смелого её отпора отец Иван стал приходить в свой час. Но мы пронюхали, что он входил в прихожую крадучись, садился на табуретку у самой двери и подслушивал, что делается в классе.

Лукич был старик добрый и по-бабьи ласковый. Одиноким, весь какой-то ветхий, одетый в домотканное, носивший и летом и зимой смешную серую войлочную шляпу плоской, каких уже никто давно не носил, он по-своему любил детишек. Когда они в перемену выбегали в прихожую или на улицу, он кричал на них визгливым бабьим голоском, совестил их и называл «окоянными неслухами». Но в его голосе и благолепном лице не было ни злости, ни строптивости. Покрикивая, чтобы утихоми-

рить детишек, он улыбался, и по бесцветным глазкам его видно было, что он любовался нами. А с Еленой Григорьевной говорил нежно, любовно, сострадательно.

Как-то мы с Кузярём и Миколькой с притворной обидой пожаловались ему, когда он в сарайчике рубил дрова и складывал их в поленницу у стены.

— Дедушка Лукич,— вкрадчиво и грустно спросил его Миколька.— Аль тебе не жаль учительницу-то?

— Чего ты мелешь, окоянный? — рассердился Лукич, но сейчас же скорбно и душевно проговорил: — Девчонка-то какая радостная!.. Одна... на чужой стороне... И приветить-то её некому... — И опять крикнул визгливо: — Вы её, окоянные, не обижайте. Легко ли ей с вами, арбешниками, такую епитемью нести!..

Но Миколька с угрюмой обидой упрекнул его:

— Да ты сам её батюшке в обиду даёшь.

— Не то что в обиду — на съеденье! — горячо подхватил Кузярёв.— Он вон какой самоуправный, а она — маленькая!

Лукич был так потрясён, что бросил топор и бессильно сел на чурбак.

— Ушибли вы меня, окоянные... Душенька зашлась... — плаксиво забормотал он. — Это я-то?.. Как же это, ребятишки?.. Её-то? Да ведь... чай, он — батюшка: сила-то какая!.. С наперстным крестом, у алтаря... Благодать на нём...

Я не утерпел и съехидничал:

— Ежели благодать на нём, значит не грех ему и учительницу мытарить? Он её, как собачонку, шпыняет. Как же она будет нас учить-то?

Лукич окрысился:

— Ну, вы оба с Кузаришкой — кулугуры... да и молокососы... Рази гоже батюшку не почитать?

— А ежели он давит учительницу да житья ей не даёт?

Кузярёв злорадно поддел Лукича:

— Хоть дедушка Лукич и толкует, что Елену Григорьевну приветить надо, а сам вместе с батюшкой терзает её.

Лукич так обиделся и разгневался, что вскочил с чурбака и весь затрясся от оскорбления. Дряблое лицо его сморщилось, и он запричитал надсадно:

— Да ты чего это, опёнок, озорничаешь-то? Вот возьму да все виски тебе и выдеру, окоянный... Ишь, как развольничались, демонята!.. Не тебе, кукиш, баять, не мне слушать: я её, учительницу-то, всяко заслону и от чижолой руки, и от злого глаза, и от недобрых ушей.

Миколька сердито оттолкнул Кузярёва в сторону.

— Погоди ты, щипок! Дедушка Лукич на старости лет души не убьёт. Он только сан почитает. А мой старик не зря говорит: «Сан, бывает, и дураку и супостату дан». Мы с дедушкой-то Лукичом содружно Елену Григорьевну заслонуим. Он нас и на разум наставит.

Хитрая и притворно-вкрадчивая речь Микольки успокоила и растрогала Лукича. Должно быть, поп и его, покорливого и услужливого старика, успел обидеть. Мы знали, что он стал распоряжаться им, как своим батраком: заставлял его работать по двору, посылал с мирскими подводами за поборами, ездить за дровами, чистить картошку в кухне, рубить и солить капусту и огурцы и даже мыть полы в доме. Сварливая, пучеглазая попадьё горласто кричала на него, помыкала им, но не давала ему и куска хлеба.

Не успел поп прожить у нас и месяца, а во дворе у него уже было голов пятнадцать овец и ягнят, две коровы, которых ему привели с барского двора, и пара лошадей: одну из них пожертвовал ему Сергей Ива-

гин, а другую — Максим Сусин. Закудахтали куры, захрюкала свинья. Появился плетёный тарантас, и Лукич часто ездил с попом за кучера.

Мужики трунили меж собою:

— Мало было своих мироедов — давай долгополого. Так нам, дуракам, и надо. Спасенье-то даром не даётся: и плати, и корми, и на себе в рай вези. Хошь не хошь, а вынимай грош. На службе-то божьей поп без чертей не обходится.

Так поп Иван быстро и глубоко пустил корни в нашем селе; и с длинным посохом ходил он по луке около своего дома и церкви, по улицам, медленно и величаво, как новый хозяин в своём поместье.

Для того, чтобы отгадить попа от подслушивания, мы однажды с Кузьярём отпросились выйти из класса «до ветру». С Лукичом мы договорились, чтобы он давал нам знать о приходе попа возгласом: «Господи, воззвах к тебе, услыши мя». Елена Григорьевна занималась с младшим отделением, а мы на грифельных досках решали задачи. Когда в прихожей глухо завыл Лукич, мы подождали немного, делая вид, что прилежно бьёмся над трудной задачей. Кузьярь толкнул меня коленкой, встал и отпросился выйти. Вместе с ним встал и я. Елена Григорьевна удивлённо и пылливо посмотрела на нас, потом на дверь и кивнула головой. Миколька удержал Кузьяря за рукав рубахи и прошептал с усмешкой заговорщика:

— Глядите, не влопайтесь! А ежели нарвётесь, дурачками притворитесь.

Кузьярь ухмыльнулся и озорно подмигнул ему. Он пошёл впереди меня на цыпочках, чтобы не мешать заниматься Елене Григорьевне, но я уже знал, почему он подкрадывается к двери. Мне было и смешно и немного страшновато: задуманная нами проделка была очень рискованной. Как решено, мы оба брякнулись в дверь, и она с большой силой вырвалась из косяка. Кузьярь сейчас же сдержал её за скобу, и мы увидели, как поп схватился за голову и вскочил с табуретки.

Кузьярь с лукавыми искорками в глазах захныкал:

— Прости, Христа ради, батюшка! Чай, мы не знали, что ты перед дверью сидишь. Ежели бы знатьё, я первый бы отлепил дверь-то, как пушинку.

— На колени! — свирепо прорычал поп, выкатывая яростные глаза. Он рванулся к нам и хотел схватить нас за уши, но мы отскочили от него в разные стороны. Лукич стоял поодаль с батюшкиной шляпой в руках и держал её, как икону.

— Ах вы, окоянные! Ах вы, арбешники!.. Батюшке-то какую вереду причинили!..

В этот момент выбежала Елена Григорьевна и с сердитым лицом спросила:

— Что случилось? В чём дело?

Поп опомнился, поправил обеими руками волосы и принял властную позу. На скуле у него вздулся багровый рубец.

— Вы распустили своих сорванцов, учительница. Почему они во время урока вырываются у вас из класса? И вот полюбуйтесь...

И он ткнул пальцем в повреждённую скулу.

Но Елена Григорьевна, красная от волнения, затворила дверь в класс и странно низким голосом, твёрдо, без робости сказала, смотря мимо попа:

— Но за что же вы хотите наказать этих ребят? Они не виноваты.

— То есть как не виноваты? — изумился поп, сбитый с толку независимым тоном Елены Григорьевны, и опять ткнул пальцем в скулу. — А это вам не доказательство? Кто же, по-вашему, виноват — может быть, я сам?

У Елены Григорьевны дрогнул и прошился ямочками подбородок от сдержанной улыбки.

— Я полагаю, батюшка, что вы были неосторожны — сели слишком близко к двери. А дверь каждую минуту может створяться: могу выйти я, могу послать кого-нибудь из учеников взять что-нибудь из шкафа... — Она вдруг засмеялась, и лицо её задорно вспыхнуло. — Но вот я распахиваю дверь и так же вот ушибаю вас, — неужели вы и меня поставили бы на колени? Кроме того, вы пришли не в свой час. Никто из нас не думал, что вы сидите вплотную у двери и в такой неудобной позе.

Поп был так поражён словами Елены Григорьевны, что у него задрожала борода, и рука судорожно хваталась за крест и за шёлковую бороду.

— Значит, вы лишаете меня права переступить порог школы и карать негодников? — с угрожающей простотой проговорил он. — Как же вы мне, священнику, смеете противоречить и выражать дерзости! Вы порочите мой сан перед этими раскольничьими выродками и перед этим старым дураком.

Он вдруг освирепел, вырвал свою шляпу из рук Лукича и прикрикнул на него:

— Нечего тебе здесь бездельничать. Иди-ка лошадей вычисти!

Елену Григорьевну словно подстёгивало каждое слово попа: она как будто вырастала перед нами и расцветала смелостью и уверенностью в своей силе и правоте, и впервые я увидел её спокойной, холодной и бесстрашной.

— Никто у вас вашего права, батюшка, не отнимает. Но у вас есть свои часы. И нехорошо детей называть негодьями и выродками, а старика Лукича — дураком. Сан же свой вы сами унижаете. Весь этот шум не мы учинили. Ребятишки тут ни при чём, если вы неудачно место себе выбрали.

Мы никак не ожидали, что окажемся под защитой Елены Григорьевны. Поп следил за учительницей и, должно быть, хотел поймать её, если услышит какие-нибудь «вольные речи». И мы решили самостоятельно оградить её от беды — попа оглушить дверь, а самим разыграть невинных детишек, которые убиты ужасом перед неожиданной порухой с попом. Приготовились мы и к самому худшему: за эту нашу проделку учительница могла разгневаться и наказать нас, но зато мы спасли её от поповского капкана. Кроме того, мы возненавидели попа за его злые насмешки и издёвки над нами, «кудугурами». Он называл нас «поганцами», «псятами», «окаянными», «оглашенными» и заставлял стоять за партами целый урок за то, что мы не крестимся во время классной молитвы, мучил нас своими кляузными вопросами о каких-то «догматах». Вопросы эти мы не понимали и глупо молчали, а он обличал нас в какой-то неведомой ереси и науськивал на нас «мирских» ребятишек.

— Вы — дети верного стада христово, а они вот, поганцы, как псята, зубами на вас щёлкают и готовы, окаянцы, загрызть вас, чистых ягнят. А мы сокрушим зубы грешников.

Но мы, окаянцы и псята, на переменах играли с чистыми ягнятами и забывали о злых словах попа, которые сеяли вражду между нами. Мы были ошарашены смелой отповедью Елены Григорьевны: она не только не допустила поставить нас на колени, а сама обличила попа в подлости. И мы наслаждались, поглядывая на её лицо, вспыхивающее от негодующей улыбочки, и на растерянный лик попа, не ожидавшего доблестного отпора этой небоязливой девушки. Но особенно мы мстительно ликовали, любуясь багровой шишкой на его скуле.

Он напялил шляпу и широко зашагал к выходу с бешеной угрозой:

— Этого я, учительница, оставить не могу. Вы смуту сеете, противитесь моей борьбе с неверными и развращаете школьников.

Но Елена Григорьевна никак не встревожилась, а проводила его длинную фигуру в хламиде непогугающей насмешливой улыбкой. И только по дороге домой, когда мы, как обычно, провожали её, она строговато пожурила нас:

— Предупреждаю вас, Федя и Ваня, чтобы этого больше не повторялось.

Мы горячо оправдывались:

— А зачем он повадился подслушивать? Чай, мы не для озорства скулу-то ему расшибли: он охотился за вами да и нас, как кутят, травит. А сейчас он перестанет коварствовать.

— Ну, уж я как-нибудь отобьюсь, а вы свои проделки оставьте.

Мы забожились, что вольничать не будем: довольно и того, что сделали. Я только предложил держать дверь в класс отворенной, чтобы поп уже не смел войти в прихожую не в своё время. Кузярю так понравилась моя мысль, что он даже взвыл от восторга, а Елена Григорьевна весело рассмеялась.

— Ах вы, потешники мялые!

С этих пор дверь в класс оставалась открытой, и даже Лукич во время занятий пропадал или в сарае или у попа во дворе.

Но Елена Григорьевна старалась незаметно освободить его из поповской кабалы: во время занятий она посылала его то в Ключи, к барыне Ермолаевой за книжками, то с записочкой на барский двор — к Антону Макарычу, то отправляла к себе на квартиру, где он отсиживался до конца уроков, а потом до вечера возился в школе. И на крики попа или попадьи ответа не было.

Однажды поп с притворным смирением спросил учительницу, вглядываясь в неё с пытливым подозрением:

— Где же пропадает этот бездельник Лукич? У меня по хозяйству работы невпроворот.

Елена Григорьевна удивилась и озадаченно дёрнула плечиками.

— Вот как! А я и не знала, батюшка, что Лукич служит у вас работником. В этом случае мне придётся просить назначить в школу сторожа.

Поп высокомерно распорядился:

— Этот старик — при церкви: он в моей воле. А в школе он прихватно, но школа неотделима от церкви, она под моим пастырским наблюдением. Распорядиться стариком без моего ведома вы не вольны.

Елена Григорьевна усмехнулась, и в глазах её блеснул игривый задор.

— А может быть, и я тоже в вашей воле и под вашим наблюдением? Но ведь наша школа — земская, а не церковно-приходская. Наблюдает над нею инспектор народных училищ.

— Не забывайте, милая: я — пастырь. А в этом селе, где много раскольников, я имею благословение вязать и решать. И я не потерплю никакого свободомыслия.

Елена Григорьевна шутила:

— Значит, вы, батюшка, вольны и душой моей распорядиться, как распорядяетесь Лукичом, своим бесплатным слугой? Не тяжкий ли крест вы взяли на себя? Насчёт меня вы ошибаетесь, отец: я — не овечка. Закабалить свою душу я никому, даже вам, не позволю.

Поп засмеялся, показав из-за бороды крупные зубы, но этот его смех был похож на оскал большого и страшного пса.

— Ну, со мной вам, девочка, советую не иметь брани.

Елена Григорьевна вышла с колокольчиком на крыльцо. На звонок ворвалась в прихожую и повалила в класс густая, тоже звонкая толпа ребятни.

Так началась между учительницей и попом невидимая борьба, в которую невольно вовлечены были и мы, «старшаки».

XXII

Я повадился ходить к Елене Григорьевне не только по праздникам, но кой-когда и в будни — после школы, по вечерам. Встречала она меня с ласковой вспышкой в глазах. Всегда заставлял я её за каким-нибудь делом: то за чисткой самовара, то за стиркой белья, то за шитьём, а то и во дворе, под горкой, где она вскапывала землю лопаткой и сажала вместе с Костей яблоньки и вишни. Простенько одетая, в белом платке, повязанном по-деревенски, в холщовом фартуке, она казалась совсем невзрачной, будничной, и мне было как-то обидно, что она теряла свой праздничный, красивый наряд, как цветок свои лепестки.

Синие ядовитые кучи уже не громоздились на дворе: их вывезли мужики куда-то в овраг. Это место мы с Кузарём вскопали и сравняли граблями, а перед окном посадили вишенки и кусты сирени, которые прислал из барского сада отец Гараськи.

Как-то в одну из прогулок в берёзовую рощу Елена Григорьевна попросила нас с Кузарём и Миколькой взять железные лопатки в школе и в церковной сторожке.

— Мы выкопаем несколько берёзок и посадим их перед школой. Они будут расти вместе с вами и напоминать обо мне.

И она почему-то грустно засмеялась.

Мы вырыли десять берёзок и посадили их вдоль ограды, перед окнами школы.

Если же я заставлял учительницу за стиркой во дворе, она, как родная, ласково и, как всегда, весело привечала меня:

— Пройди в комнату, Федя. Я сейчас кончу. А ты просмотри новые книжки на столе.

В сенях я встречал Феню, жену Кости, — молчаливую, высокую женщину, с затаённой думой в лице. Она проходила мимо и как будто не видела меня.

Я ни разу не слышал её голоса, а когда разговаривала с ней Елена Григорьевна, она молчала, как немая. Но по её лицу и по тёмным глазам, которые смотрели как будто внутрь, я вспоминал, что Феня была обездолена Сергеем Ивагиным, а потом пережила несчастье с Костей.

Елена Григорьевна говорила о ней сочувственно и тепло:

— Феня очень хорошая женщина: умная, строгая к себе и другим. Она очень много страдала, но о себе меньше всего думала.

Феня ни с кем не зналась и жила вместе с Костей, как в келье. Только Парушу любила, жаловала и уединялась с нею, когда Паруша приходила проведать Елену Григорьевну.

Однажды в предвечерье, когда Елена Григорьевна, наклонившись над деревянным корытом, высоко засучив рукава, торопливо стирала бельё, я столкнулся у крылечка с Феней. Она с ночёвками — с мукой в корытце и ситом — шла из надворного амбарчика, статная, в белом платочке, завязанном не по-бабьи — на полголовы. Я всегда торопел перед её сосредоточенно-задумчивым лицом и скорбно-строгими глазами, которые не видели меня. Но при этой встрече она вдруг с удивлением взглянула на меня и улыбнулась, и улыбка эта как будто вдруг осветила лицо её изнутри. Я тоже невольно улыбнулся и почувствовал, что отчуждение её исчезло и она вся стала очень доброй, странно трепетной — такой, какой бывает мать в минуты радостной вспышки. Тихим, певучим голосом, ласковым и грустным, но матерински властным она приказала мне:

— А ты к нам зайди, Федя. Костя — в избе. Он там чего-то с книжкой, как с человеком, разговаривает.

— Да, да, Федя! — обрадовалась Елена Григорьевна. — Иди к ним, посиди немного, а я скоро кончу свою работу. — И засмеялась лукаво: —

А Феню не слушай: она меня ругает, что я стираю сама и не хочу лишать себя этого удовольствия.

Феня мягко подтолкнула меня на ступеньки крылечка. Костя сидел за столом с подвязанной рукой и, склонившись над какой-то книжкой, недовольно бормотал что-то и покачивал головой. Он показался мне стариком: беззубый рот у него провалился и нос стал большим и тяжёлым. Он дышал тяжело, словно задышался, и худой, с серым лицом, острыми скулами и отёками под глазами, спорил с кем-то, как больной в бреду.

— Вот человека к тебе привела, Костя. Ты с ним и поговори, а книжка-то не слышит тебя.

Костя пригласил меня к себе здоровой рукой и глухо, с хрипотцой, зашамкал:

— Вот тут один барин показанье даёт, что мужику земли не надо. Человеку земли-то только на могилу потребно — три аршина. И выходит по-барски: ежели ты родился, мужик, — сейчас же отправляйся в могилу, а моя барская земля для тебя — заклята, хоть у меня во владении тыщи десятин. Для блезиру этот барин о своей земле и словечка не проронил, а мужика послал к башкирам. Ну, тут и слепому видно, куда барин гнёт. Не завидуй, не бунтуй, об земле не думай, не пекись, а богу молись. Птицы небесные не сеют, не жнут, а сыты бывают. Так это — птицы, а человек-то ведь жив трудом своим. Знаю, граф-то хоть и не птица, ну тоже не работает, а сыт, и пьян, и нос в табаке: за него да на него те же мужики и работают... Вот какие книжки бывают, Фёдор Васильич! А мужик об себе книжки ещё не написал: тёмный мужик, ещё азбуки не знает. Ну, да он и без азбуки грамоту свою хорошо понимает. Видал, как летом-то барам да кулакам прописали?

Феня неожиданно отозвалась из чулана с грустной шуткой:

— Уж больно пропись-то ваша, Костя, трудная да дорогая. Вот ты и зубы, и руку потерял, и грудь размололи...

— Не подход — значит на пользу, — с беззлобной шуткой пояснил Костя. — Мне эта наука на всю жизнь, Феонушка: мне сейчас всё открыто, и дорогу свою я хорошо узнал. Я поротый, я и молотый. А ты вот у меня, молоденькая, за что по мытарствам горе мыкала?

Феня кротко и ласково ответила:

— За любовь, Костенька.

Костя с изумлением посмотрел на открытую дверь чулана и с болью в лице закрыл глаза. Он отшвырнул книжку в сторону, встал из-за стола и с робкой улыбкой возразил:

— Ведь любовь-то, Феня, радостью цветёт. А какая же у тебя радость? Я — на кресте, а ты — под крестом.

Феня появилась в распахе двери и с затаённой усмешечкой в умных глазах посоветовала:

— А ты, Костя, у тётушки Паруши спроси, бывает ли без муки любовь-то?

И скрылась в чулане. В эти минуты я почувствовал её необыкновенной — совсем не похожей на других баб. Я впервые в жизни слышал такой разговор между мужем и женой и как-то растерялся. До сих пор я видел в семьях другие отношения между мужьями и жёнами — рабскую и безмолвную покорность бабы и жестокую власть мужика. Я сам жил в такой семье и сам страдал страданием матери. Хорошая семья была у Паруши, но и там такие задушевные слова между мужьями и жёнами были немыслимы. Я догадывался, что между Еленой Григорьевной и Антоном Макарычем была тайная красивая любовь, непонятная для нашего деревенского народа. И я заранее знал, что, если бы мужики и бабы услышали и увидели в эти минуты Феню и Костю, они осмеяли бы их... Снисходительно и терпимо они могли относиться к студенту и учительнице,

как к чужакам, как к полубарам, и забавляться их потешной дружбой. Но Костя и Феня, как свои люди, выходили из стародавних свечаев и обычаев и восприняли откуда-то с «вольницы» всё «благородное». Так было с Петрушей Стодневым, который жену считал ровней, а за ребёнком ухаживал по-бабьи.

— Да. Так вот, Фёдор Васильич: народ пропись свою кровью пишет и телами своими мосты мостит. Вся земля мужичьей кровью пропиталась. Так чья же она, земля-то? Дай срок, горе-горючее, кровью политое, полымем по всей нашей земле запольхает. Сам прошёл я через неопалимую эту купину, через все двенадцать страстей и — верую. А Тихон, и умом и силой богатырь, был и будет вожак. Зачем я об этом с тобой калякаю? Чтобы запомнил, в умишко вложил. Не графьёв читай, а ищи и слушай хороших людей. — Он кивнул на окошко и подмигнул мне. — Вон как Олёнушка аль Антон Макарыч...

Феня высунулась из чулана и с укором погрозила пальцем Косте. А я обиделся:

— Чай, я, тётенька Феня, не маленький. На своём-то веку всяко видал...

Поражённая, она вышла из чулана и, всматриваясь в меня, всплеснула в изумлении руками. А Костя хрипло захохотал, закашлялся и закрутил головой, едва выговаривая шепелявые слова:

— А ты ещё грозишь мне, Феонушка. Видишь, какой он тёртый калач? И плавал в море и мыкал горе.

Феня взяла в ладони мою голову, поцеловала меня в лоб и ласково покачалась:

— Уж как ты оконфузил-то меня, Федя!.. Просто обневедалась я...

Но я хорошо видел, что она притворяется, что ей забавно смотреть на меня, как на парнишку, который пыжится быть мужиком и говорит словами бывалого человека. Это меня обидело ещё больше: я тоже жил с хорошими людьми, и никто из них со мной не притворялся и не играл, как с потешником.

Феня вздохнула и раздумчиво проговорила:

— Не житьё вам тут с матерью. В селе вы — чужие, как и мы.

— Нет, милка! — Костя протянул к ней руку, встал из-за стола и хромоногий шагнул к Фене. Она быстро повернулась к нему и со строгой морщинкой у переносья прикрикнула:

— Кому велено руку свою в покое держать? Ну, и слушайся! Вон Антон Макарыч идёт с барского двора.

Но Костя обнял её здоровой рукой и поцеловал в щёку.

— Нет, Фенюшка милая, бежать я не думаю. Чужие мы не народу, а мироедам да кровососам. В бродяги не пойду, а трусы сами себе волчий билет готовят.

Феня шутливо ударила его ладонью по лбу и прижалась к его щеке. Почудилось, что лицо у неё засветилось. Вот, значит, какая бывает улыбка счастья!

Как странно: я до сих пор думал, что Костя с Феней — люди, до смерти обиженные, несчастные, обречённые на позор и страдание. Костю и розгами пороли и калечили в стане; Феня осиротела, и её мироед Ивагин выбросил на улицу, а вышла замуж за Костю — изо дня в день исходила сотни вёрст, всю себя отдала на то, чтобы вызволить его из узилища. Но оказывается, что оба они счастливы в любви и сильны духом, совсем не исстрадались, словно все беды, которые выпали им на долю, не только не измотали, не обезнадёжили их, а сбили их крепче, сделали их умнее и обогатили верой в счастье. Раньше я знал Костю с его братом, когда они занимались красивым ремеслом, весёлыми ребятами, певунами — такими же, как все деревенские парни. А теперь Костя

совсем изменился: ничего у него не осталось от прежнего парня. Феню я не знал прежде, и о ней никто не поминал. Но теперь её узнало всё село, и она своей упорной и неустанной борьбой за освобождение Кости вызывала удивление и уважительное участие к себе. А Елена Григорьевна вошла в их жизнь, как родная, и они звали её Олёнушкой. Обедала она в их половине, там же с Феней и рукодельничала.

XXIII

По праздникам у Елены Григорьевны гостиwali учителя. Первым приходил ключовский учитель — мужиковатый, чернобородый, в длинной суконной блузе и тяжёлых сапогах. Елена Григорьевна встречала его приветливо, но без обычной своей радостной улыбки, словно он приходил к ней не во-время:

— А, Мил Милыч... Пожалуйте, напою вас чаем.

— Чайку — это хорошо, Лёля. С вами за чайком и душа теплеет.

Звали его Нилом Нилычем, а Елена Григорьевна переименовала его в Мила Милыча.

Елена Григорьевна бойко выносила из-за ширмочки свой маленький серебристый самоварчик и скрывалась за дверью, а он, Мил Милыч, провожал её умилённым взглядом, словно отец любимую дочку. Да и на самом деле он был уже пожилой, с сединкой на висках и усталыми глазами. Пока Елена Григорьевна относила самовар в другую половину — к Фене, Мил Милыч снимал сапоги, если они были заляпаны грязью, и почему-то шёпотом приказывал мне украдкой:

— Вынеси-ка, паренёк, эти сапожищи в сени да сунь их куда-нибудь в уголок, чтобы они Лёле на глаза не попадались.

В тёплых деревенских чулках он задумчиво прохаживался по комнате и расчёсывал толстыми волосатыми пальцами свою мужичью бороду. И каждый раз, как будто видел меня впервые, спрашивал угрюмо:

— Учишься? Это хорошо. Надо учиться, и книжки читать надо. Учись и живи на пользу народу.

Говорил он обычно глухим басом, скучно, неинтересно о том, что надо думать только о народе, надо служить ему, учиться у крестьянства братской жизни, потому что только общинные устои несут в себе свободу и будущее райское житьё. Он напоминал мне дедушку Фому, который тоже толковал об устоях, о блаженной старине и держал семью в рабском повиновении. Рассказывали, что в Ключах он пахал землю безлошадникам на барской лошади, выпрашивал у Ермолаева семена и засеивал вместе с мужиками их полоски. На свои деньги покупал в лавочке ситец или сарпинку для полуголых ребятишек.

Елена Григорьевна слушала Мила Милыча терпеливо, рассеянно, и мне казалось, что ей было очень трудно переносить этот его нудный глуховатый голос. И как только Феня вносила кипящий самоварчик, Елена Григорьевна радостно вскрикивала, бросалась к столику и звенела посудой:

— Ну, садитесь, Мил Милыч! Забудьте пока об общинных устоях, которых нет.

— Это как же так нет? — пугался Мил Милыч и застывал в гневном изумлении.

Елена Григорьевна смеялась и весело отвечала:

— Мироеды есть... Старшина да староста есть... Сотские да урядники есть... И, наконец, фозги есть... Мужики разбегаются... общее разорение... голод... А рядом Стодневы да Ивагины, новые помещики, скупают землю, отбирают её у мужиков, обрабатывают машинами и торгуют хлебом... Ну, не будем, милый, спорить. Садитесь!

Мил Милыч умилялся, любовно смотрел на Елену Григорьевну, и мне чудилось, что у него на глазах появлялись слёзы.

— Милая вы моя девушка! Как вы похожи на мою покойницу жену!

Он садился к узкому краю столика, наискосок от Елены Григорьевны, которая устраивалась перед самоваром, и брал из её рук стакан густого чаю.

— Вот ваш любимый крепкий чай, Мил Милыч! Я радуюсь, когда он делает вас ласковым и сердечным. Я вы перестаёте быть вероучителем.

Он млея, слёзно улыбался и любовался ею.

Как-то она попросила его:

— Расскажите о вашей жене, Мил Милыч.

Он пристально и ошарашенно уставился на неё, потом встал и тяжело вздохнул. Мне показалось, что он застонал. Он опять заходил по комнате и впервые заволновался.

— Ну, Лёля, коснулись вы больно... до раны моей незаживающей...

Елена Григорьевна всполошилась и умоляюще протянула к нему руки.

— Простите, Мил Милыч! Я не знала, что это для вас мучительно...

Он встрепенулся и порывисто схватил её маленькие пальцы.

— Нет, нет, Лёля, я и хотел рассказать о ней... о Лизе... да всё мешали...

— А этот мальчик вам не мешает, Мил Милыч?

— Дети меня никогда не стесняют. Нет! Они чутки и озоруют от потребности в деятельности.

Елена Григорьевна с ласковым участием попросила его сесть. Он отрицательно мотнул головой.

— Нет, я так... я похожу... Мне так лучше... А чаёк буду отпивать глоточками... Я привык шагать по комнате... В тюрьме привык... в камере... ровно шесть шагов... Так я отмерил вёрст тысячу...

— Что же с ней случилось, с вашей Лизой?

— Погибла... в жертву себя принесла... Она была до болезненности отзывчива и до святости совестлива. В наше время молодёжь жила не так, как сейчас: она только и стремилась принести себя в жертву народу — страдать за него жаждала. Сколько их, этих молодых и талантливых девушек и юношей, сгорело! И все они старались раствориться в народе, чтобы их не видно было, чтобы о них и близкие люди забыли...

Елена Григорьевна встряхнула плечами и с недоумением улыбнулась.

— Этого я не понимаю. У человека одна обязанность — талантливо трудиться, расти, развиваться, а не отказываться от себя и от жизни.

— А я, Лёля, не изменил и не изменю моей прекрасной вере. Эта вера и людей делала прекрасными. Они отказывались от всех личных благ и шли в стан погибающих за великое дело любви. Вот и Лиза тоже...

Елена Григорьевна повторила вздыхая:

— Я этого не понимаю. Но преклоняюсь... Это подвижники... Ну, а Лиза, Лиза?..

Мил Милыч уже спокойно и раздумчиво шагнул из угла в угол, подошёл к столику, отпивал из стакана и гудел своим глухим басом:

— Мы работали вместе: она — учительницей, а я — в земстве. Но главное, чем мы были заняты, — это артели. Тогда в моде были артели, хоть все они скрипели...

Елена Григорьевна ответила с усмешкой:

— Потому что не за своё дело брались. Себя обманывали.

— Нет, нет, Лёля, — вознегодовал Мил Милыч: — Это было великое служение и великая вера. Вы, теперешние молодые, изверились. Артели-то эти да некрестьянские земельные общины погибали не по неопытности,

а оттого, что маловерие стало души разъедать. Говорили тогда: поумнели, отрезвели... а злые языки издевались сами над собой: «отрезвонили!»...

Елена Григорьевна нетерпеливо вскрикнула:

— И Лиза была этими артелями увлечена?

Мил Милыч ответил ей строгим взглядом.

— Да, она увлекалась — собственно, не самой артелью, а мечтами о будущем. Скорее всего она создавала себе свой рай. Да и характер у неё был беспокойный: ей нужно было действовать, бороться, гореть. Будничная, спокойная работа угнетала её. «Я не могу, Нил,— я умираю от скуки. Без подвига нельзя жить. А мы — подёнщики, батраки. Я не хочу ползать, как мурашка, хочу взлететь высоко, гореть не сгорая...» И вот однажды гуляли мы в лесу с друзьями. Через лес пролегла большая дорога. Вышли мы на опушку и увидели большую толпу арестантов и этапников. Гремят кандалы впереди, а позади мужики, бабы — босые, рваные. Бабы — с детишками, а детишки плачут... Лиза застыла в ужасе, постом бросилась к толпе и низко ей поклонилась.

Мил Милыч забыл о чае. Одной рукой он ворошил свои волосы, другой теребил бороду.

— Но что же дальше с Лизой? — спросила Елена Григорьевна как будто самоё себя, не слушая Мила Милыча. Она встала, прошла к окну, потом порывисто повернулась и так же быстро отошла к задней стене. Но сейчас же оторвалась от стены и оперлась обеими руками о спинку стула.

— Впрочем, я знаю... Я догадываюсь...

Мил Милыч вздохнул и, помолчав немного, ответил:

— Да. В тот же день она сказала мне: «Мы — разные люди, Нил. Ты хочешь спокойного дела, ты к малому сводишь великое. А я хочу гореть, волноваться, в грозе и буре народной быть. Я дальше так жить не могу. У нас разные дороги. Я должна с тобой расстаться, Нил. Знаю, что для тебя это удар, но пойми меня и прости». Уехала она как-то странно: весной, в слякоть, в бездорожье — уехала торопливо, на одноколке, с почтарём. Куда уехала — я не знал. Для меня она исчезла бесследно. Ждал я от неё весточек около года, но не дождался и сам пошёл пешком на Волгу. Работал крючником на пароходе, потом тянул лямку в бурлацких артелях и всё время искал её. Но она как в воду канула. В тюрьмах сидел годика два. И вот случайно наткнулся на заметку в астраханской газете, что подследственная такая-то покончила с собою в тюремной камере. Помчался я в Астрахань и узнал, что в порту рабочие бросили работы и собрались огромной толпой на берегу. Нагрянули казаки и начали нагайками и шашками разгонять людей. Тут и Лиза была: она, оказывается, работала среди портовых рабочих. Вы понимаете, что за работу она вела? Ну, её вместе с жожаками схватили. Избили всех до полусмерти. А Лиза не перенесла побоев и пыток. Я даже не мог добиться, где она была зарыта. Так-то вот... она хотела подвига... Ну, и добилась своего — крестную смерть приняла...

— Нет, дорогой Мил Милыч,— горячо запротестовала Елена Григорьевна.— Она боролась... за жизнь, за человека боролась... Она нашла свою дорогу, себя нашла...

На тошенькой, шелудивой лошадёнке приезжал верхом из Спасо-Александровки учитель Богданов, высокий парень с густым руном волос на голове, добродушный шутник. Он врывался в комнату размашисто, подхватывал подмышки Елену Григорьевну и вскидывал её вверх. И оба они хохотали от удовольствия.

— Чувствую, чувствую, Александр,— вскрикивала Елена Григорьевна,— новые стихи привёз...

Он не здоровался с Милом Милычем, а делал хмурое лицо и угрюмым басом мычал:

— Ну, конечно, тут и «последняя туча рассеянной бури...»

— А ты, Богдаша, «обняться с бурей был бы рад...» — смеялась Елена Григорьевна.

Мил Милыч обычно с недружелюбной насмешкой подсекал Богдашу:

— А он, мятежный, ищет бури... а буря-то мглою небо кроет!

Богданов вызывающе отвечал:

— Будет буря — мы поспорим...

— Эх вы... мечтатели! — сокрушённо вздыхал Мил Милыч. — В облаках витаєте. Знаем мы, чем кончаются некие мечты...

Тут уж наступала на него и Елена Григорьевна:

— Я думаю, что вы говорите не о близком вам человеке. Для меня, например, он — герой, за которым я хочу следовать.

Мил Милыч молча отмахивался и, занятый собою, бродил по комнате, упираясь бороною в грудь.

А Богданов шутил:

— На берегу пустынных волн, блуждал он, дум постылых полн, и в пол глядел...

Мне занято было следить за их перепалкой. Слова, которыми они перебрасывались, были мне хорошо знакомы. Эта игра стихами казалась мне очень красивой. Значит, можно разговаривать и чужими певучими словами, только надо уметь пользоваться ими кстати. Пусть это шуточный разговор, но мне нравилась эта необычная возвышенность речи в обычном разговоре. От этого и Елена Григорьевна и Богданов казались тоже необыкновенными, как в действе. Но Богдаша и сам был необыкновенный человек: он сочинял стихи и читал их Елене Григорьевне, — нет, не читал, а пел их, размахивал руками, грозил кому-то кулаком, и голос его гремел, или стонал, или становился жалобным, как у измученного человека. Он гневался и скорбел: везде видел рабов и мучителей, насилне и страдания, тюрьмы и цепи, но вдруг бодро призывал:

Смелее вперёд —

За народ!..

Елена Григорьевна хлопала в ладошки, а Мил Милыч, усмехаясь в бороду, мудро изрекал:

— Стишками от жизни не отделаешься. Жизнь — это будничная работа, это долг.

Богдаша кричал возмущённо:

— А мы хотим бороться за лучшую долю в самой гуще народа и впереди.

— Ага!.. Праздничка хотите, песенок, — ворчал Мил Милыч. — А жизнь жертв искупительных просит.

Александр Алексеич трунил над ним и старался растревожить его спором. Но он отмалчивался, как глухой, медленно шагая по комнате, или с сожалением упрекал Богданова:

— Напрасно пляшете, молодой человек: это не для меня. Я уже вырос из этих споров, как из пелёнок. Спорите — значит не уверены в своих мыслях, значит одолевают вас мухи сомнений.

Александр Алексеич смеялся:

— Забавная оговорка, Нил Нилыч: вы хотели сказать — мухи сомнений...

— Нет, именно, мухи сомнений. Для мук у вас нет мужества. А мужество — это совесть. Это — подвижничество и смирение, а не своеволие, юноша.

Александр Алексеич от этого его ворчания веселел ещё больше и старался раздражить и разозлить его — называл «лишним человеком», «нищим духом», «ходячей совестью», «живым мертвецом, который хочет погреться в этой комнатке около молодых»... Но Мил Милыч замолкал, грузно шагая по комнате и обдумывая какие-то свои недодуманные мысли.

В памяти моей он сохранился удивительно прочно и живо. Приземистый, коренастый, густо обросший волосами, он иногда поражал меня неожиданными поступками. Так, однажды, в морозный зимний день, он долго бродил по комнатке и, кажется, очень стеснял Елену Григорьевну. Наконец он оделся и, опираясь на свою толстую палку, покаялся со вздохом:

— Надоел я вам, надоскучил донельзя, милая Лёля. Знаю. Ругаю себя, распиною, а вот не могу побороть в себе потребности быть около вас. — И словно простонал: — Всё время вижу в вас мою покойную Лизу.

На дворе, у амбара, Феня изо всех сил старалась расколоть клиньями огромный комлевый чурбак. Дрова привезли учительнице из ермолаевского леса. Костя складывал уже расколотые поленья к стене амбара. Мил Милыч подошёл к Фене, взял у неё колун и сунул ей в руку свою палку. Елена Григорьевна, в шубке, в вязаной белой шали, подбежала к ним и с пристальным любопытством стала наблюдать за Милом Милычем. Он поплевал в ладони, перебросил колун из руки в руку и осмотрел его от конца топорища до обуха и лезвия. Вдруг глаза его посвежели от задорной улыбки и заставили улыбнуться и Феню. Он качнул перед собою колуном, широко размахнулся и вонзил его в сердцевину чурбака до самого обуха. Чурбак крикнул и звонко развалился пополам. Это был какой-то особый, рассчитанный удар наверняка. Так он без передышки расколол этот чурбак с первых взмахов на несколько поленьев. С такой же ловкостью и быстротой он развалил и второй, такой же чурбак и, передавая колун Фене, опять улыбнулся ей с задором в глазах.

— Наука нетрудная, милая Феня. Надо только знать, как дотронуться до сердца.

Он взял у неё палку и молча пошёл к воротам. Елена Григорьевна проводила его изумлёнными глазами, потом догнала у калитки, остановилась и вскинула руки ему на плечи.

— Ну, зачем вы обуздываете себя, Мил Милыч?.. Зачем скрываете себя настоящего?..

И она впервые проводила его на горку и скрылась с ним в улице длинного порядка.

Костя раздумчиво поглядел им вслед, ударил себя рукой по бедру и озадаченно проговорил:

— Судим и рядим о человеке: и неудачный-то, и бессловесный-то... А вот, поди ж ты... какие чудеса в нём скрываются!..

Феня вздохнула, улыбнулась и тихо ответила:

— Бессчастный-то какой!.. Сирота безродная...

А то произошёл с ним такой случай. Как-то в осеннюю распутицу, когда наш жирный чернозём превращался в невылазное месиво и по дорогам можно было проехать только верхом или пройти в высоких сапогах по бурьянным обочинам, между нашим селом и Ключами застряла в грязи по самые ступицы телега. Костлявая лошаде́нка барахталась по брюхо в липкой кашнице и никак не могла вытянуть телегу из этого болота. Измученный, истерзанный мужик в дырявом кафтане, утопая по колени в чёрном месиве, бил конягу, как безумный, и вожжами по рёбрам и кулаками по морде. Лошадь рвалась из оглобелей, храпела, шаталась, а потом грохнулась в грязь. Мужик бросился к ней и стал бестол-

ково метаться около неё. На телеге лежала баба в худодыром тулупе с ребёнком у груди.

Мил Милыч шёл из Ключей к Елене Григорьевне. Он не считался ни с погодой, ни с бездорожьём и каждый праздник шагал по просёлку от своей школы до костиной избы и обратно. Не раздумывая, он подошёл к мужику, оттолкнул его от лошади, рассупонил хомут, снял дугу и поводом понудил одра встать на ноги. Но лошадь даже не шелохнулась. Мил Милыч строго спросил, куда чёрт погнал мужика в такую распутицу, но мужик только всхлипывал и матерился. Баба, недужная, стонала и каялась, что это она виновата: это она, мол, умолила мужа отвезти её к нашей лекарке Лукерье, чтобы полежать у неё и полечиться вместе с хворым ребёнком, а то совсем смерть пришла. Мил Милыч хотел снять бабу с телеги, но она застонала: «Не хожу я, дяденька, ноги у меня отнялись». Тогда он взял ребёнка на одну руку, а другой помог ей сесть себе на плечи и велел держаться за палку. Баба завывала от стыда, но Мил Милыч шутливо пригрозил сбросить её в грязь. А она стонала и причитала: как это она на закорках у учителя среди людей очутится и какое бесславье будет на улице. Замолчала она только тогда, когда Мил Милыч пообещал ей, что пронесёт её не по улице, а через гумна.

Феня увидела из своей половины Мила Милыча с бабой на спине и, распахнув дверь в комнатку Елены Григорьевны, нетерпеливо позвала её:

— Скорей, скорей, Олёнушка! Чудо-то какое!

Костя стоял у окна и дивился:

— Человек-то какой! Ну, кто бы на его месте такую беду разделил?

Феня убеждённо и ласково ответила ему:

— А кто же, как не ты, Костенька... будь у тебя самосилье.

Елена Григорьевна так и застыла у окна в изумлённом порыве.

Мил Милыч без усилий шагал со своей ношей вдоль прясла к избушке Лукерьи, а на верху взгорка и у мазанок сиротского порядка стояли бабы и, поражённые, смотрели на это невиданное зрелище. Потом болтали в селе, что ключовский учитель подобрал на дороге, в топкой грязи, бабу, лежавшую без памяти с полумёртвым ребёнком, и не погнушался принести её на своих плечах к Лукерье.

Он пришёл к Елене Григорьевне, как всегда, тяжёлый, неуклюжий, старый для её девичьей комнаты. Но его встретила в сенях Феня и ввела не к Елене Григорьевне, а в свою половину.

— Только вы могли совершить этот подвиг, дорогой Мил Милыч, только вы! — растроганно встретила его Елена Григорьевна. — Каждый раз я вас вижу с новой стороны.

Он с застенчивым вопросом в глазах посмотрел на Костю и Феню.

— Мне здесь бы, у порога, сапоги снять. Очень уж много грязи принёс... Дайте-ка мне табуреточку. Оказия тут по дороге случилась...

И он нехотя и коротко рассказал, что произошло на дороге и как он принёс больную женщину и ребёнка к Лукерье.

— Редкий случай... Второй по счёту в моей жизни.

Феня спокойно и твёрдо сказала:

— На редкий случай и люди редкие бывают. На них свет держится.

Елена Григорьевна пылко схватила его грязные руки и взволнованно прошептала:

— Вы действительно редкий человек, Мил Милыч: вы, очевидно, не сознаёте своего подвига...

Но Мил Милыч с недоумением взглянул на неё, как на ребёнка, и поучительно возразил:

— Ну, какой там подвиг! Это делает каждый честный человек. А мы с вами, Лёля, в неоплатном долгу перед народом.

— О господи, какой вы должник? Трудовой человек не может быть должником. А вы всю жизнь отдавали себя людям.

— Э-э, чего там!.. Спросите вот Константина с Феней, они ответят вам, что мы — захребетники.

Феня сердито отвернулась и буркнула:

— И не слушала бы...

Елена Григорьевна засмеялась:

— Вот вам и ответ! Всю жизнь живёте вы с народом, а народа, оказывается, не знаете.

Костя с негодованием, но почтительно пожурил Мила Милыча:

— Умный вы человек... образованный... а какие глупые слова скаживаете...

— Не я говорю — мужик говорит.

— Мужик-то другое говорит: должники-то вон где — на горе помещик, а на той стороне — Сергей Ивагин да всякие мироеды.

Я кинулся к Милу Милычу, вцепился в его сапог, весь заляпанный грязью, и изо всех сил стал стягивать его с ноги. Но Мил Милыч оторвал мои руки от сапога и укорительно улыбнулся мне.

— Я, паренёк, чувствую твоё сердечко. Спасибо! Но даже ребятишкам не позволяю услужать мне. Я привык сам о себе заботиться. Хочу с совестью жить в ладу.

И он быстро и легко снял сапоги.

— Женщина-то совсем плоха. Должно быть, недавно родила и не береглась. Не к знахарке её надо бы, а в больницу... И младенец — при последнем дыхании... А лошадёнка-то у мужика рухнула и не поднялась. Эх, терпением изумляющий народ!..

— До поры, до времени!.. — заволновался Костя и погрозил кому-то своей здоровой рукой. — Мы и терпели и дрались... Потерпим до новой драки... Хвалиться терпением нечего: лошадь-то вон больше нас терпит, да доля её — в грязи подышать, а человек живой верой живёт...

Мил Милыч в толстых шерстяных чулках сидел на табуретке у печи, недалеко от двери, и, опираясь ладонями о колени, думал о чём-то, улыбаясь в бороду.

— Вот это правильно. Именно, так. Верой живёт народ. Терпит — значит верует, а верует — значит всё вынесет. А во что верует? Не в бога, не в чёрта. В себя верует, в силу свою великую, в счастье своё, в будущее... Об этом и сказки создал. У кого есгь такие сказки, как сказки о жар-цвете, о жар-птице, о разрыв-траве?.. Ни у кого нет. Вот в этой вере я ещё сильнее укрепился после одного испытания.

Феня налила из ковша воды в глиняный умывальник, который висел на верёвочке над лоханью, и учтиво пригласила Мила Милыча вымыть руки. Он послушно встал и подошёл к умывальнику. Елена Григорьевна не сводила с него глаз и вся светилась от волнения, словно увидела в нём что-то новое, поразительное, о чём и не догадывалась. Необычна была и его словоохотливость. Феня стояла с холщовым полотенцем в руке и молчала, прикрывая ресницами глаза. Костя слушал внимательно и вдумчиво, как будто проверял каждое слово Мила Милыча.

— На Волге это случилось, под Вольском...

И он коротко, просто и буднично рассказал, как он целое лето работал в артели бурлаков: не скидая лямки с плеч, тянул барки от Астрахани до Нижнего.

— Лето тогда жаркое было, суховейное, словно и само небо горело. Из-за степей Заволжья мутью летела знойная пыль. Кожа трескалась, слезились глаза. А мы, артелью человек в двадцать пять, — и молодые и пожилые, — в хомутах, привязаны были к длиннейшему канату постромками и тянули гружёную баржу вверх по Волге, тянули неделями, ме-

сяцами, с раннего утра до полуночи. Шли босиком по прибрежным камням, по топям, по зыбучим пескам. Ноги у всех покрывались ранами, разъедались водой и грязью, а плечи и грудь растирались до мяса. Кровью плакали люди. На этом страшном пути одни убегали, другие отставали от надрыва, а на их место пригоняли новых. Харчи были плохие, и скудные, а заправили на барже пьянствовали и бесчинствовали с прибудными бабами. В один из таких адских дней, перед Вольском, бурлаки выбились из сил. Лица на них не было — все, как безумные, на арканах металось. Кто-то заплакал навзрыд, кто-то выл и задыхался от невыразимой ругани и проклятий. Рядом со мной — а мы впереди шли — тянул свою лямку молодой парень, смирный такой, старательный. Мечтал всё, что рассчитается в Самаре, воротится домой с деньжонками и женитесь. Вдруг, этак в полдень, когда, казалось, и дышать было нечем, а солнце жгло, как огонь, упал он под лямкой как подкошенный. Люди переполошились, обомлели и совсем пали духом. На барже — тоже переполох, только пьяный. И тут меня словно осенило: надо ободрить людей, надо зажечь в них дух, сплотить их верой в свои силы, отвлечь их от ужаса, иначе мертвец убьёт их... Подхватил я тело парня, вскинул на плечо и крикнул всей грудью: «Братцы! Друзья! Вперёд! Ведь мы же русские люди, а русский народ никогда не боялся трудностей и никогда не падал духом. Видите, Вольск-то уж рядом... Не бросим товарища, а с честью донесём его до могилы...» И как-то само собой вышло: запел я песню, которую все мы часто под лямкой пели:

Ой, ребята, не робейте —
Свои силы не жалеете!..
Коли нужно,
Ухнем дружно!..

И сам поразился: словно парень-то ожил и вместе со мной запел. Как будто всех живой водой окатил: вся артель встряхнулась и подхватила песню. Все пошли дружно, согласно, с новыми силами.

Он замолчал, улыбаясь сам себе, но лицо его помолодело, засветилось, и он стал лёгкий, весёлый, с задором в глазах.

— Это я так вспомнил... к случаю... Всякие бывают у людей неожиданности...

Феня всё время глядела на него и улыбалась. Потом потушила улыбку, опустила ресницы и ушла в чулан. А Костя с удивлённой улыбкой спросил:

— И что это за нелёгкая погнала вас в бурлаки-то? Образованный человек — и в бурлаки... Не лезет мне это в понятие...

Елена Григорьевна, взволнованная, бросилась к двери.

— Побегу к Лукерье — осмотрю больную... и ребёнка... Может быть, сегодня же отвезу её в Верхозим, в больницу... Лошадь возьму у Паруши...

И выбежала из избы.

XXIV

Иванка Кузьяр заходил к учительнице редко: он после школы занят был своим хозяйством. Да и по праздникам чаще всего пропадал у Микольки в пожарной, где вместе с Семой играли в «чушки», или в «козны», или в «чкалку». Игра в «чкалку» была одна из любимых игр. Нужно было заострённый с обоих концов дубовый короткий обрезок, похожий на ткацкий челнок, ударить палкой по острому концу и, когда он вертушкой взлетал вверх, поддеть его палкой посередине и стрельнуть им как можно дальше.

Но меня неудержимо тянуло к Елене Григорьевне: у неё постоянно были новые книжки на столе и иллюстрированные журналы. А прежде всего я любил её до слёз. Быть около неё, чувствовать её близость, слушать её милый голос и звонкий смех, дышать ароматом её комнатки — какое это было наслаждение и счастье!

Она усаживала меня на новенький дубовый стул, аккуратненький и весёлый. Эти хорошенькие стулья сделал ей колченогий Архип, а стол, сверкающий полировкой, прислал чахоточный молодой Измайлов. Железная голубая кровать была покрыта розовым одеялом с белоснежными подушками.

Я рассказывал Елене Григорьевне о рыбаках, о действе про Стеньку Разина, об Иване Буяныче, о наших деревенских событиях. С волнением изображал ей, как нагрянула полиция, как пороли Костю и мужиков, как связали и увезли Тихона с дружками в стан и, затерзанных, отправили в городской острог. А однажды сообщил ей, что мужики тайно собирались по ночам за селом у кладбища и в ямах у болотца, что к ним приходил и Антон Макарыч.

Она с мягкой строгостью журила меня:

— Зачем ты об этом говоришь? Раз это тайна, то обязан молчать. А вдруг я нечаянно проговорюсь где-нибудь — кто будет виноват? Ты. Надо уметь тайны хранить.

Но я верил ей и всем своим существом чувствовал, что она — заодно с нашими мятежниками. В знающей её улыбке была такая ласковая теплота, такая умная проникновенность, что я пылко открывался перед нею:

— Я вам всё буду говорить. Ни перед кем слова не пророню, а перед вами ничего не утаю.

С тревожной задумчивостью она предупредила:

— Будьте с Ваней осторожны. Берегитесь. Есть недобрые люди, которые ради своих мерзких целей не пощадят и детей.

Как только заходил в комнатку Антон Макарыч, я вскакивал со стула, здоровался с ним и бросался к двери.

Он хватал меня за руку и дружески улыбался.

— Догадливость — родная сестра чуткости.

Эти его слова очень мне нравились: они звучали красиво, как песня или обрядная приговорка. Елена Григорьевна краснела, глаза её радостно сияли, и вся она становилась лёгкой, как будто крылатой. Она подлетала к Антону Макарычу и хватала его за руки.

— Наконец-то!

И уже не видела меня. А я опрометью бежал к речке и низом, мимо колодца, через вётылы, торопился к пожарной, где играли в «чушки» или в «чкалку» мои товарищи. Меня они встречали завистливыми насмешечками и обидными намёками: Миколька первый притворно удивлялся, прерывая игру:

— Глядите-ка, ребяташки, у приبلудной собачонки — хвост крючком и ушки на макушке!..

Сёма сердито стыдил меня:

— Эка, повадился к учительнице-то... Аль не чуешь, дурак, что ты — надоеда? К ней люди приходят, а ты торчишь у неё, как нищий у порога.

Но Иванка, как верный друг, мужественно заступался за меня:

— Не робей, Федюк! Это они завистничают. Да мне и самому завидно. Хочется погостить у Елены Григорьевны, а тут и по праздникам в домашности вязнешь, как муха в киселе.

Но эти встречи расстраивали меня. Не миколькины издёвочки, а упрёки Сёмы терзали меня. Мне стыдно было сознавать, что я назойливо надоедаю учительнице, что не сам я почувствовал свою дурацкую наянли-

вость, а вот они, друзья мои, уже давно осудили меня за это. Они заняты работой, а я убегаю из дому к учительнице, чтобы понаслаждаться близостью к ней, не думая о том, что я мешаю ей и не даю отдохнуть свободно. Может быть, и Миколька и Иванка нашли бы время пойти к Елене Григорьевне, но они совестятся: не принято вваливаться в избу к соседям без нужды, а к учительнице и подавно.

Однажды я целую неделю после школы сидел дома или пропадал в кузнице и раздувал мехи. Потап стал молчаливый и какой-то растерянный, как побитый, а Петька уже не покрикивал на него, хотя распорядился здесь, как опытный и разумный хозяин. Потап, словно его работник, слушался его и робко спрашивал:

— Аль так, Петенька?

И сразу же соглашался:

— Ну, ежели так, перетакивать не буду.

С тоской в сердце я шёл к Кузюрю, поднимаясь от колодца на гору, подалее от костинной избы, чтобы Елена Григорьевна не увидела меня из окна. Кузюрь обычно возился где-нибудь под навесом над старыми отцовскими санями или над изношенным хомутом, или сгребал навоз. Я помогал ему чистить двор, или тесал ему новые костыли на полозья, или вместе с ним ходил на гумно и ташил, как и он, на спине пухлую вязанку соломы на корм лошадёнке и коровёнке. Как-то он лукаво спросил меня:

— А почто к учительнице не идёшь? Она, чай, ждёт тебя...

Это был удар в самое сердце. Я бросил на землю свою вязанку и зарорал:

— Чего ты ехидничаешь? Ежели драться хочешь, так давай!

Он с умненькой улыбочкой тушил мою вспышку:

— Чай, я шутейно, чудак... А драться нам нельзя: у нас с тобой — содружье. Да и выросли мы... Да и делов — до чёрта. Вот зимой, на святках, погреемся! Давай лучше сговоримся к Елене Григорьевне вместе заходить, когда велит. Я умею с ней разговаривать: она любит слушать и быть мою и небыль.

Я опять взвалил на спину солому и возмутился:

— Ну и привычка же у тебя — врать и врать! Какая тебе от этого спорынья?

Тут он сам сбросил свою вязанку соломы, и худенькое личишко вдруг стало острым, а глаза широко открылись и сверкнули от негодования. Он сжал кулаки и угрожающе шагнул ко мне.

— Ты на драку нарываешься, да? Это когда я врал?

Я тоже сбросил свою ношу и стал перед ним грудь в грудь.

— Про волков врал? Про грачей врал, что они тебя на своих крыльях спустили? Про цаплю врал?

Мы столкнулись с ним злыми взглядами и оба засмеялись.

— Я никогда не врал, а выдумывал. Сказки вот аль былины — враньё аль выдумка? Пушкин, Гоголь — врали они аль выдумывали? Скажи-ка учительнице, что Гоголь врал про Вия да про Страшную месть — она тебя так оконфузит, что места не найдёшь. Ну, а ты про Ивана Буяныча рассказывал. Врал ты аль выдумку сказывал? Врут дураки и трусы, а выдумывают разные сказки даже в евангелие: помнишь, Христос Лазаря из гроба воскресил, из воды вино делал... Надо так выдумывать, чтобы сам будто своими глазами видал, да чтобы люди поверили. Ну, поднимай свою вязанку — пойдём! Ведь я выдумываю потому, что у меня из души прёт.

Он говорил так горячо и убедительно, что я был совсем обезоружен. Против его рассуждений и доводов нельзя было возражать. Он был поэт

в душе и создавал всякие небылицы в лицах так правдиво и красочно, что сам был убеждён в их достоверности. В эти минуты он хорошел: карие его глаза закипали, весь он напрягался, а игрой лица и руками и всем телом очень живо изображал вымышленные события. Да, он не врал, а просто творил жизнь, преображал её по-своему. Он никогда не унывал и не жаловался, а только злился и ругался сквозь слёзы, если приходилось ему особенно тяжело. На его месте другой парнишка надорвался бы, бросил бы всё и убежал, куда глаза глядят. Но его поэтические вымыслы создавали сказочные образы, как действительность, и озаряли его жизнь мечтами и чудесными призраками. В его тяжёлой, безрадостной доле эти полудетские мечты рождались сами собою, как животворная сила.

(Продолжение следует)



ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

НОВЫЕ СТИХИ

С белорусского

ТЕПЛОХОД «УКРАИНА»

Вот плывёт он по морю,
Словно белая льдина;
Волны синие гонит
Теплоход «Украина».

Долго-долго вдогонку
Им бежать и клубиться...

А мне видится — море,
Море спелой пшеницы.

А мне видится небо
С горизонтом бескрайним;
А мне слышится гомон,
И комбайны... комбайны...

А мне чудятся сёла,
Побелённые хаты;
А мне слышатся песни,
Что заводят девчата...

— Добрый путь, «Украина»!
Рад, что встретились снова.
Скоро будешь ты дома,
У причала родного.

Передай, передай же
Из Одессы ты синей
Мой привет белорусский
Дорогой Украине!

По озёрам Надвинья,
У родимой дубровы
В песнях слышал не раз я
Украинское слово.

Мне поведал Шевченко
О житье, что минуло,
Что в курганах днепровских
Со слезами уснуло.

И куда я ни гляну —
Там теперь год от года
Поднимаются всюду
Великаны-заводы.

И куда ни поеду
Вновь с родной Беларуси —
Всю отчизну большую
Я увидеть стремлюся:

И Москву, и Поволжье,
Весь Союз наш родимый,
Где навеки сроднились
Дружбой мы нерушимой.

* *
*

Такая пора, видно, в жизни настала,
Что сердцу взгрустнётся — лишь глянешь назад.
Пожил, исходил я на свете немало,
Всего повидал, чему рад и не рад.

А вот, если спросят — чего бы желал я,
Чему позавидую в жизни сейчас? —
Сказал бы: — Завидую детям я малым,
Глазам их пытливым, что радуют нас.

Им в жизни своей, что нам сказкой сдаётся,
На светлых просторах родимой земли
Такое увидеть ещё доведётся,
О чём лишь мечтать мы с тобою могли!

Хотел бы в те дни я с любимым человеком
Трудом вдохновенным означить свей путь,
Чтоб вдаль с середины двадцатого века
К потомкам — в их будущий век — заглянуть.

КРИНИЦА

В раздумье поэт
целый день пробродил:
«Ну чем бы ещё
мне теперь вдохновиться?..»
Потратил на поиски
много он сил
И вдруг на лугу
замечает криницу.

Глядит: а она
вся прозрачна до дна,
И пей целый год —
никогда не убудет.
— Скажи, — он спросил, —
отчего ты ясна?
И что так тобой
не нахвалятся люди?..

И слышит, что плещет
волною живой
Поток серебристый,
звenea под травую.

Блеснула криница
 кристальной струёй,
 И звонкой ему
 отвечает водою:

— Стремись любовь ты
 народа найти,
 Чего я такая,
 тут зря не дивися:
 Как землю я —
 толщу народа пройди
 И смело тогда
 на себя оглянися!

* *
*

Где двадцать лет тому назад
 Желтел лишь дёрн затравенелый,
 Теперь поднялся шумный сад
 И вдаль плывёт, как парус белый.

Трудились люди много дней,
 Пока пригорок этот ожил,
 Чтоб каждой яблоней своей
 Сад удивлял весной прохожих.

Расцвёл он, будто свет разлил,
 И аромат вокруг разносит...

— А ты хоть кустик посадил? —
 Пусть у себя здесь каждый спросит.

* *
*

Гармонист на улице играет;
 Не меня ль гулять он вызывает?
 Пусти, мама! Сердце замирает...
 Я ж ещё девчонка — знает сам он.
 Пусти, мама!

Лишь однажды — всем на удивленье —
 С ним прошлась я, помню, в воскресенье.
 А сегодня — майский день весенний...
 Я не знаю, что мне делать прямо?
 Пусти, мама!

Не пойду я улицей широкой,
 Буду слушать песни издалёка;
 А как встречусь — притаюсь сбоку,
 В стороне от девичьего гама...
 Пусти, мама!

СЧЕТОВОД

Всё чаще говор меж девчат
 У нас в селе идёт:
 — Нигде такого не сыскать,
 Как Янка-счетовод!

— Пускай он ростом невысок
И волосы, что медь;
А тронет счёты — цок да цок —
Завидно поглядеть.

— Сидит,
За ухом — карандаш,
И цифр выводит тьму.
И биллион и триллион —
Всё нипочём ему!

— Сочтёт он все цветы в садах,
И травы на лугах,
И сколько зёрен —
Лишь спроси —
В колосьях на полях...

— А пишет:
Буквы, словно мак,
Из маковки летят!

Но всё сидит
И не глядит
Наш Янка на девчат.

А у девчат на всё свой глаз:
— В миллионах он — герой...
Да вот подружки насчитать
Не может и одной!

БОНДАРЬ

Наш бондарь гордится работой своею:
Кленину отрежет, просушит ночами
И клёпок себе заготовит набор.
Приладит их ровно, подгонит плотнее
И, дважды потуже связав обручами,
Он звонкое днище поставит в зазор.

Потом все бугры, все сучки подравняет,
Чтоб их не найти и придире-хозяйке,
Когда она в руки поделку возьмёт.
И вот уж бочонок звенит, оживает —
Красивый и чистый во всём без утайки,
И кажется мастеру — словно поёт...

Так с нами в часы вдохновенья бывает:
Над вещью работаешь ты, над отделкой,
И счастлив, когда она краше на вид.
Прикинешь на солнце: горит — золотая,
На дно её глянешь: увидишь — не мелко,
Рукою ударишь: и слышишь — звенит!

Перевод Дмитрия Осина.



В. ТЕНДРЯКОВ

★

НЕНАСТЬЕ

Очерк

Сперва в обледенелых лунках появилась зеленоватая вода. Потом потекли ручьи — и открыто играющие весенней солнечной рябью, и потайные, скрытые под толщей ноздреватого, отяжелевшего снега.

Весна разворачивалась, как по заказу.

Неделю-другую в густой чаще лесов, на склонах оврагов, под кручей речных берегов ещё можно было встретить крупичатый, жёсткий, словно кучи серой соли, снег. Но и он скоро исчез.

Подсохла земля, начался сев.

Случалось, что простаивали тракторы, случались и перебои с подвозом горючего, кое-где были задержки с семенным материалом, но на погоду по всему району не жаловались. Только в деревне Малютино девяностолетний старик Тит Малютин, глухой, по слабости ног не отходящий от своего плетня, каркающим голосом вещал соседям:

— Не радуйтесь загодя-то... Уж попомните моё слово — круто повернёт. Чую!

Никто не верил ему. Да и кому же хочется верить в несчастье, когда нет на то причин. С утра до вечера на чистом небе дежурит по-весеннему горячее солнышко; над землёй — влажной, распаренной, — трепеща, поднимается прозрачный воздух; закаты чисты — спокойного золотистого цвета. Нет причин быть непогоде.

И вот на девятый день сева, в самый его разгар, ударила первая гроза. Тяжёлый и плотный ливень продолжался часов шесть. Просёлочные дороги превратились в мутные речки, из каждого оврага, из каждой лошинки слышалось рычание бешеной воды, лесные реки сразу поднялись, вышли из берегов; по ним, качаясь и перевёртываясь, поплыли коряги и выворотни. На вспаханных полях земля превратилась в грязь, в иных местах по пашне разлились настоящие глинисто-мутные озёра.

С этого дня и пошло — гроза за грозой, ливень за ливнем... Изредка среди дня выглянет на час-другой из разлохмаченных туч солнышко, полюбуется сверху на украшенную лужами и протоками землю, порадует — ах, хорошо блестит! — и снова скроется. Снова выворачивающие душу раскаты грома; снова хлещет по осклизлым крышам, по лужам ливень; снова несутся во все стороны мутные, пузырящиеся ручьи.

Залило землю, остановился сев.

На опушке хилого леса — тощего ельничка да соснячка вперемежку с ольховыми кустами, — там, где каждую осень сочными красными ягодами покрываются брусничные кочки, стоит посреди круглого дернового холмика невысокий столб, потемневший от непогоды. По одну его сторону — земли колхоза имени Игната Малютина, по другую — земли колхоза «Власть труда».

Если спросить, чьи земли лучше, ответят: «Какой разговор!.. У малютинского колхоза больше половины земли под лесом, под болотами да под кустами, — что толку в такой земле. У «Власти труда» только кой-где строевой лес стоит, а так — всё пашня да луга добрые. Не сравнишь».

Сейчас не сравнишь, а все помнят, что лет двадцать тому назад как у тех, так и у других были одинаковые земли: лес, болотца, дремучий кустарник и среди всего этого клочками — поля. Луга же — просто там, где кусты: растёт трава, выбирай, где можно, из-под кустов косою.

В колхозе имени Малютина за эти двадцать лет председателей сменилось без числа. Что ни год, то выбирали нового, а сорок шестой год остался в памяти как особо «урожайный» на председателей — четырёх сменили одного за другим.

В колхозе «Власть труда» девятнадцать лет подряд бесменно работал Матвей Жгутов. При нём выкорчёвывали леса, при нём болота осушили под луга, при нём распахали целинные земли, развели скот...

Год назад Матвей Жгутов умер...

Около столбика, разделяющего колхозные земли, встретились два председателя. Они курили, зябко ёжились от сырости и, поглядывая на небо, неторопливо беседовали. Дождь перестал на часок. В тёплом неподвижном воздухе пахло мокрой хвоей. Вверху лениво разворачивались тяжёлые облака: там шла подготовка к новому ливню, которому предстояло обрушиться на землю, и без того захлебнувшуюся от воды.

Председатель «Власти труда» Павел Ложечников — в высоких болотных сапогах, в вытертой кожаной куртке, с чисто выбритым приятным лицом сельского интеллигента — говорил с усмешечкой. Ему, как преемнику знаменитого Матвея Жгутова, хотелось сейчас показать, что и в это тяжёлое время он не потерял головы.

— Растерялся народ, — говорил он. — Сперва грянуло — пугались: «Ой, сорвётся весна». Потом зачесались: «Давно такого не бывало». Теперь уж только и толкуют о том, что старики не помнят... быть осенью без хлеба, вымокнут посевы... Растерялись люди.

Его собеседник, один из очередных председателей малютинского колхоза, Андрей Малютин, был, в противоположность Ложечникову, простоват с виду. Лицо широкое, грубоватое, к тому же сейчас сумрачное, небритое; сам он приземистый, несколько мешковатый; не только сапоги, но и брюки, полы пиджака забрызганы грязью.

— Тут растеряешься, — сипловатым, простуженным голосом ответил он. — Старики не помнят? Не знаю... Они народ непамятливый. Я по себе сужу. Сорок пять лет живу в этих местах, а не случалось видеть такого. Растеряешься...

— А что теряться? Укажут сверху — будем делать.

— Плохо, брат, на дядю надеяться. Своей головой надо думать.

— А ты думал?

— Думал.

— И до чего же додумался?

— Не до того, чтоб дожди остановить. Конечно, часть хлеба вымокнет, но тот, что раньше посеян на высоких местах, останется. Теперь настаивают продолжать сев. Вот уж это бессмыслица. В грязь бросать зерно.

— Есть пословица — брось в грязь, будешь князь.

— Ты, Павел, агроном, что ж ты побасенками себя успокаиваешь? Не хуже меня понимаешь — посеи сейчас, не вырастет ни черта. Под такие ливни бросить семена — посмывает.

— Ждать прикажешь, когда ливни кончатся да земля подсохнет? Наши места — низина, болота... Они месяц подсыхать после такой бани будут. Какой расчёт среди лета сеять?

— И сейчас и потом нет расчёта. Хочешь не хочешь, придётся оставить незасеянной землю до осени, вместо яровых по этой земле посеять озимые.

Ложечников присвистнул.

— Эвон!.. Да кто тебе разрешит план сева срывать?

— Разрешат. Не пускать же на ветер сотни центнеров семян да людскую работу. А план сева уже сорван. Природа его сорвала. Сам сказал: земля только к лету подсохнет. И на войне умным генералам приходится временно отступать. У нас драка с природой, почему бы и нам не отступить временно, чтоб потом упущенное наверстать?

— Стратег! — Ложечников насмешливо разглядывал Андрея Малютину.

Тот стоял, широко расставив ноги в грязных сапогах, и торопливо докуривал обжигавшую пальцы цыгарку.

— Может быть.

— Сегодня в село приедет Нил Степанович, будет совещание... Слышал?.. Так ты ему скажи.

— Скажу. Другого-то всё одно не придумаю.

Они побросали в лужи окурки, кивнули друг другу головой — «до вечера!» — и пошли к своим лошадям, пощипывавшим у деревьев мелкую мокрую травку.

Павел Ложечников первый ускакал чавкающей рысцой.

Глухой гром прокатился над землёю. Андрей Малютин отстегнул от седла тяжёлый брезентовый плащ, не просыхавший уже дней пять, и стал торопливо его натягивать.

Опять ливень. Как это тяжело, как тоскливо!

Пробивая плотную стену дождя, влезая по радиатор в мутные, кипящие потоки, с трудом пробирался по размытой дороге «газик».

Рядом с шофёром, утонув в капюшоне плаща, сидел секретарь райкома Нил Степанович Глухарев. Он сидел прямо, не шевелясь; даже толчки и рискованные крены, которые принимал лёгкий «газик», не могли вывести его из неподвижности. Из-под капюшона Глухарев устало глядел на качавшийся по ветровому стеклу «дворник».

Сев шёл хорошо. Каждый день на стол Глухарева ложились сводки — посеяно столько-то, забороновано столько-то. День за днём цифры уверенно росли. И вот — стоп! Сводки попрежнему ложились на стол секретаря райкома, а цифры в них замёрзли. Передай в область, что виноват дождь, безудержно разгулялась стихия, — ответят коротко и жёстко: «Нам нужны не отговорки, а выполнение плана!» Ждать конца ливней уже бессмысленно. Земля не просохнет ко времени. Такие уж здесь места, что легко заливаются да медленно сохнут.

Было ещё одно обстоятельство, которое для Глухарева волей-неволей связывалось с несчастьями этой весны.

В прошлом году, во время уборки, в районной газете поместили заметку, в которой говорилось, что уполномоченные райкома Скороходов, Мошкин и инструктор Бобров подменяют председателей, занимаются в колхозах самоуправством. Правда, робко, издали был задет и он, первый секретарь. Ещё не вышедший номер газеты, как всегда, к Глухареву принёс редактор. Глухарев прочитал и сказал:

— Мной были посланы товарищи, я за них отвечаю, будет нужно — сам их накажу! Немедленно вынуть из набора, заменить!

Редактор не посмел послушаться. Заметка исчезла, её место заняли советы врача — «Как уберечь детей от коклюша». Зато в областной газете неожиданно появилась целая статья — «Товарищ Глухарев зажимает критику». В обкоме, верно, с этой статьёй ознакомились раньше газеты. Глухарев был срочно вызван на бюро.

Сказать во всеуслышание: секретарь райкома — зажимщик критики, — это почти равносильно тому, чтобы снять его с работы и, быть может, даже с партийным выговором.

Спасло Глухарева то, что он был старый работник, что у обкома не нашлось под рукой человека, который мог бы заменить его в районе. Но вчера не нашлось — сегодня, может, и есть замена. Глухарев признал все ошибки. Признал на бюро обкома, признал на районной партконференции и сейчас всеми силами хотел загладить свою вину.

А как загладить?.. Секретаря райкома меряют по району. Хороши дела в районе — хорош и секретарь; плох район — вспомнят не только, в чём виноват сегодня, но и прошлые грехи, — это уж непременно...

Из области требуют: «Выполняйте план сева», а сев стоит. С каждым днём всё страшнее, всё невыносимее становится видеть лежащие на столе сводки. Порой хочется кричать от боли и страха. Надо сеять! Надо сдвинуть замёрзшие цифры!..

Дождь хлестал. По обочине дороги проступала обрадованная облию воды молодая травка. Молодо зеленели и деревья, обступившие дорогу. Сперва глухо, словно из самой глубины, из утробы неба, заворчал гром и прорвался... Казалось, всё, что висит сверху над землёй, лопнуло, с грохотом рухнуло вниз.

— Мать честна! — охнул шофёр и рывком остановил машину.

Шагах в ста впереди высокая старая берёза медленно-медленно стала падать на дорогу. С треском рухнула, вверх взлетели комья грязи, мокрые сучья.

— Молнией сшибло... Ну и ну! Так, гляди, и в нас влепит. Очень даже просто... Справляй тогда поминки о безвременно погибших на трудовом посту... — Шофёр пробовал шутить, но его страх и изумление выдавал более громкий, чем нужно, голос.

С минуту стояла жутковатая тишина. Только дождь бил в брезентовую крышу. Снова грохнул гром.

— Поехали, опаздываем, — недовольно сказал Глухарев.

Шофёр долго нажимал стартер, «газик» взывал жалобно и не мог тронуться с места, — казалось, даже машина боялась двигаться под расщепившим небом.

Объезжая упавшую берёзу, шофёр ещё раз вздохнул:

— Могли и под неё подвернуться. А умирать-то рановато, Нил Степанович...

Глухарев молчал. Он попрежнему прямо и неподвижно сидел в машине, попрежнему смотрел на «дворник», слизывающий со стекла воду.

В сельсовете уже все собрались: партийные активисты из колхозов, председатели...

И по тому, что было уже достаточно густо накурено, по тому, что не сразу заметили вошедшего Глухарева, — увлеклись разговором, — можно было сразу понять: собрались давно, ждут.

В центре, оседлав стул, поблёскивая внушительной лысиной, Павел Ложечников, посмеиваясь, говорил через головы окружавших его людей Андрею Малютину:

— Мало ли что ты хочешь! Если б тебя спросили. А то просто заставят — делай и точка.

Малютин стоял спиной к окну, хмуро слушал. Он первый заметил остановившегося в дверях Глухарева.

— Что там болтать зря, — оборвал Малютин Ложечника. — Вот Нил Степанович приехал, поговорим всерьёз, без всяких если бы да кабы...

При виде секретаря райкома на всех лицах сразу появилось одинаковое выражение, словно каждый вдруг почувствовал как-то повинным себя в свалившемся на их головы несчастье и в то же время был рад, что наконец пришёл тот, кто сможет, кто обязан помочь.

Чутьём человека, много лет распоряжавшегося людьми, Глухарев уловил это настроение вины и надежды. И хотя с минуту назад у него самого было подавленное настроение, он без всякого усилия принял спокойный, уверенный вид, громко поздоровался, не торопясь, снял плащ, одёрнул гимнастёрку. Он был высок ростом, широк в плечах, его статную фигуру даже не портил чуть выпиравший через ремень живот. И люди сразу приободрились: не так уж страшен чёрт, выход есть, его сейчас укажет Нил Степанович, он знает, иначе не держался бы он так спокойно.

Глухарев сел за стол, обвёл взглядом собравшихся и усмехнулся:

— Что ж, братцы, сырость, гляжу, настроение испортила.

Все с радостной готовностью приняли шутку.

— Что и говорить, подмокли малость.

— Авось не растаем.

— И откуда такая прорва воды?

— Старики не помнят...

Глухарев дал выговориться.

— Вот и потолкуем по душам, без всяких там президиумов, без протоколов. Сев-то остановился, товарищи. Срываем план!..

Люди притихли, поняли, что шуткам конец, начался серьёзный разговор.

— Что делать? А? — этот вопрос Глухарев задал, многозначительно прищуриваясь, давая понять, что спрашивает для проверки, а ответ ему давно известен.

Тихий, всегда державшийся в стороне на совещаниях председатель колхоза «Искра» Четвертнов вздохнул:

— Нельзя сеять. На поля-то и ступить страшно.

— А вы ступите, не бойтесь ноги испачкать. Надо во что бы то ни стало сеять!

— Сеялки не идут, Нил Степанович. Ни трактора, ни кони не тянут.

— Придётся руками сеять, товарищи. Ждать больше нечего, июнь на носу. Руками! Не так уж и много осталось — справимся.

— Порядочно, — несмело вставил Четвертнов. — У меня двести гектаров. Поля вязкие, глина... Не отдыхая, через поле-то и не перейти, ноги вязнут. Сеяльщик руками в день никак гектар не засеет. Я пятнадцать сеяльщиков наберу, не больше. Летом закончим сев-то.

— Закончишь летом, будешь отвечать! — Под прямым, суровым взглядом секретаря райкома Четвертнов зябко поёжился. — Не пятнадцать сеяльщиков на поля выпустишь, а пятьдесят. Молодёжь научишь с лукошками обращаться, женщин, сам в руки лукошко возьмёшь, бригадиров заставишь!..

— Разрешите мне слово сказать, — поднялся Павел Ложечников. Высокий, подобранный, с обширной лысиной над широким лбом, делавшим его бритое подвижное лицо внушительным и умным, он заговорил, подчёркивая каждую фразу лёгким движением своих тонких рук. Он начал с того, что вина за все несчастья в первую очередь должна лечь на плечи МТС.

— Если б трактористы работали не так плохо, разве столько бы осталось недосеянного? Нет! Остались бы какие-то мелкие куски, с ними мы бы легко справились. А тут у меня и вот у Четвертнова — по двести гектаров почти, у Малютина — сто с лишним, — у него площадь пахотная поменьше, — как тут быть? Тяжёлое положение, товарищи...

Голос Ложечникова был богат интонациями. Когда он говорил об МТС, его голос звучал резко, с вызовом, когда перешёл к недосеянным гектарам, появились печальные нотки, когда сделал вывод — думай не думай, а сеять надо, — голос окреп, бодрость зазвучала в нём.

— Нам государство спустило план. Государство на нас надеется. Мы обязаны выполнить план. Четвертнов сейчас разводил беспомощно руками... Товарищ Четвертнов, можно посеять! Можно! Правильно — по залитым полям с полным лукошком через плечо трудно ходить, но выход есть! Я посажу всех своих сеяльчиков на лошадей, и они станут засеивать не по одному гектару на день.

Глухарев взглядом подбадривал Ложечникова, и, когда тот сел, секретарь райкома всем телом повернулся к Четвертнову, оробевшему уже совершенно.

— Вот видишь, любые трудности не страшны. План должен быть выполнен! Обязаны посеяться в срок!

— А всё-таки нельзя сеять!

Все головы повернулись к Андрею Малютину. Он поднялся.

— Посеять можно. Не велика хитрость посадить на коней стариков с лукошками. Но стоит ли это делать?.. Посеем, подадим сводки, укажем — сев кончен, а пользы не будет. Да какая там польза, один вред!.. Под такой ливень бросить семена, чтоб смыло их с полей...

— Не всё смоеет, кой-что и останется, — перебил Ложечников.

— Верно, всё не унесёт, часть семян останется. Об этом ты как агроном хорошо знаешь, да молчишь. И вам, Нил Степанович, должно быть известно... Эти семена разбухнут в воде. Когда подсохнет — окажутся не в земле, а на земле, сверху. Высохнут, не прорастут, не пустят корней. Наверняка будем без урожая. А планы-то спускают нам не для того, чтоб мы на бумаге цифру сева вытянули, ради урожая спускают план...

Лицо Глухарева становилось всё мрачнее, но он не перебивал, продолжал внимательно слушать.

— ...План ради плана, на что нужна такая работа. Нам надо план для жизни, а жизнь наша — хороший урожай! То, что я предложу сейчас, должно быть, у всех на языке вертится, но почему-то боятся сказать, молчат... Надо до осени оставить недосеянное, придётся отступить в этом году перед дождём, а осенью по-настоящему заложить озимые. Конечно, проигрыш во времени, зато не будем рисковать понапрасну... Да и риск тут — погибель прямая семенам... А лишних ведь у нас нет. Нил Степанович, только не подумайте, что не хочу подчиняться, энархизмом занимаюсь. Вопрос важный, и решать его надо сообща. Обсудите на бюро райкома, поставьте вопрос перед областью, докажите неизбежность провала сева при таких условиях. Поймут нас, разрешат, должны разрешить!..

Малютин сел. Все молчали, старались не глядеть на Глухарева. Только Ложечников небрежно бросил:

— Где гарантия, что август месяц окажется не такой проливной?

— Не окажется, — ответил с места Андрей. — Таким уж наверняка не будет. Я в своей жизни не видел ничего похожего. Выдохнется природа.

Тогда поднялся Глухарев.

— Товарищ Малютин! — произнёс он, и сидевший поблизости Четвертнов снова поёжился от его голоса. — Ты выступаешь против госу-

дарственных планов. Государство указывает: сейте яровые, — ты, как в присказке про стрижено-брито, твердишь: озимые лучше. Кто нам позволит пугать государственные планы? Ты — председатель колхоза. Твоё дело — выполнять по готовому. Что получится, если каждый председатель начнёт по-своему переворачивать план?..

По лицу Андрея Малютина было видно, что он хочет возразить, но Глухарев не давал ему опомниться, он бил и бил увесистыми фразами: «Негосударственный подход... Против государственных планов. Против государства...»

Разъезжались затемно.

Глухарев сел в машину и приказал:

— На Великий Двор гони, Семён.

Надо было ехать в следующий сельсовет.

Снова ухабистая, в жидкой грязи дорога, снова однообразные качания «дворника», снова невесёлые мысли...

От сельсовета до деревни было недалеко, и Андрей Макарович шёл пешком, шуша твёрдым, как жёсть, намокшим плащом.

Растерянность и недоумение охватили его. Ведь все понимали, — да и как не понять, тут не нужна ума палата, — самое трезвое, самое верное, самое простое решение — выждать, не сеять. Сгубить столько семян — преступление. Что заставляет людей закрывать на это глаза?.. Желание выслужиться? Простая трусость?.. Не понять. Вот оттого-то и больно, тяжело на душе, что не понять...

А как шло хорошо, пока не ударили дожди!..

Деревня, где находилась контора колхоза, называлась Малютино.

Половина жителей в ней носит фамилию Малютиных. Есть Кашниковы, есть Луковниковы, но Малютиных большинство. Сам Андрей Макарович, год назад избранный председателем, тоже из числа Малютиных. Именем Игната Малютина называется и колхоз.

Наверняка в деревне за время её существования жил не один, не два, а десятки Игнатов с примелькавшейся фамилией — Малютин, но только об одном осталась живая память.

Игнат Малютин — когда-то организатор первого в районе колхоза — был схвачен в бане кулаками, тремя братьями Кашниковыми, замучен до смерти и сожжён по кускам под каменкой. Дело было сделано аккуратно, Игната считали бесследно исчезнувшим, только год спустя открылось убийство. Ушёл человек, не оставил на земле даже своей могилы. Тогда и решено было назвать колхоз его именем.

Но колхозу имени Малютина не повезло, после Игната не попадались хорошие руководители.

По неточным подсчётам, Андрей Макарович стал уже двадцать вторым председателем после Игната.

Одно время Андрей в этом колхозе работал бригадиром, не ужился с одним из председателей, Егором Савичевым, пьянчужкой и крикуном, ушёл работать в Райзаготзерно и выдвинулся там до заместителя заведующего.

Во время укрупнения колхозов его, уже пожилого и семейного человека, послали учиться в областную школу руководящих колхозных кадров. После окончания направили сразу же в свой колхоз.

Учился он хорошо, старательно, два года подряд в школе избирали его секретарём партбюро, но ни у кого в районе не было уверенности, что Андрей Малютин вытянет колхоз. Уж слишком запущено хозяйство, многие брались, да у всех срывалось.

В первый же месяц его работы председателем в деревню Малютино вернулись один за другим шесть человек из армии. Ушли они неприметными, угловатыми, робкими парнишками — «деревенская продукция», как любят говорить про таких старшины, помкомвзводы и прочее начальство из армейских сверхсрочников. Вернулись рослые, крепкие ребята, один служил в авторемонтных мастерских, другой — радистом, третий — минёром во флоте, — у каждого какая-то военная специальность.

Вернулись, но что из этого?.. Все шестеро приехали поглядеть на свою родню, вспомнить места, где босиком по росе бегали на реку ловить ершей и колоть налимов, отдохнуть недельку-другую от службы, порассказать доверчивым девчатам небылиц из армейской жизни и, хлебнув напоследок домашнего пива, разъехаться, насовсем распрощаться с Малютином. Да и какой расчёт им, узнавшим, что белый свет не сходится клином над старенькими крышами родной деревни, оставаться здесь, в незавидном колхозе, где жизнь довольно сера, а харчи небогатые. Один мечтал устроиться на завод слесарем, получить разряд, второй — куда-нибудь учиться, поближе к радиотехнике, Миша Луковников, прослуживший восемь лет во флоте, думал снова податься к морю, но уже не в военный флот, а в торговый.

Андрей Макарович зазвал их как-то всех к себе домой, выставил перед гостями, как принято, на стол бутылочку и начал расспрашивать, кто куда едет. Ребята, не скрываясь, разговорились, а Андрей Макарович слушал, навалившись на край стола, спокойно поглядывал маленкими серыми глазками на ребят, молчал.

Бутылка опорожнилась, гости наговорились и уже, довольные хозяином, стали прощаться, но тут заговорил сам хозяин.

— Недоволен я вами, ребята, — сказал он.

Ребята удивлённо переглянулись.

— Кто ж вас в армии учил быть дезертирами?

— Это ты к чему, Андрей Макарович?

— Вот к чему. Когда Игнат Малютин организовывал здесь колхоз, в нашей деревне было восемь бригад. Восемь! Перед войной стало четыре. Теперь — одна. И те бригады были ведь каждая не меньше, а, пожалуй, побольше теперешней числом людей. Ушёл народ, как вы собираетесь теперь уйти. Некому работать, а вы бежите, лёгкой жизни ищите, молодёжь. И все комсомольцы, должно быть...

Оказалось, что все; Миша-моряк уже шесть месяцев, как вступил в кандидаты партии.

— Вот ты, Миша, скажи по совести, — продолжал, не торопясь, Андрей Макарович, — хорошо или нет бросать колхоз ради другой жизни, полегче?

— Полегче!.. Ты, Андрей Макарович, не знаешь той жизни, куда я собираюсь. На Северный флот, матросом... Порубил бы лёд в штормягу, когда вода через борт хлещет и на робе застывает, иначе б заговорил. Не отдыхать еду, работать. Пропадать, что ли, специальности-то? Там тоже люди нужны.

— Зачем специальность губить? На это я не толкаю. Ты минёром был?

— Минёром.

— С электротехникой, должно быть, знаком?

— Немного знаю.

— Так нам нужны электротехники. В районе межколхозную ГЭС поставили на четыреста киловатт. С великим трудом ставили, три года строили, в долги перед государством залезли. Но, как видите, сидим, беседуем, а над столом не лампа керосиновая — электричество... Только в этом мало радости. Нам не столько свет над столом нужен, сколько

сила. А эта электрическая сила мимо нашего колхоза идёт. Поставили электромотор на кормокухне, да не работает, специалистов нет приладить его с умом...

— Так я тоже для кормокухни не специалист.

— Будешь им. Коль трактористы в войну на танки садились, почему в мирное время минёру в колхозе электротехником не стать? С военного флота на торговом тоже кой-чему переучиваться придётся. Степан вон слесарем хочет быть, а разряда нет. Оставайся, научим, и разряд получишь, нам слесари нужны... Вас, ребята, шестеро, а вы мне должны человек сто заменить, ежели не больше.

— Шестерым — сто?..

— То-то и оно. На кормокухне этой у нас сейчас пятеро работают да шестой воду подвозит. Пятеро, а надо бы человек двенадцать туда поставить. Больше не могу... Соломорезку крути, картошку мой... А перемой-ко каждый день шесть центнеров картошки да ещё зимой, в ледяной воде, голыми руками... Приспособь там всего два электромотора — один человек со всем справится. Вот ты, Михаил, это сделай, сразу четыре пары рабочих рук освободишь. А на тока — электромоторы, на очистку зерна, на подачу воды, везде, где мы своим горбом да своими руками вывозим. Тогда бы уж вздохнули свободней, было бы кому работать. Вы молодые, из вас всё можно сделать, нужно — учиться пошлю на слесарей, на электротехников, да кой-чему вас уже и в армии научили. А насчёт заработка — не беспокойтесь. Наш колхоз себя ещё покажет, увидите... Не век ему в отстающих ходить. Люди, люди для этого нужны! Подумайте, не тороплю с ответом...

Ребята не уехали, остались в колхозе.

А недели через две после этого разговора ездовой Филипп, по прозвищу Скворец, был послан на мельницу с целым возом зерна. Перед тем как ехать, он долго и сердито кричал на улице перед окнами конторы:

— Одного послали!.. Мешки-то пять пудиков, потаскай их наверх по лестнице. То четырёх посылали, нынче одного!.. Семижилного нашли, безответного!.. Надорваться мне?..

Ему объяснили, что «не надорвётся», так как на мельнице к ссыпке приспособлен транспортёр, мешки наверх таскать будет электричество.

Андрей Макарович ходил по хозяйству неторопливо, враскачку, распоряжался спокойным глуховатым голосом. Казалось, он меньше всего думал над тем, что многие брались до него, да у всех срывалось. Он держал себя так, словно собирался остаться навечно на этом, несчастливом для других председателей, месте.

Всё шло хорошо, пока не ударили грозы. Срывался сев, нетронутыми лежали ещё сто гектаров! Тут впервые увидели спокойного Андрея Макаровича взволнованным. Он собрал было людей с лопатами, чтоб рыть отводные каналы для воды, но ливни заливали то, что с трудом успевали вырыть, вода на полях не убывала...

Многие удивлялись — ведь у всех несчастье, всех затопили дожди, а коль всех, то чего и беспокоиться председателю, на миру и смерть красна, начальство придумает, как вывернуться.

Придумали! Плохая выдумка — сеять, как сеяли. Андрей Макарович шагал, не разбираясь, напрямик по лужам и гадал: может, есть особый секрет, непонятная для него государственная тонкость, так скажи её, Нил Степанович, напрямик, откровенно, как коммунист коммунисту.

На полпути к селу Великий Двор, около деревни Золотинушка, шофёр Сеня остановил машину, повернул к Глухареву даже сейчас, в темноте, заметно осунувшееся лицо.

— Переночевать бы здесь, Нил Степанович. Дорога-то за Золотинушкой — сами знаете... Застрянем посреди поля.

— Что ж, к утру, по-твоему, выправится? Поезжай.

— Засветло-то способнее... Пораньше встали, поспели бы.

— Поезжай!

Шофёр послушно тронул машину. И только за деревней, когда «козлик» с натужным воем, разворачиваясь то одним, то другим боком, осилил первый болотистый волок, Сеня вздохнул:

— Одно слово — Золотинушка...

Километров семь не доезжая до села, среди унылого мелколесья, «козлик» сел всей рамой. Колёса бешено вертелись, бросали назад жидкую грязь. Глухарев сам таскал мокрый валежник и, наваливаясь плечом сзади, подсказывал:

— А ну!..

Наконец Сеня заглушил мотор.

— Чего уж там... Мёртво.

Глухарев взял с сиденья свою сумку и сухо бросил:

— Я пойду.

В душе-то наверняка шофёр клял секретаря райкома: «Предупреждал же, нет, бык упрямый, не послушал... Канительность тут до утра». Но проводил он его виноватым молчанием. Сам же Глухарев не скрывал своего недовольства: «Раз сказано: довези! — в лепёшку расшибись, а исполни, твоя обязанность!» Он в первую очередь ценил в людях исполнительность.

В село Глухарев пришёл за полночь и, как всегда в таких случаях, ни к кому на квартиру не пошёл, решил ночевать в сельсовете.

Уборщица Матрёна Лапшева, женщина в годах, но крепкая, вечно, даже летом, с каким-то морозным румянцем на тугих щеках, вынесла из своей комнатухи одеяло, подушку, простыню, постелила на твёрдом диванчике в кабинете председателя сельсовета.

Прежде чем уйти, она постояла, сокрушённо вздыхая.

— Нил Степанович, погодка-то что делает!.. Страсти господни, напасть, чисто напасть...

В её плачущем голосе, в её выжидательном взгляде Глухарев заметил ту надежду, с какой смотрели на него и колхозные активисты: «помоги, ты можешь это».

Матрёна была не из тех, кто болеет душой за колхоз. Сильная, здоровая, она ушла из деревни, пристроилась здесь на более лёгкую работу, лишь бы не ходить в поле, не сидеть на трудодне. Но даже и такую Матрёну пугают ливни, даже и в её голосе слышен страх и жалобная надежда. А это уж значит, что все до последнего человека в районе напуганы, все с надеждой смотрят на него, ждут какого-то чуда от секретаря райкома.

Что он может сделать?.. Если б в его силах было выйти сейчас, крикнуть в небо: «Остановись!» Если б знать волшебное слово, сгоняющее воду с земли... Жизнь отдал бы за такое слово! Но он не бог, не всесильный маг.

Уткнувшись лицом в подушку, пахнущую несвежим пером, Нил Степанович никак не мог уснуть.

Андрей Малютин думает — открыл Америку. И из райсельхоза и из МТС агрономы предупреждали: сеять в такую погоду рискованно, урожай не будет... А как поступить иначе? Малютин предлагает — свяжись с областью, выпроси право не сеять, крест-накрест перечеркни спущенный план... Святая простота!..

Нилу Степановичу припомнился сейчас отошедший уже в прошлое случай. На третий год после войны его, второго секретаря райкома, выдвинули первым. Если раньше он работал за спиной несколько грубова-

того, но энергичного Дубцова, то теперь каждое его слово стали хватать на лету. Он — партийная голова района, и за удачи и за несчастья — первый ответчик. В район прислали план развития поголовья на год. Он просмотрел его, посоветовался со знающими людьми и пришёл к выводу, что план этот невыполним, по крайней мере, тысяч на восемь голов. Невыполним по той простой причине, что основной отёл уже прошёл, а не успевшие отелиться коровы физически не смогут дать столько телят.

Глухарев написал докладную записку в обком, где указал, что план не реален. Ему сухо ответили, что план по поголовью должен быть выполнен во что бы то ни стало.

Район не выполнил плана. И, к удивлению Глухарева, в обкоме не особенно возмущались этим. Были, конечно, упрёки, в определённых таблицах район стоял на предпоследних местах, но особо не напирали, где можно, старались замолчать. Зато во время сдачи мяса, когда Глухарев пробовал возмутиться, что в колхозах, и без того не богатых скотом, заготовители стригут «под гребёнку», не разбираясь, дойная или не дойная корова пойдёт под нож, его сразу же вызвали и заявили: срываешь государственный план!

Из всего этого Глухарев понял: план плану — рознь. За невыполнение плана поголовья могут простить, за несдачу мяса — снять с работы. И ещё одно понял он — не стоит стараться пробить лбом стенку, достаточно выполнять то, что указывают, — сверху виднее. Может, с тех пор и стал Нил Степанович считать первой заслугой человека исполнительность. Сумей понять, что нужнее, отыщи возможность — выполни!

Если не считать истории с заметкой в районной газете, с того времени у Глухарева не было заскоков. В обкоме партии про него стали поговаривать: опытный работник.

При такой бедственной весне плохой урожай осенью ещё могут простить. По крайней мере, он может твёрдо ответить: «Все, что только было возможным, мы сделали. Остальное зависело от природы». Но при плохом урожае (а сомнений нет, не жди богатой осени в этом году) да не выполнить план сева — обязательно скажут: «На стихию вину сваливаете, а вы пробовали бороться за урожай? Сложь руки сидели!» Вот и весь приговор, пятно на партийной репутации!..

За окном, меж ветвей молодой липки, начало проглядывать утреннее небо, чистое, нежнорозовое — обычный обман. Где-то далеко-далеко уже глухо ворчит гром. Должно быть, скоро кончится передышка. На чёрных, мокрых ветвях липы — яркие, новенькие листочки. Звонкой капелью проникает сквозь оконное стекло воробьиное чириканье. Где-то далеко по селу корова азартно и отрывисто замычала — рада после тёмного хлева светлому утру. Всё живое радуется начинающемуся весеннему дню, и только человеку этот день сулит одни тревоги...

Глухарев уснул, а через два часа председатель сельсовета разбудил его вежливым покашливанием.

— Народ собирается, Нил Степанович.

Как и вчера, Глухарев и на этот раз перед собравшимся активом настаивал: «Сеять! Сеять! Во что бы то ни стало!»

По колхозам забегали уполномоченные, заставлявшие любой ценой продолжать сев.

Немного уже оставалось по деревням таких людей, которые умели справляться с простым прадедовским приспособлением — лукошком. Молодёжь не держала его в руках. В последнее время все колхозные поля засеивались сеялками. Сейчас они без дела стояли под навесами или просто мокли под дождём возле полей.

Кузьма Сергеич, тощенький, быстрый старичок со спутанной жидкой бородёнкой и голубыми, как выгоревшие на солнце цветы льна, глазами, пачкая грязными сапогами бока лошади, взобрался на спину рослому, унылому мерину.

— Ну-кося, лукошечко моё подайте. Так... Приспособим... Эх, много в земельку-матушку опростал лукошечек, а всегда пешком... Теперь, на старости-то, с коня попробовать... Ну, милый, трогай не круто... Не служил я в кавалерии!

Копыта коня зачавкали по грязному полю. Горсть зерна звонко ударила в бок лукошка.

— Эх! Не служил я в кавалерии...

Андрей Макарович невесёлым взглядом провожал сутулую спину старика, неуклюже съезжавшего на лошадиный круп.

— Здравствуй, сосед.

Андрей Макарович обернулся. Перед ним стоял Алексей Шорохов из колхоза «Власть труда», заместитель Ложечникова. Он был заместителем и при покойном Матвее Жгутове. Ходили слухи, что колхозному шофёру Васе Кругликову, навещавшему старого председателя незадолго до его смерти в городской больнице, Жгутов высказал желание, чтобы после него председателем выбрали Шорохова. «С умом мужик. Агронома нашего, Павла, не советую — говорун, словами заславит, на дело туг. Из-под тычка да по указке работать мастак». Однако выбрали всё-таки Павла Ложечникова, которого рекомендовал райком как специалиста. Шофёр Вася будто бы начал шуметь после собрания, пересказывать слова покойного председателя, но сам Шорохов зажал его в угол и потряс за плечи: «Выбрали руководителя, не мути против него...» Но всё это слухи, — кто знает, может, насквозь выдумки.

— И у вас гусаров на поле выпустили? — спросил Шорохов, кивая на удаляющуюся спину старика.

— Выпустили, — сухо ответил Андрей Макарович.

— Хорошо, если перепахивать наново придётся. А вдруг да вырастет кой-что: и урожай дрянной, и запахивать жалко. Вот где прогадаем.

— Что ж, до будущей весны оставляй...

— Весной?.. Как же тогда сеять прикажешь? По ячменю ячменём, по пшенице пшеницей?.. Рискованное дело затеяли.

— Что ты здесь меня агитируешь?..

— Знаю... Жаль, что меня не было на этом совещании. Твою б сторону взял.

— И напрасно. Я жалею сам, что сказал. Чуть ли не государственным преступником считают.

— Не они ли преступники-то? — проворчал Шорохов. Он повернулся и широким шагом пошёл прочь.

Андрей Макарович глядел ему в спину. Под мокрым, плотно обтягивающим спину пиджаком гуляли могучие лопатки. Алексей Шорохов славив своей силой, — на сенокосе, случалось, вытягивал возы с сеном, застрявшие в болотине, которые не могла стронуть лошадь.

Старик Кузьма объехал порядок и остановил коня.

— Ой, пустое мы дело затеваем, Андрей, — заговорил он. — Видано ли — зерно на ветер бросать.

— Молчал бы!.. Дано задание — делай! Нам план спущен! — сердито, как никогда с ним не случалось, заговорил Андрей Макарович. Он не замечал, что говорил сейчас почти те же слова, какие слышал недавно от Глухарева.

— Эх-ма... Я что, я выполню... Трогай, кавалерия! — Старик, осуждающе покачивая головой, повернул на поле коня.

В мутной луже, широко разлившейся подле размякшей бровки поля, плавали брошенные рукой старика сухие зёрна овса. Лёгкий ветерок сгонял их в одну сторону, прибывал к краю бровки. Разве смогут они взойти?..

Всю зиму овёс берегли, весной, в сев, выдавая его лошадям, дрожали над каждой горстью — и для чего?.. Для того, чтобы высыпать сюда, в грязную лужу!..

Андрей Макарович решительно зашагал к конюшне.

Ему повезло: Глухарев днём приехал из колхоза и сейчас сидел у себя.

Ковровая дорожка, пересекавшая раньше наискось кабинет секретаря райкома, была свёрнута и лежала у стены. Крашенный пол — затоптан грязными сапогами посетителей.

Глухарев суховаато поздоровался и первый спросил:

— Ну как?..

— Бросаем добро псу под хвост, Нил Степанович, — ответил Малютин.

— Опять о старом?

— Нил Степанович, прошу выслушать!..

— Ну, ну, спокойно. Садись, слушаю.

И секретарь райкома и председатель колхоза уселись на диван, друг против друга, лицом к лицу.

— Нельзя сеять. То, что мы делаем, — вредительство!.. Семена, труд людей!..

— Слышал это и, кажется, ответил тебе.

— План-то составляют живые люди, не могли же они предусмотреть, что у нас в районе будет такая проливная весна. Мы тоже люди, мы тоже коммунисты, не враги же самим себе и своему государству. Можем или не можем мы помочь людям, составившим план, по погоде чуть изменить его?

В тяжёлом плаще (в такие горячие дни посетители забывали снимать верхнюю одежду, все заскакивали «на минутку»), в грязных сапогах, небритый, неумело скрывающий своё раздражение, сидел перед Глухаревым Малютин. И Глухареву вдруг стало стыдно за свою сухость — человек устал, раздражён, прав он или не прав, а беспокоится не о своей выгоде — за колхоз, за весь район, помочь хочет, нельзя же винить, что по неопытности помощь его может повернуться медвежьей услугой, втолковать надо.

— Слушай, Андрей, — заговорил Глухарев душевно, но с упреком. — Ты, брат, на свою мерку меряешь. Ты думаешь, что у тебя совесть чиста, как стёклышко, — значит и у всех она такая же. Живут ещё среди нас шкурники. Позволь им менять план, они тебе наменяют... Ты поставь себя на место обкома. Такому вот, как я, Глухареву, разрешат в эту весну план поправить, на следующий раз у него просто заминка с севом, обычное ротозейство, а будет требовать: ввиду неблагоприятных условий прошу изменить... Вот к чему это ведёт. Шкурники начнут петельки выплетать, государственный план задумшат, дисциплина ослабнет. Не пойдёт обком на твоё предложение, Андрей, не даст согласия!

— А я считаю, Нил Степанович, что обкому бояться тут нечего. Пусть проходят проверку люди. Стал злоупотреблять — а это легко проверить, легко заметить — значит тебе свои выгоды дороже, ты не коммунист, не советский работник, тебя надо снять или перевоспитать! Кадры воспитывать такое дело поможет.

— Воспитывать?.. Ведь главное-то в воспитании — это создать в человеке чувство дисциплины, общественной дисциплины! А какая же, к чёрту, дисциплина, когда нет уважения к государственным планам?

— Уважение бывает всякое, Нил Степанович. Ленин тоже уважал Маркса, а пошёл на нэп, хотя у Маркса о нэпе не упомянуто ни единым словом. Не слепо уважал, к жизни применял. Почему нам нужно отрывать государственный план от жизни?

Глухарев ответил не сразу. Он удивлённо разглядывал этого невидного, одетого в забрызганный грязью плащ человека.

— Куда загнул,— сказал он. наконец.— Не зря, видать, тебя, такого грамотного, в областной школе секретарём партбюро держали. Что ж, прикажешь доказывать, что Ленин с Марксом и мы с тобой грешные — люди разные, несравнимые... Смешно. Вот что, домсрощенный философ, иди, выполняй. Не будешь выполнять, призовём к порядку. Ещё раз напоминаю: тот, кто идёт против государственных планов, вольно или невольно становится врагом государства, преступником! Истина простая, нетрудно бы её и с первого раза понять.

Малютин поднялся, но у дверей задержался.

— Про тебя, Нил Степанович, говорили,— произнёс он глуховато,— что ты исправился от своих ошибок зажимщика критики. Неправда! Был им и остался! Лицо только переменял. Ежели раньше говорил: «Молчать и не рассуждать!» — то нынче глушишь новыми словами, святыми словами, не стеснясь. «Против государства, против государственных планов, государственный преступник!..» Трудно возразить против такого, невольно оторопь возьмёт. Раньше заставлял молчать и теперь заставляешь!..

Глухарев медленно поднялся, подошёл вплотную.

— Ты ответишь мне за эти слова,— сказал он тихо.— Я заставлю их повторить.

— Повторю, Нил Степанович... Осенью повторю... Когда будем собирать урожай.

Малютин вышел.

Глухарев долго стоял перед закрытыми дверями. Неприятно было то, что душевного разговору не получилось — слишком строптив оказался Малютин, но ещё неприятнее, что этот председатель из захудалого колхоза ударил в споре его, секретаря райкома, Марксом и Лениным. «Тоже мне книжник... Давно ли по складам слова разбирал». Сам Глухарев много читал и Маркса и Ленина, любил часто повторять: «Пользуясь учением марксизма-ленинизма... Претворяя в жизнь учение великого Ленина...» Но сам твёрдо верил, что великое учение вполне доступно лишь тем, кто стоит высоко вверху, у руля государства. Они, применив и Маркса и Ленина, находят нужное, указывают области, область передаёт указания ему.

«Гении-то, люди семи пятей во лбу, не часто в жизни встречаются. Раз ты не из тех, то будь хотя бы хорошей ломовой лошадейю, чтоб нагрузили, так верили — вывезешь, не споткнёшься... А тут, только-только вылезут в низовые руководители, уж поди ты — стратегами себя считают, пыль в глаза пускают Марксом да Лениным».

Ливни не переставали.

Сев в районе продолжался.

Он продолжался и в колхозе имени Игната Малютина.

Только в самом начале июня наступили тихие, солнечные дни. Но не сразу исчезли разводья луж с полей, ещё долго земля прилипала к ногам пудовыми ковригами.

Первые зеленыя, поднявшиеся с мокрой пашни, уже дали понять, что дорого обойдётся свирепый каприз весны району.

Поля наиболее высокие, которые первыми высохли после таяния снегов и были засеяны ещё до дождей, пострадали меньше. Но всё-таки пострадали. То там, то тут на них виднелись плешины.

Озимые лишь слегка, местами повымокли. Под горячим солнышком они сейчас напористо вытягивались в трубку.

Поля, засеянные в пору ливней, пустовали. Редко-редко на них можно было видеть клочки яркой зелени, большей частью по закраинам глубоких вымоин. Часть зерна вынесло водой на луга, и там, среди полевых цветов, бархатистая травка яровых росла пучками. Всем стало ясно — с таких полей не собрать того, что посеяно.

В район приезжали представители из областного управления сельского хозяйства и заготовок. Составлялись акты, списывались целые сотни гектаров, после чего объявлялось, что такие-то и такие-то поля надо перепахать под озимь.

В колхозах, разумеется, среди народа шли ворчливые разговоры про «зряшный труд», про «погибшие семена», про «горе-руководителей».

Как-то раз Андрей Макарович застал на поле ржи, уже кое-где начавшей выбиваться в колос, четырёх лошадей. Целых полчаса председатель, стирая с лица пот рукавом, бегал по полю, выгонял их. Выгнал, запыхавшись, присел передохнуть на обочину дороги, и тут появился виновник несчастья. Из ельничка, плотно подступавшего к изгороди, вышел с берестяным туеском дед Кузьма, кряхтя по-стариковски, перелез через огород и подошёл к председателю.

— Ты за лошадьми следишь, Кузьма Сергеич? — поднялся навстречу Андрей Макарович.

— Аль сюда попали? В логу их искал. Они, пакостницы, на-кося куда махнули. — Старик ласково помаргивал апостольски-честными глазками.

— За эту ошибку три трудодня спишем. Вперёд не ошибайся. Хлеба нынче не густо в колхозе, такие ошибки дорого обходятся.

У деда Кузьмы дрогнула бородёнка, тонкие губы под жиденькими усами сошлись в ниточку. Он понимающе закачал головой.

— Так, так... Хлебом не густо?.. Верно, Макарыч, неоткуда густо-то быть. Помнишь — сам меня заставлял зерно разбрасывать нивесть почто в грязь да в воду... Уж святая истина — не густо. А кто виноват, подумай-ко?.. Меня в ошибке коришь? Моя-то ошибка не тяжеленька, а твоя, гляди, колхозу голову согнёт.

В это время из леска на дорогу выехала лёгкая бричка. Издали блестяла на солнце лысина Павла Ложечникова. Он остановил коня и, не слезая на землю, слушал старика.

— Кузьма Сергеич! — оборвал Андрей Макарович. — Иди-ка за лошадьми да не бросайся зря попрёками. Не заслужил я. И поздно теперь виноватого искать, беречь хлеб надо.

— Ошибся... Все ошибаемся... Так-то, мил-человек.

Старик, ворча и помахивая туеском, пошёл прочь.

«Землянику старый козёл искал, а не за лошадьми доглядывал, — думал Андрей Макарович. — И обижаться на него нельзя. Ошиблись — факт! А кто? Люди не особо разбираются, да ещё такие, как дед Кузьма. Я для него — ближайшее начальство, кого, как не меня, винить ему за ошибку».

— Беда с народом! — Ложечников слез с лошади, поздоровался. — Заварили весной кашу, а теперь мы, председатели, расхлёбывай.

Он покосился на Андрея Макаровича, словно ожидая, что тот возразит: «Не ты ль сам эту кашу помогал заваривать?» Но малютинский председатель молчал.

— Глухарев обещался на бюро тебя вызвать — и ни слуху ни духу. Знает кошка чьё мясо съела. — И, так как Андрей Макарович продолжал угрюмо молчать, Ложечников заторопился: — Некогда мне... Сегодня надо в управлении побывать и обратно... Заезжай ко мне. Нелюдим

ты какой-то, Андрей, ей-богу, нелюдим... Вместе бы потолковали, как с народом управиться.

Ложечников последнее время заметно изменился, стал суетливее, сутулился, даже черты лица, казалось, стали мельче, незначительнее. Андрея Малютина он уже не похлопывал снисходительно по плечу, охотно ему поддакивал.

Андрей Макарович знал, что председателю «Власти труда» приходилось куда как круто. В его колхозе люди, приученные к дисциплине Матвеем Жгутовым, не огрызались, не попрекали в глаза председателя, как это сделал сейчас старик Кузьма. Там — другая беда... Плотник, получивший наряд перекрыть крышу сепараторки, шёл советовать не к Ложечникову, а к Шорохову. Бригадир, собиравший свою бригаду на покосы, чтобы договориться обо всём, искал не председателя, а его заместителя. И если сам Шорохов посылал таких всё же к председателю — шли, советовались, а потом снова обращались к Шорохову: «Правильно ли договорились, Лексей Лексеич?»

Районные руководители за промахи колхоза, за ход работ спрашивали с Ложечникова, в самом же колхозе признавали только Шорохова. Скажет Шорохов — сделают, скажет председатель — идут проверять, правильно ли...

Рассказывают, что Ложечников возмутился, упрекнул своего заместителя. Тот ему ответил: «Что могу сделать? Не гнать же мне народ от себя. Тебе, Павел, не след бы на это жаловаться, стыдно авторитет-то выпрашивать».

Чем тут поможешь? Не удивительно, что и переменялся Павел Ложечников, — не сладко сидеть председателю на колхозных задворках.

Глухарев не пытался возобновить разговор с Андреем Малютиным. Не из-за угрызений совести Глухарев не ответил на обидный упрёк. Он попрежнему считал: «Не моя вина, что не будет урожая. Я выполнил план, я сделал всё, что мог, остальное зависело от природы. Диктовать природе не в моей власти».

Молчал он потому, что боялся впасть в прежние ошибки. Андрей Малютин высказал своё мнение, пусть обидное, но откровенное. Упрекать его за это — значит зажимать рот, значит снова стать зажимщиком критики.

Было даже немного стыдно за себя, что не сдержался во-время, выпалил сгоряча: «Ответишь!» Могут теперь подумать: молчит, спасовал секретарь райкома. Он с надеждой ждал первого же совещания, где он заставит говорить Андрея Малютина и уж сумеет ответить ему, сумеет осадить.

Совещанием этим оказался расширенный пленум райкома, на котором должны были обсуждаться итоги подготовки к уборочной.

Глухарев поднялся на трибуну, положил перед собой отпечатанный на машинке доклад, оглядел зал. Две с лишним сотни лиц уставились на него. Сегодня наверняка будут горячие споры. Одни считают его, Глухарева, виновником того, что засеянные поля приходится наново перепаживать, другие на его стороне — иначе поступить нельзя.

Глухарев заговорил о значении государственных планов, об их безоговорочном, неукоснительном выполнении.

— Нельзя же планы превращать в мёртвую цифру! — раздалась громкая реплика из глубины зала.

— Нельзя, — ответил спокойно Глухарев.

— А превратили!

Председательствующий, второй секретарь Долгов, сердито застучал по графину. Глухарев был попрежнему невозмутим.

— Да,— продолжал он,— план сева надо признать наполовину мёртвым.

— Больше чем наполовину!

— ...Я признаю это со всей откровенностью, со всей смелостью! Но кто умертвил план? Мы?!. Нет, мы сделали всё возможное, чтоб он был жизненным. Мы выполнили его, и выполнили в очень тяжёлых условиях. Может, те люди, которые составляли его для нас, может, они умертвили? Тоже нет! Нам спустили вполне реальные цифры. Пусть меня упрекнут в том, что я хочу обезличить виновника, я всё-таки скажу: виновато одно — неудачная весна! Она погубила план! Так же, как если землетрясение разрушит город, кроме стихии, никто не повинен, так и тут — глупо сваливать вину на секретаря райкома и вообще на райком. Вы скажете: надо было от области требовать изменения плана... Так пусть те товарищи, вроде председателя Малютина, которые особенно энергично настаивали на этом, запомнят, что это невозможное и вредное требование. Ибо, если план будет произвольно меняться кому как вздумается, он перестанет быть планом. Кстати, хочу напомнить: на мой отказ об изменении государственного плана Малютин без всяких оснований кинул мне в лицо, что я продолжаю быть зажимщиком критики!..

...Во время перерыва в фойе табачный дым плавал над собравшимся в кучки народом. Слышался сдержанный разговор. Проходя мимо, Глухарев видел, что кучка вокруг Андрея Малютина наиболее многочисленна. В ней он заметил даже лысину Павла Ложечникова, того, на чьё выступление он больше всего рассчитывал.

В прениях Андрею Малютину предоставили слово первому. Прежде чем бросить привычное слово «товарищи», он долго и обстоятельно устроивался за трибуной.

— Секретарь райкома поставил вопрос не совсем правильно,— начал он.— Была брошена фраза: «Произвольно менять план!» Но никто на этом и не настаивал. Разговор шёл о том, чтобы через райком, через райисполком, через государственные органы района и области изменить план, а никак не произвольно. Мы — хозяева своей земли. Этого от нас никто не отнимет. Так почему мы не можем хозяйски подойти к плану, сказать своё слово, во-время дополнить, поправить, чтоб не получилось таких нелепых ошибок, какие произошли весной? Товарищ Глухарев, если ты боишься произвола, возьми дело в свои руки. При секретаре райкома произвола быть не может!.. Вся беда в том, что у нас на высоких и на низких должностях встречаются особые государственные деятели. Скажем прямо — сверхгосударственные. Служащий по заготовкам, выехавший в колхоз определять на корню урожай, старается обычно завысить урожайность. Он сам считает, что поступает по-государственному. За колхозом будет числиться более высокий урожай, с этого урожая колхоз даст больше хлеба — чем, кажись, не государственный взгляд? Однако такой взгляд часто выходит боком государству. В колхозе, сдавшем по завышенным поставкам, приходится урезать трудодень колхознику, колхозник начинает поглядывать на сторону: нельзя ли улизнуть из колхоза? Колхоз расшатывается, урожай на его полях становятся всё ниже и ниже, где уж тут государственная выгода... Товарищ Глухарев, ты отнсьишься к таким деятелям... Выброшены сотни центнеров семян, пришлось оплачивать трудоднями бессмысленную работу, пошатнулась дисциплина в колхозах!.. Вот итоги твоего «государственного» подхода.

— Ультрагосударственного! — подсказали из зала.

— Не знаю — ультра или контра...

Глухарев распрямился, хотел что-то сказать, но спохватился, нагнулся к столу, сердито сделал пометку на бумаге и решительно кивнул головой:

— Так, так... Продолжай...

— ...Весна прошла, план сева даже Глухарев признал мёртвым, дело сделано, не вернёшь. Кажись бы, что и говорить... А говорить надо. Вот в этом году мне спустили план распашки новых земель за счёт леса: ни мало ни много пятьдесят гектаров. А энтээс обещает раскорчевать всего пять. Выходит: машинами—пять, а вручную—сорок пять! Вот вам и план, заранее скажу — мёртвый. Спустить-то его спустили, а ни председателя, ни колхозников не спросили: как лучше его выполнить, что надо для этого? Настоящих-то хозяев земли и забыли. И много у нас таких планов с мёртвыми цифрами. С благими намерениями они составляются, да пользы от них нет! О себе скажу так: да, ошибку я совершил. Но не тем, что выступал против секретаря, а тем, что мало выступал! Не боролся до конца. Не написал сам в область, в Цека. Зажимщиком критики я Глухарева назвал — это верно. Но критику зажать ему не сумел помешать. Вот где вина моя.

Под неясный шум — то ли одобрителный, то ли осуждающий — Андрей Малютин прошёл на своё место. Сразу же к президиуму бочком стал пробиваться Павел Ложечников.

— Я, товарищи, хочу быть самокритичным,— твёрдо произнёс он, выпрямляясь за трибуной.— Я ошибался вместе с Глухаревым во время весны и сейчас заявляю — да, ошибался! Не пойму, почему Глухарев не может осознать свои ошибки, когда они очевидны.

Как всегда, речь Ложечникова была богата интонациями, хотя на этот раз общий тон её был скорбно-суровый, исполненный достоинства. Он говорил о том, как тяжело теперь добиваться доверия у колхозников.

— ...И это понятно! Нельзя доверять тем, кто совершил явную глупость. А мы совершили её на глазах у народа...

Ложечников кончил, вышел из-за трибуны и стал оглядываться. Заметив сидящего у дверей Андрея Макаровича, он, вопросительно улыбаясь, принялся протискиваться.

— Ну как? — тихо спросил он, присаживаясь рядом.

Андрей Макарович ответил не сразу.

— Да так...

— Что — так?.. Не нравится?

— Не нравится. Уж извини, ты, брат, из тех, кто при опасности сразу тулуп самокритики на себя напяливает. Бить будут — бокам не больно.

Ложечников ответил только искренне изумлённым, по-ребячьи обиженным взглядом.

Решение пленума райкома, как всегда, было послано в обком. Там должны рассмотреть, обсудить, сказать своё мнение.

За снятую из районной газеты заметку, думалось Глухареву, за зажим критики в обкоме могли не простить. Даже удивительно, что простили.

Но как ни страшны слова «зажимщик критики», страшнее их — сорвать план.

Если его, Глухарева, обком нашёл нужным простить за зажим, не станет же он его упрекать за то, что тот в страшную весну, вопреки природе и нападкам председателей колхозов, хоть и не в сроки, но сумел-таки выполнить план сева. Выполнил, не сорвал, за это не судят.

Глухарев считал дни. Обком должен ответить дней через десять. Тогда посмотрим, на чьей стороне правда!

Но не через десять, а через три дня пришло письмо. Глухарева вызывали на пленум обкома. В повестке дня значился один вопрос: «Отчёт о работе бюро областного комитета КПСС».

Глухарев долго вертел бумажку: «Отчёт — непонятно!»

Обычно в конце года по всем районам начинают проходить конференции, сперва выслушиваются отчёты райкомов, выносятся решения, отправляются в область, там их разбирают, обсуждают, по несколько раз вызывают районных секретарей, требуют бесчисленных сводок, справок, данных, уточняют цифры, факты, и только в феврале, а часто и с апрельскими оттепелями разносится по всей области: «Будет областная партконференция, отчёт обкома!» И к этому времени все уже знают, кому в этом отчёте нагорит, кого похвалят, по кому просто мимоходом пройдутся.

Сейчас лето, далеко ещё до конца года с его зимней стужей, не было запросов, не трещали телефоны, не сыпались телеграммы с грозными требованиями: «Вами не высланы...» Отчёт бюро? Непонятно, не во-время. Что-то случилось.

Звонить в обком, узнавать подробности — бесполезно, всё равно по телефону не скажут. Глухарев снял трубку и попросил:

— Свяжите меня с Луцильским районом... Райком партии, Красногрудова...

От села Луцилы до областного города всего полчаса езды. Красногрудов там — первый секретарь. Он один из многочисленных приятелей Глухарева, с которыми свели его областные совещания и семинары. Конечно, он всё знает, всё расскажет, не утаит. Для подобных телефонных разговоров был свой язык.

— Это ты, Нил? — Среди спутавшихся в шуршащий ком посторонних голосов выделялся один, слабый, глухой, как из подвала. — Здравствуй, здравствуй, как у тебя там, на Камчатке?..

— Что в большом хозяйстве стряслось? — спросил Глухарев.

— Э-э, в большом хозяйстве должны быть скоро большие перемены. Наверно, всю тройку, коренника и пристяжных, перепрягут.

— Как, и наистаршего?!

— Его в первую голову.

— Случилось-то что?

— Вся беда, что ничего не случилось, а должно бы... Хозяева плохие... Повернуть к лучшему не могут... Из самого верха товарищи приехали... Получил ли вызов-то?.. Спешите... Баня ожидается грандиознейшая...

Когда Глухарев клал трубку на место, он сначала испытывал только удивление: ну и ну, какие вести!.. Через минуту смутная, робкая, пока ещё самому себе непонятная, подступила под сердце тревога. Первая мысль, вызванная этой тревогой, была проста, как инстинктивный взмах руки у человека, вынужденного защищаться: «А я-то при чём?..» Она требовала ответа: «При чём, не при чём, а все эти старшие и наистаршие, когда их прижмут, станут не только каяться, но и оправдываться. А раз оправдываться — значит искать других виновников... Среди кого?.. Само собой не вверху, а среди таких вот Глухаревых. Тут как раз этот пленум, выступление Малютина... Зацепят, непременно... Но я честно выполнял указания. Что ж, мне прикажете диктовать областным органам?.. У них неудачи, а я-то при чём?..» И снова: секретарь обкома, «наистарший», весенние ливни, выступление Малютина, и снова вместо ответа вопрос: «Я-то при чём?..» Пошли кружить мысли, пугавшие своей беспомощностью, чем дальше, тем тревожнее.

На следующий день Глухарев выехал на станцию.

По дороге задымил радиатор. Шофёр Сеня остановил машину, схватил из-под ног смятую канистру и заворчал:

— Беда! Давно бы на ремонт пора нашего «козлика» — радиатор, как решето. Тут и вода у чёрта на куличках. Придётся обождать вам, Нил Степанович.

Он ушёл.

Глухарев вышел из машины, прошёлся взад-вперёд и присел на лежавшее у дороги вывороченное дерево.

Странно—такое чувство, что он едет разбирать не вину обкома, а свою. Вчера только искренне считал: не прав Малютин,— сегодня что-то сомневается в этом. Почему? Ведь не только потому, что вчера в обкоме были надёжные защитники, а завтра, возможно, их не будет...

«Им сверху видней, скажут — выполняю...» Не всегда, видать, сверху видней, где-то и своим умом жить приходится. Нехватало ума... Ума ли?.. Может, смелости?

В горючий полдень, в конце июля, если нет ветра, лес обычно молчалив. Деревья утомлённо опускают ветви, птицы прячутся, разве только с верхней лапы ели полетит шишка, сбивая по пути с высохших ветвей отжившую хвою. Глухарев вдруг узнал место. Здесь весной, в ливень, под раскатами грома, он ехал на совещание. Здесь на его глазах молнией сбило берёзу, она рухнула поперёк дороги. Её, видать, давно оттащили в сторону. Он сейчас сидит на ней. Трухлявое дерево, не молния сбила его, нет, не стихия виновата. Была б крепка — опалило, сбило б верхушку, но выстояла б. Серединка с гнильцой у этой берёзы... При первом несчастье свалилась.

Километрах в ста отсюда есть небольшое село Красноборье, родина Нила Степановича. Иногда там съезжаются давнишние знакомые: полковник Осипов, инженер-энергетик Ермаков и он, Глухарев. В этой компании его, представителяльного, с животиком, с почтенной сединой на височках, зовут «Нилушко». Старая комсомольская привычка, его иначе в те годы и не называли. Интересное было время: отряды лёгкой кавалерии, итоговые собрания, где отстающим звеньям вручалось торжественно рогожное знамя — попробуй-ка не прими!.. Помнится, как-то «премировали» бригадира Гущина. Его бригада не убрала кормовую свёклу, упустила под снег. Красный стол, громкие речи, премии ударникам, называют Гущина, народ недоуменно оглядывается — за что?.. Он, Нилушко Глухарев, сама невозмутимость, вручает объёмистый газетный кулёк. Смущённый Гущин развёртывает и до слёз багровеет от стыда, от обиды. В газету завернута огромная, в холодных струпьях грязи, свекловина. «С твоего поля,— напоминают ему,— из-под снега добыли». А как их возмутила малейшая несправедливость!.. Был огонёк, неравнодушно жили. А теперь! Какой уж тут огонёк. в нём, просто — исполнение обязанности... Грустно... Не замечалось как-то раньше... Очень грустно...

Может, не дожидаясь, пока снимут, самому отпроситься?..

Шофёр Сеня вернулся с тяжёлой канистрой. Глухарев сидел, согнувшись, на поваленной берёзе, и лицо у него в этот момент было такое, что Сеня вокруг машины ходил осторожно; наливая воду, старался не греметь.

Вода была налита, шофёр тихо произнёс, словно попросил:

— Можно ехать, Нил Степанович.

Глухарев поднялся.

— Едем.



АБУЛЬКАСИМ ЛАХУТИ

★

СТРАНИЦА СЛАВЫ

С фарси

Как известно, иранские газеты «Сиаси», «Ферман» и другие недавно опубликовали живое сообщение о бегстве поэта Абулькасима Лахути из СССР. Они же приписали ему авторство книги «Описание моей жизни», которая представляет собой грязную антисоветскую фальшивку, сфабрикованную иранской охранкой.

Поэт Абулькасим Лахути живёт в Москве и пишет по своим воспоминаниям книгу стихотворных новелл из истории иранской революции.

Одну из этих новелл — «Страница славы», — посвящённую революционным событиям 1907—1910 годов в Иране, участником которых в юности был автор, мы и печатаем в журнале.

Покой падишаха в Тегеране.
Сквозь окна вечер пламенеет ранний.
Шах пьян. За занавеской шёпот жён.
Дервиш, держа фигурку восковую,
Бормочет что-то, над ковром склонён,
Размахивает рукавом, колдуя.
Вот он завыл, вой переходит в стон,
И вскоре плут, пресытившись экстазом,
Фигурке рубит голову над тазом.
И завопили все: — Свершилась кара —
С плеч покати́лась голова Саттара!¹
Убит мятежник грозный! Салават!
Отступника проклятого не стало! —
Ликует двор, счастливой вести рад.
Народ же, от велика и до мала,
Не хочет верить, мудростью богат.
С колдовстве толкует он с издёвкой:
Провёл дервиш барана-шаха ловко!

1

На город, исходящий болью жгучей,
Упала ночь, подобна чёрной туче.
Луна и звёзды нынче не взошли;
Оделись в траур сумрачные своды,
Чтоб память тех почтить, что полегли
В борьбе за дело моего народа.
Всё замерло: ни возгласа вдали,
Ни гневных слов, ни сдержанного стона,
Лишь ветра свист протяжный, похоронный...

¹ Саттар хан — вождь иранских революционеров.

Мужчина, хоронясь, как из засады,
В окно, во мрак вонзает стрелы взгляда,
Стремясь прочесть сквозь чёрный переплёт
Из книги жизни светлую страницу.
В углу, вся — воплощение забот
И скорби тяжкой, женщина томится:
Что эта ночь ещё с собой несёт?
А на постели девочка больная
В недуге тяжком мечется, стеная.

Мужчина молча подошёл к постели,
Его глаза, как два костра, горели.
Потом окно завесил простынёй,
Заставил дверь; достал весь запылённый,
В потёках крови, патронташ пустой
И стал в него укладывать патроны.
Жена в испуге крикнула: — Постой!
Безумный, что ты затеваешь снова? —
Её слова и нежны и суровы.

— Ты удивлён? Не ожидал отпора?
Да, это я, жена твоя, опора,
Тебя сдержать пытаюсь. Подожди,
Не загорайся гневом и досадой.
Припомни, как, прижав меня к груди,
Сказал впервые, что бороться надо,
Что проблеск счастья видишь впереди,
Что лучше смерть, чем наш удел убогий —
Век обивать господские пороги.

С тех пор я не затворницей-женою —
Была тебе подругой боевою,
Любовь борьбой умела утверждать.
И всё ж сейчас прошу тебя остаться,
Над дочкой сжалиться молю, как мать.
Кругом войска — кто будет с ними драться?
Нет помощи, друзьям твоим не встать,
А те бежали, что ушли живыми.
— Что ж, — муж сказал, — и ты бежишь за ними?

Нет помощи, ты ж, мой помощник главный,
Что стоишь ста бойцов, бежишь бесславно?.. —
И вздрогнула от этих слов жена;
Вскочила и с солдатскою сноровкой
С гвоздя поспешно сорвала она
И за плечо закинула винтовку.
Сказала, и горда и смущена:
— Все сто твоих бойцов готовы к бою,
На смерть пойти готовы за тсбою!

И обнял муж жену свою и друга:
— Сейчас у нас не может быть досуга —
Враг кровью, за день пролитой, не сыт,
Он жаждет проливать её ручьями!
Восстанет, кто поверженный лежит,
Чтоб вновь с врагом схватиться вслед за нами.

Верь — нам добиться счастья предстоит,
И наша Хадиче, дочурка наша,
Его глотнёт тогда из полной чаши.

Я вижу день: последнее усилие;
Для новой славы расправляет крылья
Проснувшаяся доблесть древних лет.
Ещё земля моя в огне и дыме,
Но вижу ясный, восходящий свет,
И пусть тогда моё не вспомнят имя,
Пусть ковылями зарастёт мой след,
Лишь бы могла моих усилий доля
Помочь народу вырваться на волю!

Идём же, друг! — И вот растёт всё выше
Во мраке заграждение на крыше.
Когда ж врагам на горе наступил
Рассвет и шахиншахские бандиты
В разгуле пьяном, не жалея сил,
Тавриз громили, выжженный, разбитый,
Внезапно луч тавризцев озарил:
Увидели и молодой и старый —
Поднялся с солнцем алый стяг Саттара.

Раздался клич: «Озодлик яшасын!»¹
И разгорелся смертный бой сначала.
Их было двое, но пора настала —
Был сразу же подхвачен их почин.
Включаться в битву стали горожане;
Не сговорившись, не сходясь заране,
Рабочий люд поднялся как один.
Послушный сердца пылкого велению,
Пошёл он за Саттаром в наступленье.

2

Лик радости сменил лицо печали;
Вновь голоса прохожих зазвучали.
Расчёты шахиншаха сорвались:
Не выдержав внезапного удара,
Враг отступал. Расправил стан Тавриз
Под стягом полыхающим Саттара.
До Керманшаха вихрем донеслись
Известия о совершённом чуде,
И глухо там заволновались люди.

Припоминаю утро золотое:
Фонтан, кипящий горною водою
На площади базарной Туп-хане.
С окрестной нищетой несообразный,
В дни отрочества он казался мне
Сверкающей колонною алмазной.
И чудилось, как будто в вышине,

¹ Озодлик яшасын! — Да здравствует свобода!

Там, где с разлёта рушится колонна,
Пчёл золотых роятся миллионы.

О юности далёкая пора!
Базарный день. У ветхого шатра
Дервиш расположился, проповедник...
Хлопочет каждый здесь о барыше:
Цирюльник, мелочный торговец, медник.
Всё, как обычно: жизни смысл — в гроше.
Но труженик огонь таит в душе.
Повстанцы, смелый план подготовляя,
Сошлись в каморке караван-сарая.

Меж тем не спят и шахские наймиты...
За городом — пустырь, ветрам открытый.
Привязан к двум пригнутым тополям
Приверженец мятежного Тавриза —
Он должен быть разорван пополам.
Народ теснится, ужасом пронизан.
Войска проходят маршем здесь и там,
Пополнены ряды их разным сбродом.
В ночь выступают на Тавриз походом.

Протяжный, хриплый петушиный крик.
В молочной мгле — луны неясный лик.
Войск движется расплывчатая масса.
Верблюдов длинный караван вослед
Провизию везёт, боеприпасы.
Яр-Мухаммед¹, погонщиком одет,
Среди врагов бесчисленных затерян,
С собратьями идёт, обету верен...

Там, вокруг Тавриза, чёрных сил лавина
Истаяла, осталась половина,
И та для новой схватки негодна.
Начальники забились в щель со страха.
Но вот сменилась шумом тишина —
Подмога подошла из Керманшаха,
По воле деспота снаряжена...
Погонщики тайком ведут беседу,
Сосед слова передаёт соседу.

Яр-Мухаммед (лицо от света пряча):
— Пусть нам, друзья, сопутствует удача!
Сегодня ж ночью в славный город мы,
Вьюки с оружием захватив с собою,
Должны пробраться под покровом тьмы,
Должны попасть туда ценой любою.
Здесь не до нас, средь этой кутерьмы... —
Друзья ему: — А как нам быть при встрече?
Саттар не понимает нашей речи!²

Яр-Мухаммед: — У нас едины цели,
Давно друг друга мы понять сумели,

¹ Яр-Мухаммед — по национальности перс, соратник Саттар-хана

² Саттар — по национальности азербайджанец.

Хоть говорим на разных языках.
 Они за счастье борются, мы тоже,
 Тем и другим равно неведом страх.
 Когда сердца в согласие, речи схожи
 И одинаков замыслов размах.
 Когда ж нам чуждо, что другому свято,
 Брат может не понять родного брата...

Ещё до света «волею аллаха»
 На шахский стан легли снаряды шаха.

· · · · ·
 · · · · ·

Царь получил посланье из Ирана:
 Шах просит войск у русского тирана.
 Мол, справиться один не может он —
 Бунтовщики-тавризцы одолели...

Узнав о том, в раздумье погружён,
 Так записал в своей тетради Ленин:
 Когда в бессилье деспот принуждён
 Вымалить подмогу у соседа,—
 Хотя б за ним и числилась победа,
 Восстаниям конца не положить:
 Движение в народе будет жить.

Перевод Т. Спсидиаровой



ГОВАРД ФАСТ

★

ПОДВИГ САККО И ВАНЦЕТТИ

*Легенда Новой Англии **

Глава девятая

Около двух часов дня 22 августа президенту Соединённых Штатов доложили, что диктатор фашистской Италии обратился к нему с маленькой, необременительной просьбой. Диктатор интересовался, нельзя ли проявить хоть какое-нибудь милосердие к двум «жалким итальянцам, осуждённым на смерть властями штата Массачусетс». Время истекало, и самая неотвратимость казни побудила диктатора обратиться лично к президенту. Но представитель государственного департамента, который посетил президента в его поместье, где тот проводил свой отпуск, дал ему понять, что это обращение — пустая формальность и сделано оно под давлением народных масс. Ни для кого не было секретом, что меньше всего диктатор питал симпатии к красным любого толка, и потому он едва ли стал бы оплакивать смерть Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти.

Президент пользовался репутацией человека глубокомысленного; такую репутацию создавала его склонность долго, невыносимо долго молчать. Почему-то о людях, которые мало говорят, не принято думать, что внутренняя жизнь их так пуста, что им просто нечего сказать. Народная молва считает, что немногословие — признак мудрости, а оно чаще всего — результат душевной пустоты. Во всяком случае, можно предположить, что человек становится президентом потому, что у него есть хоть какие-нибудь достоинства; наверно, так обстояло дело и с этим президентом. У него были тонкие губы, маленькие глазки и длинный, острый нос; костлявое лицо не было ни добрым, ни привлекательным, а голос был таким же резким и брюзгливым, как и характер. Но если природа и не наградила его другими достоинствами, ему уж во всяком случае полагалось обладать умом! Многие тщетно пытались обнаружить у президента ум; другие же клялись, будто ум у президента есть, — правда, ум особенный, «гномический», от греческого слова «gnome», то есть афоризм. Слово было слишком учёное, и люди, которые наконец-то поняли, за что этого человека произвели в президенты, попросту объяснили, что ум у него был, как у гнома. Тогда газеты растолковали разницу между «карликом» и «афсризмом» в применении к уму президента. Однако дело от этого не менялось, ибо президент и вправду любил изрекать афоризмы. Например, президент проявил свой поистине «гномический» ум, когда заявил: «Левая рука и правая рука двигаются по мере того, как двигается туловище; если туловищу что-нибудь угрожает, они защищают его вместе. Точно так же обстоит дело с левыми и правыми в политике».

* Окончание. См. «Новый мир» № 1 с. г.

Пресса обожала такие высказывания. Впрочем, от президента его домашние слышали и другие речи. Он был родом из Новой Англии, уроженец штата Вермонт, но сделал карьеру в штате Массачусетс, где однажды сорвал забастовку полицейских. Он был губернатором штата как раз в то время, когда у полицейских Бостона лопнуло терпение; их дети недоедали, а жёны язвили насмешками. «Разве вы мужчины? — спрашивали они. — Собака, и та станет кусаться, если морить её голодом». И вот случилось нечто невероятное: полицейские забастовали. Вся страна была потрясена этим неслыханным событием и раздула его до небес. Тогда в это дело вмешался человек, который потом стал президентом, и предпринял ряд заурядных, ничем не примечательных мер. Однако в результате сложилась легенда, что он и есть тот человек, который сорвал забастовку полицейских.

— Помните, как он сорвал забастовку полицейских? — сказал в этот день теперешний губернатор штата Массачусетс. — Вот кто показал рвение и твёрдость, редкие для должностного лица! Вот кто показал пример, достойный подражания! Я предпочитаю руководствоваться таким благородным примером, а не мнением людей, которые хотят меня дискредитировать.

По правде говоря, нынешний губернатор никогда не упускал из виду, что в Белом доме сидит человек, который некогда тоже был всего лишь губернатором штата Массачусетс. Кто может поручиться, что ещё один губернатор не пройдёт тот же путь? Во всяком случае, непреклонная ненависть ко всему красному, красноватому, бледнокрасному и даже розовому должна была стать для губернатора путеводной звездой... Говорят, что нет такого человека, который не хотел бы стать президентом.

Но человек, который был сейчас президентом, говорил очень мало о чём бы то ни было. Он отмалчивался всегда, когда сталкивался с чем-нибудь, чего не понимал, либо когда бывал поставлен перед необходимостью принять неприятное решение.

В этот день, 22 августа, представитель государственного департамента, глядя на президента, старался припомнить — какова же, собственно, позиция Белого дома в деле Сакко и Ванцетти; он сообразил, что у Белого дома, в сущности, не было никакой позиции, Белый дом не имел по этому поводу никакого мнения.

— Не могу же я вмешаться, — сказал наконец президент.

— Не можете?

— Я понимаю затруднения дуче... — Конец фразы повис в воздухе.

У противоположного края огромного, несколько аляповатого письменного стола сидел стенограф. Но было непохоже, что президент собирается диктовать. Маленькие глазки его были тусклы и невыразительны — быть может, он всматривался в беспредельность страны, которую он возглавлял, и государства, которым он правил. В его стране действовала хорошо смазанная государственная машина. Эта машина постоянно, каждый день, втягивала в своё нутро таких, как Сакко и Ванцетти, — коммунистов, агитаторов, рабочих организаторов, которым, видно, просто не терпелось попасться к ней в зубья. А теперь эти же люди вопят так громко и пронзительно...

— Затруднения дуче понятны. Сакко и Ванцетти — итальянцы: вот и возникает вопрос национального престижа. Тамошние коммунисты используют это дело повсюду. Уже было несколько многолюдных демонстраций... Турин, Неаполь, Генуя, Рим.

Представитель государственного департамента зашелестел бумагами. Он пришёл во всеоружии цифровых выкладок, сводок и докладных записок. Объяснив — то, что он сейчас прочтёт, взято из газеты «Пополо», он добавил:

— Это в некоторой мере официальная точка зрения, господин президент.

— Я никогда не мог уяснить себе, достаточно ли жёсткой рукой дуче держит свою прессу?

— Железной рукой, не в пример нам. Если редактор газеты выскажется там невпопад, он может уйти от неизбежных последствий, лишь пустив себе пулю в лоб. Фашисты очень любят порядок, и дуче не терпит, когда что-нибудь делается без его ведома... Так вот они пишут: «Америка дала возможность свободному правосудию, этой первой из богинь, сказать своё слово. Приговор суда не может и не должен подвергаться обсуждению...» Видите, как они любят порядок; порядок — это их божество!.. «Но после того, как свободное правосудие сказало своё слово, должно заговорить милосердие — что было бы уместным, справедливым и разумным». Понятно, всё это нельзя принимать за чистую монету. Печатая такие передовые статьи, дуче укрепляет свои позиции: «Вот он какой! — будут говорить люди. — Заступается за каждого итальянца». С другой стороны, дуче не оспаривает ни процесса, ни судебного решения — он лишь просит о милосердии. Конечно, здесь не без лицемерия, вспомним, скольких коммунистов он прикончил сам. Расстрелы и тюрьмы, концентрационные лагеря и касторка...

Касторка заинтересовала президента.

— Я всё время слышу об этой касторке. А что с ней делают?

— Насколько мы могли установить, это метод обращения с красными. Их связывают, насильно раскрывают рот и вливают в глотку около литра касторового масла. Звучит ужасно, не правда ли? И, наверно, чертовски противно на вкус. Но, повидимому, дуче приходится прибегать к таким мерам, чтобы дать им небольшую встряску.

— Да, уж он им дал встряску! — согласился президент. — У них даже поезда приходят сейчас вовремя. Но нас они всё-таки не понимают. Государство есть государство. Президент не может вмешиваться. Сообщите ему, что я не могу вмешиваться. Пусть идёт, как идёт; сегодня ночью всё будет кончено. Не могу же я ехать в Массачусетс и учить губернатора, что ему делать. Судили их справедливо, времени для расследования фактов было больше чем достаточно...

Голос его замер. Он и так сказал слишком много. Он никогда не сердился, но представитель государственного департамента знал, что президент не любит красных. Он прав, все они были смутьянами. Однако беспорядки везде и всюду возникли неспроста. Его следует подробно информировать. Вот и сейчас в Лондоне, перед зданием американского посольства, собралась толпа: десять или пятнадцать тысяч человек. Сообщение об этом было получено лишь за несколько минут до того, как он пришёл к президенту.

— Там нас не любят, — коротко заявил президент.

— Во Франции демонстрации происходят день и ночь; двадцать пять тысяч на улицах Парижа, то же происходит в Тулузе, Лионе, Марселе. В Германии очень большие демонстрации в Берлине; а во Франкфурте и в Гамбурге...

Президента это, повидимому, совсем не занимало. Его лицо не отразило ни удивления, ни недоверия. Грозный гул марширующих колонн, топот миллионов ног на улицах Москвы и Пекина, Калькутты и Брюсселя, настойчивые требования делегатов, неистовый гнев протестов — все звуки замирали здесь и превращались в неясный шёпот.

— При чём тут наше правительство? — спросил президент.

— Государственный секретарь считает, что вам следует знать о положении в Латинской Америке. Там очень беспокойно.

— Какого чёрта им ещё надо! — откликнулся президент.

Чиновник государственного департамента диву дался: к равнодушию президента он уже привык, но такое полное безразличие... Чиновник государственного департамента перешёл к деталям: забастовки, митинги протеста, гнев народов, разбитые окна в зданиях посольств и консульств. Колумбия, Венецуэла, Бразилия, Чили, Аргентина... Да, и ещё какая-то дьявольская вспышка в Южной Африке.

— Неужели в Южной Африке? — удивился президент.

— Посольства шлют весьма тревожные донесения. Весь мир вдруг ополчился на нас и вопит, словно в бешенстве.

Тут президент улыбнулся. В улыбке его не было юмора; просто он в первый раз проявил недоверие.

— Вот как? Странно. Уверен, что тут не обошлось без русских. Как же иначе объяснить такую шумиху из-за двух агитаторов?

— Я не могу ничего объяснить, сэр. Но вот, по мнению британского посольства, надо посоветовать губернатору Массачусетса отложить казнь.

Президент покачал головой.

— Судили их справедливо.

— Да, но...

— Я не склонен вмешиваться.

Представитель государственного департамента сложил бумаги в портфель и ушёл. Президент отослал стенографа и остался в одиночестве. Его мысли текли по раз навсегда наменному руслу. Странное занятие быть президентом Соединённых Штатов! Даже теперь, когда он находится в отпуску, его письменный стол всё равно завален делами — но вот поднялась шумиха по поводу сапожника и разносчика рыбы, и, видите ли, всё должно остановиться! Здесь, в своём поместье, в Чёрных горах Сегерной Дакоты, так далеко от Вашингтона, он всё равно держит пальцы на пульсе мировых событий, а за его плечами огромная страна, процветающая и могущественная, которая не снилась человечеству во всю историю его существования. В этой стране появился новый пророк, имя его — Генри Форд; он изобрёл какую-то подвижную штуку, которая зовётся конвейером. Каждые тридцать секунд с конвейера сходит автомобиль, и глубоко-мысленные люди пишут труды о том, что фордизм пришёл на смену марксизму. Скоро в стране будет по два автомобиля в каждом гараже, по курице в каждом горшке... и, как сострил один язвительный фельетонист, неуклонное развитие приведёт к тому, что не только каждый человек будет иметь собственную ванну, но и каждая ванна будет иметь свою собственную ванную... Раз навсегда будет покончено с ненавистной коммунистической болтовнёй о неизбежности экономических кризисов; депрессий и кризисов больше не существует; страна стала богатой, могущественной, изобильной. И так, видимо, будет вечно.

И такой стране бросили вызов два безграмотных оборванца, два агитатора, исторгнутые средиземноморским бассейном, где плодятся тёмные люди с чёрными душами, такие непохожие на англо-саксов и такие неприятные! Они пришли сюда, полные ненависти и злобы. И величие страны сказало в том, что она свершила над ними законный акт правосудия без гнева и без всякого пристрастия.

А мир был чем-то недоволен и рассержен, он весь содрогался от шума, поднявшегося из-за этих двух людей. Можно было свалить всё на «происки русских», но для сухого и угрюмого человека в Чёрных горах загадка оставалась загадкой. Он не мог найти утешения и в ненависти: ненависть его была анемична; он просто не мог представить себе сапожника и разносчика рыбы в качестве человеческих существ, достойных ненависти. Собаке надевают намордник, скотину ведут на убой без всякой ненависти...

Его мысли спокойно текли по привычному руслу, — теперь он обратился к воспоминаниям...

Не так давно, в Вашингтоне, секретарь неслышно вошёл к нему в кабинет и сказал: «Пришёл верховный судья». — «Верховный судья?» — «Он в приёмной. Но у вас назначена другая встреча...» — «Какое это имеет значение! Не болтайте глупостей! Если верховный судья здесь, пригласите его поскорее!»

Верховный судья был человеком особенным, его ни с кем не спутаешь, даже если его не называют по имени. Не только президенту, но и многим другим людям казалось, что всё правосудие и весь закон, больше того — вся история правосудия и законности облачены в высохшую кожу старого судьи.

И вот верховный судья вошёл в кабинет президента. Президент поднялся навстречу ему, бормоча слова вежливости, но старик остановил его движением руки.

Он был поистине стар — старый, старый человек. Его кожа высохла, как пергамент, глаза ввалились, голос был гулким, но надтреснутым от старости. Он прожил куда больше семидесяти лет, отпущенных большинству людей. Где-то в глубине его взора хранились воспоминания о множестве событий. Он был свидетелем того, как палили пушки под Геттисбергом¹, он видел склон холма, устланный трупами; долгие часы провёл он в беседах со старым Авраамом Линкольном². Сколько людей жило, боролось и умерло с той поры и до этих пор, — и всему был свидетелем этот старый, старый человек. Его присутствие произвело впечатление даже на должностное лицо, лишённое всякого воображения. Старый человек был олицетворением старой Новой Англии — давнишних, далёких, навсегда ушедших времён, тех дней, когда Поль Ривер³ содержал ювелирную лавку в маленьком городе Бостоне. Президент глядел на судью с удивлением: хотя он и президент, но то, что старик явился к нему сам, было из ряда вон выходящим событием.

«Прошу вас, садитесь, пожалуйста», — сказал президент.

В этот день в Вашингтоне было жарко, как в пекле. Верховный судья кивнул головой и сел возле письменного стола. Он положил на стол соломенную шляпу и поставил между костлявыми коленями свою палку.

«Я решил повидать вас, сэр, — сказал старый судья, как бы давая понять, что это его неотъемлемое право. — Меня просят отсрочить казнь. Я имею в виду дело штата Массачусетс против Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти. Их наконец приговорили к смерти, и губернатор назначил день казни. Меня просят её отложить. Вы, должно быть, знакомы с обстоятельствами дела?»

«В достаточной степени», — сказал президент.

¹ 1—3 июля 1863 года, во время гражданской войны в США, под Геттисбергом произошло решающее сражение между войсками северян и армией южных рабовладельческих штатов, где южане потерпели поражение. (Примеч. перев.)

² Линкольн Авраам (1809—1865) — шестнадцатый президент США. Выходец из семьи батрака. Своими демократическими идеями завоевал широкую популярность в народе. В 1846 году Линкольн был избран в конгресс, а в 1860 году — президентом США. В годы гражданской войны в США Линкольн, под влиянием революционных настроений народных масс Севера, перешёл к решительной борьбе против южан. В январе 1863 года он издал закон об освобождении рабов. Когда в 1864 году Линкольн был вторично избран президентом США, Первый Интернационал обратился к нему с приветствием. 14 апреля 1865 года Линкольн пал жертвой заговора рабовладельцев: он был смертельно ранен выстрелом из револьвера. (Примеч. перев.)

³ Ривер Поль (1735—1818) — американский патриот, прославился в начале войны за независимость. Впоследствии стал крупным промышленником. (Примеч. перев.)

«Так. Я не слишком подробно знаком с этим делом, но я просмотрел очерк, написанный о нём каким-то преподавателем права из Бостона. Обычно я отношусь неодобрительно к сочинениям, которые пытаются воздействовать на суд при помощи общественного мнения. Однако это сочинение написано довольно искусно. Дело имеет много любопытных особенностей. Оно вызвало нечто вроде бури в нашей стране и за её пределами. Есть люди, которые хотят изобразить обвиняемых святыми. Когда меня сегодня просили отсрочить казнь, я указал, что судебное решение штата может быть опротестовано верховным судом Соединённых Штатов лишь в том случае, если из судебного отчёта неопровержимо явствует, что нарушена конституция. В данном случае защитники уже представили прошение о востребовании дела верховным судом вследствие конституционных нарушений. Они подали также прошение о доставке в верховный суд самих обвиняемых для расследования законности их ареста, но в этом им было отказано. Тогда они и обратились ко мне с ходатайством — отсрочить казнь, пока верховный суд не рассмотрит прошения о востребовании дела. Естественно, что ни при каких, даже самых чрезвычайных обстоятельствах суд не может быть созван летом. Если представить делу идти своим чередом, обвиняемые будут мертвы, прежде чем суд рассмотрит прошение, — ведь казнь назначена на август месяц. Отсюда просьба об отсрочке. Как видите, создалось весьма сложное положение. Я не могу припомнить прецедента, которым в данном случае можно было бы руководствоваться. И не уверен, что конституция даёт мне право отсрочить казнь, однако, если потребуется, я это сделаю. Правда, я не могу себе представить таких обстоятельств, которые вынудили бы верховный суд отменить или отсрочить приговор. Мне они кажутся невероятными. Вот почему я склоняюсь к тому, что казнь не должна быть отсрочена. Всё же дело настолько серьёзное, что я решил узнать ваше мнение. Быть может, вам известны какие-либо факты или соображения, которые говорили бы в пользу отсрочки казни?»

«Я их не знаю», — сказал президент.

«Вы не думаете, что репутация нашей страны выиграет, если правосудие совершит акт милосердия?»

«Я этого не думаю».

Старик поднялся и поблагодарил президента...

Теперь президент вспомнил эту беседу. Он вспомнил и о памфлете написанном преподавателем права из Массачусетса. «Где я встречал его имя?» — задумался президент.

Он порылся в своих бумагах и нашёл телеграмму, полученную сегодня. Он перечитал её:

«...Покорнейше и почтительнейше прошу вас, сэр, учесть, что я видел своими глазами доказательства невинности этих двух людей. Могу в этом присягнуть. Если существует хотя бы малейшее сомнение, разве мы не обязаны его проверить? Я прошу не о милосердии, я прошу о полной мере правосудия. Что станет с нами, если рухнет правосудие? Какой щит нас оборонит? Какие стены нас укроют? Прошу вас, телеграфируйте губернатору Массачусетса и предложите ему отсрочить день казни. Даже двадцать четыре часа могут помочь...»

Настойчивый тон телеграммы рассердил президента. Потом он прочёл фамилию в конце — явно еврейскую фамилию. Да, это была та самая фамилия, которую упомянул верховный судья. Почему эти евреи так бесцеремонны?

Он отложил телеграмму в сторону. Самое прикосновение к ней вызвало в нём брезгливость. Это была одна из многих телеграмм, полученных им сегодня. Он не ответил на них, да и не собирался отвечать. Вся эта история ему так наскучила!

Глава десятая

Профессор уголовного права опоздал. Встреча с писателем из Нью-Йорка была назначена на три часа, однако сейчас шёл четвёртый, и писателя уже не было в помещении комитета защиты. Профессору сказали, что писатель, повидимому, пошёл к резиденции губернатора, чтобы присоединиться к пикетчикам. Профессор отправился на его поиски. Проходя по Бикон-стрит и замечая, как удлиняются дневные тени, он всё острее ощущал близость тех двух людей в тюрьме неподалёку. Как пестры были его ощущения за сегодняшний день и чего только ему не пришлось пережить! Сколько случилось событий, а ведь куда больше ещё впереди! Важное так причудливо переплеталось с неважным, что ему порою казалось, будто каждое действие, каждая минута этого, ни на что не похожего, трагического дня были полны какого-то особого значения. В мыслях его не было ясности, но он заметил, что и вообще разучился отчётливо мыслить; он стал как бы частью сегодняшнего дня, и торопливый бег минут, духота, жестокость, злоба и томящая боль отложили глубокий и тревожный след в его душе; теперь, жарким летним днём, поспешно шагая по улице, он вдруг понял, что потерял всякий счёт времени. Всё, что он пережил за последние часы, вызывало чувство, знакомое тем, кто живёт в насыщенные событиями дни: время как бы превратилось в гигантское увеличительное стекло. Казалось, что недели и даже месяцы спрессованы в то, что в календаре обозначалось одним днём. Вот сейчас, например, время едва перешагнуло полдень понедельника, а то, что происходило всего лишь сутки назад, в воскресенье, казалось, ушло в далёкое прошлое.

Нить его мыслей привела его к раздумью о том, чем же было сегодня время для Сакко и Ванцетти? Как бегут для них минуты, тянутся или летят для них часы? Профессор понял, что, как и многие другие в Бостоне, он в этот понедельник отождествлял себя с Сакко и Ванцетти, а когда он подумал о том, как течёт для них сегодня время, сердце его похолодело от страха, и он вдруг почувствовал себя на их месте, посмотрел на мир их глазами и разделил с ними жестокое предчувствие приближающейся смерти. В этот летний день он, как и многие другие, будет нескончаемо переживать вместе с ними их предсмертные муки.

Повидимому, таково же было состояние и писателя: агония Сакко и Ванцетти была и его агонией,— разве в противном случае он приехал бы сегодня в Бостон? Профессор никогда не видел человека, которого так торопился встретить, однако ему казалось, что он его знает давно. Много лет подряд он читал газетные статьи писателя и наслаждался их убийственной иронией, остроумием и душевным жаром. Как и профессор уголовного права, писатель был человеком эмоциональным. Он умел быть и едким и чувствительным, доводя эти качества до крайности. Сходство их натур заставляло профессора побаиваться первой встречи с писателем. Странно, подумал профессор, что сегодня он волнуется по такому пустячному поводу, но сразу же понял, что сегодняшний день складывался из важных вещей и из совершеннейших пустяков, был полон глубочайших мыслей и самой тривиальной ерунды. Окажись вселенная на краю гибели, человек всё равно будет пить и есть, а тело его — избавляться от отбросов.

Профессор подошёл к резиденции губернатора, остановился в нескольких шагах от пикетчиков и стал их разглядывать; среди них он ошибочно узнал огромную, неуклюжую и неряшливую фигуру писателя — высокого, толстого, растрёпанного человека, загребающего ногами, словно медведь, и погружённого в раздумье; он сумрачно шагал взад и вперёд под палящими лучами августовского солнца. Не сомневаясь в том,

что он нашёл того, кого искал,— этот человек мог быть только писателем и никем другим,— профессор подошёл к нему, представился, и писатель вышел из рядов пикета, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за блестящий памфлет, написанный профессором о деле Сакко и Ванцетти.

— Я давно хотел выразить это вам лично,— сказал писатель,— ведь вы оказали большую услугу не только мне и тем двоим в камере смертников, но и тысячам других людей. Пользуясь логикой, вы извлекли из одуряющей путаницы этого процесса простую и убедительную истину. Я лично весьма обязан вам за это.

Профессор почувствовал себя неловко — не из-за похвалы, нет! — а потому, что именно сегодня его работа не заслуживала дифирамбов. Он пробормотал какие-то слова, вроде того, что оба они живут в мире, который, как чёрта, боится логики, кивнул на резиденцию губернатора и напомнил своему собеседнику:

— Вот уж никак не приют для истины. Что же до логики — она там совсем не в чести.

— Боюсь, что нет. Но мы, кажется, опаздываем на приём к губернатору? Надеюсь, что это не помешает нам его увидеть?

— Мы немножко запаздываем, но я уверен, что он нас примет.

— Никак не пойму, почему он согласился нас принять? Так на него не похоже, так не вяжется с его натурой.

— Поймите, он сам не похож на себя сегодня,— объяснил профессор.— Сегодня, если я не ошибаюсь, он готов принять любого. Он будет сидеть у себя в резиденции, принимать всех, кого угодно, выслушивать всё, что угодно, и не сдвинется с места, покуда не настанет конец. Он ведь сегодня тоже проходит через своё собственное судилище и выносит себе оправдательный приговор. Губернатор, без сомнения, верит, что, когда минует сегодняшний день, он будет ничем не хуже президента Соединённых Штатов, если не брать во внимание мелких технических деталей, вроде президентских выборов, голосования и прочего.

Писатель с любопытством наблюдал за профессором, примечая в его словах чуть слышную, но вполне явственную горечь. Глядя на него и прислушиваясь к его злым словам, он подумал о тех удивительных превращениях, которые произошли с Бостоном в то странное летнее утро. Он привык наблюдать даже самого себя как бы со стороны, и вот теперь, по дороге к резиденции губернатора, писатель перебирал в своей памяти вереницу лиц и событий, которая прошла перед ним за несколько часов, проведённых им в Бостоне.

«И вот,— сказал он себе,— я вступаю в обиталище власти штата Массачусетс. В этом доме сидит маленький человечек, который на сегодняшний день превратился в божество. Я должен задать себе вопрос, обдумать и решить его: заслуживает ли этот человек снисхождения? Я уже размышлял над его злодейством. Злодейство его не ново — ему тысячелетия. Он сидит в своём дворце, как когда-то сидел фараон, с сердцем, обращённым в камень. Говорят, что у него больше сорока миллионов долларов. В этом смысле он даже превзошёл фараона. Богатство его равно всем сокровищам Египта. Он правит Массачусетсом, и, хотя ему не дано воскрешать мёртвых, он обладает властью отнимать жизнь у живых. Несмотря на будничность и благопристойность его внешнего вида, он исчадие ада. На свете немало зла, но самое страшное зло — это когда жизнь и смерть людей зависят от одного человека...»

Мысли его текли, и писатель укладывал то одно, то другое из всего, что он видел, в будущую повесть. Таков уж был его способ жить — ему столь же трудно было бы прекратить творческий процесс, как перестать дышать. У профессора уголовного права всё происходило иначе; к сомнениям и страху у него примешивалась усталость. Когда их окружили

репортёры и стали засыпать вопросами, профессор упрямо помотал головой:

— Пожалуйста, не задерживайте нас. Приём у губернатора был назначен нам на три часа, и мы опаздываем. Что мы можем вам сказать, пока мы не поговорили с губернатором?

— Правда, что сюда должна прийти сестра Ванцетти?

— Я ничего об этом не знаю,— ответил профессор, но писатель уже вплёл в свою повесть женщину, приехавшую из-за океана, чтобы просить помилования своему брату; его захватил драматизм этой простоты и в то же время необычной ситуации, драматизм, который так смело могла породить только сама жизнь.

Они вошли в приёмную губернатора, где их вежливо встретил секретарь и повёл к своему патрону.

Губернатор штата Массачусетс сидел за своим письменным столом; он поздоровался с ними и принялся их разглядывать; его вид не выражал ни приязни, ни вражды. Губернатор был видной фигурой в этом мире маленьких людей, восседающих за огромными письменными столами и взвизгивающих не то сварливо, не то опасливо, а то и искательно на тех, кто осмеливается предстать пред их очами. Что касается лично губернатора, ему сам бог велел так взирать, ибо в чертог древней славы, откуда он правил, вступили два очень необычных и беспокойных человека.

Давным-давно, когда на берег нашей страны впервые сошли отцы пилигримы¹, они построили себе дома с низкими потолками из грубо отёсанных досок; самое скромное жилище выражало тогда суровое достоинство простоты. Со временем, однако, отцы пилигримы научились жить иначе, и достоинство навек рассталось с простотой. Резиденция губернатора была старинной постройкой, но гораздо моложе тех лет суровой простоты, и комната, где сидел губернатор, была полна аристократической пышности и позлащённого великолепия, искусной резьбы наличников и белой эмали панелей; там каждый предмет обстановки был сделан руками мастера. В такой комнате даже человек, обладающий сорока миллионами долларов, не будет чувствовать себя неудобно, однако профессор уголовного права и писатель из Нью-Йорка стояли посреди этой комнаты так неловко, как будто они были застигнуты в ней всевидящим оком закона и должны были понести за это уголовное наказание.

Одежда их была измята. На писателе был кремовый летний костюм, однако и в нём он выглядел здесь как-то нелепо — казалось, медведь, надев одежду человека, забрался в людское жильё. Профессор уголовного права никогда не умел носить свои вещи как следует, вот и сейчас он влажными пальцами нервно мял свою соломенную шляпу.

Они пришли просить о помиловании, и губернатор понял, что, по крайней мере в этом, они ничем не отличались от всех других, кто приходил сюда сегодня,— рослых и маленьких, богатых и бедных, людей прославленных и таких, которые не имели в его глазах никакого значения. Все они приходили просить, молить, кланяться о жизни для двух грязных итальянцев-агитаторов, для двух людей, посвятивших свою жизнь тому, чтобы разрушить величественные сооружения, воздвигнутые людьми из мира, к которому принадлежал губернатор. Вот как он на всё это смотрел и вот о чём он думал, глядя на двух новых ходатаев. Он не чувствовал особого волнения. Сегодняшний день для него был днём, не заслуживающим волнения, очищенным от него; к тому же ему было трудно сосре-

¹ «Отцами пилигримами» (пилигрим — паломник) прозвали первых английских колонистов, прибывших в Новую Англию в 1620 году на корабле «Мейфлауэр» («Майский цветок»). Они высадились в Плимуте, на земле, отошедшей впоследствии к штату Массачусетс. (Примеч. перев.)

доточиться, мысли уносили его вон из этого кабинета, далеко от этого унылого попрошайничества. Но в жизни у него была цель; он знал, куда идёт и что делает; поэтому он решил сегодня никому не отказывать в разговоре. Пускай придут все, кто хочет, и засвидетельствуют, что он беспристрастен.

Ему приходилось выслушивать своих посетителей. Он взвешивал слова одних и слова других — ведь он был терпеливый человек, рассудительный и совсем не жестокий. Вот, например, эти двое — профессор и писатель; они, наверно, так же как и те, другие, кто приходил сюда сегодня, будут считать его человеком жестоким. Но они будут далеки от истины. Отсутствие сентиментальности ещё не есть жестокость. Хорошо бы он выполнил свой долг, если бы поступил так, как желают его посетители! Глядя на этих некрасивых, неприятных людей, которые позволили себе опоздать к нему на приём, — один из них еврей-учитель, а другой — газетный писака с дурной репутацией человека эксцентричного, приверженного ко всему радикальному, — губернатор почувствовал к себе жалость. Подумать только, как его мучили, как злоупотребляли его терпением с тех пор, как эта злосчастная история подошла к своей развязке.

Его прозвали Понтием Пилатом. Какой же он Пилат, — он просто деловой человек, страдающий гастритом — этими беспричинными болями в желудке, — боязнь сердечного припадка и трогательно желающий избежать острых углов и неприятностей, угождая людям даже тогда, когда он не разделяет их взглядов. Верно, он богат, но разве это означает, что он должен быть плохим человеком? Ничуть. Ведь всего месяц назад он самолучно посетил тюрьму на той стороне реки и даже разговаривал с Сакко и Ванцетти. Можно было ожидать, что они обрадуются его приходу, что они поймут, чего стоило ему, губернатору штата, приехать в тюрьму, посетить камеру приговорённых к казни воров и убийц и выслушать их версию этого дела. Но, вместо того чтобы выразить ему благодарность, Сакко просто не захотел с ним разговаривать и смотрел на него глазами, полными ужаса и презрения. Ванцетти даже пришлось за него извиниться: «Вы поймите, губернатор, у него лично к вам нет ненависти. Но вы для него символизируете те силы, которые он ненавидит». — «Какие же это силы?» — «Силы власти и богатства», — спокойно ответил Бартоломео Ванцетти. Они немножко поговорили ещё, и губернатор увидел в глазах Ванцетти то же, что он раньше видел во взгляде Сакко: гнев и презрение.

Губернатор не забыл и не простил этого взгляда. Он сказал себе тогда же: «Дело ваше, красные черти, думайте, что хотите».

И вот к нему пришли ходатаи этих «красных чертей» — кланчить об их помиловании. Кажется, весь мир собрался кланчить об их помиловании. Вот профессор и писатель. До них здесь были священник и поэт, а после них должны прийти две женщины.

Профессор начал с извинения за то, что они опоздали. Он объяснил, что кое-какие обстоятельства помешали им прийти во-время, что он чрезвычайной об этом сожалеет, ибо из всех свиданий, которые у него когда-либо были, он считает это свидание едва ли не самым важным.

— Почему вы так думаете? — осведомился губернатор.

Его наивность не была нарочитой. Профессор не сразу пришёл к нужному выводу, но писатель тотчас же понял, что губернатор просто глуп. Но ведь это было бы чудовищно и невероятно, а в чём-то и гораздо страшнее всего, что случилось в этот распроклятый день! Неужели глупый, недоступный чувству и логике человек действительно занимает пост губернатора штата Массачусетс и владеет правом лишить человека жизни? Что бы ни говорили писателю его глаза и уши, рассудок цивилизованного человека отказывался в это поверить. Ведь дураки не держат

скипетра власти! Да и для того, чтобы заполучить сорок миллионов долларов, ведь тоже, наверно, требуется кое-какой ум!

«Ты должен убедить его и добиться помилования,— внушал он себе.— Поэтому не следует недооценивать человека, к которому ты пришёл».

В это время заговорил профессор. Он заявил горячо, хотя и почтительно, что пришёл сюда не для того, чтобы зря отнимать у губернатора его драгоценное время. Он пришёл потому, что все признают, будто он, профессор уголовного права, знает лучше других обстоятельства дела Сакко и Ванцетти, — ведь оно глубоко интересовало его много лет,— а некоторые обстоятельства этого дела заслуживают нового толкования. В начале своей речи профессор держался чуть ли не униженно; писателя удивляло, как он может быть таким почтительным, сохраняя серьёзность. Стимулы и мстивы, толкавшие людей на тот или иной поступок, были хлебом насущным в его писательском деле; ему было любопытно знать, какая жестокая необходимость диктовала профессору уголовного права его поведение и какая тёмная потребность лишить двоих людей жизни владела душой губернатора.

— Я стараюсь быть терпеливым, — сказал губернатор, — но поймите и вы меня. Вот уже несколько дней ко мне приходят люди с рассказами о том, что у них есть либо новые доказательства, либо новое толкование старых судебных доказательств. Я выслушиваю их — говорю вам, не хвалясь,— я выслушиваю их с завидным долготерпением, однако ни один из них не смог убедить меня в том, что предъявленные им доказательства являются чем-то новым и могут решительно изменить моё отношение к этому делу. Изучив судебные протоколы и лично расследовав это дело,— причём я сам разговаривал с рядом свидетелей,— я считаю, как и присяжные, что Сакко и Ванцетти виновны и что судили их справедливо. Преступление, за которое они должны быть наказаны, было совершено семь лет назад. В течение шести лет они пользовались всяческими проволочками, подавали одно ходатайство за другим, и теперь какая бы то ни было возможность дальнейшей отсрочки уже исчерпана...

Профессор уголовного права похолодел от ужаса. Только что ему было жарко, а сейчас он дрожал, как в лихорадке. Значит, не даром в Богоне поговаривали, будто губернатор, когда к нему обращались с ходатайством о помиловании или об отсрочке казни, как попугай, повторял в ответ своё официальное решение привести в исполнение приговор, опубликованное ещё 3 августа и выученное им наизусть... Профессор считал тогда, что это басни, гадкая сплетня, злостный поклёп на губернатора, у которого и так было немало грехов. Однако теперь он сам стал свидетелем этого отвратительного представления. Губернатор штата Массачусетс читал ему наизусть отрывок из своего собственного постановления,— слушать эту декламацию было просто страшно, профессору показалось, будто его подвергают мучительной пытке. Стоило ему понять, что губернатор лишь механически повторяет своё собственное постановление, как атмосфера вокруг него разительно переменилась: реальная действительность приобрела зыбкую, туманную призрачность кошмара, и вместо солидного, хоть и реакционного правителя могущественного штата перед ним оказался загадочный пустой сосуд; то, что этот сосуд почему-то принял человеческую форму, делало всё ещё более кошмарным. И лишь чрезвычайным усилием воли профессор заставил себя собраться с мыслями и продолжить свою речь.

— Простите меня, ваше превосходительство, но мне кажется несправедливым заранее отвергать то, что мы хотим вам сообщить. Собираясь к вам, я себя спрашивал, чего же я хочу у вас просить: милосердия или правосудия? Отметая кое-какие сомнения, я решил, что не буду просить у вас милосердия...

— Я всегда признавал,— перебил его губернатор,— что некоторые трезвые и весьма добросовестные люди — как мужчины, так и женщины — искренне встревожены вопросом о виновности или невиновности обвиняемых и нападками на якобы пристрастное ведение процесса. Я считаю...

Ощущение ужаса продолжало расти по мере того, как профессор всё больше убеждался в том, что в ответ на все его доводы губернатор продолжает твердить, как вызубренный урок, своё постановление. Он с трудом преодолевал головокружение и тошноту; его бросало то в жар, то в холод. Отчаянно борясь с охватившей его дурнотой, он ждал, когда же губернатор кончит свою заученную речь. Наконец тот умолк, и тогда профессор снова взял слово, теперь уже почти не веря, что губернатор слушает его вообще, а если даже и слушает, то вряд ли схватывает нить его мыслей. Профессор продолжал развивать тезис о том, что он пришёл сюда просить не милости, а правосудия. Он медленно и дотошно перечислил весь список основных свидетелей защиты, упомянув, во всего защитой было выставлено свыше ста свидетелей. Он привёл показания тех, кто заявлял под присягой, что ни Сакко, ни Ванцетти не могли ни при каких обстоятельствах находиться на месте преступления, в котором их обвиняли. Он разбил показания свидетелей обвинения. Ему не пришлось говорить долго — он слишком хорошо знал дело; меньше чем в пятнадцать минут он нарисовал скупую, но вполне живую и неопровержимую картину невиновности Сакко и Ванцетти. Заканчивая анализ судебных доказательств, профессор уголовного права сказал:

— И самая жестокая ирония, ваше превосходительство, заключается в том, что Ванцетти ни разу в жизни не был в Саут-Брейнтри. Не грустно ли, что, если он сегодня погибнет, он так никогда и не увидит так называемого места своего преступления...

Губернатор был вежлив — он помолчал, пока не убедился в том, что профессор действительно закончил свою речь, а потом заговорил ровным и бесстрастным тоном:

— Мне было нелегко взглянуть на события шестилетней давности чужими глазами. Многие свидетели давали свои показания, словно они произносили затверженный урок, а не вспоминали о том, что было в действительности. Некоторые из них откровенно заявляли, что за шесть лет успели забыть столь незначительные события и не могут их припомнить. Ведь происшествие и в самом деле было не очень приятным, что тут удивительного, что они постарались о нём забыть?

Губернатор сделал паузу и вопросительно взглянул на профессора и писателя. Профессора снова обдало холодом, и он почувствовал приступ дурноты — губернатор опять повторял своё постановление. Но профессор не мог больше говорить; он повернулся к писателю и кинул ему умоляющий взгляд, не зная, понял ли тот источник губернаторского красноречия.

— Что касается меня, я прошу милосердия,— сказал писатель просто.— Я прошу христианского милосердия в память о Христе, который страдал.

— О милосердии не может быть и речи,— спокойно ответил губернатор.— Преступление в Саут-Брейнтри было особенно зверским. Во время налёта убийство кассира и охранника не вызывалось необходимостью. Неправильно говорить о милосердии. Обвиняемые пользовались всеми преимуществами нелицеприятного суда. При помощи различных проволок процесс затянулся на шесть лет. Я считаю дальнейшие проволочки недопустимыми. У меня нет оснований тянуть с этим делом.

— Мой друг воспользовался доводами логики, чтобы просить вас об отсрочке казни,— сказал писатель, стараясь смягчить свой звучный го-

лос.— Я прошу о христианском милосердии. Всякое наказание имеет весьма спорную ценность, да и то лишь соотносительно к совершённомu преступлению. Я бы обманул вас, ваше превосходительство, если бы смолчал о том, что, по-моему, эти люди не виновны ни в чём, кроме левых убеждений. Но даже допустив, что они виновны, разве они не заплатили полной мерой? Бог даровал человеку бесценное право умереть только однажды, не ведая заранее часа своей кончины. Но за семь лет эти бедняги умирали не раз, а чем для них был сегодняшнйй день — ни я и никто другой не взялись бы описать. Неужели вас это не трогает, ваше превосходительство? И я и мой друг — оба мы гордые люди, однако мы пришли к вам униженно молить: даруйте жизнь этим несчастным.

Губернатор произнёс одно-единственное слово:

— Зачем?

Он хотел понять зачем, зачем они пришли к нему просить за жизнь Сакко и Ванцетти? Зачем люди вообще приходили к нему за этим? У губернатора был такой тон, словно он был бы поистине признателен, если хотя бы кто-нибудь объяснил ему наконец, почему Сакко и Ванцетти не должны умереть.

Теперь и писателя охватил ужас. Простой вопрос, обращённый к ним, привёл их обоих в дрожь; они онемели и молча ждали, что за этим последует. Губернатор тоже ждал.

Воздух стал плотным и неподвижным; казалось, что из комнаты ушла жизнь. Старинные часы в углу тикали громко и настойчиво, а трое людей продолжали молча ждать. Трудно сказать, чем бы всё это кончилось, но, когда мучительное напряжение уже готово было взорваться, дверь открылась и секретарь губернатора доложил, что в приёмной ожидают миссис Сакко и мисс Ванцетти, точнее говоря — Луиджия Ванцетти, сестра Бартоломео Ванцетти, которая проделала длинный путь от самой Италии, чтобы просить помилования для своего брата; обе они хотели бы увидеть губернатора, если он согласится их принять. Губернатор повернулся к писателю и профессору и посмотрел на них с кротким и извиняющимся видом. Увы! Но ведь они виноваты сами — не надо было опаздывать на приём. Такая жалость, но этим двум женщинам тоже назначено время приёма, а там придут другие, сегодня ему нельзя выходить из расписания. Как они предпочитают: уйти или остаться и послушать его разговор с мисс Ванцетти и миссис Сакко?

Профессор уголовного права ушёл бы с радостью, но писатель ответил за них обоих, что он просит, если губернатор не возражает, разрешения остаться.

Губернатор несколько не возражал, он был очень любезен и пригласил их сесть на стулья с резными ножками, расставленные вдоль стены: там им будет удобнее. Губернатор заметил, что в такой жаркий и утомительный день, как сегодня, человек должен стараться чувствовать себя как можно удобнее. Теперь он вёл себя, как заботливый хозяин; однако профессор уголовного права понял, что и эта новая его ипостась была таким же заученным жестом, как и его механические, затверженные-ответы.

Они уселись, дверь открылась, и секретарь ввёл в комнату двух женщин и мужчину. Мужчина, повидимому, был другом и переводчиком мисс Ванцетти, не говорившей по-английски. Это была маленькая женщина, такая хрупкая, что казалась почти бесплотной. Писатель и профессор, не отрываясь, смотрели на неё. До этой минуты Сакко и Ванцетти были для них только именами. Внезапное появление обеих женщин как бы наделило эти имена плотью и кровью. Писатель был очень растроган. Ему говорили, что миссис Сакко красива, но он не ожидал, что её красота

так проникновенна. Это была неосознанная, безотчётная красота. У этой женщины не было желания быть привлекательной ни для кого на свете, кроме одного-единственного человека, которого она была лишена; именно самозабвенность делала её похожей на мадонну со старинной картины эпохи Возрождения, на олицетворённую женственность, написанную кистью Рафаэля или Леонардо. Красота её бросала вызов жалкому идеалу дешёвой, стереотипной красоты, созданному на родине писателя скорее для того, чтобы осквернить, чем облагородить женщину. И, глядя на миссис Сакко, он удивлялся, как мог он считать красивой какую бы то ни было другую женщину. Но он отмахнулся от этой мысли — она казалась кощунственной по отношению к убитой горем Розе Сакко. Горе её было таким глубоко личным, совсем не похожим на страстный немой укор сестры Ванцетти.

Жена Сакко заговорила сразу, без всяких вступлений. Слова её лились, как тихое журчанье горного ручья. Она шептала:

— Я знаю вас, губернатор. Я знаю, что и у вас есть дети. Я знаю, что и у вас есть жена. О чём вы думаете, когда вы смотрите на ваших детей? Приходило ли вам когда-нибудь смотреть на них и думать: прощайте, прощайте навеки, я никогда вас больше не увижу, и вы никогда больше не увидите меня? Думаете ли вы когда-нибудь о таких вещах? Муж мой любит меня больше себя самого. Как я могу рассказать вам, что он за человек? Николо Сакко так нежен. Как мне вам об этом рассказать, губернатор? Ну вот, если в комнату вползёт муравей, вы ведь наступите на него и раздавите, правда? Муравей — только насекомое, что до него человека? А вот Николо Сакко осторожно возьмёт его, отнесёт в сад и посадит на землю, а если я посмеюсь над ним, знаете, что он мне скажет? Он мне скажет, что это — живое существо и я должна почитать его за то, что оно живёт. Жизнь драгоценна. Подумайте о его словах, губернатор. Я хочу показать вам его таким, каким он был со своими детьми, — он никогда не был с ними ни жестоким, ни сердитым, ни нетерпеливым, ни озлобленным. Его руки превращались для них в покорных слуг. Чего только не выдывали с ним дети! Они хотят, чтобы он превратился в ослика и покатал их на спине? Он их катает. Хотят, чтобы он стал трубадуром и пел им песни? Он поёт им песни. Они просят его стать бегуном, чтобы носиться с ними наперегонки? Пожалуйста, он бегаёт с ними наперегонки. А что бывало, когда, не дай бог, они заболели! Он превращался в няньку и не отходил от их постелей. Да, но почему я говорю и х постелей? Видите, что делают со мной годы. Мне надо было сказать: его постели, нашего мальчика Данте, ведь девочка родилась, когда мой муж уже был в тюрьме.

Поглядите на меня, губернатор. Разве я похожа на жену убийцы? Разве человек, о котором я говорю, мог безжалостно убить другого человека? За что вы хотите его уничтожить? Каких кровожадных дьяволов вам надо насытить этой жертвой? Что мне вам ещё сказать? Я думала и думала обо всём, что мне надо вам сказать, а вот у меня ничего и не осталось, кроме слов о том, как он был нежен, и добр, и кроток; часто в своём саду он мне напоминал Святого Франциска. Знаете, чего он хотел? Он хотел, чтобы каждый человек владел тем же, чем владеет он сам: доброй женой, хорошими детьми и работой, которая всякий день приносит кусок хлеба. Вот и всё, чего он хотел. Вот для чего он был радикалом. Он утверждал, что люди на всей земле должны быть так же счастливы, как счастлив он. Вы говорите, он убил? Он никогда не смог бы убить. Ни разу в жизни он не поднял руки на другого человека. Никогда! Вы ведь помиливаете его, правда? Пожалуйста, помилите его. Я стану на колени и буду целовать вам ноги, сохраните его в живых для меня и для его детей...

Губернатор слушал её без малейшей тени волнения. Мелкие, правильные черты его чисто выбритого самодовольного лица не отражали ничего. Он слушал вежливо и внимательно и даже не запротестовал, когда сестра Ванцетти разразилась потоком итальянской речи. Человек, сопровождавший её, переводил слова итальянки, но не мог передать страстной интонации её голоса; однако и без того речь Луиджии Ванцетти была исполнена покоряющей, выразительной силы. Она рассказывала, как проехала Францию и как рабочие там уговорили её возглавить шествие десятков тысяч людей по улицам Парижа.

— Они пожелали мне бодрости и удачи; ведь ты, сказали они, придёшь к губернатору той страны, где живёт твой брат, и расскажешь ему правду о Бартоломео Ванцетти, о человеке с добрым сердцем, чувством справедливости, ясной мыслью и огромным достоинством. Вы думаете, что я одна говорю вам это? Меня послал отец. Отец мой — старый человек. Он стар, как один из тех древних старцев, о которых рассказано в библии, и он сказал мне: ступай в землю Египетскую, где сына моего держат в неволе. Предстань перед лицом сильных мира сего и вымоли у них жизнь для моего сына.

Профессора словно ударило, когда он увидел, что писатель плачет. А писатель из Нью-Йорка плакал просто и открыто, не пряча своих слёз; потом он так же открыто вытер глаза и посмотрел в упор на губернатора. Губернатор поймал его взгляд, и это нисколько не смутило властителя штата Массачусетс. Он выслушал всё, что сказали ему обе женщины, и так же, как и тогда, когда говорил профессор, помолчал из вежливости, чтобы удостовериться в том, что они кончили свою речь. Потом он заговорил совершенно бесстрастно:

— Мне искренне жаль, что я ничем не могу облегчить вашего горя. Я знаю его источник, но — увы! — в данном случае закон неумолим. Мне было нелегко взглянуть на события шестилетней давности чужими глазами. Многие свидетели давали свои показания, словно они произносили затверженный урок, а не вспоминали о том, что было в действительности...

Профессор уголовного права не мог больше вынести.

— Я должен уйти, — сказал он писателю. — Понимаете? Я должен уйти!

Писатель кивнул. Они встали и торопливо вышли из комнаты. В коридоре толпились репортёры. Один из них закричал:

— Дал ли согласие отсрочить казнь?

Профессор отрицательно покачал головой. Они вышли с писателем на освещённую солнцем улицу, где попрежнему расхаживали пикетчики. Писатель обернулся к своему спутнику и пожал ему руку.

— Что поделаешь, — сказал писатель. — Таков мир, где мы живём. Не знаю, существует ли какой-нибудь другой мир. Рад был познакомиться с вами. Я буду помнить вас и ваше мужество.

— У меня нет мужества, — жалобно ответил профессор.

Писатель вернулся в ряды пикетчиков — это ведь было всё, что ему оставалось теперь делать, — а профессор уголовного права, тяжело ступая, направился в комитет защиты Сакко и Ванцетти.

Глава одиннадцатая

Не было ещё и четырёх часов дня 22 августа, когда люди, сотни людей, начали собираться на площади Юнион-сквер, в Нью-Йорке. Одни спокойно стояли небольшими группами, другие медленно прохаживались по площади, третьи слонялись, как потерянные, словно искали что-то, что не так-то легко найти. Здесь же была и полиция.

На крышах домов вокруг площади были выставлены её наблюдательные посты, устроены пулемётные гнёзда. Глядя вверх, люди видели силуэты полицейских, вырисовывающиеся на фоне неба, и тупые, уродливые морды пулемётов. Люди спрашивали себя: «Чего они, собственно, ожидают?» Тяжёлое молчание лежало на площади. Неужели те, наверно, ждали, что с Юнион-сквера в Нью-Йорке выступит в поход на Бостон армия, чтобы освободить Сакко и Ванцетти?

Если бы полиции и пришла в голову такая дикая мысль, она могла бы сообразить, что уже слишком поздно. Был понедельник, и уже близился вечер. Даже человеческое сердце лишь на крыльях могло бы добраться до Бостона раньше полуночи.

Сразу же после четырёх часов дня площадь стала заполняться. Как ни странно, первыми пришли женщины; их было много, и никто не понимал, откуда они взялись. Это были матери и домашние хозяйки, по большей части женщины из рабочего класса, бедно одетые, с натруженными, шершавыми руками, которыми они добывали свой хлеб насущный. Многие из них пришли с детьми, некоторые вели двоих или троих малышей, а самых маленьких несли на руках. И дети понимали, что сегодня прогулка не сулит им никакой радости. Когда собрались женщины, тут же возникли два стихийных митинга. Ораторы говорили, стоя на ящиках. Но полиция быстро рассеяла оба митинга.

Немного позже четырёх часов на площадь стали прибывать большие группы рабочих. Здесь находились уже сотни меховщиков и шапочников, бастовавших в этот день в знак протеста против казни и солидарности с осуждёнными. Теперь среди них появились чернорабочие-итальянцы; их трудовой день начался в семь утра и окончился в четыре пополудни. Они пришли на Юнион-сквер прямо с работы, с обеденными судками в руках, разгорячённые, усталые и грязные. Они подошли по четыре, по семь, по десять человек. В половине пятого был устроен новый митинг. Полиция направилась было его разгонять, но туда же двинулись другие рабочие. Неожиданно митинг так разросся, что полиции пришлось махнуть на него рукой.

На площади появилась группа моряков торгового флота — ирландцы, поляки, итальянцы, человек шесть негров и два китайца; они держались вместе, пробиваясь сквозь людской водоворот. Увидев двух плачущих женщин, они остановились, смущённые тем, что не могут помочь чужому горю. Невдалеке от них упал на колени проповедник-евангелист.

— Братья и сёстры, помолимся! — воскликнул он.

Несколько человек собрались вокруг него, но их было немного. Потом со стороны Четырнадцатой улицы, обогнув Бродвей, на площадь въехали три длинные открытые полицейские машины. В них прибыло большое начальство из полицейского управления на Центральной улице. Они вылезли из машин и оглядели площадь, затем пошептались, провели нечто вроде совещания и отбыли на своих машинах на Западную Семнадцатую улицу. Там, в отдалении, они образовали командный пункт. Дюжина полицейских охраняла их машины, где лежали винтовки и гранаты со слезоточивым газом.

Полицейские на крышах с любопытством следили за тем, как заполняется площадь. Сперва, глядя вниз, они видели лишь отдельные фигуры мужчин и женщин, стоявших то тут, то там. Последовавшая затем перемена казалась сверху стихийной по своей природе и такой же неизбежной, как процесс химической реакции. Отдельные люди вдруг слились в группы. Никто не подавал сигнала и, казалось, даже не сдвинулся с места. Всё произошло в полном молчании. Потом группы мужчин и женщин слились в три или четыре отдельные толпы. Площадь окружали швейные

фабрики. Около пяти часов из фабричных зданий вылился поток рабочих. Ещё несколько минут, и Юнион-сквер превратился в сплошное море людей. А ведь это было только начало. Затем из верхней части города пришли дамские портные, из нижней прибыли на площадь мебельщики и рабочие бумажных фабрик. Людские потоки текли из издательских фирм и типографий с Четвёртой авеню. Сотни стали тысячами. И тогда беспорядочное, неуёмное движение людей прекратилось. Теперь они стали человеческой массой. Над людским морем глухо нарастал гневный гул.

Любой полицейский на крыше был бы поистине бесчувственным человеком, если бы не испытывал страха перед неведомой ему силой, собравшей сюда столько тысяч людей, и не изумлялся хотя бы немного тому, что двое приговорённых к казни сумели вызвать к себе такое участие и такую любовь. Но о чём бы ни думали полицейские, между ними и народом внизу лежал целый мир, а связующим звеном могли стать лишь пулёмётные ленты, горами наваленные на крышах. Большинство полицейских было ревностными прихожанами, но никому из них не пришло в голову то, о чём размышлял священник епископальной церкви, находившийся внизу, среди народа. Священник думал о том, что когда Христа схватили воины Пилата, где-то в городе Иерусалиме тоже собрались простые труженики; и они тогда надеялись, что их единство и сила не пропадут даром.

Священник епископальной церкви за всю свою жизнь ни разу не видел ничего подобного; он никогда не бывал на рабочих демонстрациях или на массовых митингах протеста; он никогда не участвовал в пикетах; никогда не ощущал приближения конных полицейских, размахивавших на скаку своими дубинками, не слышал треска пулёмётов, наудачу шаривших в толпе в поисках человеческих жизней; не чувствовал в глазах жгучей боли от слезоточивых газов; не прикрывал голову руками, защищаясь от дубинок ослеплённых ненавистью фараонов. Он жил очень спокойно, жизнь его ничем не отличалась от существования других американцев средних классов; теперь действительность настигла и его. Подобно многим людям в Америке, он вылез из своей скорлупы: думы о двух невинно осуждённых заставили его понять страдания миллионов. День ото дня он всё яснее представлял себе, что происходит в Массачусетсе. Сегодня он не смог больше вынести одиночества и томительного ожидания. Он отправился на площадь Юнион-сквер в поисках товарищей, которые разделят с ним его путь на Голгофу.

Печаль его и здесь не уменьшилась, но сейчас на душе у него был покой. Он шёл через толпу. Люди глядели на него с любопытством — он отличался от них своей одеждой священнослужителя, своими бледными, тонкими чертами лица, седеющими волосами и мягкими движениями, — но их взгляды не были ему неприятны и не смущали его. Он даже удивлялся, что чувствует себя среди них так свободно; в то же время его пугала мысль о том, что он, считавший себя слугой божьим, провёл почти шестьдесят лет своей жизни в местах, где такие люди никогда не появлялись. Он просто не мог понять, в чём тут дело, но со временем он, наверно, поймёт.

Глядя на окружавших его людей, он старался угадать, чем они занимаются, добывая свой хлеб насущный. Раз он споткнулся, — ему помог подняться негр в кожаной безрукавке, пропахшей краской и лаком. Он увидел плотника со всеми его инструментами. Женщина с крестом на груди мягко дотронулась до его локтя, когда он проходил мимо. Несколько других женщин тихо плакали, — они говорили между собой на незнакомом ему языке. Он слышал говор на многих наречиях и снова подумал о странных и столь различных особенностях этих людей, которых он так мало знал.

Кто-то остановил его и попросил прочитать молитву. Меньше всего он думал о молитве, когда направил свои шаги на Юнион-сквер. Но как он мог отказать в молитве? Он, кивнув головой, согласился, сказав, что служит в епископальной церкви, — быть может, к ней принадлежит здесь немногие, — но, если они хотят, он готов с ними помолиться.

— Какая разница, — ответили ему. — Молитва есть молитва.

Его взяли под руки и повели сквозь толпу. Потом ему помогли взобраться на возвышение, и он увидел перед собой почти безбрежное море лиц. «Господи, помоги мне, — сказал он себе. — Помоги мне. Я не знаю подходящих молитв. Я никогда не был в подобном храме и никогда не видал такой паствы. Что я им скажу?»

Он не знал, что скажет, пока не начал говорить. Потом он услышал свой собственный голос:

— ...всю силу нашу — возьми всю силу нашу и дай её двум людям, двум простым и добрым людям в Чарльстонской тюрьме, продли их жизнь, дай человечеству искупить свою вину...

Но, умолкнув, он понял, что сказал совсем не то. Из человека верующего он стал человеком, полным сомнений, и уже никогда не будет таким, как прежде...

А площадь всё заполнялась. В безмолвном и, казалось, бесконечном шествии на Юнион-сквер двигались конторщики и трамвайщики, портновские подмастерья с усталыми глазами, пекари и механики. Многие уходили, но на их место приходило ещё больше. Со стороны казалось, что человеческое море остаётся недвижимым и неизменным.

Об этом сообщили в Бостон. В нескольких кварталах от Юнион-сквера помещался нью-йоркский комитет защиты Сакко и Ванцетти. Люди, работавшие в комитете, уже несколько дней не знали ни сна, ни отдыха. Сейчас, несмотря на отчаянную усталость, они черпали бодрость, глядя на толпившийся на площади народ. Они поспешили позвонить по телефону в Бостон.

— На Юнион-сквере — десятки тысяч! — кричали они в трубку. — Никогда ещё не было такой демонстрации протеста. Неужели с этим не посчитаются?

Не только они одни думали, что никогда ещё не было такой демонстрации протеста. У одного из окон, выходящих на Юнион-сквер, стоял человек и наблюдал за тем, как собирались люди; ему тоже казалось, будто он стал свидетелем чего-то нового, грозного и удивительного, чего ещё не бывало в истории трудового народа Америки. Человек следил за тем, что делается на площади, из окна своей рабочей комнаты и все послеобеденные часы провёл в ожидании своих товарищей, с которыми он должен был встретиться: он так же, как и его товарищи, был профсоюзным деятелем. В половине третьего пришёл первый из тех, кого он ждал в этот день, — руководитель профессионального союза швейников города Нью-Йорка.

Человек у окна — назовём его председателем — обернулся и с улыбкой протянул пришедшему руку; они были старыми друзьями. Председатель работал в своей промышленности с самого детства; сперва — уборщиком и разносчиком, затем его поставили к машине, потом он изучил производство. Теперь он был руководителем своего профессионального союза и видной фигурой в рабочем движении Нью-Йорка. У него была удобная рабочая комната, и он более или менее аккуратно получал жалованье. Несмотря на успех, который пришёл к нему, правда с запозданием, он оставался всё тем же, каким его всегда знали друзья, — простым, прямым парнем, с горячим сердцем. Он был крепко сложен и производил впечатление рослого человека, хотя не был высок ростом; лицо у него

было открытое и привлекательное, а в живости и непосредственности его движений была такая удивительная простота, что большинство людей находило её совершенно неотразимой. Председатель взял швейника за плечи и подвёл его к окну.

— Гляди! — воскликнул он, показывая вниз, на площадь. — Тут есть на что посмотреть!

— Да... конечно, — ответил руководитель профсоюза швейников. — Но сегодня 22 августа.

— Борьба ещё не кончена!

— Вот как? А что мы можем сделать? Осталось всего несколько часов.

— Надо во что бы то ни стало задержать казнь. Хотя бы на двадцать четыре часа. Если мы добьёмся отсрочки, мы снова предъявим требования лидерам Федерации¹. Только одно может спасти Сакко и Ванцетти, а вместе с тем и нас и всё американское рабочее движение.

— Что именно?

— Всеобщая забастовка.

— Ты просто мечтатель, — всерьёз сказал руководитель профсоюза швейников.

— Ты думаешь? Но это та мечта, которая осуществится.

— А если казнь не будет отложена?

— Она должна быть отложена, — настаивал председатель.

— Я бы на твоём месте не стал говорить с другими о всеобщей забастовке. Это мечта. Если мы к ней призовём, мы останемся в одиночестве.

— Что же, дать им умереть?

— Разве их убиваю я? Мечтай не мечтай — делу не поможешь. — Он показал на площадь. — Вот и всё, что сейчас можно сделать. Если хочешь, сними трубку и позвони губернатору Массачусетса. Но не думай о всеобщей забастовке. Те, кто мог бы её объявить, продали свою шкуру, и не один, а пять раз кряду, продали и себя и своих рабочих. А союзы, которые могли бы её возглавить, разбиты; им пустили кровь. Так что брось пустые мечты.

— Это не пустые мечты, — упрямо возразил председатель.

Он замолчал, погружённый в свои мысли. Некоторое время они стояли рядом, безмолвно наблюдая за демонстрацией. Вскоре к ним присоединился один из низовых организаторов итальянских строительных рабочих. За ним пришёл сталелитейщик; десять лет он боролся за создание профессионального союза в Гейри, штата Индиана; он приехал в Нью-Йорк только сегодня утром. Вместе с ним пришли два горняка с медных рудников Монтаны. Горняки прибыли каких-нибудь два часа назад. Это были ещё довольно молодые люди с потемневшей кожей, длинными и суровыми лицами, изрытыми, словно оспой, крапинками окалины. Они проделали весь путь от Бьютта по железной дороге — то в товарных вагонах, то на открытых платформах, а иной раз и под вагонами. Горняки из Монтаны добрались до Нью-Йорка, может быть, с небольшим запозданием, но всё-таки они были здесь, как обещали председателю. Они крепко пожали ему руку, разглядывая его с откровенным любопытством, — они его никогда раньше не видели, но слышали о нём немало. Председатель

¹ Американская федерация труда (АФТ) — профсоюзная организация в США (создана в 1881 году), объединяющая свыше ста автономных национальных и межнациональных профсоюзов, в которые входит преимущественно рабочая аристократия. Во главе АФТ стоит продажная клика реакционных руководителей — агентов империализма в рабочем движении. АФТ тесно связана с буржуазным государством и организациями капиталистов. Состав её никогда не превышал 10—12 процентов американского пролетариата. (Примеч. перев.)

тоже знал о них понаслышке; он знал, как в течение пяти лет они бились за то, чтобы организовать горняков на медных и серебряных рудниках горных штатов. Они прошли суровую школу и поневоле вышли из неё суровыми людьми.

Время текло; в комнате появлялись всё новые и новые лица. Здесь был и сапожник, и негр из Братства железнодорожников¹, и другой негр из профсоюза работников прачечных. Были тут представители и ювелиров, и шапсчников, и пекарей. По мнению председателя, здесь собралась крепкая и довольно авторитетная группа рабочих руководителей — лучшего и желать было нечего, да и разве можно было собрать больше народу к сегодняшнему дню, 22 августа 1927 года, в тот короткий срок, которым располагал председатель?

Он открыл собрание. Но, даже начав свою речь, председатель не мог время от времени не поглядывать в окно. Его слова были такими же беспокойными, как и его движения. Он тревожно шагал взад и вперёд по комнате, снова и снова напоминая о том, что время на исходе.

— Похоже на то, — сказал он, — что всем нам надо было собраться неделю или месяц назад. Некоторые из нас уже собирались вместе и сделали то, что могли.

Ему приходилось бороться с нехваткой слов. В речи его слышались отзвуки других мест и другого времени. Но и язык остальных людей, собравшихся здесь в комнате, хранил следы их странствий.

— Такие-то дела, — продолжал председатель. — И, видно, сегодня — последний день. Так вот оно и бывает. Нельзя представить себе, что ты подходишь к развязке, но вот развязка наступает — и делу конец. Всё утро я думал о том, как нам быть, и так ничего и не придумал. Люди из нашего союза бастуют; большинство из них сейчас там, внизу, на площади. Точно так же бастуют и многие портные. Но это ничего не меняет. Всю сегодняшнюю ночь я провёл без сна — всё раздумывал, что бы нам предпринять.

— А что мы можем предпринять? — спросил сталелитейщик. — Осталось всего несколько часов. За несколько часов мир не перевернёшь. Было бы у нас такое рабочее движение, как кое-где в Европе... Нам, в сталелитейной промышленности, и так попало по первое число — можно сказать, кровью умылись. Вот у нас и разговаривают только шепотком. Что поделаешь?

— Может, вы слишком долго разговариваете шепотком? — откликнулся пекарь. — Господи! Неужели мы никогда не перестанем ходить вокруг да около, с опущенной головой, как побитые? Неужели мы никогда не поднимем голоса?

— Может, и поднимем, — сказал председатель, — если мы подойдём к этому как следует. Я вот всё время спрашиваю себя, почему эти два человека умрут сегодня ночью? Что тут скажешь, кроме разве того, что они умирают за нас — за вас и за меня, за меховщиков, за швейников и сталелитейщиков. Скажу проще. Хозяева испугались... Не вас и не меня. Боже ты мой, как бы я хотел, чтобы они испугались вас или меня! Но чего нет, того нет. Они боятся другого — того, что зашевелилось, что пришло в движение, что поднимается повсюду в мире. Они боятся того, что сделал народ там, в России. Оттуда доносится звук набата, и он им не нравится. Вот они и решили нас припугнуть. Они говорят нам: Сакко и Ванцетти в нашей власти, а вы — вы так много болтаете об организации рабочих и о силе организованных рабочих, вы можете и вопить, и кри-

¹ Братство железнодорожников — независимая профессиональная организация железнодорожников США, построенная по цеховому признаку. Возникло в 60—70-х годах прошлого века на базе Общества взаимопомощи. (Примеч. перев.)

чать, и протестовать, и корчиться, и плакать, и стонать — и ни черта вам не поможет! Орите, сколько влезет! Сегодня ночью Сакко и Ванцетти умрут, и всем будет дан урок. Наглядный. Ничем не прикрашенный урок. Вот как обстоят дела.

— Так оно и есть, — сказал один из горняков. — Так оно всегда и было. Они с нами не церемонятся. Ничуть не церемонятся.

Тут хотел было подать голос итальянец. Он был одним из тех, кто пытался организовать строительных рабочих Нью-Йорка; два месяца назад ему пробили череп за то, что он не захотел продаться хозяевам. Но когда председатель кивнул ему, он, покачав головой, промолчал.

— Братья, — произнёс с расстановкой руководитель швейников, взвешивая каждое слово, — сегодня мы получили урок, как дорого обходится нам болтовня. Есть у нас такая привычка — болтать; вот и сейчас мы опять болтаем. А минуты бегут, их не воротить. Близится конец. Надо что-то сделать. Не знаю, как и что. Может быть, кто-нибудь из вас знает? Ведь тут есть люди, которые приехали из дальних мест, — там тоже миллионы рабочих. Что думают ваши рабочие о Сакко и Ванцетти и что они готовы сделать?

— А что могут сделать наши рабочие? — ответил вопросом на вопрос сталелитейщик. — Вам легко говорить о наших рабочих! Им уже попало по первое число. Рабочий теперь подтянул брюхо и молчит, а стоит ему раскрыть рот — готово: газеты кричат, что он русский шпион. Две недели назад мы сказали рабочим: бастуйте. Ну, некоторые забастовали. Не все. Те, кто бастовал за Сакко и Ванцетти, расплатились дорогой ценой. И вот сегодня многие из нас сидят сложа руки. Только и дела, что смотреть на жену и слушать, как жалостно пищат дети, когда они хотят есть. А Сакко и Ванцетти сегодня ночью умрут. Сколько часов им осталось жить?.. Были бы у нас настоящие профсоюзы! Большие, сильные, как во Франции! Мы бы себя тогда показали. Но у нас их нет, и нечего валять дурака. У Федерации, правда, есть сильные союзы, но их заправили смеются над нами. Говорят: этим проклятым итальянцам досталось поделом. Так-то.

Один из горняков жадно спросил:

— Как насчёт портовых рабочих здесь, в Нью-Йорке? Им и сейчас не поздно бросить работу. Так или иначе, тут у вас очень тихо. В городе ничего не происходит. Даже здесь, на площади, люди не двигаются с места. А разве чего-нибудь можно добиться, покуда они не сдвинутся с места? Пусть хоть полмиллиона рабочих бросит работу, разве что-нибудь в мире изменится, покуда они не сдвинутся с места? Просто в толк не возьму, почему они держат себя так смиренно. Неужто вы не можете заставить их хотя бы шагать в колоннах? Вы говорили здесь, что те двое умрут за нас сегодня ночью. Я вам прямо скажу: я не знаю вашего города и не знаю ваших порядков. Но там, откуда мы приехали, нам ясно, что надо делать. Вот почему мы вдвоём решили бросить всё и добраться до Нью-Йорка, чтобы потолковать с вами, а может, и поспорить и объяснить, что к чему. Нельзя вести себя смиренно, когда остались считанные часы и минуты.

— И я считаю часы и минуты, — печально сказал председатель. — Друг мой, у меня на душе то же, что у тебя. Кое-чему мы здесь научились, но мы ещё не знаем, как пойти вон туда и сказать десяткам тысяч людей: шагайте! Сперва они должны захотеть шагать. И положение должно быть такое, чтобы всем было ясно: если они начнут шагать, то пулемёты на крышах вокруг площади не откроют огня и не сделают из них фарша. Учишься медленно, так медленно, что порой хочется плакать, но всё-таки учишься. Если ты не можешь остановить то, что должно быть

остановлено, слезами горю не поможешь. Я всё-таки думаю, мы сможем кое-что сделать, но только в том случае, если казнь будет отложена.

Тогда заговорил итальянец. Он тоже был того мнения, что многого теперь уж не сделаешь. Как и председатель, он говорил медленно, с трудом перелагая на английский язык мысли, выраженные на другом языке и сформированные другой культурой.

— Конечно, — сказал он, — надо сделать всё, что можно: послать телеграммы губернатору Массачусетса и президенту, связаться с нужными людьми по телефону, да и рабочих поднять ещё не поздно. Предположим, что все наши попытки потерпят неудачу и Сакко и Ванцетти всё-таки умрут. Что тогда? Может быть, я буду не так страдать, как жена Сакко или его дети, а всё-таки, поверьте, я тоже буду страдать. Но разве это крушение всего нашего дела? Разве они умрут зря? Разве это поражение и мы растоптаны? Разве мы лежим в пыли и на нас можно плевать так себе, за здорово живёшь? Нет. Говорю вам, наша борьба продолжается. И, может быть, мы снова встретимся завтра и всё обсудим. А если они будут мертвы, мы отведём им самое дорогое место в нашей памяти. Вот что я скажу. Верно?

Все глядели на него молча. Среди них была маленькая, изнурённая работой швея. Её поблёкшие голубые глаза наполнились слезами.

— Верно, — сказала она ему, — верно. Ты прав.

Они посидели ещё немного. Потом горняки с медных рудников поднялись, подошли к окну и посмотрели вниз, на Юнион-сквер.

Площадь до краёв была заполнена людьми. Горняки застыли у окна, словно в почётном карауле. Стоя там, они услышали предложение председателя — немедленно обратиться сообща с призывом к всеобщей забастовке рабочих Нью-Йорка, к проведению национальной кампании протеста, к организации массовой демонстрации от Юнион-сквера до здания муниципалитета; всё это, конечно, в том случае, если удастся добиться отсрочки казни. В словах председателя были выражены их мысли, их мечты, их надежды. Сегодня они лично больше ничего не могли сделать, а горняки устали от трудного пути и от долгой борьбы, которая была у них за плечами; в этой борьбе их не раз сминали и опрокидывали. Но вот, глядя на человеческое море внизу, они ощутили прилив новой энергии и новых сил; луч надежды озарил то, о чём говорил председатель. Их собственная сила помножилась на силу других, таких же рабочих людей, как они сами. И мысленно они представили себе, что народ на площади зашевелился и пришёл в движение — такое движение, которое, будучи начато и доведено до конца, станет непреодолимым.

Глава двенадцатая

В пять часов пополудни судья брюзгливо спросил жену:

— Неужели он ещё не пришёл? Почему его до сих пор нет? Он сказал, что будет ровно в пять.

— Не расстраивайся, — ответила она. — Ничего особенного, если он и опоздал на несколько минут, — мало ли что могло его задержать.

— Вот именно. Когда он нужен, — мало ли что могло его задержать! А когда он не нужен, его тогда ничто не в силах задержать. Будь спокойна, когда он не нужен, он всегда тут как тут.

— Я понимаю, — сказала она, — сегодня очень неприятный день. И здесь такая жара. Почему бы тебе не посидеть на веранде? Оттуда ты его сразу увидишь, как только он появится. Он должен прийти с минуты на минуту.

Судья решил, что он последует её совету. Отличная идея! На веранде и в самом деле прохладно. Жена обещала подать туда холодный лимонад

и ореховое печенье, которое так любит пастор; а когда пастор придёт, она оставит их наедине и они смогут поговорить по душам.

Судья вышел на просторную старомодную веранду и устроился в плетёном кресле. Кругом была тень и прохлада; опущенные жалюзи из бамбука полностью укрывали его от посторонних глаз, позволяя лишь дневному свету и солнечным лучам тоненькими струйками просачиваться сквозь щели. Судья откинулся на спинку кресла; он решил быть мужественным и держать себя в руках.

Несколько часов назад он вдруг почувствовал резкую боль в левой стороне груди. «Вот он, конец! — была его первая мысль. — Ещё бы, чего только я не вытерпел!»

Немедленно был вызван врач. Он пришёл, тщательно осмотрел судью и успокоил его: видимо, тот съел лишнее за завтраком.

Судья сказал врачу:

— Вы, конечно, знаете, какой мне сегодня предстоит день.

— Да уж что говорить — пренеприятный денёк, — посочувствовал врач.

— В высшей степени неприятный, — сказал судья. — Я человек не молодой. Вот она, награда за беспорочную жизнь! Старому псу, ведь и тому бросают обглоданную кость. Ваше счастье, что вы врач, а не юрист.

— У каждого своя работа, — возразил врач. — Своя работа и свои неприятности.

Сейчас, сидя в плетёном кресле, судья подумал с некоторым облегчением, что день уже подходит к концу и через несколько часов 22 августа останется позади. Что ни говори, а вёл он себя в это трудное время куда спокойнее, чем любой другой на его месте. Конечно, тут немалую роль сыграло дежурство двух полицейских около его дома, хотя сегодняшние угрозы, которые так его расстроили, были скорее, так сказать, психологического характера.

Сотни писем, полученные судьёй с утренней почтой, угрожали не столько его жизни, сколько его душевному покою. Из этого вороха он прочитал лишь несколько писем, но всё же отметил — скорее в порядке самооправдания — их поразительное сходство друг с другом. Все они могли быть написаны одними и теми же людьми; в них с поразительным однообразием обличали судью и просили помиловать тех двух анархистов.

Гораздо больше тревожили судью журналы и газеты, которые ему присылали анонимно. Они были сложены так, чтобы имя судьи бросалось прямо в глаза. Как правило, оно было жирно обведено карандашом, а иногда на него указывала короткая яркокрасная стрела. Один такой журнальчик, украшенный кругом и красной стрелой, напечатанный, как выражался судья, на «обёрточной бумаге из мясной лавки», был получен сегодня утром. Помимо своей воли, судья, как замороженный, дочитал всё, что было отчёркнуто, до конца. Там было написано:

«Интересно было бы задуматься над тем, как проведёт судья день 22 августа. Не устроит ли он в этот день вечеринку? Не пригласит ли своих близких друзей, не откупорит ли бутылку старого портвейна, доставленную на сию священную землю лет сто назад, и не провозгласит ли он радостный тост за смерть сапожника и разносчика рыбы? А может быть, судья проведёт день наедине со своей чистой совестью, гордый сознанием исполненного долга? Или, быть может, облачённый в доспехи собственной добродетели и непогрешимости, он сохранит привычный распорядок дня, не допуская и мысли о том, что сегодняшний день чем-нибудь отличается от всех прочих дней?»

Как бы ни поступил судья, мы ему не завидуем. Поэт сказал: «И славы путь приводит лишь к могиле». Как бы ни решил судья провести понедельник 22 августа, он всё время будет помнить о том, что и он смертен.

Где-то в глубине души у него всё время будет звучать роковое напоминание: не судите, да не судимы будете».

Сперва судья был не столько расстроен, сколько удивлён тем, что прочёл; он сердито перелистал журнал, желая выяснить, какое из красных, коммунистических, революционных, социалистических или анархистских изданий позволило себе по его адресу такой недопустимый выпад. К своему изумлению, он обнаружил, что прочитанная им тирада была напечатана в центральном органе протестантской секты, близкой к той, к которой принадлежал он сам. Такое открытие настолько огорчило и раздосадовало судью, что он не смог пережить его в одиночестве.

Тогда он позвонил пастору своего прихода и попросил его зайти. Пастор был в этот день занят; он спросил, нельзя ли отложить визит на вечер. Они договорились, что пастор придёт в пять часов и останется обедать. Разговор происходил утром, и судья не предполагал, что остаток дня принесёт ему новые испытания и ему трудно будет переживать их одному.

В действительности обстоятельства приняли несколько неожиданный оборот. В этот день жизнь так и не захотела оставить судью в покое. Непрерывным потоком шли послания, телеграммы и заказные письма, не умолкая, звонил телефон — сколько бы судья ни изображал оскорблённую добродетель, он всё равно был в невменяемом состоянии. К пяти часам ему срочно понадобился совет духовного наставника и друга. Можно понять поэтому его облегчение, когда он услышал знакомые шаги и увидел, что пастор вступил на тенистую веранду. Судья поздоровался с ним с неожиданной горячностью. Но пастор понимал, что сегодня, вероятно, необычный день в жизни судьи, и поэтому приготовился отнестись снисходительно к любой, даже самой неожиданной выходке старика.

Судья горячо пожал руку пастору и указал ему на одно из больших плетёных кресел. Пастор опустился в него, аккуратно положив соломенную шляпу и палку на низенький столик, где была навалена груда газет и журналов. Служанка принесла поднос с лимонадом и печеньем. Пастор вытер лоб и с удовольствием выпил стакан холодного напитка. Потом он взял ореховое печенье, откусил кусочек и улыбнулся от удовольствия.

— Превосходное печенье, — похвалил он. — Да и лимонад, который prepares ваша жена, мне нравится. Он так свеж — его уж никак не спутаешь с питьём, которое готовят впрок, а потом подают на стол неделю кряду. Летом у нас принято пить лимонад, но как редко он имеет свежий, приятный вкус только что выжатого лимона! Если вы разрешите мне употребить такое, несколько старомодное, выражение, — я всегда считал лимоны драгоценным месталищем духов здоровья! Поверьте, лимонад — отличное средство против всяких недомоганий. Говорят даже, что он помогает от водянки и головокружений...

Поддерживая непринуждённую беседу, пастор потягивал лимонад и жевал печенье. Он старался оправдать свою репутацию человека жизнерадостного, который предпочитает видеть всё в розовом свете. Пухлый и круглый, как колобок, пастор был прямой противоположностью сухому и тощему судье; его круглые щёки лоснились, словно только что сорванные яблочки.

Судья слушал его довольно терпеливо, но в конце концов поток бессмысленной болтовни стал его раздражать и он напомнил пастору о своём желании поговорить с ним по волнующему его вопросу.

— Волнующему? — переспросил пастор, подняв брови. — Мне кажется, что прежде, чем мы начнём разговор, давайте избавимся от кое-каких неправильных представлений. У вас, сэр, нет никаких причин волноваться. Деятельность судьи, так же как и деятельность священника, должна рассматриваться как исполнение воли божьей. Без суда была бы анархия.

Без церкви — атеизм. Оба мы — пастыри. *Строго говоря, наши профессии — разные стороны одной и той же медали. Не так ли?

— Я не подходил к вопросу с этой точки зрения, — заметил судья.

— Никогда не поздно, сэр, никогда, — настаивал пастор, прихлёбывая лимонад.

— А всё-таки, — произнёс судья; — войдите в моё положение. Дело тянулось семь лет. За эти годы я успел постареть. Я потерял душевный покой. Где бы я ни появился, в меня тычут пальцем и перешёптываются: это он, тот самый, кто засудил двух анархистов.

— Ну, и что ж такого? — примирительно произнёс пастор. — Кто-то должен был это сделать: не вы, так другой. По воле всевышнего, судьба избрала именно вас. Кому-то ведь надо было свершить правосудие, и перст божий указал на вас. К тому же не вы признали их виновными, а присяжные. А раз так — вам ничего больше не оставалось, как выполнить ваш священный долг, соблудности присягу и вынести приговор... В наш низменный век немало грубых материалистов, — добавил пастор, снова протянув руку за печеньем и кивком головы поблагодарив судью, который налил ему ещё лимонаду. — Они говорят, что ваш приговор — окончательный. Но окончательный приговор ещё впереди. Есть высший суд, перед которым предстанут преступники, и высший судья, который выслушает их доводы и моления. Вы, сэр, исполнили свой долг. Кому дано сделать больше?

— Как вы меня утешили! Но вот, взгляните, — и судья протянул пастору выдержку из религиозного журнала, обведённую цветным карандашом.

Пастор, прочитав, даже фыркнул в знак справедливого негодования.

— Ну и ну! — воскликнул он. — Попался бы мне на глаза тот, кто это написал! Хотел бы я встретиться с ним. Ну и христианин, нечего сказать! Очень интересно было бы о нём разузнать поподробнее! Не судите, говорит он, и тут же судит сам. Я ставлю под сомнение и его духовное призвание и его сан!

— Значит, вы не думаете, что он выражает нечто вроде официального мнения?

— Официального мнения? Что вы, сэр, ни в коем случае!

— Знаете, — сказал судья, — я плохо сплю, мне снятся дурные сны, самые настоящие кошмары. Конечно, тут и речи быть не может о нечистой совести. Такую возможность я полностью отмечаю.

— Ещё бы, — согласился пастор, снова протягивая руку к печенью. — Для этого нет никаких оснований.

— Моя совесть чиста. Я ни о чём не сожалею. Я рассмотрел показания свидетелей и взвесил их со всей тщательностью. Но дело ведь не только в показаниях свидетелей, дело куда сложнее. Поверьте мне, пастор, стоило мне взглянуть на обвиняемых — и я сразу понял, что они виновны. Я это увидел по их походке, по их манере говорить, по тому, как они стяжали передо мной. На них было написано, что они виновны! Семь лет их адвокаты подавали запросы и ходатайства, заявляли отводы и приводили всевозможные доводы. Кто бы стал выслушивать их заявления и доводы более терпеливо? Разве я хоть раз отказался их выслушать? Но как же я мог отказаться и от того, в чём я с самого начала был так глубоко уверен?

— Раз вы были уверены, зачем же вам было от этого отказываться?

Судья вскочил и нервно зашагал по веранде.

— Но это ещё не всё, — сказал он в сильном волнении. — Знаете, что я думаю? Знаете, что мне кажется? Мне кажется, что эти люди радуются смерти, ищут её ради каких-то своих тёмных целей. С самого начала у них

была только одна мысль, только одно желание — разрушить, ниспровергнуть, свести на нет всё, что мы создали, всё, что мы ценим и почитаем. Когда я гляжу вокруг себя, на нашу старую Новую Англию — на её дома под тенистыми деревьями, её зелёные лужайки, её детей с открытыми лицами и ясным взглядом, — я содрогаюсь при мысли, что всё это может быть предано огню и мечу. Наша страна в опасности. Сюда тайком пробрался всякий сброд, подлые люди со смуглой кожей, люди, которые не решаются смотреть нам прямо в глаза. Они коверкают наш язык, ютятся в лачугах и бросают тень на нашу страну. Как я их ненавижу! Скажите, разве грешно их ненавидеть?

— Боюсь, что ненависть — это грех, — сказал пастор почти с сожалением.

— Вы, наверно, правы, — кивнул головой судья, продолжая шагать по веранде. — Но как нам быть с коммунистами, социалистами и анархистами? Представьте себе, что суды будут в их руках. Много ли справедливости увидят от них люди вроде нас с вами, истые американцы? Ведь этим красным стоит услышать чистую американскую речь, увидеть открытый взгляд голубых глаз — они тут же пускаются в свою пляску смерти. Они приходят в нашу страну со своей бесовской проповедью — листовками и брошюрами, — сея недовольство, смущая простой рабочий люд, поднимая брата на брата. Они нащёптывают: «Больше жалованья! Больше денег! Ваш хозяин — исчадие ада! Ваш хозяин — сам дьявол! Разве то, что принадлежит ему, не должно принадлежать вам?!» Там, где прежде были мир и довольство, они взрастили ненависть и вражду. Там, где цвёл сад, теперь пустыня. Подумать только — они хотят навязать нашей благословенной Новой Англии рабство, невежество, ненависть, голод и принудительный труд, которые процветают там, в России! При одной мысли об этом у меня закипает в жилах кровь и сжимается сердце. Значит, грешно ненавидеть тех, кто оскверняет мою страну, кто ненавидит прошлое Америки и самое имя её?

— Кто сказал, что грешно ненавидеть слуг дьявола? — сказал пастор, довольный, что он снова может принести утешение. — На этот счёт вы можете быть совершенно спокойны. Как же иначе бороться с князем тьмы?

— Я не утверждаю, что я безгрешен, — вскричал судья, торопливо обернувшись к пастору. — Иногда я поступал глупо и безрассудно. Но разве я должен расплачиваться за свои мелкие прегрешения весь остаток жизни? Действительно, как-то раз, в минуту раздражения, я выразился не совсем удачно: я сказал, что разделаюсь с этими двумя анархистскими ублюдками как следует! Сказал я довольно крепко, но и настроение у меня было тогда соответствующее. К тому же я думал, что говорю это в своём кругу, в обществе джентльменов! Однако потом оказалось, что я ошибался: мои собеседники вовсе не были джентльменами. На следующий же день мои слова стали достоянием всех и каждого. А теперь утверждают, что в суде я действовал из недоброжелательства и личной неприязни. Что может быть дальше от истины? Уверяю вас, пастор, ничто не может быть дальше от истины. Это дело обошлось мне ужасно дорого. Я заплатил за него кровью сердца. Когда же, наконец, я снова обрету покой?..

Пастор кивнул головой, поспешно проглотив при этом кусок печенья.

— Никогда не следует отчаиваться, — заметил он. — Время — великий целитель. Время не властно только над господом богом нашим. Мы взираем вокруг, вздыхая под тяжкой ношей мимолётных испытаний и горестей, и, как полагается, не верим, что когда-нибудь избавимся от этой ноши. Но мы только люди, а человеку свойственно ошибаться. Бог исце-

ляет по-своему. Время — жезл господень. Время — великий целитель, сэр, уверяю вас.

— Как вы меня утешили! — Судья перестал шагать по веранде и снова уселся в плетёное кресло. — Вы меня действительно утешили! Не многие понимают, что мы вынесли, — я, прокурор, присяжные, да, да, и даже многие свидетели обвинения. Нас попрекали тем, что мы ненавидим иностранцев и предубеждены против итальянцев. Но разве они не вторгаются на наши нивы, не оскверняют их, не предаются здесь порокам, не грабят и не убивают без всякого удержу? А стоит нам воспротивиться их злодеяниям — нам твердят, что мы полны предрассудков, ненависти и предубеждения. Поверьте мне, пастор, я несу тяжкий крест. За этот процесс ухватились все злостные, разрушительные и антиамериканские элементы в стране. Они воспользовались им для подрыва власти, для клеветы на людей вроде меня и его превосходительства губернатора. Они осмелились возвысить голос даже на высокочтимого ректора университета, чьё расследование целиком подтвердило, что эти люди были осуждены справедливо.

— Смелый всегда принимает на себя удары, — кивнул пастор. — Но у вас есть утешение — вы достойно и честно выполнили свой долг.

Пастор полез в карман, вытащил плоские золотые часы и поглядел на них.

— Бог мой! — воскликнул он.

— Но вы же обещали пообедать с нами? — запротестовал судья.

— Увы! — вздохнул пастор. — Обещал, но боюсь, что не придётся, меня ждёт работа.

Пастор и в самом деле очень торопился. Разговор с судьёй — вот тема для проповеди! Его долг — записать её, пока мысли не улетучились из памяти. Судья выразил сожаление, но повторил, что беседа с пастором принесла ему глубокое утешение. Он проводил пастора до калитки и вернулся в тень, на веранду.

Глава тринадцатая

После ухода пастора судья устроился поудобнее в плетёном кресле и положил ноги на скамеечку. Желая рассеяться, он взял детективный роман и попробовал читать, но на веранде было недостаточно светло и, пробежав несколько строк, он задремал. Говоря по правде, треволнения сегодняшнего дня сильно его утомили, и теперь, когда пастор снял с его души камень, он мгновенно погрузился в сон. Однако, заснув так легко, спал он недолго и беспокойно. Как случилось с ним не раз в последнее время, его тревожили сны, которые чаще всего воспроизводили картины недавнего прошлого.

И вот во сне он вновь переживал тот самый день — субботу девятого апреля 1927 года, — когда он вынес обвинительный приговор двум анархистам. С тех пор прошло почти пять месяцев, но события так отчётливо врзались в его память, что теперь, в полудремоте, судья явственно видел, как он сидит на своём месте в переполненном зале суда. Перед ним лежат его записи, и он собирается вынести приговор двум людям за преступление, совершённое ими семь лет назад, двум людям, которые провели эти долгие семь лет в тюрьме. Как странно он на них смотрит, когда их вводят в зал! И как странно они выглядят! Он ведь почти забыл, кто они такие и какой у них вид. Они занимают своё место в том своеобразном и варварском сооружении, которое правосудие Новой Англии предоставляет подсудимым, — в клетке, но почему-то сейчас они не кажутся такими оборванными и такими отъявленными бандитами, какими он их запомнил.

Судья ударяет молотком, и прокурор, поднявшись с места, произносит: «Покорнейше прошу суд рассмотреть на данном заседании дела за №№ 5545 и 5546 — штат Массачусетс против Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти. Согласно протоколам суда, ваша честь, и обвинительному заключению по делу 5545 штат Массачусетс против Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, ответчики обвиняются в преднамеренном убийстве. В настоящее время в дело внесена необходимая ясность, и я прошу суд приступить к вынесению приговора. Кодекс предусматривает, что суд сам устанавливает срок, когда этот приговор будет приведён в исполнение. Учитывая это обстоятельство, а также ходатайство защитника, которое администрация штата с готовностью удовлетворила, я предлагаю, чтобы вынесенный приговор был приведён в исполнение в течение недели, начиная с воскресенья 10 июля».

Судья кивает головой в знак согласия. Секретарь суда обращается к первому из подсудимых:

«Николо Сакко, имеете ли вы что-нибудь возразить против вынесения вам смертного приговора?»

Сакко встаёт. Он молча смотрит в лицо судье; помимо своей воли судья опускает глаза. Сакко начинает говорить. Он говорит очень тихо. Постепенно голос его крепнет, нисколько не повышаясь в тембре; он говорит так, словно чувствует себя посторонним во всём, что происходит вокруг:

«Да, сэр, имею. Я, правда, не оратор. Да и с английским языком не больно в ладах; к тому же мой друг и товарищ Ванцетти обещал мне, что скажет обо всём поподробнее, вот я и думаю — пускай говорит он.

Мне никогда не приходилось слышать и даже читать в книгах о чём-нибудь более жестоком, чем этот суд. После семи лет мучений нас всё ещё считают виновными. И вот вы, почтенные люди, собрались здесь, в суде, в качестве присяжных заседателей и осудили нас.

Я знаю: здесь выступает один класс против другого — класс богачей против класса угнетённых. Мы хотим братства народов, вы же стараетесь вырыть пропасть между нами и другими нациями и заставить нас возненавидеть друг друга. Вы преследуете народ, тираните, губите его. Мы хотим просветить народ нашими книгами, нашей литературой. Потому-то я и сижу на скамье подсудимых, что принадлежу к классу угнетённых. Что поделаешь, вы — угнетатели.

Вы ведь хорошо всё это знаете, судья, — знаете всю мою жизнь, знаете, за что я сюда попал, и вот, после того как семь лет вы мучили меня и мою бедную жену, вы сегодня приговариваете нас к смерти. Я мог бы рассказать мою жизнь день за днём, но какая от этого польза? Вы знаете всё, я говорил об этом раньше, и мой друг — вернее говоря, мой товарищ — ещё скажет своё слово; он лучше знает ваш язык, пускай говорит он. Мой товарищ, он так добр к детям... Вы хотите забыть о людях, которые поддерживали нас все эти долгие семь лет, сочувствовали нам и отдавали нам и силы и душу. Вам нет до них дела. Несмотря на то, что не только народ — наши товарищи и рабочий класс, — но и целый легион образованных людей стоял за нас целых семь лет, суд всё равно продолжает своё. Я хочу поблагодарить народ, моих товарищей за то, что они были с нами эти семь лет и защищали дело Сакко и Ванцетти, и попрошу моего друга Ванцетти сказать остальное... Я забыл сказать одну вещь, о которой напомнил мне мой друг. Но ведь я уже говорил, что судья знает всю мою жизнь и знает, что я не был виновен — ни вчера, ни сегодня и никогда».

Он замолчал, и в суде наступила мёртвая тишина. Во сне судье почудилось, что тишина эта длилась вечность, однако на самом деле прошло всего несколько секунд. Молчание прервал секретарь суда. Педантично и деловито он показал пальцем на второго подсудимого и спросил:

«Бартоломео Ванцетти, имеете ли вы что-нибудь возразить против вынесения вам смертного приговора?»

Новое молчание проложило дорогу от этого бесчеловечного вопроса к ответу Ванцетти. Поднявшись, он сперва оглядел зал суда, посмотрел на судью, на прокурора, на секретаря, на всех присутствующих с почти сверхчеловеческим спокойствием и заговорил медленно и поначалу бесстрастно:

«Да, имею. Я заявляю, что я не виновен. Я заявляю, что я не только не виновен в том, в чём вы меня обвиняете, но и что за всю мою жизнь я никогда не крал, никогда не убивал и никогда не проливал крови. Вот что я хочу сказать. Но это не всё. Я не только не виновен в том, в чём вы меня обвиняете, я не только за всю мою жизнь ни разу не украл, не убил и не пролил крови, — но, наоборот, всю мою жизнь, с тех пор как я стал мыслить, я боролся за то, чтобы в мире не было больше преступлений.

Я должен сказать о себе ещё и то, что я не только не виновен в том, в чём вы меня обвиняете, я не только не совершал никаких преступлений, — хотя я и не святой, — я не только всю мою жизнь боролся против всяких преступлений, которые осуждает официальный закон и официальная мораль, но больше того: всю мою жизнь я боролся против таких преступлений, которые поощряет и освящает официальный закон и официальная мораль, — против угнетения и эксплуатации человека человеком. И если вы хотите знать, почему я нахожусь здесь в качестве обвиняемого, если вы хотите знать, почему через несколько минут вы можете обречь меня на казнь, — то вот она, эта причина, и нет никакой другой».

Ванцетти помолчал: казалось, он роеся в памяти в поисках слов и образов. Когда он заговорил снова, судья сначала не понял, о чём идёт речь. Но Ванцетти продолжал говорить, и слова его вызвали к жизни образ Юджина Дебса¹. Казалось, длинная, худая фигура ветерана рабочего класса вошла в зал суда и заняла там место.

«Прошу прощения, — продолжал Ванцетти очень мягко, — но за всю мою жизнь я не встречал человека, лучше его. Он никогда не умрёт, а с годами станет ещё ближе и дороже народу, проникнет в самое его сердце и останется там навеки. Ибо так должно быть, пока в народе жива любовь к истинному добру и восхищение перед настоящим подвигом. Я говорю о Юджине Дебсе. Юджин Дебс узнал воочию, что такое суд, что такое тюрьма и что такое справедливость присяжных. Только за то, что он хотел сделать мир немножко лучше, его преследовали и поносили с юных лет и до старости и в конце концов загубили в тюрьме. Он-то знает, что мы невиновны, это знает не только он, но и каждый мыслящий человек, и не только в этой стране, но и за её пределами; цвет человечества всей Европы, лучшие писатели, величайшие мыслители — все эти люди стоят за нас и отдают нам своё заступничество. Учёные, великие учёные и даже государственные деятели Европы высказались в нашу защиту. Люди чужих стран высказались в нашу защиту.

Разве возможно, чтобы несколько присяжных и ещё каких-нибудь два или три человека, готовых проклясть собственную мать ради земных благ и почёта, разве возможно, чтобы эти люди были правы, а весь мир не прав? Ведь весь мир утверждает, что обвинение ваше ложно, и я знаю, что обвинение ваше ложно. Кто может знать это лучше, чем мы с Николо

¹ Дебс Юджин (1855—1926) — известный деятель американского рабочего движения, один из организаторов социалистической партии США. В период 1900—1920 годов рабочие организации неоднократно выдвигали кандидатуру Дебса на президентских выборах. В 1918 году за революционную деятельность Дебс был присуждён к десяти годам тюрьмы. (Примеч. перев.)

Сакко? Семь лет мы провели в тюрьме. Чего только мы не выстрадали за эти семь лет! Однако глядите — я стою перед вами без страха. Глядите — я смотрю вам прямо в глаза, не краснея, без стыда и без боязни.

Юджин Дебс сказал, что даже собаку — кажется, именно так он сказал, — даже собаку, которая загрызла цыплёнка, американский суд присяжных не мог бы признать виновной на основе тех доказательств, которые собраны против нас».

Ванцетти умолк и, перед тем, как продолжать, посмотрел прямо в глаза судьбе. С этого мгновения сон превратился в кошмар, хотя в то время, когда это случилось в действительности, судья оставался холоден и невозмутим, даже тогда, когда Ванцетти воскликнул:

«Мы доказали, что во всём мире нет и не может быть судьи, более жестокого и более пристрастного, чем были вы по отношению к нам! Мы доказали это. И всё же нам отказывают в новом разбирательстве. Мы знаем, как знаете в глубине души и вы сами, что с самого начала, ещё до того, как вы нас увидели, вы были против нас. Ещё до того, как вы нас увидели, вы уже знали, что мы — красные и что с нами надо расправиться. Мы слышали, что вы здесь говорили, и знаем, как вы не скрывали ни вашей вражды к нам, ни вашего презрения. Вы об этом говорили с друзьями в поезде, в университетском клубе в Бостоне, в Гольф-клубе в Уорчестере, штата Массачусетс. Уверен, что, если бы люди, слышавшие то, что вы о нас говорили, имели гражданскую совесть выйти и повторить под присягой ваши слова, может быть, ваша честь, — мне жаль говорить вам это, потому что вы старый человек, а у меня есть старик-отец, — может быть, вы сидели бы сейчас здесь, на скамье подсудимых, на этот раз во имя истинного правосудия.

Нас судили в то время, которое надолго запомнит история. В то время кругом нас бушевала злоба и ненависть против людей одних с нами убеждений и против иностранцев. Мне кажется, и больше того — я в этом уверен, что и вы, судья, и вы, прокурор, сделали всё возможное, чтобы ещё больше разжечь ненависть к нам присяжных. Присяжные ненавидели нас за то, что мы были против войны; они не понимали разницы между человеком, который высказывается против войны потому, что считает эту войну несправедливой, ибо в нём нет вражды к какой-нибудь другой стране, и человеком, который высказывается против войны потому, что защищает интересы той страны, с которой воюет его страна, и который поэтому является шпионом. Мы не такие люди.

Прокурор знает, что мы были против войны потому, что не верили, будто война преследует те цели, во имя которых она якобы велась. Мы считаем, что война — зло, и убеждены в этом ещё больше сейчас, через десять лет после войны; день за днём мы всё лучше и лучше понимаем все последствия и результаты войны. Мы верим теперь ещё твёрже, что война — это зло, и я рад, что хоть с эшафота могу сказать людям: «Берегитесь войны! Вы на пороге этого склепа, где погребён цвет человечества. За что? Всё, что они говорили вам, всё, что они сулили, — ложь и призрак, обман и преступление. Они сулили свободу. Где эта свобода? Они сулили довольство. Где это довольство? Они сулили прогресс. Где этот прогресс?» С тех пор, как я попал в Чарльстонскую тюрьму, население её удвоилось, — где же то укрепление нравственности, которое война должна была принести миру? Где развитие духовных сил, которого мы должны были достигнуть в результате войны? Где уверенность в завтрашнем дне, в том, что завтра мы будем обладать всем, что нам необходимо? Где уважение к человеческой жизни? Где восхищение перед добрыми началами в человеке? Никогда до войны у нас не было так много преступлений, так много злоупотреблений, такого падения нравственности, как сейчас».

Обвиняемый снова помолчал немного, — обвиняемый, который часто снится судье и произносит речь в свою защиту, и судья ворочается и жалобно стонет во сне. Но он должен слушать дальше.

«Говорили, — продолжал Ванцетти, и голос его — уже голос судьи, а не осуждённого на смерть преступника, — что защита всячески мешала суду, желая затянуть следствие. Я нахожу такие разговоры оскорбительными, ибо это ложь. Государственному прокурору понадобился целый год, для того чтобы состряпать против нас обвинение, — иначе говоря, один год из пяти ушёл на то, чтобы прокуратура смогла возбудить против нас дело. Дело слушается в первый раз, защита передаёт вам свои возражения, и вы молчите. В глубине души вы заранее решили отвергнуть все ходатайства защиты. Вы молчите месяц-другой, а затем выносите заранее обдуманное решение в самый канун рождества, как раз в сочельник. Мы не верим в сказку о рождестве ни с исторической, ни с церковной точки зрения. Но кое-кто из наших людей ещё верит в неё, а если мы и не верим, то не потому, что мы не люди. Мы тоже люди, и рождественский праздник мил сердцу каждого человека. Мне кажется, что вы вынесли ваше решение именно в канун рождества для того, чтобы отравить радость нашим родным и близким.

Ну что ж, я уже сказал, что не только не виновен в убийстве, но и за всю мою жизнь ни разу не совершил преступления, не крал, не убивал и не проливал крови. Я боролся и отдал свою жизнь в борьбе против тех преступлений, которые узаконены и освящены у нас судом и церковью».

И во сне судья слышит, что голос Ванцетти становится громче, яростнее, он жжёт спящего, как раскалённое железо.

«Вот что я вам скажу: я не пожелаю ни псу, ни змее, ни самому последнему и жалкому из существ на земле — никому не пожелаю я выстрадать то, что выстрадал я за преступление, в котором неповинен. Однако я знаю, что страдаю за то, в чём я и в самом деле виновен. Я страдаю за то, что я радикал. Я и в самом деле радикал. Я страдаю за то, что я итальянец, и я действительно итальянец; я страдаю ещё больше за мои убеждения, но я так уверен в моей правоте, что, если бы вы казнили меня не один раз, а дважды, и если бы я смог дважды родиться снова, я снова стал бы жить, как жил прежде, и делать то, что делал прежде.

Я всё время говорю о себе и забыл даже назвать имя Сакко. А Сакко тоже рабочий человек, он любит свой труд, у него хорошее место и хороший заработок, счёт в банке, добрая и красивая жена, прекрасные дети, чистенький домик на лесной опушке, недалеко от ручья. Сакко — это сама сердечность, сама вера, настоящий человек, любящий людей и природу. Он отдал всё, что имел, за дело свободы и за любовь к человечеству: деньги, покой, честолюбивые мечты, жену, детей, себя самого и, наконец, жизнь. Сакко и во сне бы не привиделось, что он может украсть и, тем более, убить. Он, так же как и я, ни разу в жизни не поднёс ко рту куска хлеба, который не был бы заработан в поте лица своего. Никогда.

Ну да, я куда более искусный говорун, чем он, но много, много раз, слушая его душевный голос, в котором звучит такая высокая и святая вера, думая о том, чем он пожертвовал во имя своих идей, думая о его героизме, я чувствовал себя таким маленьким по сравнению с ним, что мне приходилось украдкой отгонять слёзы и глотать комок, подкатывавший к горлу, чтобы не расплакаться перед ним, перед этим человеком, которого называют вором и убийцей, а теперь собираются казнить. Но имя Сакко будет жить в благодарных сердцах народа и тогда, когда ваши кости, судья, и кости прокурора давно истлеют, когда ваше имя и его имя, так же как и ваши законы, учреждения и ложные кумиры,

станут лишь смутным воспоминанием о тех проклятых временах, когда человек человеку был волк...»

Этими словами Ванцетти кончил свою речь. Последняя фраза упала в притихший зал, как удар молота. Теперь Ванцетти снова глядел на судью; его глаза стали огромными и постепенно заполнили мучительное сновидение судьи.

«Я кончил, — сказал Ванцетти. — Благодарю вас».

Судья вдруг заколотил по столу своим молоточком, хотя в зале не было беспорядка и ни единый звук не нарушил тишины. Он бросил молоточек и увидел, что рука его дрожит. Овладев собой, он сказал с показным спокойствием:

«По законам Массачусетса, присяжные должны решить вопрос о том, виновен или не виновен подсудимый. Суд не вмешивается в это решение. Закон Массачусетса предусматривает, что судья не имеет права оценивать факты. Ему дозволено лишь изложить судебные доказательства».

Во время процесса был принят ряд отводов. Эти отводы были переданы на рассмотрение верховного суда. Рассмотрев отводы, верховный суд решил: «Приговор присяжных остаётся в силе; отводы отклонены». В этом случае суду остаётся одно — и не в порядке защиты своего авторитета, а в порядке выполнения уголовного кодекса — вынести приговор».

Сначала суд выносит приговор Николо Сакко. «Суд постановляет, что вы, Николо Сакко, приговариваетесь к смертной казни посредством пропускания электрического тока через ваше тело. Казнь должна произойти в течение недели, считая с воскресенья июля десятого дня лета одна тысяча девятьсот двадцать седьмого от рождества христово. Это приговор именем закона».

«Суд постановляет, что вы, Бартоломео Ванцетти...»

Ванцетти вскакивает с места и кричит: «Остановитесь, ваша честь! Я должен поговорить с моим адвокатом!»

«А я должен произнести приговор, — продолжает судья. — Вы, Бартоломео Ванцетти, приговариваетесь к смертной казни...»

Сакко вдруг прерывает его яростным криком:

«Вы знаете, что я невиновен! Я говорю вам это семь лет! Вы осудили двух невиновных людей!»

Но судья, собравшись с духом, заканчивает:

«...посредством пропускания электрического тока через ваше тело. Казнь должна произойти в течение недели, считая с воскресенья июля месяца, десятого дня лета одна тысяча девятьсот двадцать седьмого от рождества христово. Это приговор именем закона».

Затем судья добавляет: «А теперь мы устроим перерыв».

И сегодня, в сумерки 22 августа, в тот самый день, который после ряда проволочек был окончательно назначен для казни, он проснулся от своей дремоты, и его собственные слова звучали у него в мозгу: «А теперь мы устроим перерыв». Проснувшись, он понял, что его просто позвали обедать. Удивительно, как хорошо он себя чувствовал после сна. У него даже появился аппетит, и он с облегчением подумал, что день, слава богу, подходит к концу. Вот он кончится, и со всей этой историей будет тоже покончено навсегда. Скоро всё будет забыто. Он, по крайней мере, утешался этой мыслью.

Глава четырнадцатая

Всяким странствиям приходит конец, даже самым долгим и безотрадным, а за сегодняшний день профессор уголовного права пересёк вселенную и вернулся назад. На краю света он заглянул в глубочайшие тайны бытия, и то, что он там увидел, наполнило его тревогой и горечью. Он позабыл дом и детей, и пища показалась ему чёрствой и несъедобной. Профессор обедал с защитником Сакко и Ванцетти, приехавшим в Бостон, чтобы сказать приговорённым к казни хоть несколько прощальных слов. Защитник не так давно отказался от участия в процессе, рассчитывая, что назначенный вместо него адвокат сможет оказать влияние на губернатора; но вот теперь он вернулся сюда, чтобы в последний раз поговорить с Бартоломео Ванцетти. Он предложил профессору посетить вместе с ним камеру смертников в Чарльстонской тюрьме.

— Мне страшно, — сказал профессор, назвав наконец по имени того тёмного спутника, который не расставался с ним весь сегодняшний день. — Как я посмотрю в глаза Ванцетти?

— Почему? — спросил защитник. — Ведь не вы же приговорили его к смерти.

— Разве? Я теперь не уверен и в этом. Помните, что заявил Ванцетти в тот день, девятого апреля, когда судья вынес ему приговор?

Защитник промолчал, и профессор добавил несколько смущённо:

— Я напому вам его слова. Они врезались мне в память, слова эти лежат у меня на сердце, как камень. Не думайте, что я разыгрываю мелодраму, но утром я столкнулся с ректором прославленного университета — вы знаете, о ком идёт речь, — а потом видел одного рабочего, негра. Его жестоко избили за то, что он ходил в пикете возле резиденции губернатора. Обе эти встречи, да и многое другое, очень расстроили меня. Мне нужно разобраться во всём, что происходит. Как вы полагаете, о чём думал Ванцетти, когда он сказал: «Если бы всего этого не случилось, я так бы и прожил мою жизнь уличным агитатором, разглагольствующим перед недоверчивой толпой. Я так бы и умер никем не замеченным, никому не известным неудачником. Теперь же никто не назовёт нас неудачниками. Нам выпала завидная доля, почётная участь. Разве мы могли надеяться, что принесём столько пользы борьбе за свободу, за справедливость, за братство людей, сколько принесли по воле наших врагов? Чего стоят наши речи, наша жизнь, наши мучения? Ровно ничего. А вот наша казнь, казнь хорошего сапожника и бедного разносчика рыбы, — бесценный дар! Наша смерть — это наше торжество. И торжество принадлежит нам безраздельно». Вы слышите, какие это удивительные и скорбные слова? Мне тёмна их смысл, и я не раз пытался разгадать их значение. Что я знаю? Только одно: вот умирают два человека, а я, наверно, так и не подниму руки, чтобы предотвратить их гибель.

— Друг мой, вы не можете её предотвратить, — сказал защитник. — Поймите: ни я, ни вы не можем больше ничего сделать.

— И это тот плод, который мы вкушаем? — задал вопрос профессор. — Сок его оставляет оскомину. Я ведь тоже не настоящий американец, однако меня не тащат в полицию и не бьют там до тех пор, пока я не ослепну от собственной крови. А ведь рабочий-негр всего только ходил в пикете. Моя вина куда страшнее: я накинулся на одного из самых высокопоставленных лиц в стране и обозвал его лжецом и палачом. Однако я за это не понёс наказания. И вдруг я понял, что наказание у нас и в самом деле положено только «угнетённым», как называет их Ванцетти, а мы смеёмся над этим непривычным словом и осуждаем

людей на смерть только за то, что они красные, и ни за что другое. Великим мира сего был брошен вызов, и за эту дерзость сапожник и разносчик рыбы заплатят жизнью. Но отчего вдруг поднялся такой ропот? Ведь столько людей умирало в молчании, а мы с вами и пальцем не двинули в их защиту. Теперь нас мучит совесть, однако не пройдёт месяца, и мы снова заживём как ни в чём не бывало в кругу богатых и власть имущих. Я заплачу недорогую дань — меня изгонят из университета, но частная практика даст мне вдвое больше денег, а моими клиентами будут те, кто убил Сакко и Ванцетти. Я же пытаюсь утверждать, что руки у меня чисты...

Защитник прислушивался к его словам с почтительным вниманием, хотя ему и было слегка неловко от такой неожиданной вспышки откровенности; это был янки средних лет, человек рассудительный, честный и очень знающий. Он принял участие в процессе не ради славы или денег, а потому, что его вынудила легко уязвимая совесть.

— Я никогда не соглашался с их взглядами, — сказал он. — Я человек консервативный и этого не скрываю. Но запах крови мне всегда был противен. А то, что с ними делают, вызывает во мне глубочайший стыд, ибо это обыкновенное убийство. Но, может быть, ещё есть надежда. Пойдёмте со мной в тюрьму, прошу вас.

Он долго уговаривал профессора, и тот наконец согласился.

Был летний вечер, и по дороге в тюрьму они прошли мимо резиденции губернатора, возле которой попрежнему расхаживали пикетчики; многие из них невесело здоровались с ними. Высокая молодая женщина — её имя и стихи знали во всём мире — схватила защитника за руку.

— Вы ведь сделаете что-нибудь? Ещё не поздно, правда?

— Я сделаю всё, что смогу, дорогая.

Шесть женщин шагали по тротуару и плакали; они несли плакаты, на которых было написано: «Мы — текстильщицы из Фолл-Ривер штата Массачусетс. Горе власть имущим Новой Англии, если Сакко и Ванцетти погибнут».

На тротуаре неподалёку седой старик держал за руку внучонка; он что-то объяснял малышу шёпотом и жестами; но когда мальчик заплакал, старик сказал ему нетерпеливо: «Не плачь, не плачь, твои слёзы не помогут».

— Пойдём скорее, — сказал защитник, увлекая за собой профессора. — Мне нужно поспеть к назначенному часу, я не могу опаздывать.

— Да, сегодня ночью нельзя опаздывать. Что это? Что это значит? Что погибнет в нас, когда эти двое умрут?

— Не знаю, — тихо сказал защитник.

— Может быть, надежда?

— Не знаю. Надо спросить Ванцетти.

— Это жестоко.

— Почему жестоко? Нисколько.

Они взяли такси до Чарльстона. Защитник говорил профессору самым обыденным тоном:

— Взгляните туда, направо, — какое соцветие имён: Уинтроп-сквер, Остин-стрит, Лауренс-стрит, Рутерфорд-авеню... Улица Уоррена скрещивается с улицей Хэнли, помните Уоррена? ¹ «Страшитесь, враги, вы, наёмные убийцы! Хотите вернуться домой? Взгляните, горят ваши дома

¹ Уоррен Джозеф (1741—1775) — американский патриот, боролся против колониального владычества Англии. Первый выборный глава независимого правительства Массачусетса. Сражался в войне за независимость и был убит в битве при Банкер-хилле. (Примеч. перев.)

у вас за спиной!» Верно я цитирую? Я ведь не перечитывал этих строк лет сорок. А вон в той стороне памятник...

Профессор с трудом следил за речью своего спутника. И мысли его и чувства были покорены тихой прозрачностью сумерек, нежными тонами облаков, преломляющих, словно в призме, лучи заходящего солнца, лодками, скользящими по воде, всем бесконечным разнообразием звуков и запахов окружающего мира, свежестью воздуха в этот летний вечер, расцветённого и расшитого дымками паровозов, звуками проходящих поездов, гудками пароходов и, особенно, бесконечной волнностью птиц в темнеющем небе. Всё вокруг было так прекрасно, что самая мысль о смерти казалась отвратительной и невозможной, и он на время потерял ощущение реальности, к которой они приближались. Его вернуло к ней сухое замечание защитника, рассказывавшего о памятниках.

— Вы могли его только что заметить, но он стоит совсем не на том месте, где ему полагается. Ведь памятник поставлен на Банкер-хилл, а битва происходила на Бридс-хилл. Там они вырыли окопы и укрылись в них — бедные фермеры и батраки, вступившие в бой с отборнейшими полками Европы¹...

— Люди вроде Ванцетти? — спросил профессор.

— Этим вы меня не проймёте. И не старайтесь. Прошлое кануло в Лету. Почём я знаю, какие они были; наверно, никто этого не знает. Я уверен только в том, что они были не так одиноки, как Сакко и Ванцетти...

— Одиноки? Вот уж Сакко и Ванцетти совсем не одиноки. — Профессор даже улыбнулся, впервые в этот день. — Они не одиноки.

— Я понимаю, о чём вы говорите. Но я думал совсем о другом. Вы говорите о миллионах, которые их оплакивают. Я убедился в том, что целые океаны слёз не сдвинут с места даже маленькую скалу. Какая польза от того, что четверть миллиона людей подписали петиции?

— Не знаю, — ответил профессор.

— В том-то и дело. Там, наверху, на Банкер-хилле, у них в руках были ружья. Они скрепляли свои требования выстрелами, сэр.

— А разве люди не плакали, когда повесили Натана Хэйля²?

«Господи, какое мальчишество! — подумал защитник. — Что это у нас за страсть копать в пыли веков! Станный человек этот профессор, так чувствителен к чужому горю... А может, и верно — горе оставляет в воздухе горький след? Где он ищет утешения? Прошлое умерло. Он хочет вернуть его к жизни, а Сакко и Ванцетти умирают в том мире, которого они не создавали».

— Вот и тюрьма, — сказал профессор.

Вечер был такой золотой, а им владели тёмные страхи. Всё, что их скружало, словно посылало им весть о том, что мир прекрасен; этот мир, погружённый в неверные и мерцающие полутона, как на пейзажах Джорджа Иннеса³, только ещё больше обострял его страхи. Вместо нежных полутонов небо должны были покрывать грозовые тучи, однако город, как назло, нарядился сегодня в одежды неизъяснимой красоты. Они

¹ Банкер-хилл, Бридс-хилл — возвышенности в районе Бостона, где 17 июня 1775 года произошёл бой между американскими и английскими войсками. В этом бою был убит генерал Уоррен. Близ места его гибели, на Бридс-хилле, воздвигнут памятник. (Примеч. перев.)

² Хэйль Натан (1755—1776) — офицер американской армии, сражавшийся против англичан. Проникнув с целью разведки в расположение английских войск, был схвачен и повешен. (Примеч. перев.)

³ Иннес Джордж (1825—1894) — знаменитый американский художник-пейзажист. (Примеч. перев.)

приблизились к мрачному силуэту тюрьмы, и впервые профессор заглянул в самый последний смысл вещей и понял, что хотел сказать Джон Донн¹ своим мрачным предостережением: «Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе!» Профессору казалось, что он приближался к своей собственной смерти, ибо жизнь его была теперь связана с судьбой обречённых людей, у них были общие воспоминания и одна и та же беда; и хотя пройдут годы и он забудет эту ночь и то, как он тогда умирал,— ибо время делает с человеком странные вещи,— ему всегда будет не по себе, глядя на золотые лучи уходящего солнца или на тень от крыльев ангела смерти.

Начальник тюрьмы пожал им руки. На его лице было подчёркнуто скорбное выражение; всем своим видом он напоминал директора бюро похоронных процессов. В тюремных стенах окончательно погас золотой свет дня. По склепам и подземельям они прошли к камерам смертников.

— И до чего же мы не любим таких дней, как сегодня! — сказал начальник.— Для тюрьмы это чёрные дни. Ведь все люди в тюрьме друг с другом чем-то связаны.

«Смотря какие люди и смотря как относятся к тюрьме»,— подумал профессор и спросил:

— А они, как они держатся?

— Отлично,— ответил начальник.— Принимая, конечно, во внимание данные обстоятельства. Как люди могут держаться перед самым концом? Но, поверьте мне, оба они люди смелые.

Профессора удивило подобное заявление начальника тюрьмы, и он посмотрел на него растерянно. Его спутник перебирал в памяти материалы защиты, и воспоминания вторили его гулким шагам по каменным плитам. Сначала участие в процессе было для него лишь захватывающей игрой в той мере, в какой человека увлекает любой запутанный казус, ребус, сложная математическая задача или желание настоять на своём, потом дело Сакко и Ванцетти заполнило всю его жизнь. Ну что ж, он теперь освободился от этого плена. В конце концов, такие люди, как эти два итальянца, всегда гибнут от того или иного акта насилия. Они бросили вызов устоям мироздания и восстали против кумиров. Можно простить любые преступления, но владыка и господин не прощают тому, кто осмелился поднять руку на их владычество или господство. Значит, то, что случилось, было неизбежно. Так почему же против этого запротестовал весь мир?

Мысли его были прерваны начальником тюрьмы, рассуждавшим о том, какую им оказывает любезность штат Массачусетс,— не так-то легко в этот день попасть в камеры смертников. Не всем это разрешается, да, пожалуй, никому, кроме них двоих, администрация и не сделает такого исключения.

— Подумать только,— сказал профессор уголовного права,— ведь я ни разу в жизни не видел ни того, ни другого. Я впервые увижу их сейчас.

— Это самые обыкновенные люди,— покровительственно заметил начальник тюрьмы.

— Не сомневаюсь. Однако для меня в них есть что-то легендарное.

— Пожалуй,— согласился защитник.

Когда они подошли к той части здания, где были расположены камеры смертников, начальник тюрьмы сказал:

— У нас только три камеры смертников и, как вы знаете, все три сейчас заняты. Для нас такое положение — редкость, однако все трое се-

¹ Донн Джон (1573—1631) — английский поэт. (Примеч. перев.)

годня умрут, если в последнюю минуту не будет отсрочки. Как вы думаете, казнь отсрочат? — спросил он у защитника.

— Всем сердцем надеюсь на это.

— Я говорю им, что нужно надеяться, хотя, по моему личному мнению, надежда очень слабая,— сказал начальник тюрьмы.— Когда дело заходит так далеко, оно обычно катится до самого конца. Ну вот мы и пришли. Я не пойду с вами, я хожу туда только в случае крайней необходимости: имейте в виду, все три камеры расположены рядом, а за ними идёт коридор в помещение, где находится электрический стул. Не подумайте, но и в нашем деле соблюдается свой церемониал; если вам уж приходится выполнять неприятную процедуру, лучше, когда всё идёт по раз навсегда заведённому порядку. Когда казнят больше чем одного человека, их помещают в камеры соответственно той очерёдности, которая для них предусмотрена. Было решено, что, если сегодня казнь состоится, первым будет казнён Мадейрос, за ним пойдёт Сакко, а потом уж Ванцетти. Вы увидите, что они помещаются в камерах именно в этом порядке. Прошу вас не разговаривать ни с кем, кроме Сакко и Ванцетти. Разрешение было дано только для них двоих, и я прошу вас его придерживаться.

Сначала профессор слушал его рассуждения с ужасом; ему не верилось, что люди могут говорить о таких вещах столь просто и бесстрастно, пользуясь самыми обыденными словами. Ему казалось, что дикое и бесчеловечное убийство одних людей другими должно вызывать омерзение, что об этом нельзя говорить вслух, так же как нельзя говорить вслух о самых грязных, отвратительных и тайных пороках худшей части человечества. Потом он понял, что, если подобные действия всё же совершаются, должны существовать и слова, которыми их называют, и что люди, принимающие участие в таких действиях, должны употреблять именно эти слова за неимением никаких других. Мир не держал своих гнусностей в секрете, не разговаривал о них стыдливо при помощи условного кода, он совершал свои гнусности открыто и пользовался для их обозначения обычной человеческой речью. Но дело не ограничивалось одной речью; сами люди отлично применялись к этим гнусностям, точно так же как он и его спутник — люди вполне порядочные — смирились с отвратительной реальностью тюремных стен и железных решёток и спокойно приближались к зданию, построенному для одной-единственной цели: убивать, не преступая при этом закона. И для такой же цели христианское цивилизованное демократическое общество изобрело стул из металла и дерева, на который можно было усадить, прикрутив ремнями, человека, чтобы пропустить через его тело электрический ток страшной силы. И, зная об этом, ни он, ни его спутник не вопили от горя и ужаса; наоборот, они вели себя куда как благопристойно, а спутник его даже заметил:

— Не беспокойтесь, начальник. Я ни в коей мере не нарушу ваших порядков.

Начальник тюрьмы покинул их, вполне удовлетворённый этим заверением, и один из надзирателей довёл их до камер смертников. Они миновали двери всех трёх камер, и, проходя мимо них, профессор не мог удержаться от любопытства и не заглянуть туда — пока человек дышит, его не покидает любопытство. Первым он увидел Мадейроса, который неподвижно стоял посреди камеры; вор и убийца ожидал своей смерти. Дальше шла камера Сакко. Сакко лежал на койке вытянувшись, глаза его были широко раскрыты и устремлены в потолок. Следующей была камера Ванцетти; он их ждал, стоя у дверей своей камеры, и поздоровался с ними тепло и приветливо, с тем спокойствием, которое показа-

лось профессору куда более ужасным, чем всё, что он пережил в этот тяжкий день.

Надзиратель указал им на два стула, поставленных на некотором расстоянии от дверей камеры.

— Прошу занять места, джентльмены,— сказал он.

Они сели; профессор сообразил, что стоит ему слегка повернуть голову — и он увидит помещение для казни и даже краешек электрического стула. И как бы он ни старался не смотреть туда, взгляд его притягивало, словно магнитом.

Он никак не мог сосредоточиться: электрический стул гипнотизировал его и отвлекал от того, что говорилось. Потом, сколько бы он ни старался, он не мог припомнить, с чего начался разговор. Речь, кажется, шла о том, что все адвокаты теперь были освобождены от обязательства хранить в тайне материалы процесса, так что уж никто из них не мог сослаться на то, что он не имеет права оглашать то или иное обстоятельство дела Сакко и Ванцетти. Всё тайное теперь станет явным. Тему разговора он запомнил в самых общих чертах, он был одержим жадным любопытством к орудию смерти, к устройству и назначению этого орудия и других, подобных ему. Ведь так просто было вскрыть вену или выпить чашу цикуты, как это сделал Сократ; для чего же человеческое воображение беспрестанно придумывает разные машины: гильотину, автоматическую виселицу, газовую камеру, электрический стул?

— За всю жизнь, друг мой, насколько я помню, я ни разу не совершил преступления или хотя бы просто маленькой подлости, которой человек мог бы стыдиться,— говорил в это время Ванцетти.— Это не значит, что я лучше других, нет, я — простой человек. Но простые люди все обычно такие. Так что вам не стоит беспокоиться насчёт того, виновен я или не виновен. Я не виновен.

Теперь профессор припомнил вопрос, который защитник задал Ванцетти. Он сказал, что хотя он лично убеждён в невиновности Сакко и Ванцетти, тем не менее в этот смертный час ему хотелось бы получить от них последнее заверение в этом, с тем чтобы потом он, защитник, мог опровергать лживые утверждения тех, кто посылает на гибель двух невиновных людей...

«О ужас, о дьявольский, жестокий эгоизм такого вопроса!» — подумал профессор. Однако Ванцетти ответил на него так мягко и добродушно, словно разговор шёл на абстрактную философскую тему перед горящим камельком и вёл его человек, которому отпущены ещё долгие десятилетия жизни.

С каким горьким недоумением профессор разглядывал Ванцетти: высокий властный лоб; тонкие брови; глубоко сидящие глаза; длинный прямой нос; густые, свисающие книзу усы, из-под которых был виден крупный нежный рот и мягко очерченный подбородок. «Какой красивый человек! — подумал профессор.— Какое богатство и выразительность черт и движений. У него поистине королевская осанка, но в нём нет ни доли высокомерия. Откуда берутся такие люди? Откуда взялся этот человек, и почему он ожидает смерти с таким чертовским достоинством?»

И, словно в ответ на его мысли, Ванцетти обратился к нему; он поблагодарил его за участие в деле и сказал, что очень рад с ним познакомиться.

— Но я ведь ничего не сумел сделать.

— Ничего? Что вы! Много. Когда я думаю о том, что люди вроде вас радостятся на одну сторону со мной и Сакко, — сердце моё переполняется радостью. Поверьте! — И повторил, обращаясь уже к защитнику: — Поверьте! Я не в состоянии выразить вам мою благодарность за всё, что вы для меня сделали. Вы хотите, чтобы мы ещё надеялись, но я знаю

лучше вас. И Сакко знает. Сегодня мы умрём. Я боюсь смерти, но я готов умереть. Мы уже умирали с Сакко не один, а тысячу раз, и мы готовы. Ведь это не за себя, а за всё человечество. Чтобы человек не угнетал человека. Мне очень тяжело — я никогда больше не увижу ни моей сестры, ни моих близких, а я их люблю. Но во мне не только грусть, но и торжество. Люди будут помнить, как мы страдали. Они будут лучше бороться за справедливость на земле.

— Хотел бы я верить в то, во что верите вы, Бартоломео,— сказал защитник.

— Зачем вам? Да и сможете ли вы? Вот перед вами Ванцетти, впереди у него смерть. С человеком этим покончено. Но что его сделало таким, какой он есть, таким, каким он идёт к своему концу? Я говорю о себе: у меня есть классовое самосознание, но разве я таким родился? Я рос таким, как вы, и даже, когда стал взрослым, и тогда знал очень мало. Все годы в Америке я работал за троих, и всё равно у меня ничего не было. Зато во мне родилась огромная любовь к людям, которые трудились рядом со мной. Я перестал быть просто итальянцем. Я стал думать, что и здешние люди—это тоже мой народ. Потом я работал на кирпичном заводе в Коннектикуте, а потом на карьерах в Меридене. Два года я работал ломом, киркой и лопатой в каменном карьере и обучился прекрасному тосканскому наречию — там работает много тосканцев,— однако хозяин нас всё равно презирал, на каком бы языке мы ни говорили... «А ну-ка, пошевеливайтесь, вы, проклятые макаронники!» Рядом со мной работал американец; однажды он сказал мне: «Эй, Барто, неужели ты не можешь понять — в мире существуют только два языка: один язык — для хозяев, а другой — для нас с тобой». Он мне улыбнулся, и во мне перевернулось сердце. Вот я и понял, что классовое самосознание — это не пустые слова, выдуманные пропагандистами, а настоящая живая сила. Что-то выросло во мне, и я перестал быть рабочим скотом, я стал человеком. А этот американец, он сказал мне: «Погляди на свои руки, Барто. Весь мир сделан твоими руками, а забирает себе всё кто-то другой. Даже ружьё делаешь ты, а он берёт его, чтобы убить твоего же брата. Тот, кто берёт себе хлеб, который ты выпекаешь, не делает ничего, Барто, ровнёшенько ничего. Ну погляди же на свои руки, Барто,— говорил он.— Ох, и сила же в этих руках!..» Но я понял то, что он говорил, не сразу, а только постепенно. Я понял, что когда-нибудь люди будут жить, как братья. А теперь они убивают меня за то, что я это понял. Что ж, не я один умираю за то, что это понял. Но вы, друг мой, вы ведь не с нами. Как же вам поверить в то, во что верю я? Я ведь рабочий, раз и навсегда.

— Я ведь не против вас,— сказал защитник.— Поймите, Бартоломео, я не против вас. Совсем нет! Я только не вижу в этом выхода, я не верю, что дело можно решить ненавистью.

— Вы не хотите, чтобы я ненавидел? — спросил Ванцетти.— Вы хотите, чтобы я любил моего врага, который посылает меня на смерть?

— Но чего же хотите вы? Насилия и ненависти? Смерти за смерть? Этого вы хотите?

— Кто вам сказал, что я этого хочу?— спросил Ванцетти с почти неприметной улыбкой.— Нас привели в суд, и судья заявил, что мы любим насилие. Прокурор, он тоже сказал присяжным, что мы ужасные, злостные приверженцы насилия. Но для какого же самого маленького насилия мы с Сакко когда-нибудь подняли руку? Разве мы причинили боль хоть одному человеку? Какое же это насилие, если ты идёшь к твоим же братьям, таким же рабочим, как ты, и говоришь им: если ты испёк хлеб — несправедливо, что тебе достанется только корка. Ну нет, насилие совершают надо мной. Семь лет меня мучают в тюрьме, как

преступника, семь долгих лет я сижу в подземелье. Вот это — насилие. Над кем ещё совершалось такое неслыханное насилие, какое вы совершаете над моим добрым Сакко и надо мной?.. Они схватили нас, говоря, что мы совершили подлое преступление там, где мы никогда не были. Потом нас судили, кляли, обливали грязью и год за годом держали взаперти, в тюремной камере. Вот это действительно насилие. Каждому человеку предназначено умереть только один раз, но Сакко и меня заставляют умирать в тысячный раз, и им всё ещё мало. День за днём мы должны умирать снова и снова. Вас я уважаю. Вы—мой друг и хороший человек, но как вы могли прийти сюда и просить меня не прибегать к насилию? Я никогда не прибегал к насилию. Было ли когда-нибудь такое время на земле, когда человека за то, что он звал людей к братству и к лучшей жизни, не обвиняли бы в насилии? Так случилось даже с Иисусом Христом. Я не сравниваю себя и Сакко с Христом, и я человек не религиозный. Но вы пользуетесь его именем и зовёте себя христианами,— когда же вы перестанете распинать людей?

Теперь защитник спросил очень тихим и прерывающимся голосом:

— Бартоломео, ты отвернулся от меня? Разве я виноват в том, о чём ты говоришь? Я не жалел сил, чтобы добиться для тебя свободы и доказать невиновность, в которой был уверен!

— Нет, я не отвернулся от вас. Никогда не смогу я отвернуться от товарища и друга, вы знаете. Но почему эта клевета насчёт насилия преследует нас даже здесь, в камере смертников? Вы думаете, я хочу умирать? Вот что я вам расскажу: был здесь один репортёр от рабочей газеты, хороший парень, — я ему верю всем сердцем, и я попросил его прийти ко мне снова и принести револьвер, чтобы они не могли потащить меня отсюда, как овцу, чтобы я смог бороться и умереть в борьбе за моё человеческое достоинство, а не пойти на убой, как скотина. Но он не смог или не захотел прийти сюда снова, а это и было то единственное насилие, о котором я помышлял в моей жизни. Но они всегда вопят о насилии — эти чистенькие, благопристойные джентльмены, они всегда вопят: «Смерть им, ибо они замышляют насилие против нас!» Христос должен умереть, ибо он замышлял насилие. Галилей должен умереть, ибо он совершил насилие. И Джордано Бруно. И Ленин тоже, он ведь человек, который совершает насилие и преступает закон и порядок. А я спрашиваю вас, что они такое, ваши закон и порядок? Убить Сакко и Ванцетти — в этом ваш закон и порядок?

— Разве я когда-нибудь так говорил, Бартоломео? Ведь никто ещё не сказал решающего слова насчёт того, что же хорошо и что плохо. Я верю во всевышнего, который взвешивает добро и зло на своих собственных весах, и я никогда не поверю, что человеку некому пожаловаться, кроме губернатора штата Массачусетс.

— Вы в это верите? — Голос Ванцетти упал и стал приглушённым, полным тоски. — А я вот совсем не верю. Я часто себя спрашиваю, почему столько хороших людей не верит в вашего бога и в ваш страшный суд? А те, кто верит, никак не меньше боятся смерти.

— Тем не менее, — сказал защитник, — я верю твёрдо и бесповоротно, что, кроме нашей земной, есть ещё и другая жизнь.

Профессор уголовного права посмотрел на своего спутника. В голосе защитника была твёрдая вера, в его глазах, глядевших на Ванцетти, не было и тени сомнения. Он был очень честный человек, этот защитник, несмотря на свою самоуверенность и прямолинейность. Он дрался, как лев, в последний период процесса и так и не сдался. Невзирая ни на что, он верил в себя, в своих друзей, в свою касту и в свой класс, в свою философию, в своё имущество и счёт в банке, и эту веру ничто не могло поколебать; а вот теперь он провозгласил и свою веру в загробную жизнь. В ка-

ком-то смысле профессор завидовал своему коллеге, ибо у профессора сегодня не было непоколебимой веры во что бы то ни было; не мог он также укрыться за верой в непоколебимость бытия. Но когда он перевёл взгляд с защитника на Бартоломео Ванцетти, он вдруг увидел, что уверенность итальянца была нисколько не меньше уверенности защитника. Даже теперь, когда Ванцетти произносил последние слова, голос его не задрожал и не прервался. Он сохранял спокойствие, и крупные, пластичные, как у статуи, линии его благородной головы попрежнему выражали непостижимую душевную ясность. Она-то и запала больше всего в память профессору, тревожила её, ворошила в ней давным-давно забытые образы. Снова и снова ощущение этой удивительной ясности подталкивало к порогу сознания чей-то образ и чьи-то слова, а потом память о них опять ускользала и становилась недостижимой.

Профессору мучительно захотелось сказать Ванцетти что-нибудь такое, что тот ещё сегодня не слышал. Может статься, думал он, их посещение Сакко и Ванцетти будет последним соприкосновением этих несчастных с внешним миром, и его терзало чувство стыда за то, что оно свелось всего лишь к только что оконченному разговору. Он слишком хорошо знал, как это бывает в жизни, и не мог поверить, будто сейчас, в те несколько минут, которые им ещё остались, будет произнесено какое-то решающее слово, магическое заклинание, и всё же продолжал искать в своей памяти что-то неуловимое, что, казалось, он вот-вот припомнит, — какую-то совсем особенную мысль, великолепное высказывание, где будет выражена не только вся сущность жизни этих двух людей, но и заложена уверенность в том единственном бессмертии, в которое он сам безусловно верил.

А Ванцетти всё ещё раздумывал о насилии.

— Как странно, — говорил он, — что вы пришли ко мне сюда, чтобы предостеречь меня от насилия. Я стою в камере и жду смерти, а вы приходите просить меня отказаться от насилия. Разве я волшебник и могу вызвать насилие, как духа из бутылки? У меня нет такой власти. Насилие неизбежно, когда слишком большой груз наваливают на спину народу. Чем вы можете похвастаться? Миром, который вы создали? Может, вы скажете, что в этом мире нет насилия? На суде прокурор проклинал нас с Сакко за то, что мы не хотели участвовать в войне, которая погубила двадцать миллионов человек. А в насилии обвиняют нас с Сакко. Хорош же ваш мир, где жизнью пользуются очень немногие за счёт пота и крови большинства людей. Весь ваш мир — это сплошное насилие. Вы — мой друг, и, поверьте, я люблю и уважаю вас за всё, что вы для меня сделали, но я ведь знаю, что этот мир — ваш, а не мой и не Сакко. Когда-нибудь он будет другим. Но станет ли он другим без насилия, в этом я сомневаюсь... Вы ведь распинаете Христа снова и снова, сколько бы раз он к вам ни пришёл. Сакко слушает каждое слово, которое я говорю, он простой человек и плохо говорит по-английски, но Сакко добр и чист душой, а вот очень скоро ему придётся умереть...

Профессор уголовного права не мог больше слушать. Слух его всё ещё действовал, но упорным усилием воли он отделил звуки от мыслей, которые выражали эти звуки. Он, словно в трансе, целиком погрузился в поиски ускользающего воспоминания и, когда пришёл в себя, понял, что посещение окончено. Он пожал руку Ванцетти и удивился, почувствовав, что она ещё тепла и что в пожатии ещё есть сила; рядом с собой он увидел его карие глаза.

— Прощайте и спасибо, мой друг, — сказал Ванцетти, но профессор не мог произнести ни слова, пока они не вышли из тюрьмы, пока защитник с удивлением не напомнил ему, что он упорно молчал на протяжении

всего этого тяжёлого свидания. Но теперь профессор нашёл то, что он искал в своей памяти.

— «Когда мы это услышали, нам стало стыдно и мы сдерживали наши слёзы», — произнёс он.

— Простите, я не понимаю вас, — сказал защитник; он сам был глубоко встревожен и подавлен тем, что они пережили.

— Нет? Жаль. Дело в том, что я наконец-то вспомнил одну вещь, которую никак не мог припомнить.

— Что-то очень знакомое, — на всякий случай сказал защитник.

— Ну да, вы должны это знать: «До тех пор мы с трудом сдерживались, чтобы не плакать, но, когда мы увидели, что он стал пить и осушил чашу, мы больше не могли терпеть, и, помимо моей воли, слёзы полились у меня из глаз потоком, и, покрыв лицо, я плакал о себе, ибо плакал я не о нём, а о моей собственной судьбе, о том, что я лишаясь такого друга...»

Защитник устало кивнул головой. Они стояли в сумеречной мгле и ждали машину, которую обещал дать им начальник тюрьмы, чтобы отвезти их обратно в город.

— А что ответил Сократ, вы помните?

— «Мне говорили, что умирать надо в спокойствии и молчании. Поэтому помолчи и будь стоек».

И, видя, как слёзы текут по щекам профессора и как он стоит в сгущающейся тьме, ссутулившись, словно большой, раненый зверь, защитник не решился продолжать разговор.

Глава пятнадцатая

Ванцетти стоял у дверей камеры, словно прикованный к месту своими мыслями и отзвуком слов, которые он только что произнёс; двое других приговорённых к смерти лежали на койках лицом кверху, всматриваясь широко открытыми глазами в то недалёкое будущее, которое их ожидало.

Пальцы Ванцетти крепко сжимали решётку дверного окошечка. Он поглядел на руки — они ведь были частью его самого — и снова задал себе старый, как мир, вопрос: что же с ним будет, когда весь он целиком, всё его существо и его сознание превратятся в ничто? Страх пронизал его, как ледяной ветер, от которого он тщетно пытался укрыться; теперь он уж не хотел отсрочки казни, ибо отчаяние его достигло таких пределов, что, если бы мысль могла убивать, он бы мыслью о смерти заставил себя умереть. Но отчаяние сразу же заставило его вспомнить о Сакко, и он подумал о том, что его страдания были и страданиями Сакко. Сердце его переполнилось жалостью, и он позвал:

— Николо, Николо, ты меня слышишь?

Сакко лежал с широко открытыми глазами, и в его мозгу проносились мысли и картины прошлого, но мысли его не уносились далеко, а всё время возвращались к одному и тому же: они, словно корабли, плыли по океанам горя. Всякое чувство превращалось в свою противоположность: стоило ему вспомнить о какой-нибудь радости, согретой смехом, в душе его она превращалась в несчастье, омытое слезами. Он жадно стремился припомнить прошлое, но стоило ему пробудить в своей памяти какой-нибудь образ, как вот он уже изо всех сил старался его снова забыть. Николо вдруг подумал о том, сколько раз они с женой его Розой участвовали в любительских спектаклях. Роза была так красива, грациозна и талантлива; он всегда считал, что она могла бы стать знаменитой артисткой. Он никак не мог понять, каким чудом она, такая необыкновенная, взяла да и вышла за него замуж. Сакко думал, что и другие тоже этого не пони-

мают. «Вот чудеса, — наверно, говорят они, — как могла красавица Роза выйти замуж за Ника Сакко? Что она в нём нашла?» На что другие, без сомнения, отвечают: «Так всегда бывает в жизни — женщины, у которых ни рожи, ни кожи, выходят замуж за красавцев, а уродливые, как смертный грех, мужчины женятся на красавицах. Так и должно быть, жизнь уравнивает своё потомство. Если бы природа не постаралась, на земле жили бы рядом две разные человеческие породы — красивые и уроды».

Как бы там ни было, Роза вышла за него замуж, и каждую ночь он не переставал удивляться, какое с ним свершилось чудо, и благодарил за него судьбу.

«Ну да, это правда. Моя Роза вышла за меня замуж, — говорил он себе. — Это так и есть и не подлежит сомнению».

Вот и теперь он повторил себе те же слова, и они причинили ему физическую боль, укололи его в самое сердце. Стоило ему преодолеть эту боль, на смену ей пришло другое воспоминание. Вдвоём с Розой они участвовали в любительском концерте, читая инсценированные ими отрывки из «Божественной комедии». Представление было самое незамысловатое, однако оно произвело большое впечатление. Когда Роза читала:

Не так Икар несчастный был смущён,
Когда под жарким солнцем небосклона
Воск на крылах его был растоплён
И услышал отца он восклицанье:
«Избрал ты путь несчастный, и вот он
Тебя сгубил!»...

Сакко отвечал:

«...Мой страх, моё страданье
Ужасней были в миг, когда из глаз
Исчезло всё, когда лишь колебанья
Чудовища я видел в страшный час
И воздух под собой и над собою».

Он отбросил и это мучительное воспоминание, удивляясь, почему из всех прозрачных, как свежий мёд, стихов Данте он вспомнил именно эти две строфы.

Боль стала нестерпимой, он лёг ничком, уткнулся лицом в мокрые от слёз ладони и до тех пор звал: «Роза, Роза, Роза», пока приступ горя и страха не прошёл и память не вернулась снова; на этот раз он вспоминал о стачках, о пикетах, о том, как собирались рабочие, чтобы обсудить, что делать им. — этой горсточке бедняков, у которых нет ни профессионального союза, ни союза друг с другом. Он попытался мысленно отделить одно событие от другого и расположить их по порядку, но так много было стачек, так много пикетов, так много лиц: рабочие — механики Хопдэйла, сапожники Милфорда, текстильщики Лоуренса, бледные лица рабочих и работниц бумажных фабрик... Он видел и конец каждой такой сходки: пушенную вкруговую шляпу, чтобы собрать хоть несколько грошей на общее дело. Сакко обычно комкал в ладони бумажку в пять долларов так, чтобы никто не заметил, сколько он жертвует, — ему не хотелось, чтобы другие почувствовали себя пристыжёнными или уязвлёнными тем, что вынуждены дать меньше, — и бросал кредитку в шляпу.

В те времена он — квалифицированный сапожник, — работая сверхурочно, зарабатывал от шестнадцати до двадцати двух долларов в день. Денег было больше чем достаточно, и Роза тоже говорила: «Ну, конечно, помогай им. Помогай им, ведь это твои товарищи». Однако, несмотря на

то, что работа приносила двадцать два доллара в день, он бросил её, когда началась война. Они проговорили с Розой всю ночь напролёт, и он объяснил ей, что лучше умрёт, покончит с собой, чем возьмёт ружьё и станет стрелять в таких же рабочих, как он сам, — немецких, венгерских, австрийских. или каких угодно других.

Роза поняла. Отношения их с самого начала отличались мгновенным и глубоким пониманием забот и потребностей друг друга. Люди, особенно его друзья, говорили: «Сакко? Сакко — престодушный и беспечный парень!» Может быть, дело обстояло и так, но чувствовал он не меньше, а глубже других. Роза была такой же прямой и простой, как он. Близость их была до того полной, что они словно сливались друг с другом. Когда Сакко видел семью, где муж и жена не ладили друг с другом, ссорились и грызлись с утра до ночи, он испытывал к ним мучительную жалость, словно перед ним были самые страшные калеки. Он знал людей, которые изменяют жёнам, но ему казалось, что они — не люди, а дикие звери. Для этого ему стоило только взглянуть на Розу.

Их брак, однако, не был похож на сентиментальную мечту. Они сердились, спорили и даже не разговаривали друг с другом, но ссоры их были педологовечны, а потом они изливали друг другу всё, что у них накопилось, и никогда ничего друг от друга не скрывали. В этом была не только откровенность, но и настоящее равенство, ибо один никогда не выключал другого из своей жизни, и друзьям они казались парой влюблённых детей, связанных к тому же товариществом и дружбой.

Их отношения Ванцетти считал самым удивительным из того, что он встречал в жизни, особенно поражали его та серьёзность и чистосердечие, с какими Сакко относился к жене. Однажды Ванцетти пришёл к ним; в доме никого не было — они никогда не запирали двери, считая, что, если кому-нибудь понадобится их пожитки, — милости просим, им не жалко! Ванцетти уселся в тени перед домом, чтобы обождать возвращения хозяев; он сидел в уголке между крыльцом и наружной стеной; был жаркий летний полдень, а ему было прохладно. Сакко и Роза не заметили его, когда возвращались домой.

То было время, когда Роза носила своего первенца, и поэтому они шли очень медленно. Как это часто бывает с женщинами, беременность словно осветила Розу изнутри, залила её красоту мягким светом. Они шли, держась за руки, заглядывая друг другу в лицо, и улыбались. Их порыв был так чист и прекрасен, что совершенно покори́л Ванцетти; он говорил потом, что чуть не заплакал от радости при виде такого настоящего счастья.

Сакко хранил своё собственное воспоминание об этом дне. Гуляя, они подошли с Розой к Стилтонову ручью, разулись и сели на камень, болтая в воде босыми ногами. Они спели вдвоём прелестную итальянскую песенку, сложенную по такому забавному поводу, как открытие подвесной дороги, а потом стали обсуждать, какое имя они дадут своему ребёнку. «Если это будет мальчик, — сказал он, в который раз затевая бесконечный и такой любимый им спор, — мы назовём его Антонио». — «Ни за что». Они уже давно договорились, что назовут мальчика Данте. «Что у тебя за манера каждый раз менять имя?» — «А вдруг это будут близнецы и нам понадобятся два имени?» — «Нет. Не будет никаких близнецов». — «А если это будет девочка?» — «Но ты ведь согласился, что Инес — самое красивое имя на свете?» — «Ничуть. Самое красивое имя — это Роза». — «Ник, — тогда сказала она, — только подумай: а вдруг кто-нибудь подслушивает, какие мы говорим глупости, совсем как маленькие дети, которые только что влюбились друг в друга. Мы слишком счастливы. Сплюнь через левое плечо три раза».

Он сплюнул, а Роза заплакала.

— Что с тобой? О чём ты плачешь?

— Я полна тем, что у меня внутри, — сказала она простодушно.

Он поцеловал её, и она перестала плакать. Они посидели ещё немножко, а потом медленно шли через поле, заросшее цветами, и он, как мальчик, собирал лютики, львиный зев, индейские кисточки, маргаритки и вплетал их ей в волосы. Взявшись за руки, они пошли домой и там, в тени, обнаружили Ванцетти. Вдруг Сакко почувствовал, как он богат и как сдинок Ванцетти, и подумал: «Бедный Барто... Бедный, бедный Барто».

Снова колючая боль разорвала воспоминания. Сакко вцепился зубами в мякоть ладони, он кусал её всё сильнее и сильнее, надеясь, что одна боль вытеснит другую. И сквозь пелену боли до него донёсся голос Ванцетти, спокойный, ровный и уверенный голос, который звал его:

— Николо! Николо! Ты слышишь меня? Николо, где ты? Что ты делаешь? Отзовись, милый друг.

Сакко сел на койке, отгоняя воспоминания, как отгоняют врага; он попытался светить своему другу таким же голосом, каким тот звал его, но не мог расстаться со своим горем. Он лишь произнёс:

— Я здесь, Барто.

И чуть позже он вдруг добавил с внезапным страхом:

— Барто, Барто, который час? Как ты думаешь, который сейчас может быть час? Сколько уже прошло времени?

— Сейчас девятый час, — ответил Ванцетти по-итальянски. — Не слишком рано, чтобы измучить нас ожиданием, но и не слишком поздно, чтобы потерять надежду.

— На что ты надеешься? — спросил Сакко. — У меня нет больше сил надеяться, Барто. На этот раз я знаю, что настал конец, и мне уже всё равно. Я не хочу больше надеяться. Я хочу только, чтобы всё поскорее кончилось.

— Ну, Николо, не ожидал я от тебя таких речей! — почти весело сказал Ванцетти. — Разве наше положение хуже, чем положение тяжелобольного? Сказать тебе правду, мне кажется, что оно куда лучше! Трудно вот только представить себе, что творится там, на воле. Хочешь не хочешь, а начинает казаться, что ты один. Одиночество — вот наш враг. А ты подумай, что теперь делают люди, сколько сотен тысяч рабочих твердят наше имя. Разве они дадут нам умереть? Я вручил им мою жизнь, Николо. Вот почему я так спокоен. Ты ведь слышишь по моему голосу, как я спокоен, правда? Вокруг нас — миллионы, они поддерживают нас.

— Я слышу, что твой голос спокоен, — подтвердил Сакко, — но не понимаю, как ты можешь быть спокоен.

— Очень просто, — донёсся голос Ванцетти. — У меня хорошее зрение, и глаза мои видят сквозь камни, из которых сложена наша тюрьма. Знаешь, Николо, придёт день, и люди, которые будут тогда жить на земле, вспомнят эту отвратительную, грязную тюрьму, как мы с тобой вспоминаем пещеры дикарей. У меня есть глаза, чтобы видеть, и знание, чтобы понимать. Я говорю тебе, Ник, поверь мне, не для того, чтобы поднять в нас обоих дух, — мне сейчас куда лучше, чем тогда, когда я приехал в эту страну. Глаза мои, правда, были моложе, и вокруг меня не было тюремных стен, но я всё равно ничего не видел. Сначала я нанялся мыть посуду в один аристократический клуб в Нью-Йорке, куда богачи приходили, чтобы как-нибудь скоротать время. Шестнадцать часов в день я мыл посуду в жаре и в темени, вдыхая копоть, пар и вонь, но даже тогда, когда я поднимал глаза от работы, я всё равно ничего не видел. Я перешёл с одной работы на другую: был судомойкой, подёшничком, ворочал камни киркой и лопатой — продавал свои руки, свою молодость и силу за два, за три доллара в день, а однажды, поверь мне, и за шестьдесят центов в день с тарелкой поганой похлёбки в придачу. И вокруг себя я не

видел никакого просвета. Одну безнадежность. Повсюду были стены, высокие, непроходимые стены, куда толще, чем вокруг нашей тюрьмы. А теперь глаза мои умеют видеть будущее. Я, Бартоломео Ванцетти, всё равно не мог бы жить вечно. Рано или поздно мне пришлось бы умереть. А вот теперь, Ник, мы с тобой будем жить вечно, наши имена не будут забыты.

К этим словам прислушивался вор, он не всё понимал, но то там, то здесь, пользуясь небогатым запасом португальских слов и кое-каких итальянских, он ухватывал нить разговора. Он закричал, как ребёнок:

— А что будет со мной, Бартоломео? Что будет со мной в этом самом будущем, куда попадёте вы?

— Бедняга, — сказал Ванцетти. — Вот бедняга!

Мадейрос подошёл к дверям камеры и взмолился:

— Что станет со мной, Барто? За всю мою жизнь я не встречал таких людей, как вы. Вы первые заговорили со мной, как люди, приветливо и ласково, как будто и я тоже человеческое существо. Но какой в этом толк теперь, Барто? Ведь с самого детства мне так не повезло!

— Вот это правда. Тебе не повезло с самого начала.

— Я вот люблю слушать, как Сакко рассказывает мне, что у него был сад. Каждое утро он вставал на рассвете, чтобы вскопать свой сад, и каждый вечер, придя с фабрики, он снова работал в саду, пока не заходило солнце. Я слушаю Сакко, и перед моими глазами встаёт картина: стоит человек с руками, полными только что снятых плодов, и раздаёт их тем, кому они нужны, тем, у кого нет своих собственных плодов. Но всё, что мне удалось собрать, Барто, была сухая трава и чертополох.

— Ты же их не сеял, — вмешался в разговор Сакко. — Бедный вор, ты всего этого не сеял.

— Вы оба, вы ведь мои друзья? — спросил Мадейрос.

— Вот так вопрос! — ответил Ванцетти. — Разве ты не видишь, Селестино, как обстоит дело? Мы трое связаны друг с другом неразрывно. Через несколько часов мы уйдём отсюда, и весь мир скажет: Сакко, Ванцетти и вор погибли. Но в разных концах земли люди почувствуют, что три человека были сознательно умерщвлены, и хоть на один шаг приблизятся к пониманию того, что происходит.

— Но ведь я виновен, а вы невинны, — запротестовал Мадейрос. — Если есть во всём мире человек, который знает наверняка, что вы невинны, этот человек — я. Говорю вам, это я!

Его снова охватил порыв ярости, и он стал колотить кулаками в дверь камеры, крича во весь голос:

— Невинны, невинны, вы слышите меня? Невинны! Эти двое совершенно невинны! Я знаю. Я — Мадейрос, вор и убийца! Я сидел в машине, которая приехала в Саут-Брейнтри. Я участвовал в налёте! Я знаю лица и имена тех, кто убивал! Вы губите невинных людей!

— Тише, тише, — сказал Ванцетти, — успокойся, бедняга. К чему эти крики? Говори потише, и весь мир тебя услышит, клянусь тебе.

— Говори ласково, сынок, — добавил Сакко. — Тихонько и ласково, как тебя учит Барто. Ты его слушайся. Он очень умный человек, наш Барто, самый умный из всех, кого я встречал на свете. Он прав: даже если ты будешь говорить тихо, тебя всё равно услышат во всех концах земли.

Мадейрос перестал кричать, но всё ещё стоял, прижавшись к дверям своей камеры. Его скорбь, крушение последних надежд, неизбежность горя глубоко подействовали на Сакко и Ванцетти. Каждый из них чувствовал себя чем-то вроде отца этому бедному, злосчастному вору. Каждый из них думал о нём одно и то же: вот этот парень, он родился слепым и так уж и не станет зрячим. Их собственный путь был сознательным путём, и, когда они оглядывались на свою жизнь, оба они могли разобрат

её шаг за шагом, разделить её на волевые и обдуманые действия. Но они понимали, что Мадейрос не может осознать пройденный им путь, что жизнь его текла своим непреложным ходом, что была она, словно горькое и хилое зерно, выращенное на распаханной чужими руками земле.

На крики Мадейроса к камерам смертников прибежали два надзирателя и тюремный фельдшер, но Ванцетти заверил их, что всё будет в порядке, и попросил, чтобы они ушли.

— Нельзя же так кричать... — начал было один из надзирателей.

— Ты бы стал кричать ещё громче, если бы считал минуты и секунды, оставшиеся тебе до смерти, — резко прервал его Ванцетти. — Уйди и оставь нас одних.

Он и Сакко стали разговаривать с Мадейросом. Они разговаривали с ним с полчаса, спокойно, ласково, с большой сердечностью. В одном отношении присутствие Мадейроса было для них неоценимо: в заботе о нём они на время забывали о своём собственном страхе. Сакко рассказывал Мадейросу о доме, о жене, о детях. Он приводил забавные случаи и пустячные происшествия, рассказал, например, о том, как впервые улыбнулся его сын Данте и каково было вдруг увидеть улыбку на лице младенца, которому едва исполнилось шесть или семь недель.

— Это было похоже на то, словно душа пробивалась наружу, — говорил он Мадейросу. — Она где-то жила всё время, но потом, как цветок, который долго поливают и держат на солнце, она вдруг распустила лепестки...

— Вы верите в то, что у людей есть душа? — прошептал Мадейрос.

Ему ответил Ванцетти. Он всегда был мудр, а за последние несколько дней он понял столько, словно прожил целые столетия. Он рассказал Мадейросу о том, как давно пытаются люди ответить на его вопрос.

— Разве человек — это зверь? — спросил он тихонько. — Имей в виду, сынок, те, кто чаще всего говорит о боге, обращаются с человеком так, словно бога не только нет, но и не могло быть. Они обращаются с человеком так, словно у него и вправду нет души, самое их обращение — лучшее тому доказательство. Но ты подумай о том, как мы трое связаны друг с другом и чем мы связаны. Подумай о нас двоих и о себе, Мадейрос, выросшем в жестокой нужде в грязных закоулках Провиденса. Ты был вором и убивал людей. А с тобой рядом сидит Сакко, честный работник, самый лучший человек из всех, кого я когда-либо знал. И я, Ванцетти, который мечтал повести за собой моих братьев-рабочих. Можно подумать, что мы трое — очень разные люди, но, если посмотреть на нас глубже, поверь, мы похожи друг на друга, как три горошины в одном стручке. У нас теперь одна судьба, которая соединяет нас друг с другом и с миллионами других людей. И, когда мы умрём, боль пронзит сердце всего человечества, такая боль, что я не могу о ней даже подумать. В этом смысле мы никогда не умрём. Ты понял меня, Селестино?

— Ты себе даже не представляешь, как я стараюсь, — ответил вор. — За всю мою жизнь я никогда так не старался понять, как теперь.

Тогда заговорил Сакко:

— Селестино, Селестино, я никогда тебя раньше об этом не спрашивал, скажи мне теперь. Когда ты признался в убийстве в Саут-Брейнтри, почему ты это сделал? Ты считал, что всё равно умрёшь за другие преступления и тебе нечего терять, или ты признался из-за нас с Барто?

— Я скажу тебе чистую правду, — ответил Мадейрос. — Сначала, когда я прочёл о тебе и Ванцетти в газетах, я долго старался понять, почему им так не терпится вас убить. Потом однажды к тебе пришла твоя жена, и я её мельком увидел. Тогда я сказал себе: дай-ка я сделаю так, чтобы Сакко не умер, а что до меня — мне ведь всё равно, что со мной будет! Вот и вся правда. Может быть, на всём свете не найдётся никого,

кто мне поверит, даже моя мать, и та, наверно, не поверила бы, если бы была жива. А я говорю чистую правду. Если человеку надо сказать правду, когда же ему и говорить её, как не в этот час?! Я знал, что, если будет новый суд, меня, может быть, за другие дела и не стану обвинять в убийстве. Но если я признаюсь в том, что было в Саут-Брейнтри, — тогда всё пропало и я непременно должен буду умереть. Я это знал и всё-таки признался, я должен был рассказать, как всё произошло на самом деле.

— Вот! — закричал Ванцетти. — Вот оно, самое главное. Видишь, мой друг Николо, видишь, как обстоит дело? Разве не самое лучшее, что может сделать человек, это отдать свою жизнь за другого? Вот почему мы гибнем. Мы отдаём свою жизнь за счастье рабочего класса. А Мадейрос? При чём тут Мадейрос? Погляди на него и подумай. Он отдал свою жизнь за нас, вот так, совершенно просто, взял да и отдал. Селестино, скажи мне, почему ты это сделал? Можешь ты мне сказать, почему ты это сделал?

— Понимаете, — тихо ответил вор, — я задавал себе этот вопрос сотни раз. Не знаю, как выразить ответ словами, но иногда я ясно чувствую, почему я поступил так, а не иначе.

Глава шестнадцатая

В девять часов вечера пришёл патер. Все трое приговорённых к казни были католиками, но Сакко и Ванцетти давно заявили, что они не нуждаются в духовнике, поэтому патер пришёл только к вору и убийце Селестино Мадейросу, и начальник тюрьмы сам привёл его в одиночную камеру, где царил мёртвая тишина.

Время отстукивало последние минуты и часы 22 августа, и по мере приближения казни люди, имевшие к ней хоть какое-нибудь отношение, острее замечали бег времени, его беспрестанную и невосполнимую убыль. И если приближение казни ещё больше ожесточило упрямство губернатора Массачусетса, оно в то же время смягчило сердце китайки, чей муж подметал улицы Пекина, и в её слезах, как в зеркале, отразилась беда, которую приближало бегущее время. Если президент Соединённых Штатов спокойно отошёл ко сну с ничем не потревоженной совестью, то горнорабочий в Чили через силу жевал свою корку хлеба, не чувствуя её вкуса и думая лишь о том, что на сердце у него становится всё тяжелее и тяжелее. Точно так же и люди в тюрьме штата Массачусетс с каждым часом всё больше никли, а лица их становились землистыми.

— Я зайду вместе с вами, — сказал начальник тюрьмы патеру. — Но я открою вам, святой отец, то, чего не говорил никому другому: прогулка, которую я вынужден с вами совершить, послана мне в наказание, и я клянусь судьбу, сделавшую меня зрителем тюрьмы.

Патер замедлил шаги, чтобы итти в ногу со своим спутником. Он знал повадки смерти, её размеренное шествие, странную, медленную пляску и траурные напевы. Ему приходилось не раз встречаться с нею и по самым разным поводам, но тесное знакомство не принесло близости. Костлявая старуха не стала ему другом; он так и не привык прислушиваться к её шагам без страха. Смерть утратила для него новизну, и тем лучше он знал теперь силу своего тёмного недруга. Шагая по знакомым безрадостным коридорам Чарльстонской тюрьмы, он решал в уме, как лучше ему приступить к своей невесёлой задаче.

За спасение хоть единой заблудшей души его религия сулила ему блаженство на том свете; однако здесь, в каменных подземельях тюрьмы, ему трудно было вообразить себя ликующим в райских чертогах, даже если бы ему и удалось спасти души Сакко и Ванцетти или этого несчастного, всеми проклятого вора. Мысленно он обдумывал различные вари-

анты своего будущего разговора с Сакко и Ванцетти, но всякий раз отвергал даже самую возможность такого разговора: в конце концов он решил не отваживаться входить туда, куда боится ступить даже силы небесные, обойти стороной двух красных и направить весь свой огонь на более слабую душу вора и убийцы Селестино Мадейроса.

Да и совесть его может быть спокойна, ибо кто усомнится, что грех Сакко и Ванцетти — смертный грех, недостойный отпущения? Эти двое людей были жалом красного дракона — самого страшного чудовища наших дней, которое, по мнению патера, смрадной и ядовитой пастью высасывало всю сладость, все соки Европы.

Куда лучше, если бы вор и убийца — а ведь его преступления были совсем не такими страшными, как у тех двоих, — исповедовался и попросил отпущения грехов.

И, обернувшись к начальнику тюрьмы, он сказал:

— Хотите ли вы, чтобы я попытался смирить гордыню Сакко и Ванцетти?

— Вряд ли у вас что-нибудь выйдет, да и какое мы имеем на это право?

— Тогда мой долг призывает меня в камеру вора, — согласился патер и весь остаток пути шёл в молчании.

Они приблизились к камерам смертников, и самый воздух возле них, казалось, был так насыщен горем и неизбежностью смерти, что патер постарался держаться поближе к начальнику тюрьмы. Подойдя к камере Мадейроса, начальник сказал:

— Селестино, я привёл к тебе священника, чтобы ты мог поговорить с ним и приготовиться к смерти, если тебе и в самом деле суждено умереть.

Заглянув через плечо начальника, патер увидел простое убранство камеры Мадейроса: там была койка и несколько книг. Уходя отсюда, человек покидал мир таким же нагим и неимущим, каким он в него пришёл. Скосив глаза, патер мог заглянуть и в камеры Сакко и Ванцетти, но он решительно отвернулся, собирая все свои силы для предстоящего разговора.

Мадейрос сидел на койке. Сидел он довольно спокойно, с поднятой головой, и даже не обернулся к двери, слышав голос начальника тюрьмы. Наблюдая за ним, патер подумал: «Знает ли вор, что уже десятый час и, следовательно, время истекло, а вместе с ним ушла и надежда на жизнь?»

Если Мадейрос это знал, он ничем не выдал своей тревоги и сказал очень спокойно:

— Я хочу поблагодарить вас, а также и священника за то, что вы пришли, но пусть он уходит. Я не хочу никакого священника, я в нём не нуждаюсь.

— Он весь день такой, как сейчас? — шепнул патер начальнику тюрьмы. — Такой тихий и спокойный?

— Отнюдь нет, — прошептал в ответ начальник; он сам не мог понять нынешнего поведения Мадейроса. — Он теперь совсем не такой, как прежде. Весь день, с раннего утра, он был возбуждён, бился в истерику, а то и кричал во весь голос от страха, как животное на бойне, которое чувствует, что смерть у него за плечами.

— Что же случилось? — спросил патер.

— Поговорите с ним, если желаете, — ответил начальник.

«Как надо бороться за душу убийцы? — спрашивал себя священник, ибо такая задача выпала ему впервые. — С чего начать поединок?» И тогда он решил спросить Мадейроса так же просто и откровенно, как тот его встретил:

— Почему вы отказываетесь от помощи духовного отца, сын мой?

Мадейрос поднял голову и посмотрел на патера таким ясным и пристальным взглядом, что тому почудилось, будто его внезапно низвергли с той башни непогрешимости и догматизма, на которую он так давно себя вознёс. Упав на землю, он вдруг увидел перед собой не преступника, а просто мальчика, без всякой боязни ожидавшего смерти. Это было чудо, быть может, самое настоящее из всех земных чудес; оно пронзило панцирь лживого красноречия и ловкого искусительства, в который он облачился смолоду, и на мгновение тронуло его сердце. Поэтому ответ, который он услышал, не был для него неожиданным.

— Я не хочу священника, — медленно заговорил Мадейрос, подбирая слова и распутовая клубок своих мыслей с большим трудом и величайшей серьёзностью, — потому, что он опять вернёт мне страх. Я теперь не боюсь. Весь сегодняшний и вчерашний день, а также и позавчера и третьего дня мне было так страшно! Я умирал множество раз, и каждый раз, когда я умирал, я так мучился. Ведь страх — это самая ужасная вещь на свете. Но теперь у меня есть два товарища, их зовут Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, они поговорили со мной и отогнали мой страх. Поэтому-то мне и не нужен священник. Ведь если я не боюсь смерти, значит я не боюсь того, что будет после смерти.

— Что они могли сказать тебе? — в отчаянии спросил патер. — Разве они могли дать тебе господнее отпущение грехов?

— Они дали мне человеческое отпущение грехов, — ответил Мадейрос просто, как ребёнок.

— Но вы помолитесь со мной? — воскликнул патер.

— Мне не о чем молиться, — сказал Мадейрос. — Я нашёл друзей, и они будут со мной, куда я жив. О чём же мне ещё молиться?

И, сказав это, он растянулся на койке, положил руки под голову и закрыл глаза; у священника нехватило духу заговорить с ним снова. И они с начальником тюрьмы ушли ни с чем, так же как пришли. Но на этот раз, проходя мимо камер Сакко и Ванцетти, священник заглянул туда и увидел людей, ставших легендой Новой Англии. И, когда он посмотрел на них, они в ответ посмотрели на него; их взгляды встретились.

Патер быстро шагал по тёмным переходам Чарльстонской тюрьмы, но, как бы ни был тороплив его шаг, ему всё же удалось скрыть от начальника тюрьмы, что он просто обратился в бегство. Там позади, за его спиной, в камерах смертников, жила тайна, недоступная его пониманию, но грозившая ему гибелью, и он бежал от этой тайны.

Глава семнадцатая

Начальник тюрьмы был рад избавиться от патера, ведь ему ещё так много надо было сделать, а часы показывали почти десять часов вечера. Люди не понимают, сколько хлопот несёт с собой казнь, не говоря уже о том, что она неприятна сама по себе; порой, когда он был склонен пофилософствовать, — а какой начальник тюрьмы лишён этой склонности? — он сравнивал свои обязанности с обязанностями директора крупного и хорошо поставленного бюро похоронных процессий. Ничего не поделаешь, он тут ни при чём, и, если прекращение жизни сопровождается более сложным ритуалом, чем её начало, не его дело вмешиваться в этот распорядок или негодовать на него.

Прежде всего начальник направился в столовую, примыкавшую к камерам смертников, которую он предоставил для нужд прессы. Комната уже была полна репортёров, получивших специальные приглашения присутствовать либо при самой казни, либо поблизости от того места, где она совершалась. Начальник тюрьмы знал, чего стоят хорошие отноше-

ния с прессой, и постарался предупредить все желания репортёров. Аромат свежесваренного кофе наполнял столовую, а на столах возвышались груды аппетитных бутербродов и сдобных булочек. Начальник специально закупил двадцать пять фунтов отличных копчёностей и холодного мяса; он всегда считал, что и постоянных обитателей тюрьмы не следует кормить тухлой пищей, но удовлетворить аппетит представителей прессы было ещё важнее.

Телефонная компания тоже внесла свой вклад; в тюрьму было введено шесть прямых проводов, с тем чтобы малейшие подробности казни могли стать известны всему любопытному человечеству без всякой помехи или промедления. А начальник позаботился ещё и о том, чтобы газетчикам было обеспечено достаточное количество карандашей и бумаги, на которой они смогут запечатлеть все свои прихотливые фантазии и мысли. Не без самодовольной улыбки он думал о том, что сегодня к нему, к его тюрьме и к этому старому городу штата Массачусетс привлечено внимание всего мира, но тут же смущённо оправдывался, что он лично здесь был ни при чём и от него требовалось лишь проследить за тем, чтобы всё прошло гладко, без сучка, без задоринки.

Стоило ему появиться в столовой, как его окружили репортёры и забросали вопросами. Им нужно было знать все подробности: имена надзирателей и часовых, имя тюремного врача, имена всех, кто примет хоть какое-нибудь участие в казни. Они допытывались, будет ли он до последней минуты поддерживать связь с канцелярией губернатора, — ведь надо быть уверенным в том, что, если казнь будет отсрочена, известие об этом не опоздает ни на секунду. Они хотели знать, в каком порядке будут казнены трое осуждённых.

— Джентльмены, джентльмены, побойтесь бога! — взмолился начальник. — Если так пойдёт дело, мне придётся всю ночь напролёт отвечать на ваши вопросы, а у меня ещё немало хлопот. Я выделил вам одного из моих помощников, он сообщит все интересующие вас сведения. Поймите, мы всего-навсего слуги общества, которым выпала на долю крайне неприятная обязанность. Я не судья и не полицейский, я лишь смотритель этой тюрьмы. Конечно, я постараюсь поддерживать самую тесную связь с губернатором. Поверьте, я привык к осуждённым и сделаю для них всё, что могу, — конечно, в пределах закона и моих возможностей. Что касается порядка исполнения приговора, мы приняли следующее решение: первым умрёт Селестино Мадейрос, за ним Николо Сакко и последним Бартоломео Ванцетти. Вот и всё, что я могу вам сообщить, джентльмены. А теперь извините, я вас покину.

Представители прессы выразили ему свою благодарность, и он не без гордости отметил своё умелое и спокойное обращение с ними и то, что он не преувеличил, но и не умалил значения происходящих событий.

Пока начальник беседовал в столовой с представителями печати, тюремный врач, электротехник, парикмахер и двое надзирателей отправились в камеры смертников. Как и начальник тюрьмы, они отлично понимали важность каждого своего сегодняшнего шага, однако им выпало на долю иметь дело не с прессой, а с самими приговорёнными к смерти, — надо ли удивляться, что они с неохотой приступили к тем неприятным обязанностям, которые им были поручены? И, чтобы заглушить в себе стыд, они преувеличивали своё собственное значение в таком необычном событии, как казнь, и размышляли о том, как они станут описывать её на следующий день. Однако каждый из них в отдельности чувствовал себя настолько смущённым, что поневоле извинялся перед приговорёнными к казни: двумя красными и вором. Парикмахер извинялся, брея им головы.

— Знаете, — говорил он Ванцетти, — только несчастный случай вынудил меня взяться за эту работу в тюрьме. Что поделаешь?

— Вы ничего не можете сделать, — заверил его Ванцетти. — У каждого своя работа. Выполняйте своё дело. О чём тут говорить?

— Я хотел бы сказать вам что-нибудь в утешение, — настаивал парикмахер.

А когда он покончил с Ванцетти, то шепнул электротехнику, что всё обошлось не так уж плохо и что этот Ванцетти, без сомнения, необыкновенно чуткий человек.

Но Сакко не произнёс ни единого слова, и, когда парикмахер пытался с ним заговорить, Сакко смотрел на него так странно, что слова замирали у парикмахера на губах.

Брея Мадейроса, парикмахер чувствовал себя совсем иначе. Мадейрос вёл себя, как маленький мальчик, и его безмятежное спокойствие пугало парикмахера не на шутку. Выйдя в коридор, он шепнул надзирателям об этом странном спокойствии, но они пожали плечами и, обозвав Мадейроса «тупой башкой», многозначительно показали на комнату, где стоял электрический стул.

Электротехник смотрел, как надзиратели меняют бельё приговорённым к казни, надевая на них костюм, специально предназначенный для данного случая. Осуждённые натянули на себя чёрные одежды смерти, платье, которое им понадобится ненадолго: только для того, чтобы пройти из своей камеры в помещение для казни. Натягивая его на себя, Ванцетти тихо сказал:

— Вот жених и обряжён к свадьбе! Заботливое государство покрывает мою наготу, а умелые руки парикмахера делают мне причёску. Очень странно, но у меня нет больше страха. Я чувствую теперь только ненависть.

Он говорил по-итальянски, и надзиратели его не понимали, но парикмахер знал язык и шёпотом перевёл его слова тюремному врачу; тот пожал плечами с присущим его профессии цинизмом, которым тюремные врачи обычно прикрывают свою чувствительность.

В обязанности электротехника входило делать надрезы на штанинах и рукавах новых костюмов осуждённых. Проклиная себя и судьбу, которая его сюда привела, он нехотя сделал то, что надлежало. Когда он нечаянно дотронулся до тела Ванцетти, тот отстранился от него с брезгливостью и взглядом, полным отвращения, окинул тюремных надзирателей, наблюдавших за работой электротехника.

— Ну и занятие для человека! — сказал Ванцетти жёстко и глухо. — Вы делаете грязное дело, и каждая эпоха рождает таких, как вы. Если бы был бог, он и то не простил бы приспешникам смерти. Подумать только, что я хотел мира между людьми, когда такие, как вы, ещё живут на земле! Не прикасайтесь ко мне своими подлыми руками! На них грязь, грязь хозяина, которому вы служите!

Парикмахер перевёл и эти слова, на что тюремный врач сказал:

— Чего вы от него хотите? Самое худшее, что вы можете сделать человеку, это убить его. Если ему хочется поговорить при этом, разве вы ему помешаете? Не смейте больше сплетничать насчёт того, что он сказал. Пусть говорит, что хочет.

Надзиратели снова заперли двери камер, и в каждой из них теперь находилось по человеку, одетому в чёрное. Мадейрос нисколько не изменился. В своём чёрном платье он так же спокойно сидел на койке, как и раньше, но Николо Сакко стоял посреди камеры, одёргивая на себе одежду, которая теперь была на нём, и глядел на неё со странным выражением. Ванцетти так и не отошёл от двери; он смотрел в окошко. На лице его был гнев, и кровь ровно и сильно стучала в его венах. Тело его

было полно жизни; она текла у него по жилам, сильная и требовательная; мускулы его рук, сжимавших решётку, напряглись и вздулись. Он думал о прощании с жизнью без сожаления, без печали, но с крепнущим и всё возрастающим гневом. Ванцетти вспоминал себя свободным и счастливым мальчишкой в итальянской деревне, залитой солнцем. Он снова обнимал свою мать и чувствовал теплоту её мягких губ, прижавшихся к его лицу. Он вспоминал, как она чахла и увядала, а он сидел, нагнувшись над её постелью, и старался влить в неё хоть частицу своей жизненной энергии. Ещё тогда, в те далёкие годы, он смутно почувствовал в себе огромную жадность к жизни, к борьбе. Ему казалось, что он — источник и, сколько бы другие из него ни черпали и ни пили, все люди на свете утолят жажду, но его собственная жажда всё равно не будет утолена.

Вместе с матерью умерла для него и родная страна. Он бежал от тёмного деревенского быта, который имел цену, только пока была жива она. Труд и борьба — работа за хлеб насущный и голод, который нельзя было насытить, — вот что стало для Бартоломео Ванцетти его жизнью, его существованием и глубочайшим смыслом этого существования. Он был не таким, как Сакко. Он был человеком, не только рождённым для бурь и треволнений, но и для того, чтобы их пережить. Даже и теперь он не мог сдаться. Всё его тело кричало о том, что он не должен сдаваться, что смерть невозможна и недопустима, что есть же, наверно, какой-нибудь выход, ещё один шаг вперёд, ещё одно сказанное слово, ещё один брошенный вызов! Жизнь требовала жизни, смерть не могла дать ей удовлетворения. Смерть — грязный, мрачный, пугающий идол, которому поклоняются его враги! Он поборет смерть ненавистью, гневом, яростью! Жизнь — его неотъемлемое право; он соединён с ней нерасторжимыми узами навеки, и теперь его мысли были выражены словами: «Я должен жить, понимаете? Я должен жить! Моя работа только начата. Борьба продолжается. Я должен жить, ибо я часть этой жизни. Я не умру! Я не могу умереть...»

Тюремный врач доложил начальнику тюрьмы, находившемуся в комнате для прессы, о том, что приготовления к казни закончены, и начальник тюрьмы, взобравшись на один из обеденных столов, призвал всю многочисленную толпу присутствующих газетчиков, специальных корреспондентов и фельетонистов к молчанию.

— Джентльмены, разрешите сообщить, — провозгласил он, — что мы приготовили осуждённых для казни. Точнее говоря, обычная процедура — переодевания и выбривания тонзур — закончена. Осталось чуть-чуть больше часа до срока, установленного губернатором нашего штата для их казни, каковой наступает ровно в полночь. В оставшееся время мы вынуждены будем испытать, выдержит ли электропроводка нужное нам напряжение. Если вы заметите, что свет в тюрьме внезапно померк, знайте, что идут испытания. Я отправлюсь сейчас к себе, чтобы доложить губернатору о готовности к казни и удостовериться в том, что любое сообщение из его резиденции будет передано мне безотлагательно.

Глава восемнадцатая

Наступил последний, двенадцатый час, час, когда кончался день, а вместе с ним и многое другое: надежды, мечты и вера в то, что люди смогут добиться справедливости и правосудия. В этот последний час миллионы людей поняли, что, как бы человек ни хотел, ни молил, ни стремился и ни верил, всего этого ещё мало, чтобы желаемое осуществилось.

В этот последний час ещё больше стало пикетчиков вокруг резиденции губернатора. Пошли разговоры о том, что надо бы двинуться к тюрьме. Но люди, которые шагали в рядах пикетчиков, уже знали со всей

ясностью, что даже такая попытка не сможет изменить хода событий и отвлечь то, что должно было случиться. Время от времени губернатор отдергивал шторы на окна своего кабинета и глядел вниз; но теперь, в этот поздний час, он уже привык к народу, толпившемуся возле его дома, и это зрелище больше его не смущало.

В Лондоне не было ещё пяти часов утра, а люди всю ночь прошагали по замкнутому кругу в траурном бдении. Лица английских углекопов, текстильщиков и докеров стали серыми и измождёнными после бессонной ночи. От человека к человеку передавалась весть, что наступил последний час перед казнью. Из гуши утомлённой толпы вырвался тяжкий вздох, а согбенные плечи, казалось, пригнулись ещё ниже, когда люди против воли остановились перед преградой, воздвигнутой пространством и временем.

В Рио-де-Жанейро шёл второй час ночи; толпа всё росла, она теснилась перед зданием посольства Соединённых Штатов, а крики вызова и гнева раздавались с такой силой, что, наверно, достигали небес и небеса отражали их эхо в беспредельную даль — вплоть до самого города Бостона в штате Массачусетс.

В Москве рабочие выходили из дому, шли на свои фабрики и заводы. То там, то здесь люди, сгрудившись, стояли у газетных витрин, шёпотом задавая друг другу вопрос:

— Который час теперь в Бостоне?

Многие рабочие украдкой утирали глаза и откашливались, другие же не смущались своих слёз — так же, как не стыдились их и трудящиеся Франции на исходе своей ночной вахты перед американским посольством.

В Варшаве показались первые проблески утренней зари. Демонстрации были там под запретом, и их разгоняла полиция. В ночной тиши безмолвно, как привидения, скользили тени рабочих: заканчивалась расклейка нелегальных листовок, призывавших население Варшавы сделать ещё одно, последнее усилие для спасения жизни Сакко и Ванцетти.

В далёком Сиднее, в Австралии, день был в самом разгаре. Портовые рабочие, бросив крючья и тросы, шагали по восемь человек в ряд, к американскому посольству, скандируя гневное требование: чтобы никто не смел лишать их той частицы жизни, которая заключалась для них в жизнях сапожника и разносчика рыбы.

В Бомбее, на большой бумагопрядильной фабрике, кули сошлись к началу смены; вдруг один из них, лёгкий, как акробат, вскочил на станок.

— Мы бросим работу на этот час, этот последний час, который осталось жить двум нашим товарищам! — крикнул он.

В Токио полицейские, яростно размахивая длинными палками, старались прогнать рабочих, столпившихся перед посольством США. В Токио был полдень, и в бедных рабочих кварталах из уст в уста передавалась всё та же весть, и никто не скрывал своих слёз. Если бы плач можно было уловить и запечатлеть, он опутал бы весь мир лёгким узором звуков. Никогда ещё с тех пор, как на земле появились люди, не было ничего, что объединило бы род человеческий так тесно, так непосредственно и с такой силой.

В Нью-Йорке площадь Юнион-сквер была заполнена безмолвными людьми, чей плач сливался с плачем миллионов. Каждую минуту на площадь приходили всё новые и новые вести, и люди смыкались теснее, чтобы ощутить плечо и локоть соседа, чтобы лучше подготовиться к встрече с костлявой старухой — смертью.

В Денвере, штат Колорадо, часы показывали на два часа раньше, и, быть может, поэтому у людей сохранилась надежда, что всё ещё может измениться; в Денвере ещё собирали подписи под петициями, рассылали

телеграммы и требовали от телефонисток, чтобы они ещё раз связали их с резиденцией губернатора в Бостоне. То же самое происходило и в Сан-Франциско, где ещё не было девяти часов вечера. В Сан-Франциско продолжалось гневное шествие рабочих и работниц, а в местном комитете защиты Сакко и Ванцетти шла такая же напряжённая, лихорадочная деятельность, как и в Денвере. Во всех концах Соединённых Штатов Америки действовали комитеты защиты, борющиеся за жизнь Сакко и Ванцетти; иногда они снимали конторские помещения, в других случаях располагали лишь письменным столом, а подчас просто занимали угол жилой комнаты, предоставленный какой-нибудь семьёй. Но где бы ни помещались комитеты защиты, вокруг них собирались люди; они надеялись, что, сплотившись в небольшой человеческий коллектив, умножат и укрепят свои собственные силы и в то же время принесут хоть какую-нибудь пользу делу тех двух людей, которые стали им братьями.

Город Бостон окутала пелена непроницаемого мрака, там вряд ли можно было найти взрослого или ребёнка, которые не ощущали бы с большой, подчас мучительной остротой то, что должно было произойти в Чарльстонской тюрьме. На маленьком полуострове тюрьма сверкала огнями; полные опасений и тревоги, припали к своим пулемётам стражники. Солдаты и полицейские охраняли каждый вершок тюремной стены; на прилегающих улицах сновали сыщики в штатском. Для тех, чья жизнь и чьё назначение в жизни сводились к тому, чтобы гонять людей, словно скот, то, что происходило в Бостоне, да и во всём мире, оставалось неразрешимой загадкой. Они не могли найти к ней ключа и объяснить себе, почему такая значительная часть человечества разделяет предсмертную муку двух ненавистных им красных. Официальное объяснение гласило, что коммунисты используют судьбу этих двух людей в своих коммунистических целях; но уже сейчас буря охватила мир с такой силой, что официальное объяснение не выдерживало критики; оно рассыпалось, как карточный домик, оставив без ответа вопрос, который задавали себе те, кто по своему положению должен был ненавидеть двух обречённых на смерть итальянцев и рьяно желать их гибели. Но для тех, кто принимал близкое участие в защите Сакко и Ванцетти, этот последний час превратился в пытку. Трудно сказать, сколько людей посвятило себя борьбе за справедливость для Сакко и Ванцетти, но, без сомнения, число их на всех континентах земного шара достигало сотен тысяч, и в этот последний час каждый из них нёс свой крест по-своему.

Одним из них был профессор уголовного права. Потребность в товариществе, в действии, в общении с себе подобными заставила его снова присоединиться к пикетчикам. Теперь он, шагая в их рядах, отсчитывал минуты, которые отделяли его от смерти Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти; по мере того, как текли эти минуты, он пытался понять полную меру той трагедии, к которой оказался причастным. Он не мог, подобно рабочему люду Бостона и всего мира, ответить на все вопросы просто и прямо, как ответили бы на них Сакко и Ванцетти. Естественно, что его мышление и совесть были более сложными и противоречивыми, они труднее находили простые решения. Как и все люди, он не мог предвидеть картины грядущих дней, не знал, как развернутся события и какую он сам сыграет в них роль. Но он уже понял простую истину: великие мира сего, того мира, который он знал, были совсем не похожи на простой народ, на угнетённый народ. Он понял также, что власть нельзя завоевать молитвой, но он отступал перед неизбежными выводами, к которым его вели подобные мысли. Он знал, что если те миллионы — хотя бы только в одних Соединённых Штатах, — которые стоят за свободу для Сакко и Ванцетти, сразу и вместе придут в движение, никакая сила на свете не сможет их остановить. Но он сознавал также и то, что самая мысль о та-

ком движении его тревожит, ему неприятно, смешана в его душе со скрытой тревогой и смутными опасениями.

Не без страха смотрел он и на рабочих, шагавших рядом с ним в пикете. «Что они чувствуют? — спрашивал он себя. — О чём они думают? Какие у них каменные, застывшие лица! Словно ничто их не трогает, а между тем я знаю, что они взволнованы до глубины души, — поглядеть хотя бы на этих женщин с детьми на руках, на этих изнурённых трудом мужчин. Наверно, в их горе есть что-то особенное, что привело их сюда. в это скорбное шествие. Что бы это могло быть? О чём они думают? Странно, — добавил он про себя, — ведь никогда раньше меня не беспокоило, что думают такие люди. Теперь я хочу это знать. Я хочу знать, какие узы связывают их с Сакко и Ванцетти. И я хочу знать, почему я испытываю страх».

Истина заключалась в том, что у его страха был не один источник и не одна причина. Холодный ужас смерти сжимал его сердце, когда он думал о том, что так скоро ожидает Сакко и Ванцетти. Но вместе с тем он холодел от страха и мрачных предчувствий, глядя на угрюмые и гневные лица пикетчиков. «Что, если они поднимутся — вот эти, да и миллионы других? — думалось ему тогда поневоле. — Что, если они поднимутся и скажут, что Сакко и Ванцетти не должны умереть? Что тогда? На чьей стороне буду я тогда?»

Нельзя отрицать — он был глубоко потрясён. Только что в комитете защиты он выразил свои сомнения и тревоги представителю Международной рабочей помощи, который, как он знал, был коммунистом. Этот высокий, угловатый, рыжеволосый человек со скупой речью некогда работал лесорубом на Северо-Западе; его избрали по списку социалистов в законодательное собрание штата, а через несколько лет он стал одним из основателей новой партии — партии коммунистов. Он не скрывал, что он коммунист. Отчаясти поэтому профессор обратился к нему сегодня.

— Теперь они умрут, — сказал он с глубочайшим отчаянием. — Больше нет надежды.

— Пока есть время, есть надежда, — ответил коммунист.

— Пустая отговорка, — сказал профессор с горечью. — Я побывал в тюрьме, я пришёл оттуда. Это конец, и всё так же безнадежно в конце, как было безнадежно вначале. Мне тошно. Я знаю, что эти люди невиновны, а всё же они должны умереть. Вместе с ними умрёт моя вера в человеческую порядочность.

— Легко же умирает ваша вера, — сказал коммунист.

— Вот как? А ваша вера сильнее? Во что же вы верите, сэр?

— В рабочий народ Америки, — ответил коммунист.

— Затверженный урок! Но какое он имеет отношение к делу? Я никогда не спорил с вами. Я знал, что вы, коммунисты, повсюду вокруг дела Сакко и Ванцетти, и подчас восхищался вашей энергией и вашим бескорытием. Я никогда не позволю себе травить красных, как это делают многие, потому что, по-своему, я испытываю величайшую потребность жить в мире, где господствует справедливость. Вот почему я сотрудничал с вами. Но сейчас вы меня выводите из себя. О какой вере в рабочий народ вы толкуете? Где он, этот ваш рабочий народ? Согласен, Сакко и Ванцетти убивают потому, что они — рабочие люди, итальянцы, коммунисты, агитаторы; понадобилось найти козла отпущения, кое-кому дать урок, а кое-кого припугнуть. Но где ваши рабочие? АФТ ничего не предпринимает, а сё самые влиятельные лидеры сидят сложа руки, — их даже не видно среди пикетчиков. Где же он, ваш рабочий народ?

— Повсюду!

— Разве это ответ?

— На сегодняшний день — да. А что вы хотите? Чтобы рабочие штурмовали тюрьму и силой освободили Сакко и Ванцетти? Так просто ничего не делается, разве только в наивных мечтах. Сакко и Ванцетти можно убить, ведь убили же Альберта Парсонса¹, а Том Муни² — в тюрьме. Судьбу их разделят и другие, но так не может продолжаться вечно. Они убивают нас, потому что они нас боятся: они знают, что нашему терпению придёт конец.

— Чьему терпению? Коммунистов?

— Нет, не коммунистов. Рабочих. Те, кто убивает Сакко и Ванцетти, ненавидят коммунистов только за то, что они неотделимы от рабочего класса.

— Странные у вас представления! — сказал профессор. — И вы хотите, чтобы я поверил вам сегодня вечером — именно сегодня вечером?

— Вам трудно мне поверить. Для вас смерть Сакко и Ванцетти — это крушение всех ваших надежд на справедливость и разумное устройство мира.

— Жестокие слова.

— Но согласитесь, что это правда.

— Допустим, я соглашусь. Но не слишком ли легко вы говорите о борьбе с силами, которые правят миром? Всё человечество вопит о том, что эти двое не должны умереть, а всё же они умрут. Сознаюсь, мне страшно. Я было поверил во что-то, и я потерял мою веру. Мне далёк ваш безымянный рабочий народ. Я его не понимаю, как не понимаю и вас.

— Как не понимаете Сакко и Ванцетти?

— Как не понимаю Сакко и Ванцетти, — печально признался профессор уголовного права.

Это была правда. Шагая в рядах пикетчиков, он горевал в значительной мере о своих собственных разбитых надеждах, о своей собственной утраченной вере. Профессор говорил себе: «В самом деле, я оплакиваю себя, а не их. Во мне умирает нечто самое ценное, невозместимое. Поистине, я главный плакальщик на сегодняшних похоронах».

Так каждый оплакивал Сакко и Ванцетти по-своему. Но были и люди с сухими глазами; они не плакали — они клялись запомнить и не простить. Каждый из них сделал зарубку на собственном сердце и подвёл итог длинному счёту, который тянулся настолько далеко назад, насколько хватало памяти у человечества, — вплоть до первого удара бича по первой согбенной спине. Люди с сухими глазами говорили себе: «Слезами горю не поможешь, — мы знаем, что делать».

А в самой тюрьме истёк последний час, и наступило время умереть первому из трёх. То был вор и убийца Селестино Мадейрос. Помощник начальника тюрьмы явился в его камеру с двумя стражниками и сделал ему знак рукой. Мадейрос их ждал и очень спокойно, с удивительным достоинством встал между двумя стражниками и прошёл вместе с ними те тринадцать шагов, которые отделяли его камеру от места казни. Когда он вступил в эту комнату, он остановился на мгновение и окинул взглядом

¹ Парсонс Альберт — печатник, один из руководителей рабочего движения в Чикаго — вместе с тремя другими деятелями рабочего движения был повешен 11 ноября 1887 года. Парсонса и его товарищей облыжно обвинили в том, что они во время демонстрации на площади Хеймаркет-сквер 4 мая 1886 года бросили в полицейских бомбу. В действительности бомба была брошена провокатором. (Примеч. перев.)

² Муни Том (1882—1942) — известный деятель американского рабочего движения. Власти Калифорнии возвели на Муни и его друга Биллингса ложное обвинение, будто бы они бросили бомбу во время военного парада в Сан-Франциско 22 июля 1916 года; Муни был приговорён к смертной казни, заменённой пожизненным тюремным заключением. Он провёл в тюрьме более двадцати лет. (Примеч. перев.)

собравшихся зрителей. Впоследствии некоторые из них говорили, что на лице его мелькнуло выражение гнева, но большинство сходилось на том, что, садясь на электрический стул, он оставался спокойным и невозмутимым. Был подан знак, и две тысячи вольт электрического тока были пропущены через его тело. Свет в тюрьме померк, а потом снова разгорелся, и Селестино Мадейрос был мёртв.

Вторым должен был умереть Николо Сакко. Как и Мадейрос, он шёл со спокойным достоинством. На этот раз зрители почувствовали страх. То, что уже второй человек шёл на смерть с таким спокойствием, казалось им противоестественным и ни с чем не сообразным, но это было так.

Сакко не сказал ни слова. С величайшим покоем и гордостью он пошёл к электрическому стулу и опустил на него. Пока укрепляли электроды, он глядел прямо перед собой. Свет померк. Через мгновение Николо Сакко был мёртв.

Последним из трёх был Бартоломео Ванцетти. Официальные лица и представители прессы, собравшиеся сюда для того, чтобы поглядеть на казнь и описать её, воспринимали теперь поведение осуждённых, как вызов. Тишина, сопровождавшая смерть Сакко, разрядилась явственным вздохом присутствующих, которые стали шептаться о том, как поведёт себя Ванцетти. Они шептались для того, чтобы подготовиться к его приходу в комнату смерти. Но сколько бы они ни шептались, они не смогли подготовиться в достаточной мере. Они не могли предвидеть, что он вступит в помещение для казни с царственной, как у льва, осанкой и встанет перед ними, исполненный спокойствия, самообладания и подлинного величия. Он был хозяином положения. Это было больше, чем они могли вынести, хотя они и вооружились чёрствостью, столь необходимой зрителям трёхкратной казни. Ванцетти сокрушил всё, чем они старались прикрыться. Он взглянул на них, словно вершил над ними суд. Медленно и ясно произнёс он слова, которые решил им сказать.

— Я заявляю вам, — произнёс Ванцетти, — что я не виновен. Я никогда не совершил ни одного преступления. Я не святой, но я никогда не совершал ни одного преступления...

Они были бессердечными людьми, но, как бы они ни были бессердечны, у них сдавило горло, а у многих выступили слёзы. Им не приходило в голову остановить свои слёзы, сказав себе, что двое итальянских красных, — как известно, чуждых всему, что именуется американизмом, — двое итальянских красных не заслуживают их слёз. Это и не пришло им в голову. Некоторые из них закрыли глаза, другие отвернулись...

И снова померк свет. А когда он разгорелся, Бартоломео Ванцетти был мёртв.

Эпилог

В то время в городе Бостоне существовал клуб под названием «Атенеум». Членами клуба состояли люди, чьи имена были связаны с историей города, с давно минувшими днями Эмерсона и Торо. В клубе пользовались влиянием лица вроде ректора университета, вершившего правосудие в конечной инстанции по делу Сакко и Ванцетти. Никогда порог клуба не переступали иностранцы или выскочки, чьи родители были выходцами из чужих стран, негры или евреи.

Наутро после казни, 23 августа 1927 года, в читальне клуба в каждой газете был обнаружен листок бумаги. И на каждом листке было написано:

«В этот день Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, жившие мечтой о братстве людей и надеждой найти его в Америке, были преданы жестокой смерти потомками тех, кто некогда бежал в Америку в поисках надежды и свободы».

*Перевод с английского
Е. Гольшевой и Б. Изакова.*



К 10-летию Корсунь-Шевченковской битвы

С. СМЕРНОВ

★

СТАЛИНГРАД НА ДНЕПРЕ *

17 февраля 1954 года исполняется десять лет со дня завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — Корсунь-Шевченковской битвы, в которой Советская Армия окружила и уничтожила десять дивизий и одну бригаду немецко-фашистских войск. Корсунь-Шевченковская битва, названная И. В. Сталиным новым Сталинградом, сыграла важную роль в истории борьбы за освобождение Украины от гитлеровских захватчиков, в истории братской дружбы русского и украинского народов.

1. БИТВА ЗА ДНЕПР

В двадцатых числах сентября 1943 года, ясным вечером, незадолго до захода солнца, наш мотострелковый батальон вошёл в небольшое село Комаровку, лежащее километрах в двадцати южнее города Переяслава-Хмельницкого на Киевщине. Несколько танков и колонна машин проехали через село и остановились на западной его окраине. Командир батальона выпрыгнул из головной машины и осмотрелся. От села на запад тянулся большой болотистый луг, местами поросший камышом и осокой. За лугом темнела полоса леса, а вдаль, на горизонте, поднимались высокие мохнатые холмы, к вершинам которых медленно склонялось солнце.

Тотчас же к околице села примчалась стайка босоногих мальчишек. Прибежали женщины с корзинами, полными помидоров и яблок, и принялись оделять ими бойцов. Неторопливо подошёл старый, сивый дед и стал поодаль от командиров, опершись на кривую суконную палку.

Молодой автоматчик с густо запылённым лицом перегнулся через борт машины и спросил у деда — близко ли до Днепра. Указывая палкой на дальние холмы, старик начал обстоятельно объяснять, что это уже виден правый гористый берег и что Днепр отсюда всего в шести-семи километрах, за лесом.

— А немцев в том лесу нет? — поинтересовался один из офицеров.

Дед развёл руками и сказал, что ещё вчера вечером немцы тут были, а сегодня с утра, по слухам, ушли за Днепр.

В этот момент командир батальона, смотревший в бинокль в сторону леса за лугом, вдруг резко обернулся.

— Немцы! Машины за дома! К бою! — приказал он.

На дороге, ведущей от леса через луг, показалась повозка и группа людей. Отсюда было видно, что люди одеты в зелёные немецкие мундиры.

Стрелки быстро прыгивали на землю, рассыпаясь в цепь. Заурчали моторы, и машины попятились назад. Пушки танков медленно повернулись, нащупывая цель.

— Их всего человек десять, — в раздумье говорил комбат, не отнимая от глаз бинокля. — И повозка только одна. Идут кучно. А ведь они должны наши танки видеть. Непонятно что-то.

— То, может, партизаны наши, товарищ начальник, — нерешительно сказал дед, который из-под руки вглядывался в приближающихся людей.

Несколько автоматчиков, держа оружие наготове, осторожно пошли навстречу повозке. Видно было, как они, подойдя, смешались с неизвестными людьми.

* Печатается в сокращённом виде.

— Обнимаются! — сказал комбат, опуская бинокль.

Через десять минут невысокий, полный и уже немолодой человек с алой ленточкой на защитной фуражке, отделившись от группы партизан, быстрым шагом направился к командиру батальона и, взяв под козырёк, отрекомендовался:

— Ломако, комиссар партизанского отряда имени Чапаева.

Он и комбат крепко обнялись.

Полчаса спустя батальон выступил в направлении партизанского лагеря отряда имени Чапаева. По дороге комиссар Емельян Ломако, в прошлом заведующий партийным кабинетом в Черкассах, докладывал комбату обстановку. «Чапаевцы» уже давно действуют здесь, в левобережных лесах. За последние месяцы отряд сильно пополнился и насчитывает теперь больше пятисот бойцов. Партизаны контролируют весь этот приднепровский лес. Сейчас противника здесь нет — ушёл на правый берег.

Радостной была эта встреча в ночном партизанском лагере. Пока бойцы и партизаны угощали друг друга куравом и обменивались новостями, офицеры батальона и командиры партизанских подразделений отправились к реке. Тёмный, густой лес вскоре сменился зарослями лозняка. Итти стало труднее — под ногами смутно забелел мелкий речной песок. В лицо пахло сыростью, влажным запахом реки.

Ещё несколько шагов, и кусты лозняка расступились. Впереди светлела широкая полоса песка, ровно срезанная глубокой тёмной пустотой.

Командир партизан осторожно спустился крутой тропкой с незаметного в темноте пригорка.

— Днепр! — шёпотом сказал он, оборачиваясь к своим спутникам.

Там, где глазу представлялась чёрная пустота, — была вода. У ног командиров катил свои воды Днепр.

Взволнованные, молча стояли офицеры на берегу великой реки. Каждый знал, что эта ночная встреча с Днепром останется в памяти на всю жизнь.

На фоне тёмного неба едва заметно различались ещё более тёмные волнистые очертания правобережных холмов. Там лежит над Днепром село Григоровка. По рассказам партизан, в селе стоял пока лишь небольшой немецкий гарнизон с тремя или четырьмя пулемётами на берегу. Противник ещё не успел подбросить сюда подкрепления, но они ожидаются с часу на час.

— Лодки достать можно? — спросил комбат.

Оказалось, что несколько лодок спрятано партизанами в лесу. Есть даже одна большая — бывший паром.

— Что думаете делать? — в свою очередь спросил командир партизан.

— Как что? — удивился комбат. — Форсировать Днепр.

— Когда?

— Сегодня ночью. Сейчас. Готовьте ваши лодки.

И комбат зашагал прочь от реки.

За полночь первая лодка отчалила от левого берега. В лодке сидели гребец-партизан и четверо солдат — лучшие бойцы батальона, комсомольцы Иванов, Петухов, Сысолятин и Семёнов.

С первым же толчком вёсел в непроглядной ночной темени скрылись из глаз и светлеющая полоса прибрежного песка, и высокая фигура комбата, стоящего у самой воды, и силуэты бойцов и партизан, тянувших из кустов лозняка вторую лодку. Партизан грёб осторожно, стграясь не плеснуть вёслом. Солдаты, положив на колени ручной пулемёт и автоматы, насторожённо вглядывались в темноту. За спинами у них были тяжёлые вещевые мешки с запасными дисками, а за поясными ремнями плотно, одна к другой, натканы гранаты.

В темноте казалось, что лодка стоит на месте, и только лёгкое журчанье воды за кормой показывало, что она движется. Но как далеко они отплыли от левого берега и сколько ещё остаётся плыть, — об этом судить было невозможно.

То ли громко плеснуло вёсло, то ли раздался неосторожный стук на берегу, где шла подготовка к переправе, но немцы внезапно встревожились. Где-то в стороне послышался хлопок ракетницы, и в небо понеслась маленькая, синевато-белая звёз-

дочка, разгораясь на лету. И тотчас же в тёмной, густой, как масло, воде Днестра возникла такая же звёздочка — отражение первой — и полетела куда-то вниз, в бездонную глубину чёрной воды. На мгновение оба огонька застыли недвижно и сейчас же стали стремительно сближаться, светя всё ярче. В синеватом дрожащем свете солдаты увидели окаменевшие лица друг друга, чёткие тени своих фигур, мелькнувшие по поверхности воды, и уже близкую тёмную полосу правого берега. Звёздочки слились в одну неподалёку от лодки и с шипением погасли.

И в ту же секунду откуда-то сбоку, из тьмы, окутывающей правый берег, возникла огненная трасса. Огоньки пронеслись над головами солдат, бойцы услышали знакомый посвист пуль, и на берегу резко протрещала пулемётная очередь. И тотчас же лодка ошутимо цапнула килем песчаное дно.

— Прыгай! — командовал партизан. — Тут мелко.

Четверо автоматчиков разом перескочили через борта и побежали, хлюпя сапогами, к берегу. Партизан оттолкнулся веслом и быстро поплыл назад.

Новая ракета повисла над рекой, и трассирующие пули понеслись с нескольких сторон к тому месту, где только что высадились автоматчики. Но бойцы уже были под надёжной защитой обрывистого берега.

Осторожно они вылезли наверх и, падая всякий раз, как взлетала ракета, пошли на звук пулемёта, который посылал очередь за очередью по возвращавшейся на левый берег лодке.

Четверо молодых бойцов были сейчас как бы маленьким авангардом всей могучей армии, надвигавшейся сюда с востока. В эту тёмную сентябрьскую ночь, кроме них, на всём тысячекilометровом протяжении правого берега Днестра, занятого войсками Гитлера, от лесов Белоруссии до Чёрного моря, не было ни одного советского солдата. Они шли вперёд, чтобы напасть на противника, чтобы первыми же своими выстрелами начать сражение за Правобережную Украину.

На окраине села они залегли в придорожную канаву и открыли огонь по немецкому пулемёту. И тотчас же летучие пунктиры трассирующих пуль обратились в ту сторону, где укрылись четверо смельчаков, к пулемётам присоединились автоматы, и сквозь треск разгорающейся перестрелки было слышно, как откуда-то сбоку, наверное из села, крича и топя сапогами, бегут к берегу новые немецкие солдаты, торопясь на помощь к своим.

Но уже вторая лодка подходила к обрыву правого берега, в свете то и дело взрывающихся ракет на середине реки была видна третья, и новые бойцы, пригнувшись, спешили вверх по крутому склону.

Бой и переправа продолжались всю ночь. К рассвету пехотинцы батальона прочно закрепились на правобережных высотах и заняли часть села. А на левом берегу уже готовились к переправе подразделения подошедшей ночью мотострелковой бригады.

Немецкое командование, встревоженное известием о событиях в Григоровке, гнало туда подкрепления. На улицах села, не утихая, шли бои, артиллерия противника засыпала наши позиции снарядами, на окрестных холмах появились танки. Но мотострелки не подавались. Они не только не уступали отвоёванного плацдарма, но и шаг за шагом теснили противника, несмотря на его численное превосходство. Уже летели с левого берега через Днепр наши снаряды, по дну реки тянулся телефонный кабель, и командир батареи со своего наблюдательного пункта на правобережном плацдарме выкрикивал в трубку команды и давал поправки своим орудиям на восточном берегу. Ночами, хотя противник непрерывно обстреливал реку, стаи лодок сновали между берегами, переправляя войска, боеприпасы, продовольствие, и вскоре первый понтонный плот перевёз через Днепр первую пушку.

Так появился прочный заднепровский плацдарм, который в сводках Совинформбюро именовался «южнее Переяслава-Хмельницкого», а в войсках был известен под названием Букринского плацдарма, по имени лежащих близ Григоровки сёл Большого и Малого Букина, занятых вскоре нашими частями.

В эти же дни Советская Армия вышла на Днепр и в районе Киева. Ещё издали, за много километров, солдаты передовых частей увидели на горизонте высокую цер-

ковь на лесистой горе, и сердца киевлян, которых было немало в наших войсках, забились радостно и тревожно. Они узнали древнюю колокольную Киевской лавры.

На следующий день наши разведчики, раздвинув прибрежные кусты, смотрели через Днепр на пустынный, словно обезлюдевший Киев.

Форсировать реку непосредственно у Киева не имело смысла. Здесь противник держал наготове большие силы, и переправиться удалось бы только ценой очень тяжёлых жертв. Да и самый город мог бы сильно пострадать во время уличных боёв. Судьба украинской столицы должна была решиться в другом месте — севернее Киева.

Всего лишь несколько дней назад, когда разбитые, растрёпанные дивизии Гитлера, преследуемые по пятам советскими танками, беспорядочно бежали на запад по дорогам Левобережной Украины, противник все свои надежды возлагал на Днепр. Широкая, многоводная река казалась ему спасительной преградой, перед которой неизбежно должно остановиться стремительное наступление советских армий. По словам Гитлера и его генералов, там, на высоком правом берегу Днепра, откуда, как на ладони, видны равнины Левобережья, приготовлена неприступная линия укреплений — Днепровский вал. Под защитой реки и этого укрепленного вала войска смогут оправиться от непрерывных поражений последних месяцев, привести себя в порядок, принять пополнение. На это рассчитывали генералы в немецких штабах, об этом мечтали солдаты и офицеры отступающих частей.

А в ставке Гитлера с днепровским рубежом связывали ещё более далеко идущие планы. Уверенные в том, что этот рубеж надолго остановит Советскую Армию, главари фашистской Германии надеялись перейти к затяжной позиционной войне на Восточном фронте. И когда, наконец, поредевшие, деморализованные немецкие дивизии были переправлены на западный берег, а рыбаков в приднепровских сёлах Левобережья заставили затопить свои лодки, когда были убраны понтонные переправы, а постоянные мосты взлетели в воздух, Гитлер в Берлине торжественно заявил:

— Отныне Днепр будет рубежом, отделяющим обе армии друг от друга.

Казалось, всё было подсчитано и учтено в немецких штабах. Вот-вот русские танки и мотопехота выйдут к берегу Днепра. Но, чтобы форсировать глубокую, полноводную реку, ширина которой в районе Киева даже в самых узких местах достигает полукилометра, советским войскам понадобятся их переправочные средства. А по донесениям немецкой разведки, понтонные парки находятся ещё далеко в тылу — они отстали от танков и мотопехоты. Следовательно, русским потребуется минимум несколько дней для того, чтобы подвести понтоны и предпринять первые, более или менее серьёзные попытки форсирования. За это время переправившиеся на западный берег немецкие войска успеют занять подготовленные укрепления Днепровского вала, из тыла на помощь к ним подойдут свежие части, и первые же русские понтоны, отчалившие от левого берега, будут встречены таким огнём с правобережных высот, что ни один советский солдат не доберётся даже до середины реки.

Но выход армии к берегам Днепра вызвал необычайный подъём духа в наших войсках. Войска были охвачены стремлением — как можно скорее переправиться через реку, бить врага на правом берегу так же, как его только что били на левом, и гнать его дальше и дальше на запад. Не задерживаясь ни на день, не дожидаясь понтонов, пехота начинала переправу. Если не было лодок, солдаты рубили деревья в приднепровском лесу и вязали их в плоты; в ход шли порожние бочки, собранные в сёлах, двери домов, створки ворот. Пехотинцы переплывали Днепр на доске, на бревне или набивали соломой свои плащ-палатки и с помощью этого немудрёного поплавка пускались вплавь под огнём противника через широкую, по-сентябрьски колдуную реку.

Но как ни трудна оказывалась переправа, ещё труднее было удержаться там, на правом берегу. Маленький клочок земли простреливался вдоль и поперёк, со всех сторон на него лезли танки и поднимались в атаки цепи немецкой пехоты. За спиной бойцов была глубокая река, а над головами, сыпя бомбы, натужно выли «юнкерсы». Напряжение боёв на правобережных плацдармах нарастало день ото дня.

Не все эти плацдармы удержались. Кое-где противнику удалось создать многократный перевес в силах и отбросить наши части назад, на левый берег. Но и эти,

павшие в боях, плацдармы сыграли свою роль в битве за Днепр, отвлекая на себя войска противника и облегчая победу Советской Армии на других участках Правобережья.

В октябре Советская Армия обладала тремя большими, устойчивыми плацдармами за Днепром: севернее Киева, Букринским и юго-восточнее Кременчуга. В этих местах берега Днепра уже были соединены прочными понтонными мостами, по которым, несмотря на частые налёты немецкой авиации, непрерывно шли войска, перебрасывалась боевая техника и боеприпасы. На правом берегу день ото дня наращивались силы, и армия готовилась к новым наступательным операциям.

На Букринском плацдарме наши части медленно, с трудом продвигались вперёд. Обилие холмов, глубокие, крутые овраги с глинистыми склонами, размытыми осенними дождями, многочисленные леса — всё это позволяло противнику организовать очень прочную оборону. Здесь за каждую высоту, за каждый узел сопротивления приходилось драться долго и упорно. Но село за селом оставлял противник под натиском наших войск, отступая всё дальше на запад. Постепенно расширялся и Кременчугский плацдарм. Но главные события в битве за Правобережье в этот период развернулись на плацдарме севернее Киева, где части 1-го Украинского фронта под командованием генерала Ватутина готовили новое большое наступление.

Это наступление началось в первых числах ноября. Почти сразу войска Ватутина прорвали оборону противника севернее Киева. Вслед за тем в прорыв вошли танкисты Кравченко и, описывая широкий полукруг, стали обходить столицу Украины с севера и запада. Почувствовав угрозу окружения, гитлеровское командование отвело из города основную массу своих войск.

На рассвете 6 ноября 1943 года первые советские танки вошли на Подол — северо-восточную часть Киева. Поднимаясь по длинной, широкой улице Кирова и уничтожая по пути опорные пункты немцев, танкисты продвигались к центру города.

Первым на центральную площадь Калинина вошёл танк, которым командовал молодой украинец, старший лейтенант Желуденко. Машина остановилась посреди площади, и радостно взволнованный молодой офицер, открыв люк, выглянул из башни. Перед ним безобразной грудой камней лежал взорванный и сожжённый Крещатик — лучшая улица города, гордость киевлян.

В этот момент раздалась пущенная из-за угла автоматная очередь, и Желуденко мёртвый упал на руки товарищей...

Вечером вся страна узнала о взятии Киева. Это было в самый канун 26-й годовщины Великого Октября, и приказ Верховного Главнокомандующего об освобождении столицы Украины был оглашён одновременно с традиционным октябрьским приказом.

Битва за Днепр вступала в свою последнюю фазу. Фактически она уже была выиграна Советской Армией, но ещё предстояли крупные сражения и нужны были новые удары, чтобы окончательно отбросить противника от берегов древней русской реки.

Истекал 1943 год — год великого перелома в ходе второй мировой войны. Советская Армия начала этот год в самый разгар своего сталинградского наступления, у берегов Волги, и заканчивала его победными боями на Правобережье Днепра, освободив почти две трети оккупированной советской территории.

Сталинградский удар, разгром на Курской дуге, поражения, понесённые в боях на Украине, поставили гитлеровскую Германию перед катастрофой. Её людские резервы, её материальные ресурсы таяли, боевой дух немецких войск резко упал, солдаты и офицеры потеряли прежнюю веру в непобедимость своего оружия, их воля к победе исчезла. Настроение безнадёжности всё шире распространялось в германском народе, как ни старались пропагандисты Геббельса поддержать «дух нации», объясняя непрерывные отступления на фронте то «стратегическими соображениями», то «спрямлением линии фронта», то «сокращением коммуникаций».

Военные неудачи тотчас же отозвались и на международном положении Германии. Устрашённые исходом Сталинградской битвы, Япония и Турция отказались от намерения напасть на Советский Союз. Румыния, Венгрия, Болгария и другие страны — сателлиты Германии подумывали о том, как бы заблаговременно выйти из войны,

навязанной им Гитлером. В Италии, после поражения немцев под Курском, народное восстание свергло власть Муссолини, и Гитлер поспешил оккупировать всю страну, опасаясь её перехода в лагерь союзных держав. В тылу германской армии усиливалась освободительная борьба покорённых народов, черпавших новые силы в победах советского оружия.

Гитлеровское командование попрежнему держало огромное большинство своих войск на советско-германском фронте. Нарастающие удары Советской Армии заставляли немцев оттягивать с западного театра войны всё новые дивизии. Это позволило англо-американским войскам успешно закончить кампанию в Африке и высадиться в Сицилии и на юге Италии. Правящие круги Англии и США с беспокойством наблюдали за быстрым продвижением Советской Армии на запад — они всё больше убеждались, что Вооружённые Силы СССР уже в состоянии одни, без помощи своих медлительных союзников, довершить разгром гитлеровской Германии и освободить от её господства страны Европы. Сознание этого заставляло англичан и американцев поторопиться с высадкой во Франции. На Тегеранской конференции руководителей трёх союзных держав, состоявшейся в ноябре 1943 года, были согласованы новые — на сей раз, как оказалось, окончательные — сроки открытия «второго фронта».

К концу 1943 года советские войска освободили весь Донбасс, взяли штурмом Мелитополь и Запорожье, очистив от противника большую часть Левобережной Украины. На севере немцы были выбиты из Брянска, Чернигова и Смоленска.

1944 год вставал над страной как год нового торжества Советских Вооружённых Сил, как год решающих побед.

Уже в конце 1943 года войска 1-го Украинского фронта превратили свой плацдарм севернее Киева в обширную территорию протяжением 260 километров по фронту и 120 километров в глубину. 24 декабря войска Ватутина снова двинулись вперёд. В канун нового года танки и пехота генералов Гречко, Черняховского и Рыбалко ворвались в Житомир и изгнали отсюда оккупантов. Продолжая наступление на запад, правое крыло фронта форсировало реку Случ. 3 января наши войска освободили город Новоград-Волынский, 6 января — Бердичев, а во второй половине месяца вышли к городу Сарны. Вслед за тем начали наступать и части на левом крыле 1-го Украинского фронта. 4 января они взяли штурмом Белую Церковь, а 8 января соединились с войсками Букринского плацдарма. Теперь армии Ватутина имели непрерывную шестисоткилометровую линию фронта от Сарн до берега Днепра севернее Канева.

Действовавшие на правом берегу Днепра, юго-восточнее Кременчуга, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием генералов армии Конева и Малиновского ещё в конце 1943 года отбросили немцев на запад от реки, освободив Днепропетровск, Днепродзержинск и другие города. Их плацдарм теперь простирался на 28 тысяч квадратных километров. В начале января 2-й Украинский фронт нанёс новый удар. Прорвав сильную оборону противника, войска генерала Конева 8 января овладели Кировоградом. При этом севернее города была окружена группировка гитлеровских войск, полностью разгромленная в течение последующих двух дней.

После этого на обоих Украинских фронтах наступило относительное затишье. Войска отбивали контратаки противника и готовились к новым боям.

Линия фронта в районе Днепра приняла своеобразные очертания. Правое крыло войск Ватутина, глубоко вклинившись в расположение немцев, угрожающе нависало над южными армиями врага. Выдвинулись далеко на запад и войска Конева. Но зато в промежутке между обоими фронтами противник на протяжении нескольких десятков километров продолжал цепко держаться за высоты правого берега Днепра. Между смежными флангами двух Украинских фронтов на правом берегу оказался занятый противником большой и далеко вдающийся в нашу оборону выступ, протянувшийся с севера на юг на 90 и с запада на восток на 125 километров.

Почти в центре этого выступа лежал районный городок Киевской области — Корсунь-Шевченковский, служивший главным опорным пунктом немецких войск на этом участке фронта.

2. КОРСУНСКИЙ МЕШОК

Красивы эти приднепровские земли! От горизонта до горизонта, сколько хватает глаз, — всюду холмы и холмы. Над берегом Днепра это крутые лесистые горы. Дальше — на запад и на юг от Днепра — холмы становятся пологими, массивными. Склоны их или распаханы под поля, или укутаны густыми лесами. Здесь много лесов с тёмными, непролазными зарослями дубняка, граба, береста, с могучими яворами и дубами-великанами на солнечных лесных полянах.

Глубокие, причудливой формы овраги, или яры, как их здесь называют, тянутся между холмами, прорезают поля, раздвигают лесные чащи, желтея отвесными, глинистыми склонами или песчаными осыпями. Дно их порой так густо поросло лесом, что летом солнце, заглядывая в полдень в глубину этих теснин, не в силах пробить лучами плотную листву, и на дне такого яра всегда стоят влажные сумерки.

Неширокие, капризно петляющие среди холмов реки упрямо пробивают себе дорогу к Днепру. Далеко на западе, за Белой Церковью, начинает свой путь быстрая Рось. Отлогие, болотистые в верхнем течении берега её постепенно поднимаются всё круче, и илистое дно сменяется твёрдым каменным ложем. Около Корсуни Рось уже моет подножия высоких гранитных скал, пенится среди хаотического нагромождения огромных камней, шумит водопадами, грозно ревет на порогах, как завзятая горная река. У села Мижиричь, перед последним поворотом к Днепру, Рось принимает в себя воды своего главного притока — Россавы, которая широкой дугой огибает северную часть этих земель. Россава течёт спокойнее, берега её, низкие, болотистые, поросли камышом и осокой, а на севере, за рекой, летом зеленеют сочные заливные луга, где когда-то паслись табуны боевых коней казаков Богдана Хмельницкого.

Узкой лентой вьётся с юга на север Тясмин и у Смелы встречается с маленькой Медянской и с Ирдынью, теряющейся к северу от города в непроходимом болоте. Через земли Ольшанского района пробирается небольшая речка Ольшанка, поля Звенигородщины омывает Гнилой Тикич.

Небольшие городки, сотни сёл и несчётное множество хуторов разбросаны по берегам рек, по склонам холмов. Местами поселения так тесно жмутся друг к другу, что одна сплошная улица тянется на десятки километров, и невозможно определить, где кончается одно село и начинается другое.

Городки тяготеют к железной дороге, как Смела с крупным железнодорожным узлом Бобринская, как Корсунь-Шевченковский, Мироновка, Городище, Шпола, или к рекам, как Канев с пристанью на Днепре, Богуслав на Россе. Дороги густой сетью покрывают местность, но дороги эти по большей части грунтовые, и только между районными центрами проложены мощённые булыжником шоссе.

Славное прошлое у этой земли. Триста лет тому назад этот край был ареной отечественной освободительной войны украинских крестьян против польских панов. Здесь, под Корсунем, 16 мая 1648 года вождь восставших украинцев Богдан Хмельницкий со своим войском наголову разбил двадцатитысячную королевскую армию, захватив в плен гетманов Потоцкого, Калиновского и множество других знатных шляхтичей.

В XVIII веке сорок лет, не утихая, бушевало на правобережных землях гайдамацкое восстание. На сотни вёрст кругом горели имения польской шляхты, и крестьяне, вооружённые ножами, вилами, колющими, чинили расправу над панями и ксендзами. Особенно сильная волна гайдамачины, известная под названием Коливищины, прокатилась по Украине в 1768 году. Смела, Канев, Корсунь, Ольшана, Лисянка и другие окрестные районы стали центрами этого восстания, впоследствии жестоко подавленного. Здесь в памятном 1905 году грозно волновалась крестьянская беднота, самочинно захватывая земли помещиков, сжигая и громя барские усадьбы. Здесь в годы гражданской войны отряды Красной Армии и красных партизан дрались с войсками германского кайзера Вильгельма и белополяками Пилсудского, с денкинцами и бандами Петлюры, с зелёными и с Махно. В 1920 году, преследуя и добывая махновцев, пролетала по этим землям конница Будённого. Много братских могил героев гражданской войны осталось по городам и сёлам как памятники тех незабываемых дней.

Есть и иная слава у здешних мест, слава не менее дорогая сердцу советского народа. Край этот связан с именем Тараса Григорьевича Шевченко — Великого Кобзара, как зовут его на Украине. Здесь, в семье крепостного в селе Моренцы, неподалёку от Ольшаны, родился будущий поэт. В соседнем селе Кирилловке (теперь Шевченково) прошли его детские годы. Здесь же, в Приднепровье, народ и похоронил своего любимого поэта, выполняя его последнюю волю. Близ Канева, на вершине высокой Чернечей горы, над самым Днепром покоится прах поэта, воспевшего героическое прошлое родного края, неустанно звавшего народ к борьбе за свободу и свои права.

Люди, жившие на этой земле перед Великой Отечественной войной, были потомками Богдана Хмельницкого и гайдамаков, внуками и правнуками Тараса Шевченко, полноправными гражданами гордой и сильной Советской страны. Сломить их волю к борьбе, подавить их непокорный дух захватчики не могли.

С первых же дней все действия оккупационных властей наталкивались на глухую враждебность народа. До поры до времени эта враждебность не принимала открытых форм и проявлялась главным образом в массовом саботаже распоряжений оккупантов.

Крестьяне под всеми предлогами уклонялись от налогов и поборов. Они прятали зерно, закапывали в землю своё имущество, угоняли в леса скот, не платили налогов, не пускали детей в немецкие школы. Молодёжь всячески старалась избежать отправки в Германию. Одни прятались, месяцами сидели в погребках или скрывались в лесу. Другие сознательно наносили себе увечья, лишь бы спастись от ненавистной каторги.

Все эти пассивные формы сопротивления бесили оккупантов — здесь они ничего не могли поделать. С теми же, кто открыто выражал своё недовольство, расправлялись просто и беспощадно — недовольный навсегда исчезал за дверьми гестапо.

Страх и ненависть охватывали людей. Те, кто был послабее духом, утраченные и подавленные, старались убедить себя, что сопротивляться этой чудовищной, злой силе невозможно и бессмысленно. Они затаились, ушли в себя, уже не рассчитывая на перемены, не веря ни во что и думая лишь о том, как бы с грехом пополам дожить свой век, без всякой цели, без перспектив. Другие, не помышляя о том, чтобы самим начать борьбу, возлагали все свои надежды на Советскую Армию и всё больше мрачнели по мере того, как фашистские газеты и радио кричали о новых успехах на Востоке.

Но находились иные люди, у которых не появлялось и мысли о покорности, о пассивном ожидании событий, люди, которых Коммунистическая партия и советская власть научили бороться за победу, не отступая перед препятствиями. Они рвались к борьбе и начинали действовать, постепенно применяясь к тяжким условиям оккупации, находя себе помощников, друзей и соратников.

Многие из этих людей были заранее оставлены в тылу немцев партией, чтобы организовать сопротивление народа. Некоторые поднимались на борьбу по собственному почину, готовые предпочесть смерть фашистскому рабству. Зачинателями подпольного движения становились коммунисты, комсомольцы, партийные и советские работники, офицеры и солдаты Советской Армии, попавшие в окружение или бежавшие из плена. Возникали тайные «двойки», «тройки», мало-помалу разраставшиеся в целую сеть подпольных организаций, охватывающих большой район, сеть, которую годами безуспешно пыталось нащупать гестапо.

Так, в конце 1941 года встретились в Корсунском районном отделе просвещения преподаватель русского языка и литературы Пётр Еремеевич Марценюк и никому не известный в этих местах человек, отрекомендовавшийся учителем истории Ульяном Артёмовичем Хоменко и устроившийся на службу в корсунскую школу.

Медленно, осторожно прощупывая друг друга, они сходились всё ближе. И, наконец, когда стало ясно, что таиться им не к чему, прямо был поставлен вопрос о создании подпольной организации.

31 декабря 1941 года, под видом новогодней вечеринки, Марценюк и Хоменко встретились на квартире одного из своих друзей. Здесь и произошло оформление будущего подполья. Когда обо всём договорились, Хоменко, уже уверившийся в товарище, раскрыл ему своё инкогнито. Фамилия его была настоящей, но звали Хоменко не Ульяном Артёмовичем, а Авксентием Ефимовичем, и в проявом он не был учителем, а заведовал одним из отделов Бердичевского горкома ВКП(б). По заданию партии, Хоменко остал-

ся в тылу для организации подпольного сопротивления. В Бердичеве и в окрестных сёлах его хорошо знали, и, чтобы не попасть в гестапо, ему пришлось покинуть родные места и перебраться в Корсунь.

Решили, что Хоменко возглавит будущую организацию, а Марценюк станет его ближайшим помощником. Были чётко определены задачи подпольщиков, обсуждены условия конспирации, намечено, как приступить к делу.

Вскоре к Хоменко и Марценюку присоединился ещё один учитель — Анатолий Прохоров. Его устроили на должность директора школы в селе Бровахи и дали задание подбирать там подходящих людей. Уже вскоре в Бровахах возникла подпольная группа, куда вошли объездчик Таганчанского лесничества Василий Щедров и несколько других жителей села.

Марценюк, работавший в паспортном столе, всё время разъезжал по сёлам. Эти поездки не остались бесплодными. Образовались подпольные группы в самом Корсуне, в Петрушках, в Дереньковце, в Квитках, в Селище. Большая и активная группа подпольщиков начала действовать в селе Сотники. В неё вступили даже сельский староста Гайденко и секретарь управы Деревянку. У сотничьих подпольщиков был радиоприёмник, и они регулярно принимали сводки Совинформбюро. Второй приёмник добыл Прохоров, и его установили на квартире Марценюка в Корсуне. Теперь в штабе подпольщиков всегда знали о положении на фронтах.

С каждым днём подпольная сеть активизировалась. В сёлах распространялись переписанные от руки сводки Советского Информбюро, на стенах хат, сельских управ и комендатур появлялись надписи, призывающие народ к борьбе с оккупантами, к саботажу распоряжений немецких властей. Подпольщики помогали молодёжи скрываться от вербовки в Германию, оказывали материальную поддержку семьям фронтовиков, прятали бежавших из лагерей военнопленных советских солдат и офицеров, добывали оружие и взрывчатку, устраивали диверсии на железной дороге. И вся эта деятельность постоянно направлялась и контролировалась Корсунским штабом подполья во главе с Хоменко и Марценюком.

Осенью 1942 года Марценюк отправился в Киев и на деньги, собранные подпольщиками, купил пишущую машинку и запас бумаги.

Первую листовку подпольщики выпустили в конце 1942 года, когда шли бои на улицах Сталинграда, когда немецкие газеты и радио взахлёб кричали о неминуемой капитуляции Советского Союза.

Содержание листовки заранее подробно обсудили. Она должна была разоблачать фашистскую политику истребления советских народов и доказывать людям необходимость активной борьбы в тылу противника.

Когда листовка была написана, Хоменко поставил внизу подпись: «Комитет-103». К этому времени число подпольщиков в районе достигло такой цифры. В Корсуне принялась за работу машинистка. А потом в одну ночь листовки были расклеены по городу и разбросаны в общественных местах. Часть их послали в сёла.

Первую листовку Марценюк начал подхваченной где-то в селе поговоркой, в которой народ точно и кратко определил суть расистской политики фашистских оккупантов: «Немцам — гут, евреям — капут, русским — тоже, а украинцам — позже».

После выхода листовки эта поговорка получила широкое распространение. Слух о том, что в районе действует подпольная коммунистическая организация «Комитет-103» летел из села в село.

Листовки следовали одна за другой. То они рассказывали населению правду о положении на фронтах, то излагали выступления товарища Сталина, то призывали народ саботировать приказы оккупантов, то убедительно опровергали лживые сообщения фашистских газет и радио. И во всё большем числе по району распространялись отпечатанные сводки Совинформбюро с той же подписью — «Комитет-103».

Марценюк продолжал ездить по сёлам, и сеть подполья постепенно росла и расширялась. А тем временем Хоменко весной и летом 1943 года вместе со Щедровым готовил партизанскую базу в Таганчанском лесу. Там, в глухой чаще, закладывали склады продовольствия, рыли землянки, собирали оружие и боеприпасы, добытые подпольщиками в Корсуне и в сёлах.

Весной 1943 года «Комитету-103» удалось установить связь с большевистской организацией оккупированного Киева. Оттуда приехал в Корсунь представитель Киевского подпольного горкома партии. Марценюк и его друзья помогли ему достать здесь необходимые для киевлян пропуска на выезд из области и передали в фонд областного подполья значительную сумму денег.

И всё же гестапо напало на следы организации. Летом последовал удар — 17 июля 1943 года был арестован Марценюк, а затем несколько других членов корсунской подпольной группы. В эти дни в городе и сёлах прокатилась волна массовых арестов — оккупанты в связи с осложнениями на фронте решили ликвидировать «опасные элементы» в своём тылу. Были схвачены все те, кто случайно уцелел от расстрелов 1941 года, — коммунисты и комсомольцы, советские активисты и общественники, а вместе с ними и те, кто хоть чем-нибудь вызвал подозрения оккупантов. К счастью, подпольщиков взяли немного, и основная сеть «Комитета-103» пока оставалась нераскрытой.

Теперь всё зависело от стойкости арестованных, от того, сумеют ли гестаповцы по нитям, оказавшимся в их руках, вытянуть всю сеть подполья. В Корсуне и в сёлах группы «Комитета-103» напряжённо ждали развития событий.

Восемь дней Марценюка и его друзей пытали в гестапо. Неизвестно, какие пытки вынесли арестованные, но известно, что ни учитель, ни другие подпольщики ни словом не выдали товарищей. 25 июля 1943 года их расстреляли.

После расстрела Марценюка штаб подполья — «Комитет-103» — прекратил свою работу. Но сама сеть, созданная комитетом, продолжала действовать, и подпольные группы попрежнему вели борьбу. Наоборот, наступал период ещё большей активизации их.

С середины лета 1943 года в местную жандармерию и гестапо начали всё чаще поступать донесения о систематических диверсиях и налётах на немецкие гарнизоны в сёлах. Полиция и тайные агенты, пущенные по следам партизан, смогли разузнать очень немного. Стало известно, что в окрестных лесах действуют уже несколько партизанских отрядов. Называли отряд имени Щорса, отряд имени Кутузова, отряд Бати, о командире которого рассказывали, что он носит большую бороду. Что же касается сведений о численности отрядов, об их составе и местонахождении, — донесения были самыми разноречивыми и, судя по всему, основанными только на слухах и досужих домыслах.

К осени действия партизан усилились и приобрели столь угрожающий характер, что не считаться с ними было уже нельзя. В сентябре партизанский отряд Бати перерезал и прочно оседлал дорогу, ведущую из Корсуни в Канев, по которой немцы возили к Днепру боеприпасы. Пришлось отряжать против партизан войска, и дорогу удалось очистить только после упорного боя. Затем партизаны произвели налёт на запасный полк в Буде Воробиевской и уложили в перестрелке несколько десятков немецких запасников. Неделю спустя была обстреляна полевая жандармерия в Лисянке и совершено нападение на отряд полиции в лесу у села Топильно, причём было убито почти двадцать полицейских. В ноябре последовала серия смелых диверсий и налётов. На станции Сотники была сожжена радио-телефонная трансляционная точка проходившей здесь линии связи Берлин—Ростов. В Вотылевке убит сельскохозяйственный комендант. В Дашуковке расстрелян тайный агент гестапо. В те же дни подполно у блокпоста Моренцы были положены мины, и шедший к фронту поезд потерпел крушение. Агентура оккупантов между тем называла всё новые отряды партизан: «Истребитель», «Грозный», имени Шевченко, имени Боженко, имени Чапаева...

Немецкие власти решили принять меры. Сёла, лежащие вокруг Таганчанского леса, были объявлены партизанской зоной. Жителям их пригрозили наказанием, а сельские гарнизоны усилили. В Бровахский лес послали воинские части, но партизаны дали карателям бой, а потом ушли куда-то в лесную глушь. В селе Сотники, близ которого на железнодорожной линии часто происходили аварии и крушения, гестапо арестовало и расстреляло нескольких крестьян, подозреваемых в связи с партизанами. Для этого села был установлен особый режим — жителям запретили

появляться на улицах с девяти часов вечера до семи утра. На сельской сходке в Сотниках крестьян предупредили, что село будет сожжено, если партизаны не прекратят своих действий.

Но ничто не помогало — диверсии и налёты партизан учащались и усиливались по мере того, как всё слышнее гудела канонада со стороны Днепра. Вся сеть бывших подпольных групп перешла к открытым боевым действиям — к партизанской борьбе. И в леса к партизанам валом повалил народ. Возникали всё новые отряды, и операции их становились всё смелее, шире и планомернее.

И тогда появилась мысль — подчинить отряды единому командованию, создать партизанское соединение.

20 декабря 1943 года в Таганчанском лесу собрались партизанские командиры и комиссары. На этом совещании было решено объединить силы трёх отрядов — «Истребителя», имени Боженко и имени Шевченко. Так возникло партизанское соединение «Рыжего».

Немецким властям вскоре стало известно, что в районе Таганчи действует крупное соединение партизан и что командир его носит кличку «Рыжий». Но их агентам никак не удавалось дознаться, кто именно скрывается под этим прозвищем.

А между тем, как смеясь говорили партизаны, в Таганчанском лесу «каждый заяц знал» этого невысокого, крепкого, рыжеволосого человека с рябоватым, веснушчатым лицом, озарённым хитрыми и смелыми глазами. Командиром соединения — «Рыжим» — был не кто иной, как один из первых подпольщиков сети «Комитета-103», объездчик Таганчанского лесничества Василий Кузьмич Шедров. Ему, бывшему партизану гражданской войны, опытному, волевому организатору, человеку, чувствующему себя как дома в густых чащах окрестных лесов, командиры и комиссары отрядов доверили руководство соединением.

Организация единого партизанского командования тотчас же сказала на размахе борьбы. Действия отрядов стали шире по своим масштабам, целеустремлёнными и планомерными. В свою очередь, активность партизан немедленно вызвала новый приток людей из сёл. Несмотря на зимнее время, отряды быстро пополнялись и росли.

В январе 1944 года отряды партизан взяли под свой постоянный контроль важные дороги, нападали на склады и обозы, совершали многочисленные диверсии. В этом месяце ночным налётом бойцы отряда «Истребитель» во главе с командиром роты Ерёмко, выполняя приказ штаба, освободили на станции Корсунь почти пятьсот военнопленных и местных жителей, которых немцы заперли в большом станционном сарае перед отправкой в тыл. Освобождённые тут же присоединились к партизанам. Одновременно отряд имени Шевченко напал на сахарный завод в Набутове. Охранники были сбезоружены, партизаны забрали заводских лошадей и вывезли со склада подготовленный к погрузке сахар. Через несколько дней на станции Корсунь полетел под откос паровоз с тремя гружёными вагонами. Группа партизан разгромила квартиру каневского сельскохозяйственного коменданта. В Сахновском лесу была подорвана и сожжена автоколонна — больше двадцати немецких машин.

В самом конце января партизаны «Рыжего» провели крупную операцию, план которой был детально разработан в штабе соединения. Все три отряда одновременным ударом с разных сторон выбили сильный немецкий гарнизон из большого села Таганчи. Партизаны заняли оборону в селе и несколько дней успешно отбивали атаки карателей. Только когда к селу подошли регулярные воинские части противника, отряды Шедрова с боем отошли в лес.

За два месяца своего существования соединение «Рыжего» выполнило десятки боевых и диверсионных операций. Борьба была нелёгкой. В боях пал комиссар соединения Валентин Федин, погиб бесстрашный партизан, командир роты Ерёмко, были убиты и ранены десятки других. Но противник понёс гораздо больший урон — он потерял почти двести человек убитыми и столько же пленными. Отряды «Рыжего» уничтожили у немцев паровоз, шесть вагонов и цистерн, тринадцать пушек, много автомашин, сожгли лесопильный завод и разрушили два моста.

Размах партизанского движения явно угрожал немецкому тылу в районе Корсуни. Обычные полицейские меры уже не приносили успеха. Надо было стягивать сюда

регулярные воинские части и предпринимать широкое и планомерное наступление против отрядов Щедрова.

Но как ни опасны были действия партизан, главная и самая важная угроза для немецких войск, занимающих Корсунь-Шевченковский выступ фронта, заключалась в другом.

Генерал пехоты Маттенклот, командовавший 42-м армейским корпусом немецкой армии, не мог не быть серьёзно озабоченным положением вверенных ему войск. Его дивизии и дивизии 11-го армейского корпуса, которым командовал генерал артиллерии Еилгельм Штеммерман, находились как бы в мешке — внутри обширного выступа линии фронта, вдающегося глубоким клином в расположение русских армий. Достаточно было взглянуть на очертания этого выступа на карте, чтобы понять, сколь большая опасность таится в нём.

Маттенклот знал, какие важные надежды связывают с Корсунским выступом фронта в Берлине. Опасный мешок имел и свои немалые выгоды. Готовить ударный кулак для нового наступления на Киев было бы лучше всего именно здесь, в районе Корсуни. Этот выступ торчит, словно кинжал, направленный в бок 1-му и 2-му Украинским фронтам русских, он — вечная угроза удара во фланг наступающим армиям Батутина и Конева. Отсюда совсем недалеко до Киева, и как раз здесь немецкие войска ещё прочно удерживают свои позиции на правом берегу Днепра. И какой это берег! Господствующие высоты, открывающие широкий обзор сразу на восток, север и северо-восток.

Но даже при всех этих выгодах Корсунский выступ был чересчур опасным. Стоило русским сильным ударом подрубить его у основания — и войска обоих корпусов очутились бы в кольце советских армий.

Правда, обстановка здесь была иной, чем, скажем, в дни сталинградского окружения. В самой непосредственной близости к Корсунскому выступу, в районах Кировограда и Умани, находилось несколько танковых корпусов, которые в случае опасности сразу же поспешили бы сюда, чтобы ударить русским во фланг. Силы войск Маттенклота и Штеммермана были тоже достаточно велики — они могли долго и успешно сопротивляться любому наступлению.

К тому же на всю свою глубину Корсунский выступ был покрыт сетью довольно прочных укреплений. Немецкие сапёры проложили повсюду солидные линии траншей, построили добротные промежуточные рубежи вдоль рек и оврагов, оборудовали прочные опорные пункты. Это была надёжная и глубокая оборона.

И всё же, при одном взгляде на очертания линии фронта в этом районе, невольно приходила в голову мысль об окружении, всё говорило за то, что русские не упустят возможности завязать мешок. Корсунский выступ таил грозную опасность для войск Маттенклота и Штеммермана.

Маттенклот являлся командующим всей группой войск, занимающей Корсунский выступ. На нём лежала прямая ответственность за судьбу десятков тысяч солдат и офицеров. Обдумав всё и поделившись своими сомнениями со Штеммерманом, который согласился с ним, Маттенклот решил просить об отводе обоих корпусов из опасного мешка.

В начале января он обратился с этой просьбой к своему непосредственному начальнику генералу пехоты Хейнрици, командующему армией, в состав которой входил 42-й армейский корпус. Хейнрици ответил отказом и приказал попрежнему удерживать Корсунский выступ силами обоих корпусов.

Однако факты всё больше говорили о том, что советские войска готовят наступление в этом районе. Наблюдатели и разведка доносили о непрерывных передвижениях русских войск вблизи выступа. И Маттенклот решил повторить свою просьбу, адресуясь на этот раз прямо к самому командующему Южной группой немецких армий генерал-фельдмаршалу фон Манштейну, тому Манштейну, который в 1942 году столь безуспешно пытался пробиться на помощь к окружённой в Сталинграде армии Паулюса.

Ответ Манштейна был точно таким же: Корсунский выступ необходимо удерживать во что бы то ни стало.

Между тем советские войска продолжали продвигаться на юг от Белой Церкви. Мешок, в котором находились оба корпуса, всё больше вытягивался — опасность окружения росла с каждым днём. И, несмотря на категорический отказ Манштейна, Маттенклот вновь попытался добиться своего. Он опять изложил все свои доводы Хейнрици и прямо заявил ему:

— Положение становится безвыходным. Безумно жертвовать столькими жизнями. Если войска не будут оттянуты из мешка, я подаю в отставку.

Но и это не возымело действия. Тогда Маттенклот решился на последний шаг. Десятого января он вылетел в штаб армии, надеясь, что в личном разговоре ему скорее удастся убедить Хейнрици в своей правоте.

Впоследствии пленные штабные офицеры рассказывали, что Маттенклот с тяжёлым чувством покидал свои войска. Когда ему доложили, что самолёт готов, генерал достал из своих дорожных запасов две коробки шоколада и протянул их своему денщику и шофёру.

— Это пригодится вам, если вас окружают,— с угрюмой усмешкой сказал он.— А я, неизвестно, вернусь ли сюда. Возьмите на память.

На первых порах дурные предчувствия генерала не оправдались. Переговоры в штабе армии были успешными, Хейнрици, правда, заставил долго себя уговаривать, но в конце концов признал опасения Маттенклота разумными и согласился отвести войска. Убедить Манштейна оказалось труднее. Но в конце концов дал своё согласие и он. После этого генерал-фельдмаршал улетел в ставку, чтобы получить окончательную санкцию на спрямление линии фронта около Корсуня.

Прошло ещё несколько дней, и из верховной ставки Манштейн сообщил, что его решение не утверждено. Корсунский выступ приказано оборонять до последней возможности. Когда же Маттенклот с прежней настойчивостью повторил свой ультиматум, последовало распоряжение, отзывающее его в ставку. Вышло так, как предчувствовал генерал,— он не возвратился к своим войскам.

Гитлер и генералы из ставки не желали и слышать об оставлении Корсунского выступа. Мысленно они уже видели, как немецкие дивизии вновь двинутся на Киев с этого плацдарма. Оставить Корсунский выступ значило для них окончательно потерять надежду на возвращение украинской столицы, навсегда распрощаться с Днпром в районе Киева. Пока немецкие войска занимали Каневские высоты и правый берег в нижнем течении реки, южнее Запорожья, Геббельс мог ещё бодриться и писать в берлинских газетах:

«Большевикам не удалось отбросить от Днепра немецкую армию... Повара наших войск и поныне черпают воду из Днепра».

Конечно, это было лишь самообольщением. Битву за Днепр германская армия уже проиграла. И всё же гитлеровский генералитет ещё надеялся взять реванш на Правобережье.

Последующие события показали, что Маттенклот был прав в своих опасениях. Советское Верховное Главнокомандование учло все выгоды обстановки в районе Корсуня-Шевченковского и готовилось начать здесь широкие наступательные операции.

Только что стало известно о победе Советской Армии под Ленинградом. 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали оборону немцев и погнали противника от города Ленина. Город — герой и страдалец был освобождён из долгой, тяжёлой осады, и Москва отметила это событие одним из самых торжественных салютов.

А в Москве, в Ставке Верховного Главнокомандования, в это время на стратегическую карту фронта уже были нанесены две новые красные стрелы. Изгибаясь навстречу друг другу, они пролегли на правобережных землях Украины, как раз в том месте, где у ветвистой синей жилки Днепра фронтовая линия образовала глубокую впадину. Этот новый удар Советской Армии был нацелен на Корсунь-Шевченковскую группировку немецких войск.

Успех задуманной операции сулил многое. Ликвидация Корсунь-Шевченковского плацдарма позволила бы устранить угрозу Киеву, обезопасить фланги 1-го и 2-го Украинских фронтов. Завершая Днепровскую битву, этот удар положил бы начало

разгрому южных армий противника и значительно ускорил бы полное освобождение всей Правобережной Украины.

Очертания линии фронта в районе Корсуня-Шевченковского как нельзя лучше благоприятствовали крупной операции на окружение. Немецкое верховное командование не ожидало в ближайшее время нашего наступления в этих местах. В ставке Гитлера предполагали, что советские войска, возможно, в более или менее близком будущем сделают попытку наступать на запад от Кировограда, и там на всякий случай стояли наготове немецкие танковые корпуса.

Но даже и это наступление считалось маловероятным. Погода и состояние дорог, по мнению немцев, исключали сколь-нибудь активные действия войск на Правобережье. Зима стояла гнилая, выпадавший время от времени снег тотчас же таял, поля и холмы раскисли, дороги превратились в вязкое болото. Метеорологические прогнозы не обещали похолодания. Всё убеждало противника в том, что русские не отважатся предпринять в этих условиях крупное наступление.

Да и военная обстановка на 1-м Украинском фронте была тогда довольно сложной. Войска Ватутина ещё вели тяжёлые оборонительные бои к востоку от Житомира. В середине января противник начал контр наступление из района Христиновки и на запад от Лисянки, стараясь срезать выдававшийся на юг Уманский выступ нашего фронта. Вводя в действие крупные танковые соединения, немцы сумели потеснить советские части. Если 13 января линия фронта проходила всего в 25 километрах к западу от Звенигородки, то неделю спустя бои шли уже в 50 километрах от этого города. Несколько наших частей при этом оказались отрезанными от основных сил и, заняв круговую оборону в Лисянском районе, с трудом отбивались от нападающего со всех сторон противника. Казалось, что в этих условиях 1-му Украинскому фронту понадобится продолжительное время, чтобы оправиться и перегруппировать свои силы, прежде чем вновь начать наступательные операции. В ставке Гитлера генералы почти не сомневались, что спокойная зимовка немецких войск на Корсунском выступе обеспечена.

А между тем советские войска, продолжая обороняться и прочно закрепляясь на новых рубежах, уже готовили неожиданный для противника удар.

3. ПРОРЫВ

В середине января в штабах 1-го и 2-го Украинских фронтов был получен из Москвы приказ Верховного Главнокомандования начать в ближайшие дни большое согласованное наступление на правобережном Приднепровье. Приказ коротко и чётко определял роль обоих фронтов в предстоящей операции.

Войскам 1-го Украинского фронта было приказано прорвать оборону противника юго-восточнее Белой Церкви и развивать наступление на восток, в сторону Звенигородки. С противоположной стороны навстречу им, нацеливаясь на ту же Звенигородку, из района севернее Кировограда наносили удар на запад части 2-го Украинского фронта. Подрубить под основание немецкий клин, окружить и затем уничтожить Корсунь-Шевченковскую группировку противника — такова была задача, поставленная Верховным Главнокомандованием перед обоими фронтами.

В будущей операции особая роль отводилась танкистам. В составе 1-го Украинского фронта находились танковые части генерал-лейтенанта Кравченко. Генерал Конев имел в своём распоряжении танковые соединения генерал-полковника Ротмистрова. Эти танковые войска, войдя в брешь, с двух сторон пробитую пехотой в обороне противника, должны были прорваться в немецкие тылы и, встретившись в Звенигородке, отсечь Корсунь-Шевченковскую группировку от основных сил гитлеровской армии.

Войска 1-го Украинского фронта находились от Звенигородки в пятидесяти километрах, а частям Конева предстояло пройти в полтора раза больший путь. Поэтому 2-й Украинский фронт должен был начать своё наступление на день раньше — 25 января, — и лишь сутки спустя, с запада, наносили свой удар войска Ватутина.

До момента наступления оставались считанные дни, времени для подготовки столь сложной и ответственной операции было крайне мало. А между тем надо было в стро-

жайшей тайне передвинуть на десятки километров массы войск, незаметно уплотнить боевые порядки пехоты и артиллерии, вывести на исходные позиции части прорыва, заблаговременно и тщательно разведать оборону противника, в тяжелейших условиях распутицы доставить к фронту тысячи тонн боеприпасов и продовольствия, проделать проходы в минных полях и проволочных заграждениях, выполнить множество других, больших и малых дел, каждое из которых было важным для успеха в будущих боях.

И прежде всего надо было подготовить к сражению сами войска — солдат, офицеров и, особенно, новоприбывшее пополнение.

В части обоих фронтов только что влилось много новобранцев — главным образом жителей областей Украины, освобождённых Советской Армией в летних и осенних боях 1943 года. Это были люди, испытывшие на себе все тяготы фашистской оккупации, люди, полные ненависти к захватчикам, рвавшиеся к оружию, чтобы отплатить за свои несчастья, за унижения и страдания близких. Но в большинстве своём они не имели никакого боевого опыта и никаких военных знаний — из них ещё предстояло сделать настоящих солдат.

Пока в тылу шли занятия с новобранцами и бойцы нового пополнения проходили свою первоначальную школу воинского мастерства, в штабах поспешно разрабатывались подробные планы операций. А тем временем у нашего переднего края быстро накапливались силы для будущего удара, и по дорогам, ведущим вдоль фронта, каждую ночь передвигались массы войск и техники.

Километрах в тридцати к югу от городка Смелы, вдоль берега небольшой речки Сухой Ташлык, вытянулось длинной, непрерывной цепью хаток несколько сёл — Вербовка, Баландино, Красносилка и другие. В этих местах проходила линия переднего края 2-го Украинского фронта, и здесь-то, на участке между сёлами Вербовкой и Василювкой, генерал Конев решил нанести противнику главный удар. Здесь готовились к наступлению пехотинцы и артиллеристы генерал-лейтенантов Смирнова и Манагарова, и сюда из района Кировограда двинулись колонны танков генерал-полковника Ротмистрова.

Танковые войска Ротмистрова были для немецких штабов как бы барометром: по их местонахождению можно было судить о намерениях советского командования. Там, где находились ротмистровцы, противник ожидал нашего наступления. Как только они появились близ Кировограда, Манштейн спешно подтянул сюда свои танковые корпуса, а немецкая разведка получила строгое предписание — взять под самое пристальное наблюдение районы сосредоточения наших танков.

Сейчас предстояло перебросить всю эту массу танков на много десятков километров к северу. Стоило разведчикам противника заметить это передвижение, и замысел будущей операции был бы раскрыт. Надо было увести танковые части и сосредоточить их на новом месте так, чтобы немцы ни о чём не догадывались.

На помощь к танкистам пришли инженерные войска. Меры маскировки, принятые ими, ввели противника в заблуждение. Наземные наблюдатели и разведывательная авиация немцев неизменно доносили своему командованию, что танки попрежнему находятся у Кировограда. Но каждую ночь подразделения танкистов одно за другим снимались с места и уходили дорогами, ведущими на север. Вскоре все танки, артиллерия, штабы и тылы Ротмистрова оказались далеко отсюда, в районе будущего прорыва, и там, скрываясь в лесу, ничем не выдавали своего присутствия.

Чтобы окончательно запутать противника и возможно дольше задержать его танковые корпуса у Кировограда, наши пехотные части, оставшиеся там, 23 января, за два дня до удара на главном направлении, предприняли демонстративные боевые действия. Немецкое командование приняло эту демонстрацию за начало ожидаемого наступления. Хитрость удалась — всё внимание немцев сейчас было приковано к боям, развёртывающимся на Кировоградском направлении. А у Вербовки и Василювки, где назревали главные события, всё уже было готово.

По плану операции удару наших главных сил на участке прорыва предшествовала разведка боем. За сутки до начала наступления несколько пехотных батальонов должны были атаковать передний край немцев. Перед ними ставилась весьма ограниченная

цель — прощупать оборону противника, вскрыть его огневую систему и тем облегчить завтрашнюю задачу частям прорыва.

Утро 24 января выдалось ясное, безоблачное. Накануне подморозило, выпал снег, и пустынные холмистые поля, тянущиеся к западу от Сухого Ташлыка, однообразно белели до самого горизонта.

На рассвете в сонной утренней тишине внезапно загрохотали наши пушки. Пятнадцать минут артиллерия обрабатывала позиции противника на всём протяжении от Вербовки до Василивки. Вслед за тем из траншей поднялась пехота.

На участке против села Баландина, занятого немцами, разведку боем вёл один из батальонов генерал-майора Джахуа. Генерал с группой своих офицеров наблюдал за этой атакой с вершины небольшой высоты недалеко от переднего края. Не отрывая от глаз бинокля, он пристально следил, как цепи стрелков, отчётливо видные на ослепительно белом снегу, перебегая, приближались к тому месту, где в нескольких стах метрах перед селом находились первые немецкие траншеи.

Генерал ясно представлял себе весь ход этого боя. Сейчас противник должен будет мобилизовать все свои огневые средства, чтобы остановить атакующих перед траншеями, и батальон заляжет, ведя перестрелку. В лучшем случае стрелкам удастся захватить какой-нибудь отрезок немецкой траншеи, и тогда последуют контратаки. За это время разведчики, не спускающие глаз с обороны противника, засекут его пулёмётные точки и орудия, нанесут на карты расположение его траншей, и цель атаки окажется достигнутой: можно будет вернуть батальон на исходный рубеж — пусть немцы думают, что задуманная вылазка не удалась, и до завтра считают, что победа осталась за ними.

И вдруг, к удивлению генерала и его штаба, случилось нечто непредвиденное. В тот момент, когда цепи наших пехотинцев подошли к позициям противника на бросок гранаты, немецкие траншеи ожили: на снегу появились зелёные фигуры солдат. Сначала всем, стоящим на холме, показалось, что противник собрался контратаковать, но тут же стало видно, что зелёные фигуры быстро и беспорядочно удаляются в сторону села.

— Товарищ генерал, немцы бегут,— вырвалось у одного из офицеров удивлённое восклицание.

Джахуа медлил с ответом, не веря глазам. Да, сомнений не могло быть,— немцы, бросив траншеи, удирали к селу.

— Здесь что-то не так,— сказал генерал.— Я думаю — это лишь боевое охранение. Основная линия траншей, наверно, позади.

Но немцы откатывались всё дальше, и наши стрелки уже бежали за ними в рост, без перебежек. Вот первые бойцы вслед за немцами достигли окраинных хаток Баландина, и батальон ворвался в село.

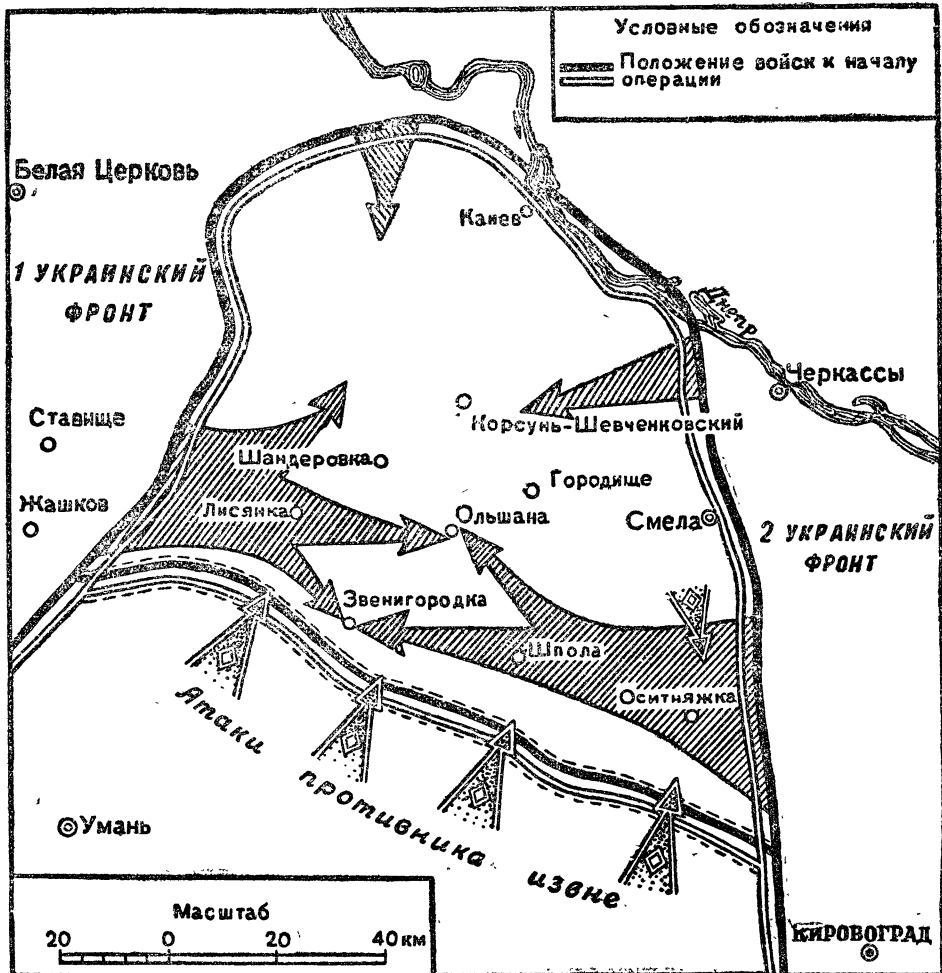
Офицеры вопросительно смотрели на своего командира, ожидая его решения. А генерал и сам не мог понять, чем объяснить это неожиданное бегство противника. Он опасался за судьбу своего батальона, ворвавшегося в село, подозревая, что отступление немцев — только коварный манёвр, за которым следует сильный контрудар.

Генерал приказал второму батальону поддержать атаку.

И тут справа от высоты послышалось далёкое, протяжное «ура». Соседний батальон, видя успех атаки товарищей, сам рванулся вперёд. Тотчас же по всему фронту, сколько видел глаз, пехота вышла из траншей, и цепи стрелков быстро покатались к западу.

Только несколько часов спустя генерал Джахуа понял, что он напрасно опасался подвоха со стороны противника. Причина нежданного бегства немцев была столь обыкновенной, что, как это порой бывает, не сразу могла прийти на ум. Просто-напросто утренний удар нашей артиллерии и атака пехоты оказались для противника совершенно внезапными, передовые немецкие части растерялись и, поддавшись панике, бросились бежать. Они попытались было задержаться на своей второй оборонительной позиции, но вал нашей пехоты, неотступно катившийся по пятам за бегущими, мгновенно захлестнул и эту линию траншей.

Победа нескольких батальонов разрослась в крупный успех, и разведка боем превратилась в начало наступления. По всему участку от Вербовки до Василивки против-



ник дрогнул и стал отходить, пытаясь остановить наступающих на промежуточных рубежах. Но пехота настойчиво продолжала теснить его, и к вечеру передовые батальоны были уже в шести километрах западнее своих исходных рубежей. Главным силам оставалось лишь окончательно сломить упорство противника и развивать успех.

Ещё днём погода переменилась. Южный ветер принёс тепло, снег быстро таял, а к вечеру пошёл дождь, окончательно смывший все следы зимы. В сплывшейся темноте по раскисшим дорогам на запад шли войска, поспешно подтягиваясь к новым рубежам.

С рассветом наступление возобновилось. Снова загрела артиллерия, и в бой двинулись главные силы гвардейцев Смирнова и пехотинцев Мангарова. Уже к полудню новая линия обороны противника была широко прорвана. Пехота достигла села Оситняжки, вытянувшегося по обеим сторонам глубокого оврага, по дну которого текла мелководная болотистая речушка Сырой Ташлык.

В полдень из прифронтового леса восточнее села Буртки вынеслись первые танки. Лес, казавшийся тихим и пустынным, вдруг наполнился рёвом моторов, лязгом и скрежетом стали. Пробудилась вся мощь танковых войск Ротмистрова, тайно для противника укрывшихся в этом лесу. Теперь наступил их час. Танки бесконечным потоком текли из леса.

В тридцать минут пополудни передовые танковые части генералов Кириченко и Лазарева были введены в прорыв и завязали бой за переправы через болотистый овраг

в Оситняжке. Танкисты быстро сломили здесь сопротивление противника и продвинулись ещё на 7 километров к западу, в район сёл Капитановки и Тишковки. А на смену частям Кириченко и Лазарева в Оситняжку к вечеру подоспели пехотинцы и танкисты генерала Полозкова.

Всю ночь на 26 января в Капитановке и Тишковке шёл бой. Противник старался во что бы то ни стало остановить наши войска на этом рубеже. Танковые атаки немцев следовали одна за другой, и на тёмных улицах обоих сёл запылали подождённые машины. Только к утру здесь наступила недолгая передышка.

А за сто с лишком километров отсюда, на востоке, в частях 1-го Украинского фронта в эту ночь заканчивались последние приготовления к встречному удару.

Медленно вставало ненастное, серое утро 26 января. Мутная пелена тумана висела над землёй. Постепенно проступали очертания окрестных холмов, вымокших и чёрных. Заблестели лужи на дорогах. В первых порывах сырого, промозглого утреннего ветра подрагивали голые ветви тополей и верб.

На западе, за холмами, почти одновременно раздалась тяжёлые, шипящие вздохи, в пасмурном небе зашелестело, словно крылья невидимых птиц прошумели над полем, и тотчас же впереди, на востоке, где лежал рубеж противника, наперебой загрохотали взрывы. «Катюша» — запевала каждой артиллерийской подготовки — подала свой сигнал. И тотчас же на холмах, за холмами, из ближних деревень и откуда-то совсем далеко ударили пушки.

Разом ожили пустынные холмы, и протяжное «ура-а!» понеслось к востоку, подгоняемое ветром. На большом пространстве фронта поднялись в атаку плотные цепи пехотинцев генерал-лейтенантов Трофименко и Жмаченко. Северный участок обороны противника был вскоре прорван войсками Трофименко, которые, вливаясь в эту брешь, быстро двинулись на восток. На южном крыле, где наступали войска Жмаченко и где стояли наготове танкисты Кравченко, противник оказывал пехотинцам сильное сопротивление, отвечал на атаки контратаками и задерживал продвижение наших частей. Ни в этот, ни в следующий день танки не смогли войти в прорыв в намеченном месте. Силы немцев на южном участке ещё не были сломлены.

Тяжёлые бои весь день 26 января шли и на 2-м Украинском фронте. С утра немецкие танки с новой силой бросились на Капитановку и Тишковку, и гвардейцы Смирнова вместе с танкистами Лазарева и Кириченко с трудом отбивали непрерывно повторяющиеся контратаки. В узком трёхкилометровом промежутке между Писаревкой и Тишковкой дрались с наседающим противником танкисты Полозкова.

К вечеру силы противника на центральном участке — у Капитановки и Тишковки — явно стали иссякать. Всё меньше немецких машин участвовало в контратаках против танкистов Кириченко и Лазарева, а пехота сделалась вялой и нерешительной. Приближался момент перелома.

Этот перелом наступил на рассвете 27 января. С первыми проблесками дня танки Кириченко и Лазарева опрокинули немецкие заслоны. Измотанный в тяжёлых боях накануне, противник уже был не в силах сдержать этот натиск. Танки пробили широкие ворота в немецкой обороне и вырвались на оперативный простор.

Стремительно и безостановочно двигались они на запад, сметая по пути отдельные отряды противника, мгновенными ударами сокрушая его опорные пункты, отбрасывая немецкие гарнизоны на север, в сторону Корсуня. Они повсюду появлялись неожиданно, как снег на голову, и заставляли противника врасплох.

Когда танкисты Лазарева ворвались в местечко Лебедин, там работала электростанция, действовали телеграф и телефон, на сахарном заводе варилась глюкоза. Немецкий гарнизон едва успел бежать из городка.

Тотчас же последовал новый бросок, и к вечеру танкисты оказались в Шполе — городе с крупной железнодорожной станцией и узлом десяти шоссежных дорог. Они примчались сюда быстрее, чем дошло из Лебедина известие об их появлении. Шпола жила своей обычной вечерней жизнью, когда по улицам пронесли первые советские машины с десантом на броне. В городе работал элеватор, и закрома его были полны пшеницей, кукурузой, подсолнухом. На станции под погрузкой стоял товарный состав и на вагонах белели только что сделанные надписи мелом — названия станций назна-

чения. И отсюда, как из Лебедина, немцы опрометью бежали, не успев ничего взорвать или сжечь. Город, целый и невредимый, остался в руках наших войск.

В нескольких километрах за Шполой танки Лазарева нагнали четыре огромных пеших транспорта. Под конвоем автоматчиков по дороге, ведущей на Умань, длинной чередой тянулись тысячные колонны людей. Тут были мужчины и женщины, дети и старики — мирные жители Кировограда и Мироновки, Канева и Смелы, насильно угнанные из родных мест. При виде танков, автоматчики бросились бежать или покорно подняли руки, недоумевая, откуда здесь, далеко от фронта, могли взяться эти машины с красными звёздами на башнях. Толпы освобождённых с криками радости кинулись к танкам, тоже не веря своим глазам.

К исходу 27 января танкисты Лазарева и Кириченко были уже в 25—30 километрах от Капитановки и Тишковки. Колонны Лазарева на ночь расположились в районе Шполы и Лебедина, а части Кириченко, продвигавшиеся на Звенигородку южнее, по параллельным дорогам, к вечеру вошли в большие сёла Водяное и Липянку и заняли там оборону фронтом на юг, откуда скорее всего можно было ожидать контратак противника.

Только теперь, на третий день нашего наступления, немецкое командование поняло, что его искусно обманули и что атаки советских войск у Кировограда лишь отвлекают внимание от главного удара. Танковые корпуса противника один за другим стали покидать этот участок фронта, ускоренным маршем двигаясь к месту прорыва, где наши танкисты и пехота упорно защищали и расширяли узкий коридор, пробитый в обороне немецких войск у Капитановки и Тишковки.

С утра 28 января танки Лазарева возобновили своё движение на Звенигородку. В этот же день на 1-м Украинском фронте, там, где пехота Трофименко глубоко вклинилась в расположение немцев, одна из танковых частей генерала Кравченко, рванувшись вперёд, пробилась сквозь фронт противника и уже через несколько часов была в Лисянке. По пути танкисты освободили из окружения наши части, которые две недели тому назад, во время немецкого наступления, оказались отрезанными в Лисянском районе и все эти дни дрались из последних сил, отвечая огнём на ежедневные предложения противника сдаться. Пехотинцы тотчас же присоединились к наступающим танкистам и вместе с ними продолжали марш на Звенигородку.

Вечером почти в самом центре Звенигородки, на скрещении двух тихих улиц, оставался только что вошедший в город с востока танк под командованием лейтенанта Евгения Хохлова.

— Стоп! — скомандовал молодой лейтенант, спрыгивая на землю. — Это и есть Звенигородка. — И приказал заглушить мотор.

В наступившей тишине издали доносился шум подходивших танков. Командир башни Яков Зайцев, высунувшись из люка и подняв наушники шлема, напряжённо прислушивался.

— Едут, товарищ лейтенант. Гудят! — вдруг воскликнул он.

— Это наши подходят, — возразил Хохлов.

— Да нет же, вы послушайте — с запада гудят.

Лейтенант насторожился.

— В самом деле что-то шумит, — сказал он. — Может, это наши, а может, и немцы. На всякий случай заведи-ка!

Заревел мотор, и танк, тяжело скрежетнув гусеницами, развернулся пушкой на запад. Прошло ещё несколько минут ожидания, и в сумерках на противоположном конце улицы сразу показалась большая группа машин.

— Наши! Тридцатчетвёрки! Ура-а! — закричал Зайцев, и молодой лейтенант, вторя ему, сорвал с головы шлем и замахал им навстречу приближающимся танкам.

И там уже узнали своих, и какой-то танкист, неразличимый в спускающейся темноте, махал из башни флажком.

Хохлов стремглав бросился вперёд.

— Первый Украинский? — крикнул он, подбегая к передней машине.

— Первый! — ответили из башни. — А ты какой?

— Второй! — заорал изо всей мочи лейтенант. — Братцы! Ура-а!

С башни тяжело свалился офицер в овчинном полушубке и принялся тискать лейтенанта в своих объятиях. За первым танком подходили остальные, и сразу же на другом, восточном конце улицы тоже заревели машины — товарищи догнали вырвавшегося вперёд Хохлова. Над сонной Звенигородкой, ещё ничего не знавшей о происшедшем событии, заглушая шум моторов, гремело «ура».

Так, на исходе 28 января 1944 года, точно в срок и точно в назначенном месте встретились танкисты двух фронтов. Первая часть операции была выполнена — кольцо окружения замкнулось. Большая и сильная Корсунь-Шевченковская группировка немецких войск оказалась в западне.

4. В ЗАПАДНЕ

Два корпуса немецкой армии, окружённые в районе Корсуня-Шевченковского, состояли из девяти полнокровных пехотных дивизий, одной танковой дивизии, одной моторизованной бригады и нескольких отдельных полков и батальонов, принадлежавших другим соединениям. Большая часть этих войск входила в состав 42-го армейского корпуса, которым ещё недавно командовал генерал Маттенклот. После отставки Маттенклота, на его место был назначен генерал Нернич, но он уже не смог прибыть в корпус — к этому времени окружение стало свершившимся фактом. Вместо него корпус возглавил командир 112-й пехотной дивизии генерал-майор Либ. Всей же окружённой группировкой, как старший по званию и по должности, стал командовать генерал артиллерии Вильгельм Штеммерман — командующий 11-м армейским корпусом.

Силы окружённых были очень значительными. Войска обоих корпусов насчитывали восемьдесят тысяч солдат и офицеров, имеющих в своём распоряжении многочисленную боевую технику — около четырёхсот танков и самоходных орудий, около тысячи пушек различного калибра, больше пятисот миномётов и свыше полутора тысяч пулемётов. На территории, занятой ими, находились богатые склады боеприпасов, снаряжения, продовольствия, горючего, и войска были обеспечены всем необходимым. К тому же уже стало известно, что к ним на выручку от Кировограда и Умани спешат танковые корпуса, которые должны прорвать кольцо окружения извне. Эта помощь была обещана Штеммерману Гитлером.

28 января, как только танки Ротмистрова и Кравченко замкнули кольцо окружения, Штеммерман решил собрать в кулак все силы обоих корпусов и сосредоточенным ударом на юг прорваться в район Капитановки. С его решением согласился и Манштейн, но как только дело дошло до Берлина, там категорически отменили этот план. Окружённым было приказано отбивать атаки советских войск и ждать, пока на помощь к ним придут танковые корпуса, двигавшиеся ускоренным маршем с юга. По замыслу гитлеровской ставки, танки должны были не только прорвать кольцо окружения, но и полностью разгромить прорвавшиеся части русских в районе Звенигородки и Шполы.

Штеммерману оставалось только подчиниться приказу, и войска его, отчаянно сопротивляясь натиску советских танкистов и пехоты, медленно отходили по всей окружности кольца, постепенно уплотняя свой фронт.

Впрочем, силы войск Штеммермана были вполне достаточны, чтобы оказать русским долгое и успешное сопротивление. Под его командованием находились кадровые, уже не раз бывавшие в боях дивизии, лишь недавно пополненные обученными резервистами. Каждая из этих дивизий имела свои особенности и свою характерную историю.

Наиболее надёжной и боеспособной из них считалась танковая дивизия СС «Викинг». Даже среди таких известных в гитлеровской армии эсэсовских соединений, как «Мёртвая голова», «Адольф Гитлер» или «Великая Германия», эта черномундирная дивизия заслужила славу самой отчаянной и свирепой. Три её полка — «Нордланд», «Вестланд» и «Германия» — имели весьма пёстрый и своеобразный состав.

Полк «Нордланд» по первоначальному замыслу должен был состоять из добровольцев, принадлежащих к северным народам, — главным образом из норвежцев и

финнов. Но с норвежцами сразу же вышла неудача — добровольцев среди них почти не оказалось. Вербовщикам удалось заманить в полк лишь горсточку молодых уголовников и искателей приключений. Несколько сот финских фашистов прислал Маннергейм, а остальных «нордистов» пришлось добавлять из числа гитлеровской молодёжи в самой Германии.

В полку «Вестланд» служили в основном эльзасцы и лотарингцы. А полк «Германия» формировался в собственно немецких провинциях и являлся как бы ядром всей дивизии.

Солдаты «Викинга» были не старше 25—27 лет и в большинстве своём принадлежали к ярым нацистам или являлись членами гитлеровского союза молодёжи. Воспитанные в правилах так называемой «эсэсовской чести», они отличались беспредельной жестокостью и наводили ужас всюду, где появлялись. Массовые убийства, пытки пленных, грабежи и насилия считались в этой дивизии законом поведения солдат, и путь «Викинга» по советской земле был отмечен сожжёнными сёлами, виселицами, могилами безвинно замученных людей.

Командовал ими генерал, вполне достойный своих подчинённых. Это был Герберт Отто Гилле, носивший звание бригадефюрера, что в эсэсовских войсках соответствовало чину генерал-майора.

Нам известны фотографии генерала Гилле. На них изображён уже немолодой человек с лысым яйцевидным черепом и с гладким, холёным лицом. За стёклами роговых очков недобро поблёскивают полуприкрытые веками маленькие, колючие глазки. Пленные рассказывали, что все, кто знал этого человека, — от самых отпетых солдат его дивизии до таких же, как он, генералов, командовавших другими немецкими частями, — испытывали перед ним невольный и гнетущий страх — о жестокости его ходили легенды.

Гилле принадлежал к числу так называемых «пивных генералов», выдвинутых на высшие командные должности в армии только потому, что они были фанатическими приверженцами Гитлера и его ближайших друзей. К этим выскочкам старые германские офицеры относились свысока, что, впрочем, тщательно скрывали из страха перед влиянием таких любимцев «фюрера». А Гилле боялись ещё и потому, что ходили слухи о его связях с шефом гестапо Генрихом Гиммлером, перед именем которого одинаково дрожали и последний немецкий обыватель и высокопоставленный генерал.

Даже в своей собственной дивизии Гилле заслужил прозвище «кровавой собаки», хотя в устах его подчинённых это звучало скорее как похвала, а не как осуждение. Так, любимым его занятием было присутствовать при массовых расстрелах, которые постоянно устраивали солдаты его дивизии.

Дивизия, которой он командовал, получила первые удары от Советской Армии ещё на Черноморском побережье. Осенью 1942 года дивизия «Викинг» вместе с другими немецкими частями приняла участие в неудачной попытке Манштейна прорваться на выручку к окружённой в Сталинграде армии Паулюса. Там, под Котельниковским, дивизия понесла тяжёлый урон и, отступая, пятимась до самого Донбасса, оставив на волжских и донских полях множество своих танков и трупов в чёрных мундирах.

В оперативном подчинении командира «Викинга» находилась и моторизованная бригада СС «Валлония». Командовал этой бригадой некий майор Липперт, а «политическим руководителем» её был не кто иной, как глава бельгийской фашистской партии «Рекс» — Леон Дегрелль, произведённый в эсэсовские обер-лейтенанты.

Ещё в самом начале советско-германской войны лидер бельгийских фашистов Леон Дегрелль объявил в Брюсселе о формировании легиона «Валлония», который должен был принять участие в походе на восток. По всей Бельгии началась вербовка «добровольцев» валлонской, фламандской и французской национальности. В легион записывались главным образом бельгийские «рексисты» — приверженцы Дегрелля, а также всевозможные авантюристы и лица с уголовной биографией, предпочитавшие мундир эсэсовца тюремному халату. Удалось завербовать сюда и несколько десятков доведённых до отчаяния безработных, которые видели в этом единственное спасение для себя и своих близких, — солдаты легиона получали увеличенное содержание, и материальные условия их семей были улучшены.

После обучения легион в количестве восьмисот человек был в 1942 году отправлен на Северный Кавказ. Там легионерам на первых порах была поручена малочётная роль — они сидели в тылу и вели карательные экспедиции против партизан.

Осенью 1942 года «валлонцев» перебросили на поддержку румынских фашистских частей Антонеску, основательно потрёпанных в боях на Северном Кавказе и в Приазовье. Тут легионеры встретились с советской пехотой и танками. После первых же встреч в легионе Дегрелля осталось всего двести солдат и несколько танков. Стремясь сохранить эти остатки, гитлеровское командование поспешно возвратило легион в Бельгию на пополнение. На фронт «Валлония» вернулась только 15 ноября 1943 года уже в виде мотобригады численностью в две тысячи человек и попала в район Смелы, оказавшись два месяца спустя почти в центре корсунской западни.

«Валлонцы» усердно подражали во всём «викингам», всячески стараясь оправдать свои эсэсовские мундиры, и в тех местах, где стояли части этой мотобригады, не прекращались открытый разбой и зверские расправы с военнопленными и мирным населением.

В числе окружённых войск находилась также 57-я пехотная дивизия генерал-майора Дарлиц. Сама по себе она была обычной дивизией, крепко битой Советской Армией осенью 1942 года под Воронежем и зимой 1943 года под Курском, так что в полках её в то время оставалось по одному батальону, а роты насчитывали десять — пятнадцать человек. Но в составе 57-й дивизии действовал 199-й пехотный полк, считавшийся знаменитым в армии фашистской Германии. Это был так называемый «полк Листа». Известный немецкий фельдмаршал Лист командовал им в годы первой империалистической войны.

Впрочем, нынешнюю «славу» полка Листа составил отнюдь не фельдмаршал, а один из его бывших подчинённых. В те же годы первой мировой войны в этом полку служил в чине ефрейтора Адольф Шикльгрубер, ставший впоследствии диктатором фашистской Германии Адольфом Гитлером.

Тут, в корсунской ловушке, оказалось несколько дивизий-призраков — таких, что уже были в прошлом полностью истреблены Советской Армией. Одна из них — 389-я пехотная дивизия, отдельные части и подразделения которой были в числе войск, окружённых под Корсунем, — год тому назад разделила участь армии Паулюса в Сталинграде. Она была наголову разгромлена в уличных боях, и жалкие её остатки взяты в плен. Но после сталинградской катастрофы Гитлер торжественно заявил, что создаст «новую шестую армию, взамен потерянной под Сталинградом». Так воскресла 389-я дивизия. По всей Германии разыскивали солдат и офицеров, которые служили в прежней 389-й дивизии и во время Сталинградской битвы, к своему счастью, оказались в тыловых госпиталях или в отпуску. Эту горсточку «ветеранов» дополнили молодыми призывниками, и воскресённая после Сталинградского котла дивизия поздней осенью 1943 года прибыла снова на фронт для того, чтобы частью своих сил прямоком угодить в столь же кипящий котёл нового Сталинграда, устроенного фашистским войскам под Корсунем-Шевченковским.

Примерно такая же судьба была и у 167-й дивизии. В 1941 году она вместе с остальными войсками Гудериана пережила страшный разгром на подступах к советской столице и потеряла в снегах Подмосковья две трети своего состава. Недобитую, но пополненную 167-ю дивизию окончательно добила армия Воронежского фронта под Белгородом в августе 1943 года. На этот раз остатки её полков так стремительно разбежались, что обнаружить их удалось только через несколько дней в районе Полтавы и даже около Киева. Эта призрачная дивизия тоже получила пополнение осенью 1943 года и со свежими силами целиком попала в ту же корсунскую ловушку.

Да и все остальные дивизии Корсунь-Шевченковской группировки немцев в большей или меньшей степени уже испытали на себе силу советского оружия. 168-я была разбита дважды — под Воронежем в 1942 году и под Обоянью зимой 1943 года; 88-ю, однажды почти уничтоженную в районе той же Обояни, после её пополнения вторично разгромили под Киевом пехотинцы 1-го Украинского фронта; 72-я вместе с другими частями участвовала в боях под Севастополем, и солдаты её с дрожью вспоминали черноморских матросов; 112-ю заставили без оглядки бежать от Ахтырки до Днепра

пехотинцы генерал-лейтенанта Трофименко летом 1943 года; 82-я была вдребезги разбита на Шигровском направлении ещё в зиму 1943 года.

Но сейчас все эти, в прошлом много раз битые и уничтожавшиеся дивизии были переформированы и пополнены и со свежими силами упорно сопротивлялись наступающим советским войскам. Они ещё чувствовали себя хозяевами на большой территории внутри кольца, они твёрдо верили, что к ним вот-вот подойдёт подмога и тогда русские сами могут очутиться в окружении. Сломить силу этих войск было очень нелегко. Западня захлопнулась, но в ней сидел сильный и хищный зверь.

5. ОКРУЖЕНИЕ

В 216 году до нашей эры армия карфагенского полководца Ганнибала около города Канны, в Италии, окружила и полностью уничтожила 63-тысячное войско римлян. 48 тысяч римских солдат пали в этой битве и больше 15 тысяч сдалось в плен. С тех пор сражение при Каннах вошло в мировую военную историю как классический образец окружения и полного разгрома крупных армий противника.

На протяжении многих сотен лет величайшие полководцы всех эпох и всех народов пытались в своей военной практике повторить «Канны». Однако задача эта оказалась необычайно трудной. Если даже удавалось окружить армию противника, она, действуя изнутри кольца, — как принято говорить, по внутренним операционным линиям, — сосредоточенным ударом прорывала это кольцо в одном из его слабых мест и уходила от разгрома. Бывало и так, что окружённая армия без сопротивления складывала оружие, и торжествующий победитель диктовал ей свои условия мира. Но ни один из прославленных полководцев — ни Юлий Цезарь, ни Пётр I, ни Суворов, ни Наполеон — не осуществил «Канны» в полном смысле этого слова.

В современной войне, когда в боях с обеих сторон участвуют огромные массы войск численностью в сотни тысяч и миллионы человек, когда войска оснащены многочисленной и мощной военной техникой, осуществить «Канны» стало неизмеримо сложнее, чем прежде. Окружённая армия теперь может рассчитывать не только на свои собственные силы. На помощь к ней тотчас же могут прийти другие войска, оставшиеся вне окружения, и кольцо будет разорвано совместными ударами изнутри и снаружи.

И всё же именно в современной войне было достигнуто то, что не удавалось в течение двух с лишком тысяч лет. Возникла такая армия и появились такие полководцы, которые превратили «Канны» из неповторимого случая мировой военной истории в один из основных принципов своего военного искусства. Это сумели сделать Советская Армия и советские полководцы.

Летом 1939 года войска империалистической Японии вторглись на территорию дружественной нам Монголии. Выполняя договор о взаимопомощи с Монгольской Народной Республикой, СССР направил на защиту её границ свои войска. Советские части под командованием комкора Г. К. Жукова в сражении у реки Халхин-гол окружили японские дивизии, прорвавшиеся в пределы Монголии.

В этом сражении, по своим масштабам далеко превзошедшем знаменитые Канны, родился совершенно новый и дотоле неизвестный тактический приём. Уверенное в том, что японцы бросят в бой свои резервы и попытаются прорвать наше кольцо окружения извне, советское командование заранее приняло меры предосторожности. Одна из пехотных частей была выдвинута к монгольской границе, и когда из Маньчжурии подошли японские подкрепления, их остановили наши пехотинцы. Пока на этом внешнем фронте шли бои, наши войска сжимали своё кольцо вокруг японских дивизий и к концу августа довершили разгром противника. Так родилась новая тактика современных «Канн» — внутренний фронт окружения дополнялся устойчивым внешним фронтом, который пресекал все попытки противника прорвать кольцо ударом извне и обеспечивал возможность полного разгрома окружённых войск.

Венцом советского военного искусства — «Каннами» наших дней — стало великое Сталинградское сражение. Всё было необыкновенным в этой исторической битве — и её невиданно смелый замысел, мастерски реализованный советскими войсками, и её не-

бывалый размах, и её ошеломляющие результаты. Огромная 330-тысячная немецкая армия генерал-фельдмаршала Паулюса, вырвавшаяся к Волге, неожиданно оказалась стиснутой в плотном кольце советских войск и в двухмесячных боях была вконец разгромлена.

То новое, что возникло три года тому назад в сражении на монгольской земле, здесь, в Сталинградской битве, получило своё полное и совершенное развитие. Ставка Верховного Главнокомандования, представители которой, маршалы А. М. Василевский и Г. К. Жуков, непосредственно руководили операциями под Сталинградом, применила и здесь тактику, испытанную в боях на Халхин-голе. Одновременно с тем, как замкнулось кольцо вокруг армии Паулюса, был создан прочный внешний фронт, щитом оградивший с запада советские части, теснящие окружённых немцев.

Об этот внешний фронт и разбилось наступление крупной войсковой группы Манштейна, сделавшей попытку пробиться к армии Паулюса из районов Котельниковского и Тормосина. Потеряв надежду на помощь извне, остатки окружённых войск под ударами советских частей вынуждены были сложить оружие. Современные «Канны» стали реальным фактом.

Прошло меньше года после этой победы, и Советская Армия снова зажала в кольцо сильную группировку противника у берегов Днепра. Здесь должно было повториться то же, что произошло под Сталинградом. Но обстановка, в которой происходили нынешние события, заставляла предполагать, что эта операция будет во многом несходна со Сталинградской битвой. Условия Корсунь-Шевченковского сражения были несколько иными.

В дни сталинградского окружения немецкому командованию потребовалось продолжительное время, чтобы подвести резервы, перебросить к Сталинграду дивизии с других фронтов и собрать кулак для прорыва нашего кольца. Здесь же, под Корсунем, подход резервов противника к месту прорыва наших войск был делом ближайшего времени. Именно поэтому здесь особую роль играл темп операции — наши танки и пехота должны были в самый кратчайший срок создать прочный внутренний и внешний фронт и отбросить окружённые немецкие войска как можно дальше к северу, прежде чем к месту сражения подоспеют танковые корпуса.

В Сталинграде окружённая армия Паулюса сама не предпринимала наступательных действий и лишь отбивала атаки наших войск, ожидая, когда к ней подойдёт помощь. Войска Корсунь-Шевченковской группировки с первых же дней окружения решительно и ожесточённо контратаковали наступающие советские части, стараясь задержать их продвижение и были намерены активно взаимодействовать с дивизиями, которые спешили к ним на выручку.

Всё это очень осложняло задачу наших войск. Им приходилось создавать внутреннее кольцо окружения и внешний фронт, одновременно ведя непрерывные бои с очень активным и сильным противником.

Но главное своеобразие этой битвы заключалось в удивительном, необычайном соотношении сил на театре Корсунь-Шевченковского сражения. Вопреки обычным представлениям, по которым считалось, что окружение и разгром противника можно осуществить лишь при условии значительного численного перевеса над ним, войска 1-го и 2-го Украинских фронтов должны были выполнить свою задачу, не обладая никакими преимуществами ни в живой силе, ни в технике. В районе Корсунского выступа силы пехоты с обеих сторон были примерно одинаковыми, а танков противник имел больше, как на внутреннем, так и на внешнем фронте. Это значило, что суворовское правило — побеждать не числом, а умением — имело особое значение для Корсунь-Шевченковской битвы. Здесь успех операции целиком решался искусством нашего командования, умелыми и героическими действиями наших войск.

Встретившись 28 января в Звенигородке, танкисты Ротмистрова и Кравченко только положили начало окружению Корсунь-Шевченковской группировки немцев. Окружение могло считаться завершённым только тогда, когда плотное кольцо пехотных батальонов, сомкнувшихся фланг к флангу, славит со всех сторон отрезанную группировку и когда таким же сплошным станет внешний фронт. Уже первые дни боёв в воротах прорыва показали, как нелегко будет этого достигнуть.

Едва лишь танки Лазарева и Кириченко, пробив эти ворота на востоке, ушли в тыл противника вместе с поддерживающей их мотопехотой и артиллерией, как у Капитановки и Тишковки возобновились немецкие контратаки. Все усилия немцев теперь были направлены к тому, чтобы вновь захлопнуть ворота прорыва и отрезать танки, ушедшие к Шполе и Звенигородке.

В ночь на 28 января в район Капитановки и Тишковки подошёл немецкий танковый корпус от Кировограда. Три танковые и одна пехотная дивизии в 9 часов утра начали наступать с юга, а в это же время с севера навстречу им на Капитановку бросил свои танки командир дивизии «Викинг» Гилле.

Шесть часов подряд танкисты Полозкова вместе с пехотой Смирнова и Манагарова отбивали это двустороннее наступление. На севере танки Гилле безуспешно кидались вперёд то на одном, то на другом участке, повсюду встречая плотный артиллерийский огонь. На юге бой шёл на широком фронте, кое-где немецким танкам удавалось потеснить наши войска, но только в одном месте атаки противника дали ему желаемый результат.

Это была атака 14-й танковой дивизии немцев, во главе которой наступал 108-й моторизованный гренадерский полк. Командир этого полка майор Брезе непрерывно поддерживал радиосвязь со штабом «Викинга», согласуя с Гилле все свои действия.

«Прорываемся. Ждите», — радировал он в начале боя.

«Идём навстречу. Ждём. Желаем успеха», — ответили из штаба «Викинга».

Первые атаки гренадеров не принесли этого успеха — пехота и артиллерия Манагарова отбросили их назад. Но во время атак противнику удалось нащупать в наших позициях участок, защищённый слабее других. Тогда, собрав в кулак все свои танки, Брезе бросил их в бой на этом узком участке.

Удар оказался внезапным и сильным. Оборона манагаровцев была прорвана.

«Кольцо разомкнуто. Мы прорвались и идём к вам. Поздравляем», — полетела в эфир новая радиограмма.

Полчаса спустя авангардные танки Брезе встретились с первыми машинами дивизии «Викинг» — к этому времени небольшой группе танков Гилле удалось пробиться сквозь оборону пехотинцев Смирнова на севере.

Но в то самое время, как впереди встретившиеся гренадеры и эсэсовцы поздравляли друг друга с победой, а позади последние подразделения 108-го полка вливались в пробитую брешь, случилось неожиданное. В тылу гренадеров показались советские танки.

Большой отряд машин Полозкова спешно примчался к месту прорыва. Перестраиваясь на ходу, колонна танков мгновенно разделилась надвое. Одни повернули фронтом на юг, преграждая путь наступающим вслед за гренадерами другим полкам 14-й дивизии. А большая часть машин с ходу ударила в тыл прорвавшимся батальонам Брезе. 108-й полк получил как бы мощный толчок в спину и от этого толчка с ещё большей стремительностью покатился навстречу «Викингу». Боевые порядки полка смешались, возникла паника, и час спустя гренадеры и эсэсовцы оказались отброшенными далеко на север. Фронт был прочно восстановлен, а 108-й мотополк, отрезанный от своей дивизии, очутился теперь не вне, а внутри кольца, разделив судьбу окружённых войск Штеммермана, к которым он шёл на помощь. Прорваться назад ему уже не удалось, и он вместе с полками «Викинга» постепенно отступал к северу под нажимом советских танков и пехоты.

Закреть прорыв у Капитановки и Тишковки противнику не удалось. И немецкое командование решило перебросить свои танковые дивизии вдоль фронта к западу, надеясь, что на другом участке они скорее сумеют пробиться через кольцо окружения.

Манёвр этот был замечен нашей разведкой во-время. Тотчас же танкисты Полозкова, покинув позиции у Капитановки и Тишковки, тоже двинулись к западу. И когда немецкие дивизии возобновили наступление уже на новом месте, стараясь прорваться с юга на Лебедин и Шполу, они неожиданно встретили здесь своих недавних противников. Но не только их. Части Кириченко, уже несколько дней прочно занимавшие районы Шполы и Лебедина, стали здесь бок о бок с танкистами Полозкова. Прорваться немцам так и не удалось.

Тем временем наша пехота с боями быстро продвигалась по южному краю коридора, пробитого танкистами, и окончательно закрепляла внешний фронт. К началу февраля эта внешняя линия фронта стала сплошной и вполне устойчивой на всём своём 125-километровом протяжении. От Капитановки и Тишковки на тридцать километров к западу оборону держали пехотинцы Манагарова. Дальше, до самой Звенигородки, стояли танкисты и мотопехота Ротмистрова, а за ними на восток тянулись позиции танковых и мотострелковых частей Кравченко, к которым вплотную примыкала пехота генерал-лейтенанта Жмаченко.

Вдоль всего этого фронта уже расположились артиллерийские батареи, окопались стрелки, сапёры раскинули здесь и там свои минные поля. Попытки противника нащупать слабое звено в этой непрерывной цепи наших войск не приводили ни к чему.

Одновременно с обеих сторон создавался и внутренний фронт, всё ближе друг к другу подтягивались половинки кольца, непосредственно сжимающего окружённую группировку.

Вся масса наших танков и пехоты уже вошла в прорыв. Но у генерала Конева ещё оставался неиспользованным один род войск — стремительное и гибкое средство развития успеха. Близ фронта, в полной готовности ожидая приказа, стояли донские казачьи части, которыми командовал генерал-лейтенант Селиванов.

Эта конница уже прославилась смелыми операциями на Северном Кавказе и на Украине. Казаки Селиванова недавно взяли Пятихатку и к началу Корсунь-Шевченковской битвы находились в резерве командующего 2-м Украинским фронтом. Теперь наступил час их действия.

На рассвете 28 января казаки эскадрон за эскадрон начали втягиваться в прорыв. Быстрой рысью мчались подобранные один к одному рыжие и темногнедые кони сабельных подразделений, дружно тянули в артиллерийских упряжках гладкие вороние лошади казачьих пушкарей, серые кони везли миномёты. В насторожённом молчании, зорко обшаривая глазами горизонт, скакали всадники в чёрных бурках и тёмных кубанках с ярким алым дном, перечёркнутым накрест жёлтым кантом. Ежеминутно готовые с привычным лихим гиком развернуться в бешено несущуюся атакующую лаву, казачьи эскадроны, обгоняя пехоту, двигались дорогами, ведущими на северо-запад.

Конница Селиванова на рысях миновала Шполу, забирая ещё круче на север. С ходу казаки уничтожили немецкий гарнизон в селе Толстая, открывая себе дорогу к сильному опорному пункту противника в южной части кольца окружения — к Ольшане.

Туда же, к Ольшане, непрерывно ведя бои с окружённым противником и отесняя дивизии Штеммермана всё дальше на север и запад, пробивала свой путь наступающая на главном направлении гвардейская пехота Смирнова.

Много раз в истории войн случалось, что армия, попавшая в окружение, стянув в кулак свои силы, пробивала фронт осаждающих её войск и уходила от разгрома. Советская военная наука требует, чтобы зажатый в кольцо противник не получал ни малейшей передышки, чтобы в окружении тотчас же следовали энергичные боевые действия, направленные на полный разгром окружённых войск. Надо, чтобы осаждающие неустанно теснили противника со всех сторон, непрерывно наносили ему отовсюду сильные удары, расчлняя отрезанную группировку и уничтожая её по частям.

Сейчас именно такой тактики требовала от войск Ватутина и Конева Ставка Верховного Главнокомандования, представитель которой Маршал Советского Союза Г. К. Жуков ещё задолго до начала операции прибыл в район сражения, чтобы непосредственно на месте координировать действия обоих фронтов в Корсунь-Шевченковской битве.

Кольцо, сдавившее окружённых немцев, сжималась с каждым часом. С первых дней битвы противник испытывал возрастающий нажим наших войск на всех направлениях. Пехота генерал-лейтенанта Трофименко, нанося свои главные удары окружённым с запада и с юга, в то же время наступала на северо-западе, на севере и северо-востоке. С востока немецкую группировку теснили стрелки генерал-лейтенанта Коротеева, а с юго-востока и юга — гвардейцы генерал-лейтенанта Смирнова и казаки

Селиванова. И на всех этих участках противник вынужден был отступать, теряя один за другим свои большие и малые опорные пункты.

В первые дни наступления войска генерал-лейтенанта Коротеева подошли к городу Смеле, который немцы превратили в главный узел своей обороны на востоке Корсунь-Шевченковского выступа. Ещё осенью этот город, близ которого лежит крупная железнодорожная станция Бобринская, играл важную роль для манёвра немецких войск и для их снабжения — от Бобринской отходят линии на Помошную, Шполу, Белую Церковь, Знаменку и на левый берег Днепра через Черкассы. Благодаря этой станции Смела долгое время служила местом сосредоточения резервов противника между Каневом и Кременчугом — отсюда легко было перебрасывать подкрепления на любой участок фронта. Правда, после того, как Советская Армия заняла Черкассы, Знаменку, Белую Церковь и Кировоград, Бобринская потеряла своё узловое значение, но она продолжала оставаться базой снабжения, и немецкое командование приняло все меры, чтобы укрепить Смелу, прикрывающую ближние подступы к этой станции.

Сама местность вокруг Смелы была идеально приспособлена для обороны. С востока и северо-востока город прикрывает река Тясмин, берега которой противник усиленно укреплял. Правый, восточный берег Тясмина переходит в нагромождения лесных холмов, изрезанных крутыми балками. Сюда, на эти холмы, в течение многих дней эсэсовские солдаты из «Викинга» сгоняли население Смелы, заставляя людей рыть окопы и траншеи, строить укрепления для орудий и пулемётные гнёзда. С севера вплотную к городу подходит густой, непролазный лес и обширное болото Большой Ирдынь, считающееся непроходимым и не замерзающее даже в самые сильные морозы. С юго-запада Смелу окаймляет маленькая речка Медянка, которая, впрочем, в этих местах перерожена плотинами и разлилась довольно широко.

Словом, сама по себе Смела была естественной крепостью, и немецкие инженеры не преминули использовать здесь все удобства, предоставленные местностью. На высотах к востоку от города были поставлены пушки, размещены десятки пулемётных гнёзд так, что любая лощинка находилась под перекрёстным огнём. Укрытые за холмами, около этих опорных пунктов расположились группы танков дивизии «Викинг», которой было поручено оборонять город. На атаки советской пехоты сначала отвечали только пушки и пулемёты, а когда цепи наступающих стрелков приближались к оборонительной линии, противник бросал в бой танки.

Но стрелковые части 2-го Украинского фронта уже познакомились с этой тактикой в недавних боях за Александрию и Знаменку. Парировать её можно было только ещё большей манёвренностью. Наша пехота сумела использовать эту холмистую, пересечённую местность в своих интересах. С тяжёлыми пулемётами, а иногда даже с пушками группы стрелков по оврагам и лесам пробирались в тыл немецких опорных пунктов и заставляли противника принять бой в невыгодных для него условиях. Бывало, что вместе с пехотинцами в расположение немцев проникали сапёры с минами и немецкие танки, бросившись в контратаку, внезапно подрывались на неожиданно возникшем минном поле, ещё не дойдя до своего переднего края. Так постепенно, шаг за шагом, пехота генерала Коротеева оттесняла войска противника, подступая всё ближе к городу с востока и с юга.

А в это время на севере было штурмом взято большое село Белозёрье — предместный плацдарм противника у Смелы. И уже бродили по Ирдынскому болоту разведчики, выискивая проходы через топь. Затем одна из пехотных частей броском форсировала это болото и, оказавшись вплотную у города, завязала бой на северной окраине Смелы. Вслед за авангардом через Большой Ирдынь по гатям и наведённым сапёрами штурмовым мостикам переправлялись другие войска. Обходя город с севера, они занимали немецкие опорные пункты на западных подступах к Смеле. Тотчас же последовал удар и с южной стороны. Пехотинцы Коротеева с боем форсировали Тясмин южнее города и ворвались на станцию Бобринская.

Теперь гарнизону Смелы оставался лишь один путь отступления — на юго-запад, и немцы поспешили воспользоваться им. В одном из штабов, документы которого были захвачены в Смеле нашей пехотой, на столе остались брошенные впопыхах записки телеграфных переговоров с каким-то высшим начальством. Штаб сообщал: «Русские

нажимают с севера и юга. Как быть?» Последовал ответ: «Все немедленно собирайтесь в район вокзала». «А как быть с пушками?» — запросили из штаба. «Пушки бросайте. Спасайте свою жизнь», — телеграфировало начальство, и забытые телеграммы красно-речиво говорили о том, с какой поспешностью немецкие штабисты последовали этому совету.

Когда наши бойцы ворвались на улицы Смелы, город был цел, но пуст. Оккупанты угнали отсюда всё население и начисто разграбили дома. Населённым оказался только лагерь для наших военнопленных на окраине города. За двойным рядом колодеч проволок здесь были собраны сотни наших солдат и офицеров. В этом лагере ежедневно гибли от голода и болезни множество людей, и на тех, кто уцелел, страшно было смотреть. А рядом, на соседнем пустыре, раскинулось немецкое военное кладбище. Это был целый город могил, занимавший тысячи квадратных метров, с сетью улиц и переулков между кварталами тесно насыпанных холмиков, многие из которых белели совсем свежими крестами, увенчанными стальными касками.

Из освобождённых сёл толпами возвращались в опустевший город жители. А на станции Бобринской уже хлопотали железнодорожники, вместе с Советской Армией вернувшиеся в родную Смелу с Урала, из Сибири, где они работали в годы эвакуации. Город и станция начинали возрождаться к нормальной жизни.

Почти одновременно со Смелой в северо-восточной части кольца войсками 1-го Украинского фронта был занят другой опорный пункт противника — город Канев.

Старинный, красивый город, насчитывавший до войны около пятнадцати тысяч жителей, Канев сейчас стоял разрушенный и совершенно безлюдный. Гитлеровцы угнали на запад всё население и сожгли здесь больше четырёхсот жилых зданий. Необычайно тяжёлое зрелище представлял собою этот раскиданный на приднепровских холмах, когда-то нарядный белый городок, чернеющий сейчас пожарищами и закопчёнными каменными коробками домов.

В тот же день за окраинами Канева, продвигаясь дальше на юг вдоль Днепра, пехотинцы достигли подножия Чернечей горы. Высокая, густо поросшая молодым лесом, эта гора хранила на своей вершине прах Тараса Григорьевича Шевченко. Народ положил своего любимого певца здесь, высоко над Днепром, выполняя «заповит» Шевченко — его поэтическое завещание:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.

Длинная, извивающаяся зигзагом по склону горы лестница вела наверх. Держа наготове оружие, солдаты осторожно поднимались по скрипучим ступеням. Но немцы уже покинули эти места. Наверху, у могилы, было пустынно, и сырой холодный ветер врвался в выбитые окна музея — белого двухэтажного здания, построенного совсем незадолго до войны.

На высоком, крутом пьедестале серого гранита, устремив взор куда-то далеко в расстилающиеся на востоке леса и степи левого берега, задумчиво склонил голову бронзовый Шевченко.

Молча стояли солдаты у дорогой могилы. И вдруг кто-то растерянно, словно не веря глазам, вскрикнул:

— Смотрите!

В бронзовой фигуре Тараса зияли сквозные пулевые пробоины.

Отступая из Канева, гитлеровцы разграбили и разгромили музей. Все лучшие картины, все мало-мальски ценные экспонаты были вывезены в Германию. Остальное ломали, жгли, рубили в слепой, бессмысленной злобе. Перепившиеся солдаты разбивали молотками и выбрасывали из окон второго этажа большие гипсовые бюсты Шевченко, Пушкина, Гоголя, они спалили дотла гостиницу при музее, вырубали в парке

больше восьмисот деревьев, сожгли всю музейную библиотеку — тринадцать тысяч томов. Но и этого было мало погромщикам. Они надругались над самой могилой поэта, расстреливая памятник броневыми пулями. Семнадцать пробоин остались в бронзовой фигуре Шевченко, как боевые раны.

С суровыми, хмурыми лицами бродили наши солдаты по пустым, разграбленным и загаженным залам музея, по запущенным аллеям парка. Но кто-то уже нашёл поблизости песок, чтобы посыпать дорожки, а другие, навязав в лесу веников, убирали площадку у могилы.

Вечером у подножья памятника появился первый венок — скромный дар воинов, изгнавших отсюда врага. Его сплели солдаты из зелёных еловых ветвей, а девушки-санитарки украсили его лентами из обыкновенных бинтов, окрашенных марганцовкой. И, наверно, ни один из множества роскошных венков, которые были или будут возложены на могилу Тараса Шевченко, не выразит с такой силой глубокую любовь народа к поэту, как этот простой венок солдат переднего края.

В эти же дни в противоположной — юго-западной части Корсунского выступа пехотинцы генерала Трофименко освободили сёла, где родился и провёл своё детство Великий Кобзарь Украины.

26 января пехотная часть Героя Советского Союза майора Кузьмина вошла в село Моренцы — родину Шевченко. Днём позже стрелки Кузьмина освободили село Шевченково. В этом селе, на том самом месте, где сто лет назад стояла хатка крепостного Григория Шевченко — отца поэта, — ещё до войны тоже был построен музей.

Маленький, сухощавый старичок гостеприимно открыл двери музея перед советскими бойцами. Осторожно, с непривычной для них робостью, входили солдаты в этот дом. Сняв шапки и придерживая висящие на груди автоматы, они проходили по комнатам, стараясь ступать на носки, чтобы стуком тяжёлых сапог не потревожить тишину музея. Старик сопровождал их, давая свои пояснения к выставленным под стёклами витрин экспонатам, рассказывая о жизни и творчестве Шевченко. Кто-то из солдат тотчас же заметил, что экскурсовод похож на портреты поэта, вывешенные на стенах. У старика были такие же густые, кустистые брови, нависающие над глазами, такие же седые, опущенные книзу украинские усы. И в самом деле оказалось, что хранитель музея носит фамилию Шевченко и является родственником Тараса Григорьевича — внуком его родного брата.

Когда первая группа бойцов закончила осмотр музея, старик остановил своих посетителей у выхода и попросил на минуту задержаться. Он засеменял куда-то во двор и вскоре вернулся с тетрадкой в ветхой пожелтевшей картонной обложке. Положив эту тетрадь на маленький столик у выхода, он торжественно указал на неё солдатам.

— Вот, гляньте, товарищи. Три года хранил.

Лейтенант, командир стрелковой роты, сопровождавший бойцов, присел за столик и принялся перелистывать тетрадь. Она оказалась книгой отзывов, в которой посетители записывали свои впечатления после осмотра музея. Но все записи в ней были помечены датами довоенных лет, и тетрадь заполнена только наполовину.

Лейтенант дошёл до последней записи и прочёл её громко вслух:

«Мы вернёмся, Тарас Григорьевич! Капитан Борисенко».

Внизу стояло: «Август 1941». Дальше, до конца, шли пустые страницы.

Солдаты толпились у стола, разглядывая торопливо написанные и уже выцветшие строки. Лейтенант подумал и вдруг, решительно придвинув к себе тетрадь, достал из кармана авторучку. Бойцы с любопытством следили за ним.

Под строками капитана Борисенко появилась широкая, размашистая запись:

«Вернулись. Лейтенант Жданов. Январь 1944».

Ещё два дня спустя бойцы майора Кузьмина ворвались на юго-западную окраину Ольшаны. Тогда же, 31 января, к Ольшане с востока подоспели казацкие части Селиванова. Произошла встреча конницы и пехоты двух фронтов. Это означало, что кольцо вокруг Корсунь-Шевченковской группировки немцев замкнулось.

3 февраля в район Ольшаны, где ещё шли бои, подошли и гвардейцы генерала Смирнова. Их левый фланг соединился с правым флангом пехотинцев Трофименко. И в

этот же самый день под давлением крайнего левого крыла войск Трофименко и пехоты генерала Коротеева немецкие части были отброшены от Днепра на всём Каневском участке. Таким образом пехота 1-го и 2-го Украинских фронтов одновременно встретилась как на юге, в районе Ольшаны, так и в северо-восточной части кольца — у села Софиевка, южнее Канева.

Теперь по всей окружности кольца, сдавившего группировку противника, был сплошной плотный фронт пехотных частей.

В тот вечер Москва огласила по радио приказ Верховного Главнокомандующего, обращённый к войскам 1-го и 2-го Украинских фронтов. Весь мир узнал о том, что в районе Корсуня-Шевченковского окружены десять дивизий и одна бригада гитлеровской армии. В 8 часов вечера двадцать залпов из 224 орудий прогремели над столицей, приветствуя новую победу советских войск.

6. НА ДОРОГАХ НАСТУПЛЕНИЯ

Капризная, неровная зима выдалась в тот год на Правобережье. Морозы были редкостью. Солнце появлялось тоже нечасто. С неба, всегда затянутого низкими, лохматыми тучами, по целым дням лил дождь, словно на дворе стоял ноябрь, а не «лютый», как зовётся по-украински февраль. Порой тучи сгустились, прилетал северный ветер, начинал густо сыпать снег и поднималась вьюга, наметавшая на сельских улицах глубокие сугробы. И вдруг почти сразу снег сменялся ливнем, в воздухе теплело, как весной, быстро таяли сугробы, а поля, одевшиеся было плотным белым покровом, снова чернели.

В густое, вязкое тесто превратился украинский чернозём. Каждый час на дорогах его месили тысячи ног и сотни колёс. И дороги стали почти непреодолимыми препятствиями. На них появились огромные колдобины, залитые водой, образовались ямы, а колеи были продавлены так глубоко, что даже мощные грузовики беспомощно «садились на пузо» и, яростно ревя, впустую крутили колёсами, лишь разбрызгивая фонтаны жидкой грязи.

Танки, иззергая из-под гусениц водопады сырой земли, шли напрямик через поля. Кони казаков карабкались по холмам, глубоко увязая копытами. Солдаты брели по пахоте, медленно ворочая пудовыми, облепленными грязью сапогами, и тянули за собой артиллерию.

Так было с самого начала наступления, и когда пехота двигалась вслед за танками к Звенигородке, солдаты собирали в окрестных деревнях верёвки и, впрягаясь, как бурлаки, тащили за собой пушки по размокшим дорогам и полям.

Но нельзя было так же тащить колонны машин, которые везли к фронту боеприпасы, горючее, продовольствие — всё, что нужно войскам для боя, для жизни. Машинам необходимы хоть мало-мальски проезжие дороги.

Наше командование обратилось к местному населению. И тотчас же тысячи жителей освобождённых городков, сёл, хуторов вышли на ремонт прифронтовых дорог.

Люди работали с утра до позднего вечера; они трудились бы и по ночам, но опасно было зажигать свет — немецкие самолёты рыскали в ночном небе. Дорожные колдобины засыпали песком, в колеи подстилали хворост, заравнивали ямы и, дружно навалившись, вытягивали съехавшие в канавы машины. На трудных подъёмах постоянно дежурили тракторы. Однако все эти меры помогали мало. Дожди продолжали лить день за днём, дороги портились всё больше, и автоколонны продвигались по ним черепашим шагом.

Солдаты готовы были, если это нужно, обходиться самым скромным рационом питания, а когда они стояли в сёлах, их охотно кормили крестьяне. Танкисты кое-как обеспечивали себя горючим, подвозя бензин тракторами. Но фронт нуждался в большом количестве боеприпасов — ограничивать рацион пушек и пулемётов, миномётов и автоматов было нельзя.

Пехотинцы, отправляясь в поход, набивали вещевые мешки патронами, а порой несли с собой и снаряды. Конники, зная по опыту, как важна им в бою огневая под-

держка, заботились о боеприпасах для своих миномётчиков. Каждый казак на марше вёз по две мины, связав их верёвкой и перекинув через шею коня.

Но всего этого было мало. И снова на помощь к армии пришли колхозники.

Вереницы людей потянулись к фронту, шагая по обочинам дорог, по скользким тропкам, ведущим напрямую через холмы. Тут были подростки и взрослые, мужчины и женщины, а иногда и какой-нибудь бравый дед. Все они несли за плечами мешки, в которых лежали по одному, а то и по два снаряда или три-четыре мины. Они шли так по несколько километров к огненным позициям переднего края или по пути передавали свою ношу, как эстафету, другим таким же «караванам» и тотчас же возвращались за новой партией боевого груза.

Невозможно подсчитать, сколько тонн перенесли эти добровольные подносчики боеприпасов. Но пушки и миномёты благодаря им не умолкали, и на территорию, занятую противником, вместе с холодным февральским дождём непрерывно сыпались наши снаряды и мины.

В освобождённых сёлах многие мужчины добровольно вступали в ряды армии, не дожидаясь, пока начнут работать военкоматы. Люди старались всем, чем могли, помочь войскам. Нередко, рискуя жизнью, колхозники и колхозницы по поручению командиров пробирались в сёла, занятые противником, чтобы разведать там его силы. Малоизвестными дорогами, глухими лесными тропками крестьяне провожали наших танкистов и пехоту в тыл немецких войск. В сёлах, где ещё хозяйничали немцы, на содействие местных жителей всегда опирались наши разведчики. Колхозники помогали им собрать сведения о противнике, а в случае опасности прятали их, хотя иной раз и платили за это своей жизнью.

Семеро наших разведчиков, пробравшись в занятую немцами Шандеровку, были обнаружены немцами. Жена агронома Мария Медведенко спрятала их в подвале своей хаты. Но немцы заметили, куда скрылись бойцы, и окружили дом.

Завязалась перестрелка. Разведчики дрались, пока у них не кончились боеприпасы, и тогда немецкие солдаты ворвались в подвал и схватили тех, кто остался в живых. Вместе с пленными из хаты вывели Марию Медведенко и её двух дочерей — девочек десяти и тринадцати лет.

Женщина, плача, обратилась к офицеру, прося пощадить детей. Офицер — один из эсэсовцев Гилле — в ответ ударил её пистолетом по голове.

Пленным была уготована страшная казнь. Разведчиков скрутили по рукам и ногам проволокой, бросили их на землю и, облив бензином, сожгли заживо. Потом была сожжена хата, а Марию Медведенко с девочками вывели на огород и расстреляли.

Всё это делалось на виду у селян — эсэсовцы надеялись застрашать жителей Шандеровки. Но когда, через несколько дней к шандеровскому колхознику Ивану Юхименко ночью прибежал, спасаясь от преследования, советский разведчик Чоботков, тот, не задумываясь, спрятал его в печи своей полуразрушенной хаты, где солдат и просидел до прихода наших войск.

В Корсунь-Шевченковском музее хранится запись рассказа старого колхозника из соседнего с Шандеровкой села Хильки — Меркурия Кодолы.

Кодола жил одиноко в своей хате, стоявшей особняком на самой окраине Хилек. Хата у него была просторная, чистая, и как только в селе расположилась немецкая эсэсовская часть, в дом к деду Кодоле пришли на постой десятка два солдат.

Старик хотел перейти жить к соседям, но немцы не пустили его и заставили прислуживать себе. Целый день Кодола должен был варить постояльцам еду, убирать в доме, бегать по разным поручениям. Но этого показалось мало солдатам, и кто-то из них придумал издевательскую игру. Старика то и дело гоняли за водой, а как только он приносил два полных ведра, немцы старались незаметно вылить воду во дворе. И снова слышался хохот и крики:

— Пан, воды!

На третий день, когда вконец измученный старик поздним вечером в несчётный раз брёл из дому с пустыми ведрами, у колодца к нему подошли пятеро солдат с автоматами и в пёстрых маскировочных халатах. Это были советские разведчики.

Обрадованный дед рассказал бойцам всё, что знал о немцах, разместившихся в Хильках, а заодно пожаловался и на свои беды. Услышав, что совсем рядом, в крайней хате, находятся эсэсовцы, командир разведчиков насторожился. Он посоветовался со своими товарищами и сказал старику:

— Ну, дедушка, сейчас мы с твоими обидчиками рассчитаемся. Веди нас к хате, входи в комнату и сразу падай на пол. А дальше уж наша забота.

Они осторожно подошли к дому Кодола. Старик, гремя ведрами, распахнул дверь.

— Пан, воды! — с хохотом закричали из комнаты.

— Сейчас напьётесь! — громко ответил дед и, шагнув через порог, упал ничком на пол.

Пять автоматов грянули из дверей, и в несколько секунд всё было кончено. Эсэсовцы были перебиты.

А когда бой шёл на улицах села, среди колхозников находились и такие, что не желали прятаться в погребах и оставаться безучастными, а смело шли под пули и снаряды. Схватив оружие убитых солдат, они начинали драться бок о бок с нашими пехотинцами, помогая им освобождать родное село.

Стрелки Трофименко, наступая к югу от Мироновки, заняли небольшое село Гули. Здесь им пришлось на время перейти к обороне — противник, собравшись с силами, контратаковал.

В бою у пулемётчика сержанта Огурцова был убит его помощник. Прошло несколько минут, и сзади, несмотря на свистящие вокруг пули, кто-то подбежал и лёг рядом с «максимом», заменив убитого. Охваченный азартом боя, ведя непрерывный огонь по наступающим немецким цепям, Огурцов не сразу обратил внимание на своего нового помощника, думая, что это кто-нибудь из солдат. И лишь когда немецкие цепи откатились и наступило краткое затишье, старший сержант, обернувшись, заметил, что рядом с ним на земле лежит девушка в старом ватнике и в деревенском платке.

— Э! Ты кто такая? — удивился он.

Оказалось, что девушка — дочь колхозника из этого села — Екатерина Бобровицкая. Смущаясь и краснея, она рассказала сержанту, что ещё до войны изучала пулемёт в комсомольском кружке и даже умела вести огонь. Из щели, вырытой на огороде, где пряталась вся её семья, Катя видела весь бой и, заметив, что напарник Огурцова убит, решила заменить его и помочь пулемётчику.

Пехота противника снова появилась на гребне ближних холмов, и «максим» заработал. Первая лента уже подходила к концу, как вдруг Огурцов вскрикнул и выпустил рукоятку пулемёта.

Он с трудом отполз в сторону, уступая своё место девушке. Приподнявшись на локте, он внимательно смотрел, как Катя заправила новую ленту, и только тогда, когда раздалась первая очередь, обессиленно опустился на землю и закрыл глаза.

Катя была в упор по накатывающейся цепи, пока атака противника не захлебнулась окончательно.

Немцы больше не появлялись, и подбежавшие бойцы отнесли раненого Огурцова на перевязку. А неделю спустя на собрании колхозников села Гули специально прибывший представитель командования наших войск вручил Екатерине Бобровицкой правительственную награду.

Говоря о помощи, которую оказывали мирные жители войскам, освобождающим их землю, нельзя не вспомнить о героической обороне села Квитки.

Квитки лежат в пятнадцати километрах к югу от Корсуня. Это большое красивое село, окутанное густыми фруктовыми садами и живописно разбросанное на холмах среди богатых, обширных полей. На самом высоком холме, поднимаясь над всеми сельскими постройками и видное отовсюду, стоит двухэтажное здание школы-десятилетки. Может быть, это и придаёт Квиткам особенный и характерный облик нового села, резко отличный от вида старой деревни, над которой обычно господствовала церковь.

История Квиток подстать этому новому облику. У села есть свои давние революционные традиции.

В годы гражданской войны много квитчан дралось в партизанских отрядах на Украине. Когда в 1918 году войска германского кайзера Вильгельма подступали к Корсуню, жители Квиток отправили своих ходоков по соседним сёлам — поднимать людей против немцев. На холмах, окружающих Квитки, вооружённые винтовками и дробовиками крестьяне дали бой германским интервентам. И потом в окрестностях Квиток партизаны часто нападали на оккупантов и ловко уходили от преследования немецкой кавалерии, устраивая на лесных дорогах своеобразные заграждения из обычных крестьянских борон, уложенных зубьями кверху.

Первая в Корсунском районе сельская партийная организация возникла именно в Квитках. Её создал бывший квитчанин Гриненко, ещё до революции ушедший в город на завод и в двадцатые годы посланный партией на работу в родное село.

В дни оккупации местный житель, в прошлом матрос, Квитко возглавил в селе подпольную группу — одну из первых в сети «Комитета-103». В Квитках постоянно распространялись листовки, сводки Советского Информбюро, и сельские полиция напрасно старались выследить подпольщиков. Квитчанская группа продолжала свою работу, действуя всё более активно по мере приближения наших войск.

В один из последних дней января на окраине Квиток появились два советских бойца-разведчика. Они осторожно зашли в ближние хаты, расспросили крестьян и, убедившись, что немецкий гарнизон находится в другой части села, уже не скрываясь, пошли по улице.

Около дома, где жил немецкий комендант Квиток, стояла группа селян. К крыльцу только что подъехала пароконная бричка, и ездовой пошёл в дом доложить коменданту, что лошади поданы. В это время из-за угла вышли наши разведчики и, подойдя к крестьянам, завязали с ними разговор. Узнав, чья это бричка, они мигом вскочили з неё и, нахлёстывая лошадей, скрылись за хатами. Ездовой опротясь вылетел из дому и принялся расспрашивать селян, куда побежали его кони.

— К мельнице, — показал в противоположную сторону один из колхозников, и все остальные подтвердили его слова.

Конечно, ездовой не нашёл свою пропажу, и квитчане весь день забавлялись, с притворным участием обсуждая с ним, куда могла деваться бричка.

День прошёл спокойнo, и наступила тёмная, сырая ночь. Уже за полночь, многие жители Квиток были разбужены непривычными звуками. На окраине села вдруг заиграла давно не слышанная гармонь, и молодые голоса громко и весело завели «Катюшу». За годы оккупации музыка и песни стали столь необычными, что люди сразу поняли — в селе что-то произошло. Поспешно одевшись, полусонные крестьяне несмело выходили на ночную улицу. А вдали уже слышались радостные крики: «Наши! Наши!»

В село вошли пехотинцы генерала Трофименко. Небольшой немецкий гарнизон был захвачен врасплох. Несколько солдат взяли в плен, а остальные, воспользовавшись темнотой, удрали.

Стрелковая часть, вступившая в Квитки, была немногочисленной — она давно не имела пополнения, почти не выходила из боя и сильно поредела. Но сейчас ей было приказано во что бы то ни стало удерживать село и не пропустить окружённого противника, который в эти дни стремился прорваться на юг. Выполнить этот приказ с наличными силами было необычайно трудно — возникла угроза, что противник сразу же прорвёт редкую цепь пехотинцев. И командование части решило обратиться за помощью к жителям села.

Утром 31 января всё население Квиток собралось на площади у сельсовета. Майор, заместитель командира по политической части, рассказал колхозникам, что Корсунская группировка немцев уже несколько дней находится в кольце наших войск, что противник всеми силами старается пробить это кольцо и особенно упорно рвётся на юг, навстречу своим танковым дивизиям. Путь наступающего противника лежит через Квитки, и майор откровенно предупредил квитчан, что немцы приложат все силы, чтобы снова захватить их село.

— Держаться мы будем до последней возможности, товарищи квитчане, — говорил майор. — Но сил у нас, прямо скажем, маловато. Есть винтовки, автоматы, есть

пушки, но нехватает солдат, и сейчас пополнения нам не дадут. Вот мы и хотим попросить вас не дожидаться, пока начнёт здесь работать военкомат, а сразу добровольно вступать в нашу часть. Будем вместе защищать ваше село, ваши семьи, ваши хаты. Насильно, конечно, никого не возьмём, а добровольцев приглашаем и ждём. Есть добровольцы?

Толпа сразу пришла в движение, заволновалась, загудела. Хотя разобрать в этом гуле ничего нельзя было, майор по лицам людей понял, что добровольцы есть и их много.

Прямо на площадь вынесли столы, и штабные писари начали запись добровольцев. Их тут же распределяли по ротам и взводам, и на краю площади у только что подъехавших, тяжело нагружённых повозок старшина раздавал записавшимся винтовки, автоматы, патроны.

Все квитчанские мужчины, могущие носить оружие, в этот день добровольно стали солдатами Советской Армии. Их было больше пятисот человек.

А на крыльце сельсовета молодёжь и школьники во главе с учителем уже писали большие кумачовые лозунги: «Все на защиту родного села!», «Не пустим фашистов в Квитки!»

После полудня приступили к строительству оборонительных рубежей у села. На высоты к северу и востоку от Квиток вместе с солдатами вышли вооружённые лопатами женщины, девушки, подростки, старики. К вечеру село опоясалось цепью окопов, по склонам холмов тёмными зигзагами протянулись траншеи.

Днём 1 февраля немцы начали наступление на Квитки. С севера и северо-востока от соседних сёл Петрушки и Глушки двинулись к Квиткам цепи пехоты и несколько танков. Начался долгий и упорный бой, в котором квитчанские добровольцы получили своё первое боевое крещение.

Танковую атаку отбили артиллеристы, причём одна немецкая машина была сожжена. Но пехота противника с каждым часом усиливала свой натиск.

В Квитках с тоской и тревогой прислушивались к нарастающему грохоту боя. Устоят ли защитники села, не прорвутся ли немцы — это был вопрос жизни и смерти.

К вечеру шум боя стал явно приближаться, и село в страхе притихло. Сомнения не было — защитники Квиток отступали.

В самом деле, на первом оборонительном рубеже противника не удалось остановить. Немецкие автоматчики, пробираясь по глубоким оврагам, прилегающим к Квиткам с севера, обошли укреплённый рубеж, вышли на окраину села и заняли усадьбы колхоза имени Третьей пятилетки. Добровольцы и солдаты отступили и залегли прямо на улицах Квиток.

О приходе врага возвестило и пламя пожаров. Гитлеровцы жгли хаты в захваченной части села. К счастью, жителей там осталось мало — большинство успело уйти в центр села, где были наши войска.

Страшная это была ночь. Первое боевое крещение квитчанских добровольцев окончилось их поражением. Среди них уже были убитые и раненые, и горе вошло во многие хаты. С трепетом ждали селяне рассвета: для них завтрашний день мог оказаться последним — нечего было сомневаться в том, какая участь уготована Квиткам, если противнику удастся сломить оборону.

Но, видно, первая неудача закалила добровольцев. Шесть атак, предпринятых немцами на следующий день, оказались безрезультатными. Противник понёс потери, и к вечеру бой затих. Так было и на второй, и на третий, и на четвёртый день. Защитники села ежедневно отбивали несколько атак и не подавались ни на шаг.

Постепенно жители Квиток стали привыкать к тому, что на огородах то и дело падают немецкие снаряды, а на улицах днём свистят шальные пули, долетающие с поля боя. Жизнь переднего края мало-помалу входила в быт села. Каждый день все, кто мог работать, уходили рыть окопы на новых оборонительных рубежах, которые готовили на случай прорыва немцев. Вечерами, когда темнело, женщины и девушки с узелками в руках пробирались в окопы пехотинцев, на огневые позиции батарей — отнести мужьям, отцам, братьям еду и добрую «пляшку горилки». В вечерние часы затишья в хатах обсуждали события, происшедшие в этот день «на фронте», как

раньше, бывало, обговаривали все сельские новости. В селе знали почти всё, что происходит на переднем крае. Из уст в уста передавали, где сегодня атаковал противник и как отбивали эти атаки. И уже неслась по селу слава первых боевых подвигов квитчанских добровольцев.

Стало известно, что первый немецкий танк подбил квитчанин Михаил Масло. Рассказывали о подвиге другого Масло — Ивана, зачисленного в артиллерийское подразделение. Его назначили подносчиком снарядов к орудию, расчёт которого состоял сплошь из добровольцев. Во время одной из сильных атак, когда немецкая пехота подошла почти вплотную к огневым, бойцы расчёта растерялись и, оставив орудие, бросились назад.

Иван в этот момент доставил к орудию новую партию снарядов. Видя, что товарищи бегут, он преградил им дорогу.

— Ребята, что делаете! — закричал он. — Немец в село прорвётся. Там же наши жёны, дети. Стой!

Добровольцы остановились. И тотчас же Иван Масло кинулся к пушке и, заложив снаряд, выстрелил в упор по надвигающейся цепи автоматчиков. Снаряд разорвался в толпе солдат, и немцы, уже считавшие это орудие своей добычей, дрогнули и повернули вспять. Смущённые артиллеристы заняли свои места, но до конца боя наводчиком у пушки стоял Иван Масло.

Он так и не мог потом объяснить товарищам, как сумел выстрелить. Раньше Масло никогда не работал у пушки, и этот выстрел был первым в его жизни. Вероятно, он машинально запомнил приёмы артиллеристов, когда, привозя снаряды, наблюдал за действиями расчёта на огневой.

С этого дня Иван Масло стал наводчиком орудия — командир батареи оценил его смелость и находчивость.

С каждой отбитой атакой рос и накапливался боевой опыт квитчанских добровольцев. Наконец наступил день, когда защитники Квиток перешли в наступление и выбили немцев из села. Противник откатился в ближайшие сёла на север и восток, и квитчане снова заняли свой первый оборонительный рубеж. Теперь они были закалёнными в бою солдатами, победа воодушевила их, и, как ни пытался противник вернуть потерянное, Квитки оставались для него недостижимыми.

Постепенно защитники Квиток активизировали свои действия. Они провели несколько удачных боевых вылазок в сторону Валявы и в конце концов выбили немцев из этого села. Они отразили сильную контратаку противника из Глушек. А затем, перейдя в наступление, они штурмом взяли и Глушки и соседнее село Петрушки. Противник был отброшен далеко на север.

Оборона Квиток закончилась, когда после освобождения Глушек и Петрушек пехотную часть, в которой служили квитчане, перебросили к селу Ново-Буде. Добровольцы покинули родные места, и многие из них потом прошли до конца весь победный путь Советской Армии как закалённые и опытные солдаты.

А в памяти селян навсегда остались эти славные дни обороны, когда все жители Квиток стали бок о бок со своей армией на защиту родного села.

7. В КОТЛЕ

Восемьдесят тысяч немцев, оказавшихся в Корсунь-Шевченковском котле, переживали тяжёлые, мрачные дни. С того момента, когда советские танки замкнули кольцо вокруг Корсунской группировки противника, настроение тревожной подавленности, трагической безысходности с каждым днём всё сильнее охватывало немецких солдат и офицеров, хотя командование окружённых всячески старалось поддержать бодрость духа в войсках.

Прорыв наших танкистов сразу же вызвал растерянность в лагере противника. Немецкое командование пока что не собиралось сообщать своим войскам о происшедших событиях, и для всей массы окружённых обстановка была неясной и непонятной. Первое время солдаты, как и большинство офицеров, питались только слухами. А слухи ходили самые беспокойные. Из уст в уста передавали, что в тылу появились

многочисленные отряды советских танков, что русские глубоко прорвали фронт, что вся Корсунская группа войск окружена. Всё больше и больше находилось людей, которые своими глазами видели русские танки у Шполы, Лебедина и Звенигородки, и раненые, прибывающие в тыловые госпитали, подтверждали слухи о прорыве Советской Армии. Хотя официально ещё ничего не было объявлено, в войсках начинали понимать, что события приняли угрожающий оборот.

Да и некоторые действия самого немецкого командования способствовали распространению тревожных слухов и панического настроения. Эти действия свидетельствовали о том, что растерянность царит и среди генералов. Именно так истолковали в войсках приказ о взрыве железнодорожной линии, идущей вдоль фронта на юг в сторону станции Помошная.

Линия эта, связывавшая Капитановку с Корсунем, в первые дни после прорыва ещё эксплуатировалась противником и служила главной артерией для снабжения самого опасного участка фронта. Но 30 января офицер по транспорту из штаба армии отдал приказание взорвать полотно на большом протяжении. Штабные офицеры Штеммермана, присутствовавшие при этом, пытались протестовать, но армейский уполномоченный заявил, что он действует по личному указанию командующего армией и ему дано право не считать ся ни с какими приказами на местах. Сапёры заложили взрывчатку, и железная дорога взлетела на воздух.

Когда об этом доложили Штеммерману, с ним произошёл припадок ярости. Но дело было уже сделано, и, излив свой гнев на ближайших подчинённых, Штеммерман приказал поправить земляное полотно насыпи и превратить его в проезжую дорогу для машин и боевой техники, которые предстояло перебросить с южного участка, где вот-вот появятся русские, на север — в сторону Городища и Корсуна.

Полотно кое-как восстановили, и по нему в два ряда двинулись, растянувшись длинной колонной, грузовики, бронетранспортёры, орудия, обозные повозки. Едва эта колонна успела вытянуться во всю свою длину, как над насыпью появились отряды советских самолётов-штурмовиков. Первые же их бомбы смешали в кашу головную часть колонны и разрушили полотно. Колонна была туго закупорена этой пробкой. Поднялась невообразимая паника, самолёты продолжали кружить, сыпая бомбы и строча из пулемётов, машины, пытаясь развернуться, валились с насыпи, кони рвали постромки, опрокидывали повозки. Всё это кончилось тем, что распорядившийся здесь командир дивизии «Викинг» бригадефюрер СС Гилле приказал: «Приступить к уничтожению всей колонны!», и то, чего не успели доконать наши самолёты, было взорвано самими немцами. Понятно, что эта сцена не способствовала подъёму духа у тех, кто был её участником и свидетелем.

Сначала командование Корсунской группировкой тщательно скрывало от своих войск факт окружения. Был издан приказ, в котором под страхом строгого наказания запрещалось вести какие бы то ни было разговоры на эту тему. О том, что оба армейских корпуса находятся в кольце советских войск, знали лишь генералы, старшие офицеры и сотрудники штабов. Когда же к штабистам обращались с вопросом: «Правда ли, что мы окружены?», они решительно отрицали это или отвечали, что не знают. Командиры боевых подразделений в массе своей знали столько же, сколько их солдаты, и в ответ на расспросы подчинённых уверяли, что кольцо русских не сомкнуто.

Однако долго это не могло продолжаться. Налицо были все симптомы окружения — в частях отменили отпуска, солдаты перестали получать письма из дому, через фронт стали летать транспортные «юнкерсы», и артиллерийская канонада доносилась уже со всех сторон. К тому же советские самолёты беспрерывно разбрасывали над территорией котла листовки на немецком языке, в которых солдатам окружённых дивизий объяснялось действительное положение вещей.

В войсках Штеммермана начали понимать, что командование скрывает правду, и это вызывало явное недовольство солдат и офицеров. Отрицать дольше факт окружения было невозможно. Зато можно было извратить действительность, и фашистские пропагандисты в окружённых частях стали лгать на новый манер. Солдатам говорили, что русским под Корсунем устроили хитрую ловушку и они, окружив войска 42-го и 11-го корпусов, сами попали в окружение. «Мы находимся в котле, — объясняли сол-

датам, — но те русские, которые нас окружили, уже окружены нашими танковыми дивизиями и скоро будут уничтожены».

Конечно, это была версия, годная лишь для простаков. Офицеры поумнее иначе объясняли обстановку своим солдатам. «Мы окружены, это правда, — говорили они, — но к нам идут на помощь несколько танковых корпусов. Нет сомнения, что они прорвутся сюда и тогда русские сами окажутся в котле. Надо продержаться ещё несколько дней и не позволять русским сжимать кольцо».

Солдатам рассказывали, что Гитлер лично передал по радио Штеммерману: «Можете положиться на меня как на каменную стену. Вы будете освобождены из котла. А пока держитесь до последнего патрона».

Один из первых транспортных самолётов, прилетевших на окружённую территорию, доставил в котёл не боеприпасы и не горючее, а группу офицеров из «роты пропаганды». Военизированные чиновники ведомства Геббельса принялись обрабатывать солдат, уверяя их, что никакой реальной опасности в этом окружении нет и со дня на день кольцо будет разорвано танковыми дивизиями, наступающими извне.

Были пущены в ход и все другие средства, чтобы поддержать боевой дух окружённых войск. Штеммерман обещал офицерам повышения в чине, а солдатам — награды. Всем участникам сражения под Корсунем посулили наградной знак «Лента ближнего боя». Он давался только тем, кто участвовал в рукопашных схватках, и в одном из своих приказов об этой ленте Штеммерман писал: «Рукопашным боем считается бой, когда солдат увидел в глазах противника страх». К огорчению генерала, его солдаты вовсе не стремились заслужить обещанную им ленту и всячески уклонялись от рукопашного боя, который обычно навязывали им наши стрелки. Наоборот, из частей офицеры доносили, что пехота стала неохотно ходить в атаки без сопровождения танков и слишком уж быстро отходит назад под огнём русских.

Поэтому, кроме заманчивых обещаний, потребовались и другие меры. Солдат заставляли давать торжественную клятву в том, что они обязуются драться храбро и упорно и ни при каких условиях не сдаваться в плен. Во многих частях у пехотинцев брали так называемые «расписки стойкости», содержание которых сводилось к тому же. И вместе с тем ежедневно и ежечасно пропагандисты и офицеры продолжали твердить о близкой выручке извне.

К этому времени в войсках Штеммермана узнали о судьбе 108-го моторизованного полка, который вместе с танковыми дивизиями, подошедшими от Кировограда, рвался с юга на помощь окружённым и неожиданно для себя оказался не снаружи, а внутри котла, разделив участь всей Корсунь-Шевченковской группировки. Теперь, вспоминая этот случай, солдаты с невольным недоверием слушали разговоры о скором прорыве кольца. В самом деле, проходил день за днём, а обещанная помощь не являлась. Пропагандистам надо было изворачиваться, изобретая новые уловки.

Солдатам стали ежедневно зачитывать радиogramмы о продвижении танковых дивизий, атакующих внешний фронт советских войск. В окопы к пехотинцам специально привозили лётчиков, которые рассказывали, что, пролетая над линией внешнего фронта, они собственными глазами видели, как «уже совсем близко» ведут бой танки, идущие на выручку к окружённой группировке.

Первое время всё это оказывало известное действие на солдат, но по мере того, как один за другим проходили назначенные сроки освобождения окружённых, настроение войск падало и, вопреки усилиям пропагандистов, шире и шире распространялись уныние и безнадёжность. Начались разговоры о «втором Сталинграде» и о том, что «лучше сдаваться в плен всем вместе, как сделала армия Паулоса, а не поодиночке». Несмотря на то, что пессимистов приказано было строго карать, их становилось всё больше.

Да и как могло быть иначе? Кольцо неумолимо сжималось, и территория, занимаемая войсками Штеммермана, таяла не по дням, а по часам.

31 января пехотинцы Трофименко ворвались на улицы Олышаны — крупного опорного узла противника в южной части котла.

Противник занимал командные высоты на том берегу, каменные дома он превратил в долговременные огневые точки, на колокольнях и церквах стояли пулемёты.

Большой ольшанский гарнизон немцев был ещё усилен подкреплениями, и он уверенно отбил первые атаки стрелков и отбросил их за реку.

Ни орудийный обстрел, ни многократные атаки нашей пехоты из-за реки не принесли решающего успеха — южные окраины села были сильно укреплены. Ольшану предстояло брать с севера обходным манёвром, причём как можно скорее, пока противник не успел подготовиться к круговой обороне.

Манёвр этот выполнили казацкие эскадроны. Совершив глубокий обход, они обогнули Ольшану и появились на северных подступах к ней, откуда немцы не ожидали нападения. Гарнизон Ольшаны оказался отрезанным от Городища и подвергся одновременной атаке со всех сторон.

Ольшана была освобождена. Немецкий гарнизон, состоявший из двух гренадерских полков, полка эсэсовцев и танкового батальона, был полностью разгромлен.

Взятие Ольшаны поставило под концентрический удар весь Городищенский узел противника. К этому времени наша пехота далеко продвинулась как на западе, так и на востоке, и очертания кольца окружения приняли форму восьмёрки. Южную половину этой восьмёрки и составляло Городище со всеми примыкающими к нему укрепленными сёлами.

Петля вокруг Городища постепенно стягивалась. На юге гвардейцы Смирнова взяли Бурты, Вязовок, Хлыстуновку, на востоке пехотинцы Коротеева разгромили гарнизон противника в большом селе Орловец, на западе казаки Селиванова и пехота Трофименко овладели Валявой. А затем наши войска с разных сторон ворвались в Городище.

Проливные дожди последних дней окончательно размыли дороги. Вся техника, которую немцы стянули в район Городища, оказалась парализованной. Когда бои закончились, по улицам местечка невозможно было проехать. Чтобы пропустить наши конные обозы, пришлось растаскивать и сбрасывать с дороги машины, и войска шли по узкому проходу, проложенному среди этого скопища немецкой техники. Здесь, накрепко завязшие в грязи, стояли и тяжёлые грузовики, и штабные «оппели», и гусеничные тягачи, и даже танки. Одни из этих машин противник успел взорвать или поджечь, другие — водители бросили неповреждёнными, спасая свою жизнь. На танках, захваченных в Городище, остались неснятыми даже аккумуляторы. И на всех улицах и дорогах валялись трупы в зелёных шинелях; убитых было около тысячи.

С падением Городищенского узла территория, занятая окружёнными, уменьшилась сразу на двести квадратных километров и южная половина восьмёрки перестала существовать. Теперь войска Штеммермана были зажаты на небольшом пространстве, и от внешнего фронта в самом узком месте их отделяло сорок километров.

Вместе с территорией окружённые теряли и склады боеприпасов, продовольствия, горючего. Проблему питания войск командование корпусов попыталось решить за счёт местного населения. Крестьянам в сёлах было приказано под страхом смертной казни ежедневно сдавать комендантам по восьми хлебов с каждого двора. Кроме того, приблизительно двухнедельный запас продуктов находился на дивизионных складах. Но снабжение боеприпасами и горючим превращалось в неразрешимый вопрос.

Зенитчики получили распоряжение не открывать огня по советским самолётам и экономить снаряды «для момента прорыва». Ввели рацион на некоторых полевых батареях. Танки или самоходные пушки при отсутствии горючего зарывали в землю и использовали как неподвижные огневые точки. Пехотинцам было приказано расходовать патроны осторожно и стрелять только наверняка.

Первое время Манштейн и его генералы рассчитывали, что им удастся наладить снабжение окружённых войск горючим и боеприпасами с помощью транспортной авиации. План этот сразу же провалился. Воздушное кольцо Советской Армии было вполне прочным.

Почин в борьбе с транспортными самолётами противника — «Юнкерс-52» — сделал лётчик-истребитель, старший лейтенант Суриков. Барражируя на своём «лавочкине» в заданном ему квадрате, он обнаружил колонну «юнкерсов», шедших на посадку под прикрытием истребителей. Суриков дал знать об этом по радио на свой аэродром, а сам решил, не ожидая товарищей, атаковать противника в одиночку.

Первый его заход остался незамеченным «мессершмиттами», и лётчик пушечной очередью поджёт один из транспортников на посадочной полосе. Второй «юнкерс» только что приземлился и выруливал в сторону. Прежде чем немецкие истребители смогли прикрыть аэродром, Суриков успел зажечь и этот самолёт. Минуту спустя над аэродромом появились другие «лавочкины», а вслед за ними сюда же прилетели «ильюшины». Истребители сцепились с «мессерами», а штурмовики ударили по приземлившимся «Ю-52». Транспортники уже успели рассредоточиться по краям лётного поля и представляли нелёгкую цель. Но «ильюшины», перестроившись в «круг», засыпали их бомбами с самой небольшой высоты. Несколько минут спустя, когда наши самолёты возвращались домой, на немецком аэродроме горели пять «юнкерсов», а в стороне высоко в небо поднимались густые столбы дыма от двух сбитых в бою «мессершмиттов».

С тех пор борьба с транспортными самолётами не прекращалась ни на день. Истребители подстерегали их в воздухе, выслеживали на аэродромах, застигали на посадке и на взлёте. В охоте приняли участие и наши штурмовики, уверенно атаковавшие транспортники противника. А с земли по «Юнкерсам-52» наловчились бить не только зенитчики, но и пехотинцы.

Даже полевая артиллерия в конце первой декады февраля включилась в борьбу с транспортными «юнкерсами», уничтожая их на аэродромах. Под огнём наших пушек и миномётов находились все оставшиеся ещё в руках противника посадочные площадки. Территория, которую занимала окружённая группировка, сжалась до такой степени, что внутри кольца уже не было мест, недостижимых для советской артиллерии.

Но самыми невосполнимыми потерями окружённых были потери в боевой технике и, главное, в живой силе. День за днём по всему кольцу окружения Корсунская группировка теряла в боях танки, бронетранспортёры, самоходные пушки, артиллерийские орудия, пулемёты, автоматы. Всё меньше танков участвовало в контратаках, и тактика немецких танкистов стала иной — теперь они старались вести огонь из укрытия, не появляясь на виду без крайней необходимости. Артиллеристов, как только их орудия выбывали из строя, отправляли на передний край в качестве пехотинцев. Большинство шофёров автомашин тоже было послано в окопы.

Людские потери угрожающе росли. Советские войска то и дело отрезали новые куски территории котла, устраивая «окружения в окружении» и уничтожая гарнизоны отсечённых опорных пунктов. В Корсуне и соседних с ним сёлах госпитали были переполнены ранеными.

Численность полков и батальонов катастрофически падала. В 332-й пехотной дивизии один из полков к 10 февраля насчитывал всего около сотни солдат. 544-й полк «сталинградской» 389-й дивизии через десять дней после окружения был из-за больших потерь сведён в батальон.

В том самом 108-м мотополку, который, пытаясь прорвать внешний фронт, оказался внутри котла, вначале было больше тысячи человек. К 9 февраля из этой тысячи осталось всего семьдесят солдат и офицеров. Полк преобразовали в «боевую группу». На второй день в этой группе оказалось меньше полусотни солдат, да и те были главным образом из тыловых подразделений. Офицеров уцелело очень мало, почти все были убиты или ранены.

Такие «боевые группы» возникали всё чаще по мере того, как исчезали полки и батальоны. Группы эти обычно назывались по фамилии командовавших ими офицеров. Но командиры так часто сменялись, что фамилии их не успевали даже сохранить в памяти солдат. Одну из боевых групп в полку 389-й дивизии за восемь дней поочередно возглавляли три офицера. Первый — капитан Цайлинг — был вскоре смещён за трусость и нераспорядительность. Второй — обер-лейтенант Кнойпле — был убит через два дня. Третий — обер-лейтенант Флах — командовал всего одни сутки. Когда группа попала одновременно под артиллерийский обстрел и бомбёжку, обер-лейтенант сошёл с ума. Большая часть группы тут же разбежалась, а оставшиеся двадцать автоматчиков организованно сдались в плен.

Всё труднее, всё беспросветнее становилась обстановка в котле, и окружённые войска всё больше теряли свой былой облик. В осклизлых, залитых дождевой водой окопах переднего края обожившие, небритые, нередко голодные пехотинцы по

несколько суток не выходили из боя. В грязные, обтрёпанные лохмотья превращались шинели, изнасилась обувь, и заменить обмундирование было нечем.

Непрерывный, изматывающий огонь советской артиллерии, интенсивные бомбёжки, настойчивые и нарастающие атаки нашей пехоты, грязь, голод — всё это тяжело ложилось на душу немецкого солдата. Невольно приходила на ум мысль о сдаче в плен как о единственной возможности избавиться от этого кошмара. Но всякую попытку перехода к русским специально созданные карательные команды СС наказывали смертью, и мысль о плене надо было держать в тайне даже от ближайших товарищей. Так возникало взаимное недоверие между солдатами, усугублявшее общий разброд и уныние. Даже офицеры перестали доверять друг другу и старались не обсуждать перспективы будущего, наедине обдумывая планы своего спасения.

Обстановку этого первого периода окружения передаёт письмо врача танковой дивизии «Викинг», оставшееся неотправленным и попавшее в руки наших солдат:

«30 января 1944 года. Это было поистине логическое развитие. Ещё позавчера мы открывали наш офицерский клуб в Корсуне. Вчера утром мы с нашими ранеными были в Городище. У нас их было 190. Сегодня мы хотели отправить их. Из Ротмистровки должны были вылететь 12 «юнкерсов», которым надлежало привезти боеприпасы в наши оба маленьки котла. На рассвете раненых мы погрузили и отправили, но, пока они находились в дороге, передний край ещё отодвинулся, а аэродром взорван. Раненых повезли обратно. Вспомнили об одной просёлочной дороге. К сожалению, выяснилось, что все пути заняты русскими. Следовательно, котёл закрыт и мы не сможем вывезти даже раненых. В прошлом году мы тоже часто бывали отрезанными, но это было совсем по-другому. На этот раз всё выглядит так безнадежно и беспечно, хоть в пору кончать жизнь самоубийством...»

Можно себе представить мысли и чувства рядовых пехотинцев, если подобное настроение возникало у офицера эсэсовской дивизии, которая считалась в войсках Штеммермана самой стойкой и неунывающей.

Но окружённые тем не менее продолжали упрямо, отчаянно сопротивляться. Как бы ни были подавлены солдаты, в каком бы чёрном свете ни представлялись им перспективы борьбы, — в них пока что пересиливало чувство дисциплины, побеждала годами воспитанная привычка к повиновению своим командирам.

Попрежнему все свои надежды они возлагали на помощь, обещанную Гитлером. О ней не переставали твердить офицеры, о ней напоминала далёкая канонада на юго-западе, по временам доносившаяся до котла.

8. УЛЬТИМАТУМ

«У окружённых только два пути — в плен или в могилу!»

Под таким лозунгом вышла однажды газета войск генерала Трофименко «Мужество». В самом деле, у противника почти не оставалось надежд на спасение. Атаки танковых дивизий на внешнем фронте не принесли успеха. Воздушная блокада котла парализовала транспортную авиацию. Потери окружённых становились угрожающими, и настроение войск падало с каждым днём. Не только у солдат и у многих офицеров, но даже у некоторых немецких генералов всё чаще появлялась мысль о капитуляции.

Капитуляция была бы единственным разумным выходом в этой безнадежной обстановке. Затягивать дольше агонию окружённой группировки — это значило принести ещё тысячи напрасных жертв, продолжать кровопролитие, беспечность которого уже стала ясной. Надеясь, что здравый смысл подскажет противнику верное решение своей судьбы, советское командование решило направить войскам Штеммермана ультиматум.

Рано утром 8 февраля на нашем переднем крае в районе Стеблева заговорили окопные звуковещательные станции. Репродукторы, обращённые в сторону противника, громко передавали на немецком языке сообщение о том, что в этот день в 14 часов к позициям германских войск выйдут советские парламентарии, чтобы вручить командованию окружённой группировки текст нашего ультиматума.

Как только началась передача, огонь противника прекратился. Над стеблёвским участком фронта наступила тишина, в которой громко и отчётливо звучал голос диктора. Чувствовалось, что в немецких окопах с напряжённым вниманием слушают каждое его слово.

Диктор прочитал текст сообщения во второй и в третий раз. Затем звуковещательную установку передвинули вдоль фронта, и она снова повторила передачу уже в другом месте. Так продолжалось два часа. Ни во время вещания, ни после того, как громкоговорители умолкли, из немецких окопов не раздалось ни одного выстрела. Сообщение явно заинтересовало противника.

Одновременно передачу того же текста вели пять войсковых радиостанций. По эфиру был тотчас же получен ответ. Рация штаба окружённых радиовала: «Ваш текст полностью понял».

Около двух часов дня на улице прифронтового села Хировки появились два наших офицера — представители командования 1-го и 2-го Украинских фронтов подполковник Савельев и лейтенант Смирнов. Их сопровождал солдат с белым флагом.

Парламентёры прошли через село к лежащему на окраине Хировки кладбищу, где протянулись передовые траншеи стрелков Трофименко. Сотни глаз неотрывно провожали двух офицеров и солдата, миновавших линию наших окопов и вступивших на ничейную полосу земли.

Испокон веков жизнь парламентёра, выходящего с белым флагом к позициям неприятеля, считается неприкосновенной. Даже самые дикие, варварские войска соблюдали эту вековую традицию. Убийство парламентёров покрывало позором армию, запятнавшую кровью белый флаг, и такие случаи в прошлом были крайне редки. И всё же каждый раз не только парламентёры, идущие в расположение противника, но и те, кто наблюдает за их переходом, испытывают невольное волнение перед тревожной неизвестностью, ожидающей посланцев.

Ничем не выказывая этого волнения, пристально вглядываясь в темнеющие впереди брустверы немецких траншей, два офицера с нарочитой медлительностью шагали по нейтральной полосе. Как только они дошли до середины её, впереди показалось несколько фигур в зелёных мундирах. Выпрыгнув из окопов, группа немцев направилась навстречу парламентёрам. Один из немецких солдат нёс в руке небольшой чемодан.

Встретившись, обе группы обменялись военным приветствием и остановились, о чём-то разговаривая. Потом солдат проворно раскрыл чемодан и достал оттуда две белые повязки. Немцы завязали нашим офицерам глаза, взяли их под руки и повели к своим окопам. Сопровождавший парламентёров солдат с белым флагом возвратился в Хировку.

Позднее подполковник Савельев и лейтенант Смирнов рассказали подробно, что происходило с ними в расположении противника. Парламентёров повели в глубину немецких позиций. Повязки были туго стянуты и не позволяли что-либо различить, но офицеры чувствовали, что их окружает толпа солдат — вокруг стоял гул голосов, в котором можно было разобрать лишь отдельные слова. Потом все остановились, и встретивший их офицер, попросив минуту подождать, куда-то ушёл. Тотчас же солдат, который вёл под руку лейтенанта Смирнова, нагнулся к его уху и сказал, что русские хороший народ и он их очень уважает. Опасаясь провокации, лейтенант ничего не ответил. Он слышал, как рядом кто-то, видимо только что подошедший, спрашивал, почему собралась толпа, а другой голос объяснял, что это пришли русские парламентёры с предложением о капитуляции.

Донёсся шум подъезжающей машины, и тот же офицер предложил парламентёрам сесть в автомобиль. Машина быстро поехала, тяжело подпрыгивая на ухабистой грязной дороге. Офицеров везли, видимо, в сторону Стеблева — другой дороги из Хировки у немцев не было.

Вскоре неровный грунтовой просёлочек сменился булыжником — вероятно, машина проезжала по улице Стеблева. Затем пассажиров опять начало подбрасывать, и сидевший рядом с Савельевым немецкий офицер предупредительно сказал, что они вот-вот приедут на место. Подполковник сухо поблагодарил.

Полчаса спустя машина остановилась. Офицеров провели через калитку, они поднялись на крыльцо и вошли в дом.

— Прошу снять повязки,— сказал кто-то по-немецки.

Быстрые пальцы развязали узел на затылке. Глаза, привыкшие к темноте, больно резнул дневной свет. Офицеры, шурясь, осмотрелись.

Они находились в небольшой светлой комнате обычной сельской хаты. У стола, придвинутого к окну, стояли два немецких офицера — судя по погонам, полковник и подполковник. Оба были уже немолодыми, с сединой в гладко зачёсанных волосах и бледными, усталыми лицами. Полковник, ответив на приветствие парламентёров, представился:

— Командующий артиллерией 42-го армейского корпуса полковник Фуке.

Второй офицер оказался подполковником генерального штаба немецкой армии.

Савельев предъявил полномочия парламентёров.

— У меня имеется пакет, который я должен передать генералу Штеммерману,— заявил он.

— Мне поручено генералом Штеммерманом принять от вас этот пакет,— ответил Фуке.— Как нам известно, речь идёт об условиях нашей капитуляции.

— Да,— подтвердил Савельев.— Наше командование предлагает сложить оружие войскам, находящимся в окружении.

Немецкий полковник пожал плечами.

— Окружение — понятие тактическое,— возразил он.— Сегодня мы окружены, а завтра в кольцо могут оказаться ваши войска.

— Мы думаем, что для этого у вас уже нехватит ни сил, ни времени,— с усмешкой заметил Савельев, передавая полковнику пакет.

Жестом пригласив парламентёров присесть и не отвечая на слова Савельева, Фуке надорвал конверт и углубился в чтение документа.

«Командующему 42-м армейским корпусом, командующему 11-м армейским корпусом, командирам 112-й, 88-й, 82-й, 72-й, 167-й, 168-й, 57-й и 332-й пехотных дивизий, 213-й охранной дивизии, танковой дивизии СС «Викинг», мотобригады «Валлония». Всему офицерскому составу немецких войск, окружённых в районе Корсунь-Шевченковский.

42-й и 11-й армейские корпуса немецкой армии находятся в полном окружении.

Войска Красной Армии железным кольцом окружили эту группировку. Кольцо окружения всё больше сжимается. Ваши надежды на спасение напрасны».

Советское командование указывало, что наступление противника на внешнем фронте, предпринятое с целью выручить Корсунскую группировку из окружения, захлебнулось и что немецкие танковые дивизии понесли тяжёлые потери, так и не добившись успеха.

«Попытки помочь вам боеприпасами и горючим через посредство транспортных самолётов — провалились. Только за два дня 3 и 4 февраля наземными и воздушными силами Красной Армии сбито более ста самолётов «Ю-52», — говорилось в ультиматуме.

«Вы, как командиры и офицеры окружённых частей, отлично понимаете, что не имеется никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежно, и дальнейшее сопротивление бессмысленно. Оно приведёт к огромным жертвам среди немецких солдат и офицеров.

Во избежание ненужного кровопролития мы предлагаем вам принять следующие условия капитуляции:

1. Все окружённые немецкие войска во главе с вами и вашими штабами немедленно прекращают боевые действия.

2. Вы передаёте нам весь личный состав, всё оружие, всё боевое снаряжение, транспортные средства и всю технику неповреждённой.

Мы гарантируем всем офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление, жизнь и безопасность...

Всему личному составу сдавшихся частей будут сохранены военная форма, знаки различия и ордена, личная собственность и ценности, а старшему офицерскому составу,

кроме того, будет сохранено и холодное оружие. Всем раненым и больным будет оказана медицинская помощь.

Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам будет обеспечено немедленное питание.

Ваш ответ ожидается к 11.00 9 февраля 1944 года по московскому времени в письменной форме через ваших личных представителей, которым надлежит ехать легкой машиной с белым флагом по дороге, идущей от Корсунь-Шевченковский через Стеблев на Хировка.

Ваш представитель будет встречен уполномоченным русским офицером в районе восточной окраины Хировка 9 февраля 1944 года в 11.00 по московскому времени.

Если вы отклоните наше предложение сложить оружие, то войска Красной Армии и Воздушного флота начнут действия по уничтожению окружённых ваших войск, и ответственность за их уничтожение понесёте вы».

Ультиматум был подписан представителем Ставки Верховного Главнокомандования Маршалом Советского Союза Жуковым и командующими 2-м и 1-м Украинскими фронтами генералами армии Коневым и Ватутиным.

Дочитав документ, Фуке протянул его немецкому подполковнику и обернулся к Савельеву.

— Хорошо,— сказал он.— Я прошу вас пока отдохнуть в соседней комнате — мне надо доложить об этом письме.

В комнате рядом парламентёров ждал немецкий офицер, доставивший их сюда.

Сквозь закрытую дверь слышно было, как Фуке читает кому-то по телефону текст ультиматума. Потом начался долгий разговор, и до парламентёров порой доносились отдельные восклицания полковника. Прошло около часа, когда Фуке распахнул дверь и пригласил офицеров к себе.

— Я уполномочен вести с вами переговоры,— объявил он.— Прошу вас сейчас рассматривать меня как командующего всеми окружёнными войсками. Я хотел бы выяснить более детально сущность ваших предложений.

Начались переговоры. Фуке и подполковник-генштабист поперебой задавали парламентёрам вопросы, прося уточнить те или иные положения ультиматума. Чувствовалось, что письмо нашего командования вызвало интерес у противника и что штаб окружённой группировки склонен если не целиком принять условия капитуляции, то, во всяком случае, завязать на основе их переговоры. Наконец, когда всё было выяснено, полковник Фуке поднялся из-за стола.

— Передайте вашему командованию,— сказал он,— что ультиматум будет рассмотрен и ответ на него мы сообщим так, как вы предлагаете. К вам будет послана делегация.

Офицерам снова завязали глаза, и вскоре они были доставлены к кладбищу на окраине Хировки. Когда они шли через нейтральную полосу к нашим окопам, Савельев спросил у лейтенанта:

— Ну, каково ваше впечатление?

— По-моему, примут,— сказал Смирнов.

— И мне так кажется,— согласился подполковник.— А впрочем, завтра поглядим.

Всю ночь и утром следующего дня на стеблевском участке фронта стояло затишье. В 11 часов на нашей стороне всё было готово для встречи делегации противника. Но парламентёры немцев не появлялись. А час спустя над окопами стрелков Трофименко около хировского кладбища просвистели первые снаряды и вдали разногласо захлопали немецкие пушки. Окружённые войска возобновили боевые действия.

Из двух путей — в плен или в могилу — противник выбрал второй. Гитлер приказал продолжать сопротивление и снова дал обещание во что бы то ни стало выручить окружённых. Это заставило войска Корсунь-Шевченковской группировки немцев отклонить наш ультиматум.

(Окончание следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

ЯРОСЛАВ ГАЛАН

★

О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

Статья выдающегося украинского публициста и писателя Ярослава Галана «О чём нельзя забывать» была напечатана на украинском языке в газете «Радянська Украина» 2 сентября 1947 года в связи с празднованием 800-летия Москвы. На русском языке статья публикуется впервые.

Город Москва празднует своё 800-летие. Это, вероятно, единственный город, к которому никто не относится равнодушно. Тридцать лет назад человечество раскололось на два лагеря: на тех, кто любит Москву, и тех, кто ненавидит её. Нейтральных нет: линия раздела проходит через каждый континент, через каждую страну, она затрагивает каждое человеческое сердце.

Иначе не может быть. Любить Москву — это значит любить человечество, верить в него, верить в его завтрашний день и ради этого дня работать, бороться, а если надо — погибнуть в бою. Ненавидеть Москву — значит быть врагом человечества, врагом его самых лучших стремлений, врагом грядущих поколений.

Те, кто ненавидит, противопоставили Москве «Запад». Никогда ещё, даже в годы Клемансо, Остина Чемберлена и Гувера, не пролито столько чернил во славу Запада и его культуры, сколько проливают их сегодня обычные писаки вершителей судеб Альбиона и «Нового света». Фактам эти эпигоны Геббельса и Розенберга объявили беспощадную войну. Если факты на стороне Москвы, тем хуже для фактов: их с успехом заменит ложь.

Эта ложь имеет за собой богатую историю. Немалое место в этой истории занимает также её украинская глава.

Началось с Михаила Грушевского, по профессии историка, по духу врага истории. В его руках благородная муза Клио превратилась в ничто и была вынуждена служить грязным богам с берегов Шпрее и Дуная. Легкомыслие, с которым Грушевский относился к историческим документам, должно было удивить лишь простаков. Эти простаки не знали, что для Грушевского все способы были хороши, если они вели к цели. А цель у Грушевского была одна: оторвать Украину от Москвы и присоединить её к Берлину, присоединить в переносном, а если нужно будет, то и в буквальном понимании этого слова.

Ради этой цели делалось всё, что только можно было делать. Прежде всего Грушевский меняет местопребывание: климат австрийского Львова больше благоприятствует его творческим планам. В ста шагах от усадьбы кесарско-королевского наместника Грушевский садится за работу, и вот из-под его пера выходят всё новые и новые листы «Истории Украины», в которой чем дальше, тем меньше истории и всё больше фальсификации. Общее происхождение украинского, русского и белорусского народов? Оно для Грушевского не существует. Ещё при Владимире Великом была Украина самостийной, ни от кого не зависела, и баста. Читая рассказ этого темпераментного историка о давних време-

нах, удивляешься, почему при Ярославе Мудром не было «Просвіт» и почему летописец Нестор не ездил также за вдохновением к Виндობону...¹ Русские? Здесь уже историк превращается в демонолога. Москва у Грушевского — это демоническая сила финских болот, которая появляется на сцене лишь тогда, когда Украине надо нанести какую-то очередную обиду. Грушевского ничуть не волнует то, что факты говорят другое; его ничуть не тревожит то, что иначе, совсем иначе думали о Москве наши предки — трудовой люд Украины.

Невыгодные факты этот «историк по заказу» обходит молчанием, а отсутствие выгодных — компенсирует догадками или же обычными сплетнями.

Рассказывая о Богдане Хмельницком, этот «историк» превращается в беллетриста. Не имея каких-либо доказательств того, что Хмельницкий разочаровался в Переяславе, Грушевский не сдаётся и применяет метод, заимствованный у авторов исторических романов. Он пишет не о делах Богдана, а о его... мыслях, причём эти мысли оказываются тождественны мыслям будущего председателя Центральной рады.

Желая показать нам, что Хмельницкий ненавидел Москву не меньше, чем Грушевский, автор «Истории Украины» ищет помощи у Выговского, который, дескать, рассказывал московским боярам, будто Хмельницкий на старшинской раде 1656 года «скричав, як божевільний і несамовитий, що нема іншого виходу, як відступити від Москви і шукати собі іншої помочи». Повторив за Выговским эту сплетню, автор в то же время замечает, что Выговский сказал это боярам, «запобігаючи їх ласки собі на будуче»,

¹ Говоря о «Просвітах», Ярослав Галан имеет в виду культурно-просветительные общества, захваченные украинскими буржуазными националистами.

Виндობона — название римского укрепленного лагеря, на месте которого в XI—XII веках возник город Вена. (Примеч. ред.)

и таким образом рисует Выговского как интригана и подлизу. Но достаточно было, чтобы Выговский оказался человеком «западной ориентации», изменил Москве и вместе со шляхтой пошёл на неё войной, как Грушевский вдруг становится энтузиастом интригана и подлизы, величая его чуть ли не национальным героем.

К превеликому сожалению Грушевского, украинский народ не разделял западной ориентации ни с Грушевским, ни с Выговским, ни с Мазепой, а, наоборот, в русском человеке видел не демона, а родного брата. Доказательств этому в истории Украины так много, что не вспомнить об этом Грушевский не мог. Волей-неволей он вынужден признать, что под Германовкой «с Выговским было только наёмное войско и поляки», ибо все украинцы покинули его и перешли к Юрию Хмельницкому. Беспомощен Грушевский и перед лицом Полтавы. Но ведь надо это явление как-то объяснить, и Грушевский объясняет: народ был, дескать, тёмный, верил неправдоподобным слухам. Кроме того, этот народ, видите ли, очень не любил поляков и шведов.

А Грушевский любил, особенно шведов. Однако в практической жизни из-за непригодности шведов он перелил эту любовь на немцев и как председатель Центральной рады пригласил их на Украину. Историк, апологет, панегирист Мазепы выступает в роли Мазепы № 2. Но судьба — в лице немецкого лейтенанта — спасает Мазепу № 2 от второй Полтавы, и всё заканчивается лишь тщательным обыском карманов учёного-«западника».

Грушевский сходит с арены, но последователи его остаются. В Харькове откровенно преклоняются перед Западом Микола Хвильовый, во Львове — Дмитро Донцов. Оба они делают это с размахом, которому мог бы позавидовать Михайло Грушевский. Тот иногда сохранял, по крайней мере, элементарные правила приличия. Хвильовый и Донцов в лакейском экстазе теряют всякую

меру, всякое человеческое подобие; фанатическая ненависть к красной, революционной Москве — вот весь идейный багаж этих восхвалителей «западной культуры». Ненависть к Москве будила в них ненависть к собственному украинскому народу, который свою судьбу, своё настоящее и будущее связал с судьбой и будущим звездноносной северной столицы. Среди нэпманской буржуазии и кулачья Хвильовому было уютно; но он знал, что эта публика неспособна уже сыграть самостоятельную роль, и Хвильовый поворачивает свой взор на Запад, за Збруч, в кабинет своего вдохновителя Донцова и ещё дальше, туда, где детердинги, чемберлены, брианы куют оружие интервенции.

Романтика революции не пленяет творческого воображения Хвильового. Её место занимает иная «романтика». Хвильовый предстаёт перед читательской массой в позе страстотерпца с терновым венцом на голове и устами своего героя Карка спрашивает: «Неужели я лишний человек потому, что люблю безумно Украину?» Любопытным он готов даже показать виновника своих страданий. Это, мол, «московская сила, большая, гигантская, фатальная». И тут же предлагает панацею от этой своей беды: «Убегу от психологической Москвы и ориентируюсь на психологическую Европу».

Читатели разводят руками: на какую это психологическую Европу советует им ориентироваться Хвильовый? На Европу Маркса? Зачем же тогда удирать от марксистской, революционной Москвы? Певец «голубой Савойи» недвусмысленно подмигивает и в «Вальдшнепах» подсовывает читателям ответ. Этот ответ они услышат из уст молодой адепки Муссолини и Донцова.

«Безумная любовь» вылилась теперь в безумную ненависть к Украине. Пленённый психологической Европой Муссолини и Гитлера, Хвильовый применяет методы, рекомендованные несколько сот лет назад флорентийским учителем фашистского диктатора Муссолини. Когда

над головой Хвильового нависает буря, он кается, он бьёт себя в грудь, он «суждает свои ошибки». Хвильовый рассчитывает на то, что один такой шаг вперёд даст ему возможность сделать десять очередных шагов назад. Покровительство Миколы Скрипника всякий раз помогает ему. Хвильовый выходит из бури живой, здоровый, невредимый и с новыми силами берётся пропагандировать «единение с психологической Европой».

В стране успешно разворачивается социалистическое строительство.

Харьковский Макиавелли, который до сих пор считал необходимым называть нэп корнем всяческих бед и трагедий революции, переживает сейчас трагедию вместе с нэпманами. С их исчезновением иссякает источник его творчества, узкая социальная база хвильовизма ещё более сужается, к тому же всадники интервенционного апокалипсиса безнадежно застряли где-то на подступах к санитарному кордону.

Идейный отец Хвильового — Дмитрий Донцов — оказался более счастливым, нежели его харьковский воспитанник. Деятельность Донцова не только не вызывала возражений со стороны правительства Пилсудского, а, наоборот, шла в русле интересов и стремлений руководящих сил тогдашней Речи Посполитой. Донцов умел использовать благоприятную конъюнктуру. Прибрав к рукам львовский журнал «Літературно-науковий вісник», он делает из него трибуну воинствующего национализма. То, что у Хвильового звучало, как намёк, в «Віснике» гремит, как иерихонская труба. Здесь вы уже не найдёте завуалированных призывов, вроде «ориентации на психологическую Европу» и «бегства от психологической Москвы». Вместо «ориентации» на Европу Донцов провозглашает службу Европе, а «бегству от Москвы» он противопоставляет недвусмысленное наступление на Москву.

Надо сказать, что донцовской слабости к Западу было почти столько лет, сколько и слабости Грушевско-

го. Донцов в 1914 году подвизался в «Союзе освобождения Украины» и показал себя очень оперативным исполнителем поручений немецкой разведки. В 1918 году он дослужился до того, что из рук генерала Эйхгорна получил ответственный пост в правительстве Скоропадского. Постигнув так все технические детали службы Западу, он — не добровольно — в конце концов приехал во Львов и тут посвятил свои силы «теории».

Прежде всего Донцов открывает «жаждущую душу фаустовского человека», который, по его мнению, «мог родиться лишь в цивилизации, созданной историей Европы». Характерными чертами этого созданного Донцовым «человека Запада» является, по его словам, «полнота самоотречения и абстрактного, чисто спортивного наслаждения действием, дух экспансии и творческого упорства».

Нарисовав радужными красками портрет «человека Запада», Донцов берёт чёрную краску и рисует ею... Москву.

Не рисует, а мараёт. Русских он причисляет к «расе слабых, народу-плебею». Приблизительно такой же диагноз даёт Донцов и русской литературе. Для того, чтобы у Альфреда Розенберга, чего доброго, не возникли сомнения относительно лояльности его львовского подголоска, подголосок грязнит не только Москву, не только русских, но и весь славянский мир, для которого этот выученик фашистского дьявола находит лишь одно определение: «бесхребетный».

Не щадит Донцов и Украину, её он издевательски называет «Провансом», а народ её — «бесхарактерным и безвольным рабом».

Донцов забрасывает Украину прозаической грязью, Евгений Маланюк — стихотворной. Уже не только слово «Москва» вызывает у этих «тожевропейцев» пароксизм бешенства; такой же эффект производят слова «Украина», «украинский народ». Если история их чему-нибудь даже научила, то только этой ненависти.

Налитые ею, они в своём больном воображении рисуют уже картину мести, картину, сделанную, конечно, по западным образцам. Европеизированный Донцов придумывает более изысканные методы расправы с «взбунтовавшейся чернью», чем мог их выдумать недостаточно ещё европеизированный Грушевский. Донцов вызывает дух Торквемалы, перед его восторженным взором горят уже огни «святой инквизиции», он слышит уже железные шаги так тепло воспетых им завоевателей-конквистадоров. Он нетерпеливо ждёт, когда эти конквистадоры принесут на мечях народам России и Украины судьбу ацтеков. Для тех, кто уцелеет, он готов возобновить крепостничество и печатает в своём журнале статью, которая должна обосновать применение в будущей фашистской Украине «права первой ночи».

Наконец день Донцова настает. Западные конквистадоры во главе с Адольфом Шикльгубером идут войной на Восток. Идут, если верить Донцову, «для абстрактного, чисто спортивного наслаждения действием». Но прошло немного времени, и даже некоторые ученики Грушевского, последователи Хвильового и воспитанники Донцова раскусили «абстрактное, чисто спортивное наслаждение действием» Гитлера.

И произошло ещё одно, чего восхвалитель жаждущей души «фаустовского человека» и враги Москвы никак не ожидали. Многомиллионная армия западных конквистадоров потерпела позорное поражение, а обречённая Донцовым «раса слабых плебеев» разнесла в пух и прах империю, перед которой опустилась на колени чуть ли не вся донцовская Европа... Безапелляционно осуждённая Донцовым «бесхребетная славянская душа» показала свою подлинную силу на полях Подмошкovie, Сталинграда, Курска, Корсуня...

Кое-кому могло показаться, что события последних лет навсегда положили конец преклонению перед Западом. Но нет. Это преклонение

будет длиться так долго, как долго за сконструированным Черчиллем железным занавесом будут жить, плодиться золотые идолы донцовых. Тут дело не во вкусах. Маршалу Чан Кай-ши наверняка не импонируют традиции Великой французской революции, и он не дал бы и одного китайского доллара за реликвии, рассказывающие о генерале Вашингтоне, однако это не мешает ему смотреть с исключительным благоговением на город Вашингтон и все свои надежды возлагать на англо-саксонских сверхчеловеков, которые у него под носом насилуют китайских студенток...

Мы не делим мир на Восток и на Запад; мы знаем, что линия раздела проходит сегодня через все континенты, все страны, что она затрагивает каждое человеческое сердце. Мы знаем, что есть две Америки, что есть две Европы. Мы на стороне Европы Джордано Бруно, Галилея, Мюнцера, Ньютона, Марата, Гарибальди, Гюго, Пастера, Роллана, Маркса, Энгельса, Либкнехта, но мы непримиримые враги Европы инквизиции Карла V, Борджиа, Екатерины Медичи, Наполеона III, генерала Галифе, Бисмарка, Вильгельма II, Муссолини, Гитлера, Франко и Цалдариса. Мы знаем, почему те, кто сегодня преклоняется перед Западом, преклоняются именно перед этой второй Европой, как знаем и то, почему люди доброй воли в Европе и за её границами уважают и любят Москву.

Празднуя 800-летие Москвы, мы не идеализируем её прошлое, но мы не забываем и о том, что в самые чёрные дни царского и боярского произвола никто ни в Москве, ни под Москвой не устраивал процес-

сов ведьм и что никому здесь и в голову не пришло делать из десятков тысяч ни в чём не повинных людей живые факелы во славу Иисуса. За 800 лет существования этой столицы не было в ней также ничего такого, что хотя бы слегка напоминало резню гугенотов...

В то же время мы помним о том, что в этом городе люди умели ценить свободу и отдавать за неё жизнь. 1612 и 1812 годы никто не вычеркнет из страниц истории.

На московских баррикадах 1905 года запылала заря новой эпохи, на баррикадах Октября родилась новая Москва, столица первого в истории человечества социалистического государства — надежда, гордость и любовь всех людей с честью, с совестью.

История, особенно история последних тридцати лет, научила нас, в частности, тому, что любовь к Москве — любовь к Украине, что ненавидеть Москву — значит ненавидеть Украину. Далёк путь от Грушевского до бандеровских разбойников, но он тот же. Грушевский и его Центральная рада опирались на штыки Вильгельма II, бандеры и мельники — на штыки Гитлера. Сегодня националистический сброд вспарывает животы галицийским детям во славу очередных своих хозяев с Запада. У них меняется лишь тактика, а методы остаются те же: методы измены, провокации.

На страже свободы и независимости Украины крепко стоит могучая советская Москва, столица и символ нашей великой социалистической Родины — СССР. В этом — источник нашей любви к ней.

*Перевод с украинского
Л. Шапиро.*



О. ДОБРОЛЮБСКИЙ
Кандидат химических наук

★

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ

И прошлым летом в одном из районов Одесской области мне довелось повстречаться со старым знакомым. Агроном по специальности, человек с большим практическим стажем работы, он учился в нашем сельскохозяйственном институте на заочном отделении и приезжал в Одессу на экзаменационную сессию.

День выдался нежаркий, и мы решили пройти на поле пешком. Естественно, что по дороге завязался разговор об институте, о связи науки с колхозным производством и о конкретных возможностях в кратчайший срок обеспечить намеченный партией крутой подъём всех отраслей сельского хозяйства.

Мой собеседник — мужчина, как говорится, не первой молодости. Мне вспомнился первый день нашего знакомства в институтской лаборатории, когда он, представляясь преподавателю, сказал с застенчивой усмешкой: «На старости лет решил в студенты записаться!» Видимо, это обстоятельство его несколько смущало и беспокоило самого, и потому он предупреждал невысказанный вслух вопрос. Я подумал тогда: «В самом деле, ведь нелегко, когда за сорок лет, снова наряду с первокурсниками братья за учебники». И, как это часто бывает в беседе, агроном, будто подслушав сейчас мои мысли о нём, вдруг доверительно произнёс:

— Хотите верьте, хотите нет, но скажу вам откровенно: на многое, на очень многое стал смотреть другими глазами. Пахота, сев, обмолот — всё это мне известно. А теперь вот знаю, что с этой самой земли, если по-новому за неё взяться, можно получить в два, в три раза больше, чем она сейчас даёт. Спросите: каким образом? Отвечу на это: потому что, как сказал Михайло Васильевич Ломоносов, «далеко стирает химия руки свои в дела человеческие!» В наше-то время эти слова звучат ещё более сильно, чем тогда. Хочу показать вам наглядно, что можно сделать, если наш брат — колхозный агроном — немножко разбирается в проблемах современной химии.

Мы подходили к полю. Неподдалёку виднелся комбайн, убиравший пшеницу. Агроном продолжал:

— Как получить хороший урожай, колхозники давно знают: правильная обработка земли, травопольная система, севообороты, техника и всё прочее. Вы посмотрите, как наши бригадиры дерутся за химические удобрения! Давай только побольше фосфорных, калийных и азотных. А вот и кое-что другое, пока ещё мало используемое, но весьма перспективное... Видите?

Массив пшеницы был поделён на два равных участка. И даже человеку, который не может отличить, скажем, ячменя от овса, было бы ясно, что на одном участке урожай значительно выше, чем на другом, да и зёрна пшеницы здесь получше.

— Очевидно, по-разному обработали землю?

— Нет, ошибаетесь, — ответил, улыбаясь, мой спутник. — И почва на участках одинаковая и методы обработки одни и те же. Больше того, азотных, калийных и фосфорных удобрений оба участка получили в равных количествах.

В чём же дело? Оказывается, что на участке с лучшей пшеницей в почву было внесено соединение марганца, несколько килограммов на гектар. Состав пшеницы

обогатился белком, укрепилась механические элементы стебля и уменьшилось полежение растений.

— Не думайте, что это хорошо только для пшеницы, — заметил агроном. — Возьмём хотя бы кормовую свёклу. Если внести другой микроэлемент — бор — в количестве всего двух килограммов на гектар, то урожай свёклы увеличится в несколько раз. И качество её будет куда лучшим. Дело ясное, а вот...

Он с огорчением стал говорить о том, как мало ещё применяются микроэлементы в колхозном производстве, как трудно бывает подчас побороть многолетние привычки, правила, «традиции» — другими словами, всё то, что может быть единственно правильно охарактеризовано как привычка работать по старинке, по установившимся рецептам.

А я подумал и о другом: какие есть у нас богатейшие, ещё не вскрытые резервы для решения самой насущной сейчас государственной задачи! И ещё: достаточно ли хорошо представляют себе работники сельского хозяйства — руководители и рядовые — ту роль, которую могут сыграть микроэлементы в повышении урожаев и росте продуктивности колхозного и совхозного скота?

Мне кажется, что на эту тему стоит поговорить несколько подробнее.

ЧТО ТАКОЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ?

В почве содержатся все химические элементы, но количество их различно. В земной коре много, например, железа, калия, кальция, магния, фосфора, серы, азота. Эти элементы называют макроэлементами. К микроэлементам же относятся такие химические элементы, которые находятся в почве, воде и различных организмах в очень малых количествах: марганец, цинк, медь, кобальт, бор, мышьяк и ряд других.

Люди, животные и растения не могут существовать без тех или иных микроэлементов, хотя бы даже и в самых минимальных дозах. Их содержание в организмах составляет от 0,001 до 0,000000000001 процента.

На особую роль микроэлементов в жизненных процессах впервые обратил внимание замечательный русский учёный В. И. Вернадский. Ныне значение их для растительных и животных организмов стало общепризнанным. Многие микроэлементы входят в состав витаминов, ферментов, гормонов и ряда других веществ. От них зависит здоровье человека и животных. Они влияют на урожай сельскохозяйственных культур и на продуктивность скота.

Советские учёные разработали ряд научных основ использования микроэлементов в сельском хозяйстве. Однако масштабы их применения совершенно недостаточны. Такого рода недооценка очень эффективного мероприятия особенно недопустима в наши дни, в связи с задачами, поставленными партией и правительством перед социалистическим сельским хозяйством.

Одним из преимуществ тех самых марганцевых удобрений, результат применения которых демонстрировал наш агроном, является то, что нужны они растениям в весьма небольших количествах. В зависимости от вида сельскохозяйственной культуры, состояния почвы и других условий их применяют всего лишь от одного до десяти килограммов на гектар, то есть несравненно меньше, чем расходуется обычных удобрений.

Известен опыт, проделанный И. В. Мичуриным. Когда учёный внёс в почву соли марганца, плодородие миндаля наступило не на шестой год, как обычно, а уже на второй год. Рост растения увеличился более чем в три раза: вместо 53 сантиметров оно вытянулось до 178 сантиметров высоты. «Этот чудовищный прыжок роста произвёл марганец своим влиянием, — писал Мичурин, — как химический стимулятор, чрезвычайно ускоривший процесс не только роста миндаля, но перенёсший на второй год своё влияние, выразившееся в строении косточек созревших плодов, створки которых раскрылись ещё на ветвях, и зёрна проросли».

С присущей ему дальновидностью И. В. Мичурин отмечал: «...Описанный факт даёт нам полное основание надеяться, что в недалёком будущем мы найдём подходящие составы для ускорения роста и других плодовых растений».

В свете этого очень отрадным является сообщение газет о том, что в Азербайджане сернокислотный завод имени Фрунзе использовал отходы марганцевого производства и освоил выпуск марганцевого микроудобрения. Завод уже отгрузил сельскому хозяйству республики сотни тонн этого нового вида «стимулятора» урожайности.

Заслуга постановки серьёзных исследований по изучению марганцевых удобрений принадлежит академику П. А. Власюку. Он доказал их положительное влияние на урожайность сахарной свёклы, пшеницы, кукурузы, ячменя, овса, проса, картофеля, табака, конопли, хлопчатника. Хорошие результаты на различных почвах были получены также при выращивании огурцов, томатов, капусты и клубники.

Возьмём теперь борные удобрения. Эффективность их действия установлена на различных почвах страны: подзолистых, краснозёмах, серозёмах, на торфяниках, а также, как выяснилось в последнее время, и на некоторых чернозёмных почвах.

Особенное значение имеет бор при возделывании льна, клевера, люцерны, кормовых корнеплодов, различных овощных культур, картофеля. Оказывается, что при внесении соединений бора, например, борной кислоты, в пределах до трёх килограммов на гектар прибавка урожая моркови составила 44 центнера, тыквы — 34, томатов — 43, а общий урожай лука — до 64 центнеров на гектар. Это ли не наглядный пример резервов увеличения производства овощей!

Есть растения, имеющие особенно повышенную чувствительность к бору, в частности сахарная свёкла. При получении высоких урожаев этой культуры почва будет значительно обедняться бором, и поэтому требуется вносить его добавочные количества. Таким путём можно повысить урожай сахарной свёклы в полтора раза.

Получены данные о повышении урожайности подсолнечника при помощи соединений бора. Это относится также и к многим зерновым культурам, хлопку, табаку, плодовым деревьям. Так, кукуруза в полевых опытах даёт прибавку урожая до 50 процентов, хлопок — до 20 процентов.

Можно привести много примеров благоприятного воздействия других микроэлементов на урожай различных растений. Известно, что соединения цинка увеличивают урожай ячменя, овса, чеснока, гороха. Такой микроэлемент, как кремний, крайне необходим рису — сухой вес растений поднимается с 4,4 до 7 граммов. Применение соединений алюминия очень хорошо сказывается на росте урожайности ряда сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы, ячменя, овса, проса, подсолнечника, кукурузы. Удалось, например, добиться увеличения веса початков кукурузы до 150 процентов. Благодаря такому малоизвестному элементу, как молибден, можно добиться большего урожая бобовых культур. Соединения меди увеличивают урожай картофеля.

Положительные результаты даёт не только использование какого-либо одного микроэлемента, но и применение определённых смесей. Возможности здесь буквально неисчерпаемы.

Может возникнуть такой вопрос: допустим, что всё это выглядит столь заманчиво лишь в лабораториях учёных и на опытных участках, а не получится ли совсем иная картина в полевых условиях?

Конечно, многие данные бывают порой противоречивыми, они не всегда подкреплены опытами в больших масштабах. Но уже есть немало совхозов, колхозов, учебных хозяйств, где широко применяются микроэлементы. Их опыт в этой области полностью оправдал себя, и чадо его распространять.

В прошлом году, например, марганцевые удобрения с успехом использовались на колхозных полях ряда районов Азербайджана. В колхозе имени Андреева Бердянского района была произведена подкормка значительной площади хлопковых посевов. Это ускорило рост кустов и созревание коробочек хлопчатника, дало прибавку урожая на 5—6 центнеров с гектара. Урожайность люцерны под воздействием соединений марганца увеличивалась на 25—30 процентов.

Услышав обо всём этом, неискушённый человек вправе спросить: в чём же, мол, дело? Почему повсеместно не вносят в почву эти замечательные соединения? Известно о них давно, значит надо лишь смелее их внедрять в производство и получать богатейшие урожаи?

Применять микроэлементы в сельском хозяйстве без разбора, везде и всюду, нельзя. Они способны давать порой и отрицательные результаты. Тот же бор на известкованной кислой почве может привести к уменьшению урожая. Следовательно, мы должны в первую очередь знать химический состав почвы. Кроме того, не для всех сельскохозяйственных культур «подойдет» тот или иной микроэлемент.

А доза? Совершенно различные результаты можно получить при внесении больших или меньших количеств каждого данного соединения. Если человек примет полграмма аспирина, то это количество, очевидно, подействует на него благотворно. Что же будет, если он введёт в организм 50 граммов аспирина сразу? Лекарство вместо целебного действия вызовет тяжёлое отравление. Небольшая доза морфия лечит человека, а большая — убивает.

То же самое можно сказать и о микроэлементах, которые также являются ярким примером проявления закона диалектического материализма о переходе количества в качество. Бор в соответствующей мере может увеличить урожай, а значительно большие количества его придадут иное качество, ведущее порой к гибели растения. Вообще надо иметь в виду, что изменение количеств различных минеральных веществ, поглощаемых организмами, ведёт к качественным изменениям в этих организмах.

Но совершенно очевидно одно: да, микроэлементы надо безусловно вносить возможно шире. Наш агроном был прав, говоря о тающихся здесь неограниченных возможностях. Однако пользоваться этими веществами надо с толком, умело, зная количества, необходимые для определённой культуры, и состав почвы, учитывая другие применяемые удобрения, климатические условия и так далее.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОПЫТЫ

Повышение урожайности можно получить не только при внесении микроэлементов в почву, но и при обработке ими семян. Дело в том, что организмы особенно чувствительны к внешним воздействиям на ранних этапах своего развития. Для растений периодом пробуждения к жизни является наклёвывание и начало прорастания семян. Внешние условия могут вызвать тогда резкие изменения во внутренних особенностях зародыша, которые приведут к перестройке организма.

Семена не столько поглощают микроэлементы, используемые позднее взрослыми растениями, сколько под их влиянием возникают внутренние изменения клеток семени. Поэтому необходимо учитывать дозу микроэлементов, время их воздействия, последующие условия жизни растения. Даже тот факт, развиваются ли растения в условиях жаркой или холодной погоды, способен оказать существенное влияние.

Следует ещё добавить, что обработка семян часто оказывает дополнительное влияние на повышение засухоустойчивости. Действительно, воздействуя не на сформировавшееся растение, а на его зародыш, легче приспособить растение к неблагоприятным условиям внешней среды.

Академик П. А. Власюк приводит интересные данные многолетних опытов в ряде колхозов по предпосевной обработке семян марганцевыми, цинковыми, а также магниевыми и борными солями в объединении с яровизацией. Различные сорта сахарной свёклы дают прирост урожая от 10 до 28 процентов. Увеличение урожая ячменя и овса колеблется от 14 до 20 процентов.

Кстати сказать, стоимость солей для обработки семян на гектар составляет всего-навсего 90 копеек. Следует учесть и ещё одно важное обстоятельство: на обработку семян, например, борной кислотой затрачиваются количества в сотни раз меньше, чем дозы, вносимые в почву. Всё это имеет большое народнохозяйственное значение.

Один из наших крупнейших специалистов в области микроэлементов, доктор биологических наук М. Я. Школьник, проверял метод обработки семян химическими растворами на землях различных колхозов — в Воронежской области, на полях, окружённых лесными полосами, и в открытой степи, в Херсонской области, где засуха бывает более сильной. При всех условиях ячмень давал значительное повышение урожая. Применение семян, обработанных раствором борной кислоты, на дерново-подзолистых почвах Ленинградской области, крайне бедных содержанием бора, дало ещё

более значительный эффект. В ряде колхозов прибавка урожая доходила до шести центнеров с гектара.

Казалось бы, где уж получить приличный урожай, допустим, на болотистых почвах! Но и здесь применение микроэлементов позволяет добиться разительных успехов. На этих почвах медные удобрения в некоторых случаях в два-три раза повышают урожай пшеницы, ячменя, проса, овса. Благодаря этому методу значительно больше собирают также проса, подсолнечника, гороха, фасоли, махорки, сахарной и кормовой свёклы, трав и других культур. Можно прямо сказать, что без такого микроэлемента, как медь, невозможно добиться высоких урожаев многих культур, возделываемых на торфяниках. Интересно, что содержащие медь удобрения нет надобности вносить ежегодно: они действуют на протяжении четырёх-пяти лет.

Хорошие результаты получаются при внесении в торфяную почву также и других микроэлементов. Соединения цинка, к примеру, повышают урожай кок-сагыза. Подобные агроприёмы дают возможность освоить под сельскохозяйственные культуры огромные массивы земель, которые ранее не использовались.

Практика говорит в пользу применения микроэлементов в смысле улучшения качества продукции земледелия. А это обстоятельство приобретает сейчас, в свете последних решений партии и правительства, особенное значение.

Взаимодействуя с другими элементами минерального питания, бор, например, влияет на общее развитие растений, на образование хлорофилла, повышает углеводный обмен в растениях и, таким образом, не только увеличивает урожай, но и значительно улучшает его в качественном отношении. Работами ряда исследователей установлено, что соединения бора, во-первых, способствуют росту урожая семян и, во-вторых, придают им более высокие посевные, биологические качества, причём важно, что это улучшение передаётся по наследству следующим поколениям.

Соединения бора повышают содержание крахмала в клубнях картофеля, сахара в сахарной свёкле и в томатах. Это же химическое вещество увеличивает количество каучука в корнях кок-сагыза, жира в масличных растениях, а также содержание в растениях различных витаминов, в первую очередь витаминов «А» и «С». Из многочисленных опытов, поставленных в колхозах, видно, что сахаристость сахарной свёклы увеличилась под влиянием бора (соединение бора) более чем на один процент. На первый взгляд, не столь уж много. Но нетрудно представить себе, что по всей стране это может дать огромное дополнительное количество сахара.

Таким же свойством обладают и марганцевые удобрения. Применение их даёт больше сахара в сахарной свёкле, увеличивает содержание белка в пшенице и просе.

Известно, что томаты, выросшие на землях, бедных марганцем, отличаются более низким содержанием аскорбиновой кислоты. Чтобы исправить этот недостаток, попробовали внести марганец в сулестаную почву. Результат превзошёл все ожидания: в томатах стало больше аскорбиновой кислоты почти вдвое. Провели опыт с тем же микроэлементом на землянике, и содержание витамина «С» в её ягодах повысилось на 14 процентов. То же происходит с морковью, шпинатом и многими другими сельскохозяйственными культурами. Под влиянием соединений цинка повышается содержание витамина «С» в плодах лимона.

За последние годы хорошие показатели применения микроэлементов получены для винограда. При внесении соединений бора из расчёта лишь двух килограммов на гектар урожай винограда прибавился более чем на 6 центнеров. При применении марганца на виноградниках Узбекистана увеличение урожайности выразилось в 27,4 центнера на гектар. Соединения кобальта и цинка дали не только количественное увеличение урожая, но и увеличение сахаристости винограда. Кислотность же его, напротив, уменьшилась. Несомненно, что микроэлементы должны оказать существенное влияние и на качество сырья для производства вина.

Микроудобрения можно совсем не вводить в почву. Хорошие результаты получаются и при так называемом внекорневом питании растений, когда слабыми растворами различных солей производят опрыскивание листьев, соцветий — всей зелёной массы растения.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Уметь управлять процессами обмена веществ с помощью микроэлементов важно не только для земледельца. Соответствующие навыки нужны и животноводам, чтобы вооружиться новыми возможностями увеличения удоев скота, повышения прироста молодняка.

Интересные данные получены В. В. Ковальским, показавшим влияние кобальта на рост овец и ягнят. При добавлении к обычному рациону 0,002 грамма соли кобальта прирост овец увеличивается в два раза. На почвах, бедных кобальтом, растения содержат его также мало. Крупный рогатый скот или овцы, поедая такие корма, заболевают специфическими болезнями, истощающими организм.

Расскажем об одном опыте, доказавшем благотворное действие на ягнят солей кобальта, вносимых в почву. Поле, в почве которого находилось очень мало кобальта, было поделено пополам. Одну половину удобрили двумя килограммами хлористого кобальта и тремястами килограммами суперфосфата на гектар, а на другую половину внесли только то же количество суперфосфата. Примерно через месяц на обоих участках начался выпас ягнят. Животных, подобранных по возможности одинаково, разделили на две группы, каждая из которых паслась только на определённой половине поля. Вскоре в состоянии животных обнаружилось явное различие. Все ягнята, пасшиеся на участке, содержащем кобальт, чувствовали себя превосходно, тогда как их соседи обнаружили признаки тяжёлого заболевания (энзоотический маразм). Несомненно, что это было вызвано только отсутствием кобальта в почве.

Недостаток меди в пище животных вызывает особое заболевание — лизуху, которая может быть успешно излечена применением небольших количеств медного купороса. У мериносовых овец в местностях, где в почве мало меди, теряется курчавость шерсти. При добавлении к пище животных небольших количеств медного купороса быстро отрастает нормальная, курчавая шерсть.

Примеров, показывающих ряд заболеваний животных, вызванных недостатком различных микроэлементов в пище, можно привести очень много. Но избыток микроэлементов тоже бывает вреден.

У животных, пасшихся в местности, где в почве находится большое содержание химического элемента — молибдена, наблюдался характерный понос, ведущий и к другим заболеваниям. Удой молока коров при этом значительно снижается. Оказывается, что эту болезнь можно излечить путём подкормки животных незначительными дозами другого микроэлемента — меди (медным купоросом).

Как видим, проблема наиболее эффективного использования в животноводстве химических веществ — микроэлементов — является сейчас актуальной. Дальнейшее изучение всех связанных с нею вопросов, внимание к пропаганде уже накопленного опыта в этой области и смелое внедрение этого опыта в практику колхозов и совхозов представляются неотложным делом.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЕ

В постановлении сентябрьского Пленума Центрального Комитета партии указывается на необходимость лучше использовать местные удобрения и резко увеличить выпуск минеральных удобрений.

Решение этой задачи может быть значительно облегчено, если мы, не удовлетворяясь уже освоенными ресурсами и не ожидая привычной помощи откуда-то «сверху» перейдём к наиболее правильным методам хозяйствования: будем на месте, в своём производстве неустанно искать для практического использования всевозможные, ещё не выявленные, но реально существующие резервы. Именно в этом направлении должна сейчас работать мысль руководителей и организаторов сельскохозяйственного производства, колхозников, работников совхозов и МТС.

Речь идёт не только, вернее, не столько о поисках чего-то обязательно оригинального по своей новизне, не о решении алгебраического примера со многими иксами,

игреками, зетами. Но, в смысле очерёдности, прежде всего о более хозяйственно рациональном использовании того, что уже есть под рукой.

В этой связи опять-таки надо говорить о микроудобрениях.

Обычные удобрения обладают, как известно, рядом существенных недостатков. Одни из них содержат бесполезные примеси — «балласт», который непроизводительно транспортируется, другие гигроскопичны, слёживаются при хранении, третьи, например хлорид калия, вредны для ряда технических культур и т. д. Столь распространённое удобрение, как суперфосфат, содержит очень много такого «балласта», что вызывает излишние затраты по его перевозке, хранению и рассеву. Кроме того, суперфосфат содержит свободную кислоту, которая разъедает тару.

Следовательно, тем большее значение приобретает применение наряду со старыми других, более рентабельных удобрений. Научными работниками Института общей и неорганической химии Академии наук СССР создан новый вид удобрений, в состав которых входит азот, фосфор и калий с высоким содержанием питательных веществ. При их использовании получены во многих случаях хорошие результаты. Так почему же никто как следует не заинтересовался этой работой и новые удобрения всё ещё не получили должного распространения?

В равной степени сказанное относится и к микроэлементам. Недооценка их, по меньшей мере, несправедлива. Главное же то, что возможности использования этих химических веществ именно в нашей стране поистине неограниченны. Но вот до сих пор ни Министерство сельского хозяйства, ни Министерство химической промышленности не занялись по-настоящему разрешением столь важных вопросов.

Надо принять во внимание ещё одно значительное обстоятельство. Не обязательно применять в сельском хозяйстве чистые химические соединения. Прекрасным источником ряда элементов являются отходы промышленного производства с их ничтожной отпускной стоимостью.

Отечественные ресурсы обеспечивают любой масштаб применения соединений марганца. Имеющиеся у нас в больших количествах, пока что слабо используемые, марганцевые шламы могут с успехом заменить чистые соли марганца. Марганцевые отсевы представляют собой чёрный пылеобразный порошок, легко высеивающийся, не притягивающий влаги, удобный для перевозки. Установлено, что отходы, отдающие свои микроэлементы постепенно, действуют часто значительно эффективнее, чем чистые соли. А как велики отходы марганцеворудной и металлургической промышленности, сколько могут дать они ценнейших удобрений колхозам и совхозам!

Справедливо указывал в своих работах академик П. А. Власюк, что только в Украинской ССР можно применить в качестве удобрений миллионы тонн промышленных отходов, составляющих неиспользованные запасы прошлых лет. В Грузии ждут своего использования в сельском хозяйстве отходы чиатурской марганцеворудной промышленности. У нас есть и богатейшее никопольское месторождение марганцевых руд, есть и отходы марганцевых разработок западного и восточного склонов Уральского хребта.

Стоимость этих микроудобрений весьма невелика — в среднем 10—15 рублей за тонну. Больше того, заводы с целью разгрузки подсобных территорий подчас отпускают отходы даже бесплатно.

Вот ещё одна любопытная деталь. Затраты на использование марганцевых отходов в качестве удобрений составляют от 60 копеек до 3 рублей 20 копеек на гектар. А чистая доходность в хозяйстве, в зависимости от культуры, под которую применяют отходы, составляет от 50 до 250 рублей и больше на гектар. Сошлёмся снова на доводы академика П. А. Власюка, который подсчитал, что применение этих удобрений в хозяйственных условиях свёклосохозов способствовало уменьшению себестоимости продукции и повышению производительности труда на 10—12 процентов. Это весьма cifra!

В качестве веществ, содержащих другой ценный в земледелии микроэлемент — бор, могут быть использованы бура, борная кислота, воднорастворимые минералы. Их можно взять в ряде озёр, грязевых отложениях Керченского и Таманского полуостровов, использовать бороносную глину. Гидрорациты Индерского района (Гурьев —

Эмбинский бассейн) особенно богаты бором. Зола некоторых сортов каменного угля содержит соединения бора. Как показали исследования последнего времени, хозяйственный интерес вызывают и бормагниевые отходы химических заводов.

Соединения меди применяют не только в виде порошка или раствора медного купороса, но и в виде колчеданных огарков и ряда руд. Титановых отходов и руд особенно много в Северо-Восточной Сибири, в районе города Жданова. Промышленными отходами являются так называемые хлорбариевая и хлорсвинцово-цинковая грязи, которые тоже следует использовать как удобрения. Наша страна, наконец, обладает большим числом месторождений цинкосодержащих руд, у нас есть немало заводов, которые способны обеспечить в любых размерах потребление цинковых соединений.

Таким образом, современное состояние геологической изученности и наши промышленные возможности позволяют снабдить сельское хозяйство большинством микроэлементов. Дело, как говорится, за малым: председателям колхозов, агрономам, руководителям совхозов надо проявить больше инициативы, поинтересоваться, может быть, как применяют микроудобрения в других хозяйствах. И как тут не вспомнить о смекалистом агрономе, с которым мы познакомили читателя. Вот сму-то, прикоснувшись к проблеме микроэлементов, и надлежит шагать впереди многих других.

ЭТО ПОДСКАЗЫВАЕТ САМА ЖИЗНЬ

В неуклонном движении нашего народа по пути к коммунизму постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС открывает новый этап в борьбе за всесторонний подъём социалистического сельского хозяйства.

В своём докладе на Пленуме Н. С. Хрущёв указывал: «Повышение урожайности — главная задача в земледелии. В этом направлении надо осуществить ряд важных и неотложных мероприятий.

Нужно по-настоящему взяться за повышение культуры земледелия».

Правильное, научно обоснованное применение в широких масштабах самых различных микроэлементов — тоже одно из средств, способствующих подъёму культуры колхозного и совхозного производства.

Десятки наших научных учреждений, тысячи специалистов в той или иной степени связаны с проблемами исследования замечательных веществ — микроэлементов. В этой области науки у нас достигнуты несомненные успехи.

Но кто связывает, координирует всю эту работу? К сожалению, никто. Кто организует переход полученных реальных результатов увеличения количества и качества урожая из условий небольших опытных участков в массовое достойное колхозов, совхозов, районов, областей и республик? И на этот вопрос мы не найдём ответа.

Конечно, отдельные научно-исследовательские учреждения и работники выходят за рамки теплиц и опытных полей. Но делается это крайне нерасторпно, в недопустимо ограниченных масштабах. Сейчас не может быть двух мнений о пользе микроэлементов, а вопрос может стоять только о размахе и способах применения их. Новое не сразу утверждается, учат нас классики марксизма-ленинизма. Новое, прогрессивное завоёвывает своё право на существование в упорной борьбе. Борьба с консерватизмом, с инертностью и — если хотите — с беззаботным отношением к использованию имеющихся возможностей необходима и в области использования микроэлементов.

В марте 1950 года состоялась первая Всесоюзная конференция по микроэлементам, созданная отделениями химических и биологических наук Академии наук СССР совместно с Всесоюзной академией сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. К слову говоря, очень интересный сборник материалов этой конференции увидел свет лишь через три года (!) после самой конференции. Разве это не пример того, как тормозится внедрение микроэлементов в различные области народного хозяйства?

В предисловии к этому сборнику материалов совершенно правильно указывалось: «Достижения в этой новой области (микроэлементов. — О. Д.), несомненно, помогут внести новую слазную страницу в историю отечественной науки». Можно добавить,

что решения Центрального Комитета партии обязывают сделать эти достижения — и как можно скорее — достоянием широкой практики.

Микроэлементы являются сейчас такой областью науки, которой интересуются и в которой работают учёные самых разнообразных специальностей. Сюда относятся биологи, физиологи, ботаники, зоологи, химики, агрономы, врачи, ветеринары, животноводы. И, конечно, сюда необходимо отнести практиков сельского хозяйства.

Одним из организационных вопросов, решение которых поможет улучшить работу с микроэлементами во всесоюзном масштабе, является, на наш взгляд, создание определённого координационного центра. Эта организация должна не только обобщить работу различных специалистов, но и указывать направление исследований, обеспечивать внедрение их результатов в производство, поднять науку и практику применения микроэлементов на более высокую ступень, отвечающую историческим задачам, стоящим перед нашей страной. Не настала ли пора организовать в системе Академии наук СССР отдельный институт по работе с микроэлементами?

Уже прошло четыре года с момента созыва первой Всесоюзной конференции по микроэлементам. Для практической помощи сельскому хозяйству и как одно из возможных мероприятий по реализации решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС требуется созыв второй такой конференции. Это надо сделать возможно быстрее.

Ещё один важный вопрос заслуживает большого внимания. Агрономы, плодоводы, виноградари, животноводы и другие специалисты, выпускаемые нашими сельскохозяйственными вузами, чаще всего мало, а подчас и вовсе не знакомы с проблемой микроэлементов. При современном развитии науки это недопустимо. Специалист должен быть не только консультантом, но и инициатором внедрения новых, оправдавших себя методов работы. В настоящее время, пожалуй, только в программах по агрономической химии имеется небольшой раздел по микроудобрениям. Этого далеко не достаточно. Всё, что связано с такого рода вопросами, должно найти широкое отражение в программах по различным специальностям сельскохозяйственных и биологических факультетов.

Нужна и соответствующая учебная, вспомогательная, научно-популярная литература. В ней нуждаются буквально миллионы читателей. И здесь злополучное «но»... Достаточно взглянуть, например, на план издания Сельхозгиза на 1954 год, чтобы убедиться в отсутствии литературы по микроэлементам.

Министерство сельского хозяйства СССР и республиканские министерства не должны быть посторонними наблюдателями в борьбе за широкое внедрение новых химических элементов в сельское хозяйство. Им по праву надлежит взять инициативу в свои руки.

Перспективы дальнейшей работы в области микроэлементов в Советском Союзе огромны. Целый ряд микроэлементов исследован крайне недостаточно. Влияние этих химических соединений испытано лишь в отношении ограниченного количества сельскохозяйственных культур или животных, причём изучение это производилось в большинстве случаев в узких рамках.

Большие возможности, таящиеся в микроэлементах, должны дать новое оружие в руки советских людей для борьбы за овладение силами природы. Правильное решение проблемы раскроет новые связи между живым и неживым в природе и подтвердит с новых позиций её единство. Это обогатит наше материалистическое естествознание новым фактическим материалом.

Научные основы удобрений следует разрабатывать с учётом микроэлементов, необходимых живым организмам. Это значит, что наше народное хозяйство получит миллионы центнеров дополнительного урожая хлеба, овощей, технических культур.

г. Одесса.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Мих. ЛИФШИЦ

★

ДНЕВНИК МАРИЭТТЫ ШАГИНЯН

1

Мариэтта Шагинян принадлежит к числу известных писателей. Большой литературный опыт даёт ей право учить других искусству писать. Начинающие публицисты часто обращаются к ней с просьбой рассказать, как надо работать над очерком. «Я отвечаю своими рабочими дневниками, которые веду уже много лет» Так открывается новая книга Мариэтты Шагинян — «Дневник писателя».

Форма дневника выдвигает на первый план личность автора. Этого нельзя поставить в вину Мариэтте Шагинян. Она писала дневник, то есть календарный отчёт о своей жизни, и мы действительно видим прежде всего личность автора, отражённую в зеркале его деятельности. Зрелище полезное для нас, читателей, ибо Мариэтта Шагинян — человек незаурядной энергии и широкого образования. Она обладает драгоценным качеством — неистребимой жадой знания, стремлением всё видеть, всё испытать. Её девизом являются слова Лобачевского: «Жить — значит чувствовать, наслаждаться жизнью, чувствовать непрестанно новое, которое бы напоминало, что мы живём...» Несмотря на своё гуманитарное образование, Шагинян всегда стремится быть в гуще практической жизни, там, где плавят сталь, добывают газ из сланца, выводят новые породы скота. В этом отношении она действительно может служить примером для начинающих писателей.

Поразительна разносторонность Мариэтты Шагинян. Она цитирует Паскаля и Гёте, свободно разбирается в архитектуре и строительных материалах, живо интересуется технологией бездымного сжигания сланца, описывает множество различных машин

и процессов, знает сравнительные преимущества швицов и симменталов, знакома с холодным воспитанием телят, выращивает мичуринские яблоки у себя на даче, интересуется музыкой и политической экономией, философией и наукой, заседает в учёном совете Института мировой литературы, изучает архивные материалы о пребывании Абовяна в Юрьевском университете, рецензирует диссертации о Банделло (итальянском писателе XVI века), пишет о математике и языкознании. Всё это не только в Москве, у себя дома, нет, — в постоянных разъездах: от Чудского озера до Севана, от горных районов Армении до эггонской низменности. Кто бы подумал, что Мариэтта Шагинян имеет диплом альпиниста? Между тем она первая женщина, взошедшая на Арагац.

Неукротимую энергию Мариэтты Шагинян лучше всего рисует следующий случай. В феврале 1952 года она спешит на общее собрание Армянской Академии наук. Скорый поезд задержан в Гуапсе. Неожиданное препятствие — ливень, обвал, дорога вдоль Черноморского побережья размыва водой. Пропало общее собрание! Вспомнив слова Лобачевского, Мариэтта Шагинян решила не отступать. Ночью, в полной темноте, мимо оползней, среди бури, дождя и снега, она мчится вперёд на случайной машине. Шофёр так устал, что засыпает, положив голову на баранку руля. Дремлют пассажиры в глубине машины, только Мариэтта Шагинян не спит. Несмотря на все преграды, утром писательница уже в Сухуми и пересаживается на поезд, идущий в столицу Грузии.

Но февральская сюита ещё не кончена. Движение по линии задержано стихийным

бедствием, и, когда Мариэтта Шагинян достигает Тбилиси, последний поезд на Ереван уже ушёл. С боем она садится в автобус, идущий через Семёновский перевал. Дует сильный ветер. В горах около двадцати градусов мороза, начинается метель. В Дилижане пикет милиции преграждает путь — перевал закрыт, проехать нельзя. Но это не останавливает настойчивую писательницу. Она снова обходит препятствие, сговорившись с шофёром грузовика. И вот, несмотря на метель в горах и бездорожье, вся покрытая льдом, она достигает цели. «До Еревана мы добрались поздно вечером, но я всё-таки успела поехать на общее собрание, хотя и к шапачному разбору».

Во время этого горного перехода Мариэтта Шагинян всё время «дудела сквозь зубы Лобачевского». Она чувствовала, что живёт, наслаждается жизнью, испытывает новые ощущения. «А ветер вгонял мне моё дудение назад, в зубы, превращая его в хрустальные, ледяные вкусные иголки».

Великое счастье для писателя иметь характер, и Мариэтта Шагинян его, несомненно, имеет. Но самые лучшие человеческие качества могут превратиться в свою противоположность. Наши недостатки суть продолжение наших достоинств, любил говорить В. И. Ленин. Достоинства Мариэтты Шагинян — это энергия, настойчивость, разносторонность, живой интерес ко всему окружающему. Какие недостатки вытекают из чрезмерного продолжения этих достоинств, мы сейчас увидим на примере «Дневника писателя».

Отдыхая после февральских приключений, Мариэтта Шагинян знакомится с новыми произведениями армянской прозы. Это происходит, по её словам, «своеобразным путём, какой практиковался в эпоху Ренессанса». Писатели один за другим приходят в гости к автору «Дневника» и рассказывают содержание своих новых романов. «Рачиа Кочар рассказал мне таким образом в течение четырёх часов свой огромный военный роман, которого не прочесть и в четыре дня».

При помощи такого сокращённого метода эпохи Ренессанса Мариэтта Шагинян успевает узнать, увидеть, записать гораздо больше, чем обыкновенный человек нашей эпохи. Вот она въезжает в село Арени, записывает показатели колхозного производства, бранит председателя за низкий урожай

и в скором времени катит дальше. Председатель — толстый человек с большим сердцем — ещё не оправился от наезда и, может быть, в душе провожает писательницу вольным словом (в духе Банделло), а в это время Мариэтта Шагинян уже где-нибудь далеко записывает в тетрадку названия местных пород овец, процент жирности молока, фамилии передовиков, число оборотов шпинделя, детали машин, коэффициенты полезного действия, человеко-часы и т. д.

Мелькают мимо бутки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри...

В августе 1951 года Мариэтта Шагинян прорезала, как метеор, четыре или пять советских республик, задержавшись несколько дольше в Эстонии. Всего в дороге она была двадцать суток, из них в Эстонии — не более десяти. За это время Шагинян успела осмотреть достопримечательности Клина, Новгорода, Ленинграда, Таллина, Тарту, Вильнюса, Минска, собрать необходимые сведения о механизации лесного хозяйства в Крестцах, познакомиться с работой Эстонской Академии наук, Тартуского университета и Центрального архива Эстонии, обследовать положение дел с животноводством и мелиорацией в республике, посетить колхозы и опытные станции, изучить постановку дела в сланцевой промышленности, на шахте Куккусе и в комбинате Кохтла-Ярве, что, собственно, и являлось главной целью её путешествия.

Дневник Мариэтты Шагинян показывает, каким лихорадочным темпом работает писательница. Перед глазами мелькают профессор, доярки, проблемы, открытия... Тысячи нужных людей, живых специалистов, и с каждым Мариэтта Шагинян успевает поговорить на месте действия, а если не успевает, то зовёт к себе в гостиницу. Все эти люди, занятые общественно-полезным трудом, считают нужным уделить ей часть своего времени. Между тем коэффициент полезного действия этих бесед часто невелик.

Так, например, Мариэтта Шагинян несколько лет гонялась, по её словам, за президентом Эстонской Академии наук И. Г. Эйхфельдом. Наконец, после трехкратной атаки, президент пойман в гостинице «Москва». Он должен читать рукопись Мариэтты Шагинян. Среди сделанных

им замечаний, которые писательница считает для себя очень важными, под номером первым значит следующее: «Молоко сдают в больших количествах колхозы, а колхозницы — только от своих индивидуальных коров». Скажите, неужели для того, чтобы получить такие сведения, нужно тревожить президента Академии наук?

В этом отношении Мариэтта Шагинян не может служить примером для молодых писателей, о нет! Первое правило всякого литератора — не приниматься за дело без предварительной подготовки. А Мариэтта Шагинян приезжает в район сланцевых шахт настолько неподготовленной, что ей приходится задавать самые наивные вопросы, например: что такое лава? Только в кабинете начальника «Главсланца», после возвращения в Москву, она собирает элементарные сведения о работе врубовой машины. При таком творческом методе даже гениальному писателю было бы трудно разобраться в своих впечатлениях.

И действительно, молниеносное посещение шахты Кукруссе и комбината Кохтла-Ярве описано в «Дневнике писателя» очень сбивчиво. Вот писательница заносит в свой «Дневник» объяснение термина «цикл». «Цикл работ — все операции, какие необходимы для получения сланца из-под земли: бурение, взрыв, навал, забутовка, зарубка, крепление, переноска, вывоз». Но Мариэтта Шагинян только записывает слова, не вникая в действительный порядок работ, иначе она не поместила бы «зарубку» на пятом месте, между «забутовкой» и «креплением». В этом нет никакого смысла — зарубку делают прежде, чем бурить шпур для зарядов. Сама писательница на следующей странице перечисляет: «...зарубку сделать, заложить мину, взорвать, прочистить от взрыва воздух, погрузить взорванное, отделив сланец от пустой породы, вывезти всё это...» Итак, чему же верить? В чём заключается нормальный цикл работ?

Ещё хуже обстоит дело с описанием процесса перегонки сланца на заводе Кохтла-Ярве. Специалисты найдут в этом описании много несообразностей. Не имея чести принадлежать к этой категории читателей, возьмём наиболее простые примеры.

«Часть сланца сжигается, — пишет автор, — даёт жар, и на этом жару без воз-

духа перерабатывается другая часть сланца». Даже из «Дневника» Мариэтты Шагинян видно, что в печи для перегонки сланца горит не сланец, а газ более низкого качества. Но не в этом дело. Автор утверждает, что такая комбинация горения и нагревания без доступа воздуха на одном и том же материале составляет «остроумие и прелесть работы со сланцем». Почему же? Газовый завод, работающий на каменном угле, обнаружит такое же остроумие.

После сжигания сланца остаётся зола. Она может пойти на изготовление портланд-цемента. «Круговорот вещества», — восклицает Мариэтта Шагинян, нисколько не смущаясь тем, что её внуки-школьники будут обижены такой профанацией научных терминов. Процесс извлечения ценной смолы писательница называет «доением» газа. Но хуже всего она поступает с компрессорным цехом, хотя красота современной техники вызывает у неё чувство восторга.

«Компрессорный цех — просто красота, внушительная, захватывающая красота власти человека над силами природы, как в сказке о Сулеймане (Соломоне), загнавшем дэва (злого духа) в бутылку. Всё более и более сжимается страшная, расширяющаяся сила газа при помощи охлаждения, до тех пор, пока ёмкость его не уменьшится в пятьдесят раз, и тут он загоняется в трубу и под давлением течёт в Ленинград».

Расширяющаяся сила, ёмкость газа, сжатие его при помощи охлаждения... У Мариэтты Шагинян поразительное сочетание восторга с безразличием к тому, что она описывает.

Как-то неловко объяснять столь уважаемому автору, что бутылка, в которую Сулейман загнал злого духа, может иметь ёмкость, но газ имеет только объём. А компрессор потому и называется компрессором, что он действует механически, в данном случае посредством движения поршней в цилиндрах. Охлаждение газа необходимо, так как при сжатии происходит нагревание, но это не значит, что сжатие газа совершается при помощи охлаждения. Во всяком случае, в компрессорном цехе это не так. Сначала сжатие, потом охлаждение.

«Я не упомянула ещё, — продолжает свой рассказ Мариэтта Шагинян, — множество попутных остроумных вещей, которые мы видели, переходя из цеха в цех. Например,

в машинном зале, где всё светится чистой и на каждом шагу вентиляция (вытяжная и нагнетательная), стоит в углу противопожарный кран, сделанный на самом заводе: он тушит огонь мылом. Дело в том, что здесь много масла, а этот горючий материал сразу вспыхивает. Мыльная пена (кран может выпустить её 40 000 литров) обволакивает каждую капельку масла, разобцая её от воздуха и от огня, и пожар затухает».

Само по себе тушение огня пеной давно известно в пожарном деле. Здесь нет никакой сенсации. Разумеется, если бы на заводе в Кохтла-Ярве пену для тушения пожара получали из мыла, как при стирке белья, эта новость стоила бы особого сообщения. Но такую «костроумную вещь» ещё не придумали, а тушат огонь пеной, получаемой из особой смеси — пенообразователя. В состав этой смеси входит порошок, добываемый из мыльного корня. Как антонов огонь нельзя назвать пожаром, так мыльный корень не есть вовсе мыло. Это корень растения, и мыло из этого корня не растёт.

Продолжая разбор технических примеров, мы рискуем утомить читателя. Итак, оставим сланцы, тем более, что никто не может требовать от Мариэтты Шагинян знания техники. При всей своей образованности она имеет право не знать, что такое компрессор. Но как она не боится писать о том, чего не знает? А если необходимость заставляет её касаться технических вопросов, то почему бы ей не прибегнуть к доступным источникам для проверки своих представлений?

Повторяем ещё раз — нам нечем похвастать перед Мариэттой Шагинян. Мы также не имеем отношения к технике и судим о недостатках её рассказа только на основании доступных источников. Однако доступные источники доступны каждому, и непонятно, почему такая простая мысль не пришла в голову самой писательнице. Мариэтта Шагинян отличается от Жюль Верна тем, что этот автор, сидя дома, в своей библиотеке, описывал многие страны и притом довольно точно, а Мариэтта Шагинян ездит, не щадя себя, но... «кто ей поверит, тот ошибётся».

Сделаем оговорку — речь идёт только о «Дневнике писателя». Перу Мариэтты Шагинян принадлежит много различных книг, и нам не приходится в голову оспаривать

её большие заслуги перед советской литературой. Читая очерки Мариэтты Шагинян в газетах, мы не задумывались над тем, как работает автор. Очерки хороши, а до остального нам дела нет. Это сама писательница пожелала выставить напоказ тайны своей творческой лаборатории. Мало того, её «Дневник» издан в качестве практической школы мастерства. Автор отвечает на запросы молодых писателей, учит их великому искусству публицистики.

Известно, что победителей не судят, но если сами победители этого хотят, как быть? У нас нет претензий к очеркам Мариэтты Шагинян, и всё же метод их подготовки, отражённый в её «Дневнике», может вызвать серьёзное беспокойство. Читатель знает с детства, что решить задачу — ещё не всё. Нужно решить её правильным методом, ибо в методе заложена возможность тысячи других решений, правильных или неправильных, в зависимости от того, каков принятый метод. Всякий недостаток метода бросает тень и на само решение.

В «Дневнике писателя» недостатки метода эпохи Ренессанса выступают на каждом шагу. Вот писательница работает над очерком о Вяндраской опытной животноводческой станции. Очерк уже в редакции; и только здесь автор получает указание на статью бригадира той же станции Элизы Блумфельдт, недавно появившуюся в журнале. Прочитав эти страницы, Мариэтта Шагинян находит недостающее ей звено, «то, чего я не знала и о чём в статье не упомянула». Чего же не знала Мариэтта Шагинян после посещения Вяндраской опытной станции? Не знала она, при помощи каких приёмов ухода за животными на этой станции добываются от каждой коровы по 6390 литров молока. Короче говоря, Мариэтта Шагинян не знала главного. К счастью, нашлись добрые люди в редакции и во-время указали автору доступные источники для проверки его впечатлений. В противном случае очерк мог появиться без «недостающего звена».

Давно известно, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, а так как Мариэтта Шагинян очень деятельна, то ошибаться она, конечно, может. Нехорошо, что автор «Дневника писателя» настаивает на этом праве и даже слегка рисуется своей беспечностью перед молодыми публицистами.

Описывая красоту эстонской природы в августе, Мариэтта Шагинян не преминула сообщить о «голубых коврах цветущего можжевельника». Работница Тартуского архива поправила автора: дело в том, что можжевельник цветёт ранним летом и притом в лесах, а так как он довольно высок, то его кусты не могут создать впечатление стелющегося ковра. Ну что ж, исправили можжевельник на вереск. Очерк пошёл в редакцию газеты, но здесь литературный секретарь объясняет писательнице, что вереск никогда не цветёт голубыми цветами. Пришлось переделать голубое на розовое.

Не правда ли, загадочная история? Какого же цвета были те цветы, которые своими глазами видела Мариэтта Шагинян в Эстонии? Да были ли вообще цветы, может быть и цветов-то не было? Сама писательница объясняет это недоразумение следующим образом: «Я так была загнипнотизирована собственным убеждением, что вижу можжевельник, что просто не увидела действительного цвета, временно на него ослепла». Удивительный, ещё не описанный в научной литературе случай! По мнению Мариэтты Шагинян, «в профессии газетчика часто случается такая утеря непосредственности», или иначе: «Смотрю и глазам своим не верю».

Здесь автор начинает учить молодых людей и учит их неправильно. Хорошо, что писательница сама рассказывает о своих грехах, но нельзя согласиться с её желанием сделать эти грехи профессиональной особенностью газетных работников. Читатель должен быть уверен в глазах газетчика. Если не было цветов и музыки — не пишите, что они были.

Мариэтта Шагинян объясняет молодым публицистам, что не следует обижаться на исправления, которые вносятся в рукопись при подготовке её к печати. Она картинно описывает свои собственные мытарства на разных этажах редакционного здания. Да, обижаться, конечно, не следует. Но почему бы не сделать другой вывод, ещё более полезный для молодых авторов. никогда не пишите своих очерков наспех, не допускайте «утери непосредственности» во время поисков материала, проверяйте свои слова и заключения, не полагаясь на то, что вашу рукопись исправят в редакции

Если в редакции исправили заблуждения автора — это хорошо, как же иначе? Но

ещё лучше, если автор с самого начала работает о том, чтобы его не нужно было исправлять. Вы скажете, что стремление к идеалу не гарантирует от ошибок. Хорошо, так стремитесь, по крайней мере, к этому идеалу, не оставляйте заранее места для редакционной «работы с автором». Это не наша забота — место всегда найдётся. Рассуждать на тему о неизбежности редакционных переделок — значит портить литературу. Автор, который знает, что его всё равно будут подвергать рубке лозы, не станет писать хорошо. Редактор, который знает, что автор всегда приносит сырой материал, не будет уважать чужую мысль и язык. Все будут правы, но в результате получится не литературное произведение, а нечто совершенно особое, новая разновидность письменности, словом, то, что называют писаниной.

Писанина отличается удивительными свойствами. Во-первых, она неподражаема, как сложный узор на полу, оставленный множеством ног. Во-вторых, всё в ней как будто правильно, подлежащее и сказуемое на месте, цитаты приведены в надлежащем количестве, но мысль не задерживается на этих фразах, не может найти себе точки приложения, ей не за что зацепиться, и она скользит мимо полезного смысла статьи, если он есть. Писанину невозможно читать, и, действительно, её никто не читает, кроме заинтересованных лиц. Писанина — худший враг литературы, это общественное бедствие.

И потом, разве всё это гарантирует от ошибок и недостатков? Если верить Мариэтте Шагинян, только в последнем туре, уже перед самой машиной, автор начинает понимать, что его мало правили в редакции. Он подзывает дежурного редактора и с мэфистофельской иронией ему говорит:

«Сто редакторов ползало по этой статье, правила, правила, самое хорошее норовили выкинуть, — а это, молодой человек, что такое? Учитель! Воспитывайте в себе инстинкт редактора! Тавтология! Повторение одного и того же! Раз-два!»

И автор вычёркивает из первой колонки семь строк. Смотрите, молодые люди, какую пользу приносит коллективный труд!

Но молодые люди могут ответить следующее. Коллективность состоит в том, чтобы каждый делал свою часть общего

дела добросовестно и до конца, не полагаясь на то, что его работу сделают другие, и не боясь переработать за других. Только на этой основе возможна подлинная взаимная помощь, обсуждение, полезный совет. Когда же автор производит полужабуку, а весь личный состав редакции старается придать ему приличный вид, после чего иногда у семи нянек дитя без глаза, то назвать это коллективным трудом можно только в насмешку. Это не коллективность, а мелкобуржуазная расслабленность, которая всегда имеет своим дополнением бюрократизм. Писанина есть именно порождение бюрократизма в литературе.

Никто не скажет, что очерки Мариэтты Шагинян можно назвать писаниной; редакционные исправления пошли им на пользу. Здесь речь идёт о том, что писательница неправильно объясняет свои грехи. Ей незачем ссылаться на профессию газетчика и необходимость коллективной работы в редакции. Дело объясняется более просто. Можно ли отличить голубое от розового, живя в таком угаре, как автор «Дневника»? Мышление есть процесс, совершающийся во времени, а где же взять время, если Мариэтте Шагинян буквально никогда вздохнуть? При всём уважении к эпохе Ренессанса нужно признать, что жизнь с тех пор ушла далеко вперёд. «За ней с карандашом не угонишься»,— признаёт сама Мариэтта Шагинян. Если так, то давно пора оставить сокращённый метод изучения жизни. Первое, что мешает писательнице в её путешествиях, беседах с народом и даже при чтении книг,— это стремительность, торопливость, или, выражаясь её собственными словами, скакня и прыготня. Наши недостатки суть продолжение наших достоинств.

Во время путешествия в Армению Мариэтта Шагинян обедает на берегу горной реки Арпа: «Бежит по камушкам навстречу нам голубая вода, бежит, и поёт, и вскидывает белые гребешки. Поёт по-армянски: ехать — не возвращаться, ехать — не возвращаться. Гомон реки по звуку очень похож на эти слова, и за это я люблю Арпа, потому что больше всего в жизни всегда хотелось ехать, ехать — не возвращаться».

Куда так спешит писательница? Её дневник уделяет слишком много места правилу:

«Жить — значит чувствовать, наслаждаться жизнью, чувствовать непрестанно новое, которое бы напоминало, что мы живём...» Конечно, нужно чувствовать новое, но это только средство для понимания жизни и для практического дела. В качестве самоцели погоня за новыми ощущениями не включает в себе ничего похвального. Нехорошо, если председатели колхозов, академики, новаторы производства, научные проблемы, высотные здания, электрические поильники — всё это служит писателю только для того, чтобы напомнить ему, что он живёт, живёт широкой, полнокровной жизнью.

Мы вовсе не хотим обидеть Мариэтту Шагинян и свято верим в искренность её эмоций. Было бы также неправильно утверждать, что в книге содержатся только эмоции. Автор записывает факты, и многие из них соответствуют действительности. Выдержки из газет, списки фамилий, прочитанных на Доске почёта, таблицы выполнения плана в процентах — всё это занимает немало места в книге Мариэтты Шагинян, «Дневник писателя» буквально ломится от цифр, имён и названий. И всё же конкретного содержания в нём не так много.

Дело в том, что отдельные факты, взятые в любом количестве,— самая абстрактная вещь на свете. Только в общих связях и отношениях факты приобретают живую конкретность, и тогда они очень нужны. Но бывает и так—плохой докладчик украшает свой доклад именами и цифрами; это создаёт впечатление конкретности, но это фальшь. Так и писатель; если ему не хватает конкретного содержания, он наполняет своё сочинение «фактами», бесчисленными, как песок морской.

Есть очень простой способ проверить, насколько серьёзны интересы автора в области, скажем, животноводства. Мариэтта Шагинян, должно быть, хорошо знакома с этим делом; по крайней мере, она свободно судит о среднем удое, грубых кормах, проценте жирности молока и т. д. Книга её вышла в такой момент, когда вся страна занята вопросом о подъёме животноводства. Читатель, естественно, хочет знать: имеются ли в «Дневнике писателя» какие-нибудь следы беспокойства об отставании этой отрасли сельского хозяйства, пишет ли Мариэтта Шагинян о недостатке коров в колхозном стаде, есть ли в её записках

указания на отрицательные стороны существовавшей практики заготовок? Или народ не посвящал её в свои серьёзные дела и затруднения, а встречал хлебом-солью, чтобы исполнить свой долг перед литературой?

Мы яровое убрали
И убрали траву,—
Се тре жолы, се тре жоли!
Коман ву порте ву?

К сожалению, писательница проходит мимо самых трудных вопросов сельского хозяйства, ограничиваясь почти совершенно одной лишь парадной стороной дела. Поэтому все её термины, проценты, килограммы, литры — только медь звенящая. Мариэтта Шагинян может сказать, что решение таких вопросов есть дело партии и правительства, а не отдельного литератора. Совершенно верно. Однако если писатель серьёзно относится к своей задаче, то его прямая обязанность — представить обществу материал, в котором отражаются различные стороны действительности. Тем самым он способствует принятию правильных решений и сам участвует в жизни народа, а не является только гудошником (из оперы Бородина «Князь Игорь»), умеющим вовремя ударить в колокола с пением «Радость нам!» Писателей, способных дать обществу достоверный материал для решения его вопросов, критика школы Белинского называла «дельными».

К числу дельных произведений литературы можно отнести ряд очерков на темы советской деревни, появившихся в нашей печати одновременно с книгой Мариэтты Шагинян. Факты, приведённые в этих очерках, на первый взгляд носили частный характер, но они подсказывали общие выводы — например, мысль о недопустимости нарушений принципа материальной заинтересованности, имеющего большое значение для всей эпохи социализма, особенно в таком коренном вопросе нашей жизни, как союз рабочего класса с крестьянством.

Конечно, нужно трижды подумать, прежде чем писать на такие темы. Это — дело серьёзное. Но Мариэтта Шагинян достаточно опытный автор, чтобы ответить на запросы читателя, который предан идеям Коммунистической партии, любит литературу и презирает гудошников.

2

В пользу этого мнения о Мариэтте Шагинян говорит прежде всего её литературное имя, а также некоторые места из «Дневника писателя». Приведём следующий пример. В беседе с начальником шахты Кукресе выясняется, что за шесть лет своей работы «старуха» уже выработала всё, что ей положено, и дошла до границы своего шахтного поля. По целому ряду причин технического и экономического характера принято думать, что дальнейшая выработка была бы невыгодна. Между тем соседняя шахта только строится, а коллектив на Кукресе работает хорошо, механизация слажена отлично, тонна сланца стоит дёшево, так почему же не перейти на поле соседней шахты? Мариэтта Шагинян согласна с этим предложением. «Тут я опять записываю от себя. Можно это представить психологически: люди обжились, «обработались» на своём месте, развили энергию, сладились, — а тут вдруг сворачивай всё и уходи. И они не ушли и не свернули, а пошли по сланцу дальше, — и это значит, что они сделали какую-то революцию в сложившейся технике и экономике эксплуатации шахты».

Однако в «Главсланце» не признают это революцией, — по крайней мере, начальник управления и работники строительного отдела. Они ссылаются на указания министерства, на миллионы, потраченные для подготовки к строительству новой шахты, на удлинение откатки в старой и т. д. Только главный инженер управления поддерживает инициативу работников Кукресе. Он доказывает, что все невыгоды, истекающие из сохранения старой шахты, покрываются её хорошо налаженным производственным аппаратом и дешёвизной её продукции.

Такова проблема, которую приходится решать Мариэтте Шагинян. Выслушав обе стороны, она решает, что в интересах государства свернуть строительство и продолжать работу на старой шахте; непонимание этого есть «формализм в выполнении плана». Собственно говоря, вопрос для неё заранее решён. В первый же день своего пребывания под крышей «Главсланца» она записывает: «в глубине души я всё-таки за Жукова, за смелую новую инициативу, за мою старую знакомку, милую Кукресе». Вместе с главным инженером писа-

тельница побеждает сопротивление начальника. Сломленный её мягким упорством, он переходит на сторону правого дела. В конце всего эпизода Мариэтта Шагинян скромно торжествует, и читатель также доволен полезным вмешательством литературы в область практической жизни.

Одно только сомнение мешает нам с чистым сердцем радоваться этой победе. Дело касается не очерков Мариэтты Шагинян в газете «Известия», а её рассказа о том, как происходили события в управлении, ведающем сланцевой промышленностью. Напомним, что знание техники не является сильной стороной писательницы. Её способность разбираться в экономических вопросах также оставляет желать лучшего (см. ниже, открытый ей закон прямой пропорциональности между дешёвизной и качеством продукции). «Дневник писателя» показывает, что пребывание Мариэтты Шагинян на шахте Кукрусе, её «старой знакомке», продолжалось несколько часов, не более. По совести говоря, этого мало для решения конкретных вопросов промышленности. Между тем автору приходится решать очень конкретный вопрос, требующий учёта, сложения и вычитания самых различных действующих факторов. Что выгоднее для государства: строить новую шахту или продолжать выработку на старой? Мариэтта Шагинян находится здесь в положении ученика, который знает ответ, но не знает, как решается задача. Для решения этой задачи у неё нет другого оружия, кроме уважения к новаторам производства и симпатии к «старой знакомке, милой Кукрусе».

Читатель принимает за аксиому, что вопрос о дальнейшей судьбе шахты Кукрусе решён правильно. Другое дело — как это произошло. Не прибавив ни одного нового аргумента к доводам главного инженера, Мариэтте Шагинян удалось в короткий срок убедить начальника, хотя при первом появлении писательницы в его кабинете он и слышать не хочет о предложении работников Кукрусе, даже «помрачнел» при одном воспоминании об этом. Задача решена, но метод её решения вызывает некоторое беспокойство. Картина, нарисованная автором «Дневника», содержит в себе элемент случайности, импровизации, субъективного порыва. Если таково вмешательство литературы в практику на-

родного хозяйства, то в иных случаях это чревато большими неудачами.

Автор сообщает имя, отчество и фамилию каждого действующего лица, и всё же трудно поверить, что появление Мариэтты Шагинян в стенах этого учреждения могло решить вопрос о судьбе той или другой шахты. Писательница не учитывает такого важного фактора, как потребность в сланце, ограждённая в цифрах планового задания. Между тем именно этот объективный фактор может в первую очередь определить, нужно ли строить новую шахту или следует подождать, опираясь на то, что уже есть. Очень возможно, что Мариэтта Шагинян несколько преувеличила свою роль, не замечая, что этим она ставит в неловкое положение людей, принимавших её с таким радушием.

Пример можжевелника даёт нам право рассматривать действующих лиц этой истории как вымышленных героев литературного произведения. Пользуясь этим правом, можно сказать, что образы хозяйственных работников не продуманы автором.

В чём могла состоять полезная роль Мариэтты Шагинян в «Главсланце»? Кроме доводов специального характера, существуют общие правила. Представим себе, что начальник учреждения на время утратил чувство нового, а Мариэтта Шагинян в качестве представителя печати напомнила ему общее и чрезвычайно важное правило о поддержке ценной инициативы. Начальник заколебался, и победа новаторов производства была обеспечена.

Для театральной пьесы этого, может быть, достаточно. С точки зрения практики, когда речь идёт о миллионах, принадлежащих народу, здесь нехватает одного важного звена. Прежде чем повернуть фронт, начальник должен был убедиться в неправильности своих прежних расчётов, иначе его поведение очень похоже на поведение того купца, который излечился от пьянства, услышав колокольный звон. У Островского Пётр Ильич других резонов не понимал, но глава большого советского учреждения, конечно, понимает, что в делах, касающихся государственной пользы, нужен точный расчёт, а не колокольный звон. Общее правило о поддержке новаторов производства нельзя применять, минуя конкретное содержание дела. Если смелую инициативу новаторов нужно поддерживать, то отсюда ещё не следует, что нужно

поддерживать инициативу работников шахты Кукруссе. Докажите сначала — с цифрами в руках, — что эта инициатива действительно является ценной.

Мариэтта Шагинян пересказывает практические доводы главного инженера, но эти доводы были известны начальнику и до её появления в «Главсланце». От себя писательница прибавила только психологический анализ: «люди обжились, «обрабатывались» на своём месте, развили энергию, сладились, — а тут вдруг сворачивай всё и уходи». Действительно, очень досадно. И всё же, почему мы должны думать, что эти мотивы ведут к «революции в сложившейся технике и экономике эксплуатации шахты», а не являются, например, признаком засилья местных интересов, отсутствия широкого государственного взгляда и нежелания ломать сложившийся уют? Чтобы решить этот вопрос, нужно конкретно исследовать предложение работников шахты Кукруссе, чем и занимался начальник в споре с главным инженером до появления на сцене литературы. Прочитав весь этот эпизод в «Дневнике писателя», можно подумать, что если бы Мариэтта Шагинян вступила на территорию «Главсланца» с другим лозунгом на устах, например, с требованием строгого соблюдения государственной дисциплины, то решение начальника могло остаться прежним и шахта Кукруссе была бы свёрнута.

Напомним, что речь идёт об изображении действительности в «Дневнике писателя», а не о самой действительности. Очевидно, Мариэтта Шагинян всё же преувеличила свою роль и тем ослабила роль начальника. Одно из двух: либо слова писательницы подействовали на него, как колесальный звон на Петра Ильича, и он сразу понял, что все его прежние расчёты ошибочны, либо он решил махнуть рукой на пользу дела, чтобы не ссориться с литературой. В первом случае он импрессионист, действующий по наитию, а в руководстве хозяйственными делами это совсем не хорошо. Во втором случае и того хуже — он привык считать, что одной правдой не проживёшь. В обоих случаях здесь есть над чем призадуматься, между тем Мариэтта Шагинян хвалит начальника за уступчивость. Почему же? Хозяйственные вопросы имеют своё объективное содержание. Его нельзя отменить, руководствуясь нашей доброй волей. Уступчивость в таких вопросах есть шата-

ние, гнилая позиция. Литература, списывающая борьбу за передовое развитие народного хозяйства, не должна подсказывать мысль, что экономические вопросы можно решать и так и эдак, в зависимости от субъективного порыва.

Если отбросить эти оговорки, то бесспорной заслугой Мариэтты Шагинян является поддержка новаторских предложений работников шахты Кукруссе. Другим примером дельной постановки вопроса может служить рассказ писательницы о халатном отношении к использованию мелкого сланца на газо-сланцевом комбинате в Кохтла-Ярве. Ещё во время споров о «старой знакомке» Мариэтта Шагинян узнала, что завод не принимает куски размером менее 25 миллиметров. Между тем механизация добычи приводит к увеличению выхода мелких кусков и сыпучей массы. Вследствие этого вокруг сланцевых шахт растут громадные отвалы, в которых лежат мёртвым грузом сотни тысяч тонн полезного топлива. С течением времени оно выветривается и теряет ценность.

По просьбе работников «Главсланца» писательница поднимает этот вопрос в соседнем учреждении — «Главнефтегазе», которому подчинён комбинат Кохтла-Ярве. Но здесь её ждёт некоторое разочарование. Представитель этого управления твёрдо стоит на своей позиции, объясняя писательнице, что печи завода не приспособлены для мелкого сланца, а нарушение технических правил может привести к срыву выполнения плана, то есть снабжения Ленинграда газом, тем более, что комбинат находится ещё в стадии строительства и освоения технологических процессов.

Все эти доводы не убеждают писательницу. Она видит, что нужно спасти от гибели ценное топливо, государственную собственность. Работники управления и газо-сланцевого комбината откладывают проведение опытов, ссылаются на других, отговариваются техническими правилами. «Может ли советский, социалистический завод отмахиваться от этого, считать, что «моя хата с краю?»» Конечно, нет. Мариэтта Шагинян обращает внимание также на общую сторону этого дела. Проектные организации не учли, что добыча сланца механизуется — и вот, при общем подъёме технического уровня производства, растут ничем не оправданные потери. По мнению

писательницы, это один из примеров противоречия в нашем хозяйстве.

Случай с мелким сланцем позволяет автору сравнить два типа начальников. Во главе «Главсланца» стоит человек, мягкий по внешности и такой же по своим внутренним качествам. Он способен прислушиваться к чужому мнению, менять свои решения. В «Главнефтегазе» Мариэтта Шагинян имеет дело с работником другого типа. «При всей его артистической внешности, он далеко не мягкий человек». Разговаривать с ним оказалось не так просто. «Сбить его с установившихся позиций невероятно трудно». Писательница готова продолжать спор, но её собеседник решительно смотрит на часы и объявляет, что ему нужно ехать по вызову. Когда Мариэтта Шагинян вторично появляется в управлении, он надевает пальто, берётся за портфель. И всё это при наличии старого знакомства по курорту. В общем, этот хозяйственный работник не склонен менять свои решения, он «не станет прислушиваться и проверять то, в чём он уверен, разве что сама жизнь заставит его это сделать».

Борьба за полезное применение мелкого сланца есть высшая точка дельной активности автора, отражённая в «Дневнике писателя». Но и здесь возможны прежние оговорки. В самом деле, автор требует, чтобы председатель «Главнефтегаза» поднял руки вверх и немедленно сдал свои «установившиеся позиции», как только в его кабинете появилась Мариэтта Шагинян с тетрадкой. Это невозможно. Вы хотите знать, почему он смотрит на часы и берётся за портфель? Да просто потому, что этот инженер, хорошо знающий своё дело, каким рисует его сама Мариэтта Шагинян, исчерпал все свои аргументы в беседе с технически неподготовленной, но уверенной в себе писательницей, и ещё потому, что он знает происхождение её идей: только вчера она слышала в соседнем учреждении о проблеме мелкого сланца, а сегодня уже строит теории и хочет «сбить его с установившихся позиций». Согласитесь, что опытный хозяйственный работник имеет право смотреть на эту лёгкость с некоторой иронией.

Правда, в изображении Мариэтты Шагинян он выглядит консерватором, человеком, равнодушным к тому, что делается за пределами его ведомства. Но этот работник,

видимо, не принадлежит к числу людей, которые боятся выглядеть так или иначе, а интересуется только пользой дела. Пусть жизнь его научит, если он не прав, как сурово и вместе с тем мягко предупреждает Мариэтта Шагинян. По крайней мере, от этой науки будет толк, гораздо больше толку, чем от готовности принять любое решение по принципу «куда ветер дует». Напомним ещё раз, что речь идёт о литературных персонажах «Дневника писателя» а не о действительных лицах.

Переходя от литературы к действительности, можно сказать, что Мариэтта Шагинян слишком сурово судит о своём собеседнике с артистической внешностью и твёрдым характером. По существу, он также имеет некоторые основания удерживать свои позиции. В самом деле, проектные организации предвидели, что мелкий сланец пойдёт на электростанции. Так и делается, но два года назад, когда Мариэтта Шагинян занималась этим вопросом, эстонские электростанции ещё не нуждались в большом количестве топлива, а далеко возить его не имеет смысла. Сейчас положение настолько изменилось, что проблема мелкого сланца уходит в прошлое. Такие временные несоответствия бывают в хозяйственном развитии, и возводить их в ранг противоречия — значит употреблять громкие слова. Возможность гибели мелкого сланца, лежащего в отвалах, также сильно преувеличена автором «Дневника».

Разумеется, два года назад Мариэтта Шагинян правильно подняла вопрос о необходимости как можно скорее двинуть вперёд дело промышленной утилизации мелкого сланца. Но в беседе с представителем «Главнефтегаза» писательница требует немедленного решения этого вопроса путём применения более мелких фракций не приспособленных для этого печак, в порядке штурма, как говорят, — «по силе возможности». Именно отказ работников «Главнефтегаза» рисковать снабжением Ленинграда и высокой техникой комбината Кохтла-Ярве вызывает её возмущение. Не будучи специалистом, трудно сказать, кто прав в этом споре, но по наведённой справке выходит, что прав собеседник с артистической внешностью: опыты применения мелкого сланца в камерных печах Кохтла-Ярве были проведены и показали отрицательный результат.

Так как нас интересует здесь не содержание дела само по себе, а метод работы Мариэтты Шагинян, то допустим, что представитель «Главнефтегаза» ошибался и применение мелкого сланца было вполне возможно без ущерба для техники и выполнения плана. Новаторы производства не останавливаются перед нарушением старых технических норм. Однако они опираются на другие, лучшие расчёты, на более высокую техническую культуру. Мариэтта Шагинян беспомощна в технических вопросах. Поэтому основной метод анализа, применяемый ею в «Дневнике писателя», — это риторика: «Но, может быть, и завод всё-таки прав? Газ давать надо, план выполнять надо, установить ритмическое производство надо, придерживаться какого-то принятого, наиболее удобного, стандарта надо? Да, всё это, конечно, обязательные вещи, но гибель государственного советского добра, народного добра — это тоже не такая вещь, чтоб спокойно глядеть на неё. Это всё равно что не тушить пожар у соседа».

Каждый понимает, что доводы можно переставить и тогда результат будет другой. Например: «Мелкий сланец лежит, найти способ применить его для полезных целей — вещь обязательная, но план выполнять надо, ритмическое производство установить надо и т. д. Значит, и завод всё-таки прав». Не углубляясь в существо дела, можно каждый факт подвести под любую схему, прямую и обратную. «Пожар» — это сильное выражение. Но прежде всего чем вы собираетесь тушить пожар? Если шампанским, то оно дорого станет, — лучше вызвать пожарную команду. И потом, если нехорошо отказываться от тушения пожара у соседей, то ещё хуже вызвать у них пожар, а «Главнефтегаз» утверждает, что применение мелкого сланца может вызвать у него если не прямо пожар, то, во всяком случае, расстройство производственного процесса. Докажите, что это не так. Хорошо, что Мариэтта Шагинян начала с «Главсланца»; если бы она сначала зашла в «Главнефтегаз», её энергия (чего не бывает на свете!) могла быть направлена в другую сторону. В общем, все рассуждения на тему о мелком сланце — пустые фразы, пока мы не стали на почву конкретного анализа и знания дела.

Мариэтта Шагинян выбирает для вмешательства литературы в область практи-

ческой жизни такие вопросы, в которых она едва ли может быть судьёй. Читатель готов принять за аксиому, что она трижды права и руководство «Главнефтегаза» действительно задерживало решение важной хозяйственной проблемы. И всё же метод решения таких проблем, вытекающий из уроков «Дневника писателя», имеет свою уязвимую сторону. Всем своим отношением к делу Мариэтта Шагинян подсказывает мысль, что из камня может потечь вода, а пяти хлебов достаточно, чтобы накормить пять тысяч человек, — нужно только сильно захотеть. Если бы работники народного хозяйства стали следовать этой подсказке, то их руководство свелось бы к известным приёмам: «кровь с носу», «душа с тебя вон», «мордой об стол» и т. д. Энергия — великая вещь, но нельзя забывать слова В. И. Ленина, сказанные им в его последней статье «Лучше меньше, да лучше». Это слова о культуре, необходимой для строительства настоящего социалистического аппарата. «Тут ничего нельзя поделывать нахрапом или натиском, бойкостью или энергией, или каким бы то ни было лучшим человеческим качеством вообще». Без знания дела — далеко не уйдёшь. «И тут нельзя забывать, что эти знания мы слишком еще склонны возмещать (или мнить, что их можно возместить) усердием, скоропалительностью и т. д.»¹.

Мариэтте Шагинян не нужно доказывать важность культуры. Но культура в данном случае состоит не в цитатах из Гёте и Паскаля, а в изгнании прежде всего чрезмерной скоропалительности, якобы заменяющей знание дела. «Нахрап» — средство очень грубое, а Мариэтта Шагинян — человек образованный до утонченности. Она даже Паскаля цитирует «по старинному изданию» (как указывает сама писательница, чтобы этот факт не прошёл незамеченным). Тем не менее, крайности сходятся.

Нетрудно догадаться, что чрезмерная скоропалительность Мариэтты Шагинян является отражением некоторых реальных черт и привычных недостатков, встречающихся в самой жизни. Тем и любопытен «Дневник писателя», что он своей «скакнёй и прыготнёй» представляет известное общественное явление, которое можно назвать обломовщиной наизнанку. Когда автор

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 446.

вмешивается в практическую жизнь, он становится невольным рупором школы субъективного порыва, нахрапа, капризного деспотизма и прочей чудасии, достойной Петра Ильича.

На Западе буржуазная литература пишет о том, что мир снова погружается в хаос первобытного мышления, иррациональных побуждений и массовых психозов. Мы думаем иначе. Рабочий класс, стоящий у нас во главе общества, твёрдо держит в руках знамя науки. А к науке у нас особое требование, — чтобы она не была только мёртвой буквой или модной фразой, но входила бы в быт, в привычки людей, изгоняя случайность принимаемых решений, скоропалительность, не заменяющую знание дела, бюрократическую косность и прожектерство. Никто не скажет, что это может уменьшить область вмешательства литературы в практическую жизнь. Но само это вмешательство не должно быть похоже на чудо, на колокольный звон, на розовоголубой можжевельник.

Сочувствуя Мариэтте Шагинян в её борьбе за влияние литературы, мы боимся, что писательница слишком легко подходит к этой задаче. Факты реальной жизни имеют свою определённую, свою, можно сказать, независимость от чужьего веленья. Эта важная грань между реальностью и фантазией неясно ощущается в «Дневнике писателя». Здесь компрессоры, сжимающие газ при помощи охлаждения, превращаются в сказочных Сулейманов. Здесь авторы, не знающие техники и экономики, решают важные хозяйственные вопросы. Здесь всё может возникнуть из ничего, нужно только сильно захотеть.

На этот счёт у писательницы имеется своя теория. Она читала, что материалистическое учение Павлова придаёт большое значение работе коры головного мозга, и немедленно делает выводы. «Я тотчас перекакиваю мысль в практику, в командование своим организмом. Величайшая, воспламеняющая, помогающая, воспитывающая, преобразующая роль воображения! Можно захотеть — и выздороветь. Можно тонизировать радостью, убивать травмой. Даже рак, как уверяют невропатологи, ускоряет своё развитие от непрерывных огорчений и неприятностей. Вообще, не создается ли в будущем серьёзная наука — «автолечение»? Автоблокировка организма. Автоснятие боли. Автополный обмен».

Теперь мы понимаем, почему Мариэтта Шагинян не придаёт большого значения техническим условиям. Можно захотеть — и сделать. Если вы не выздоровеете от рака после «автоблокировки», она, пожалуй, назовёт вас консерватором, преклоняющимся перед объективными причинами.

Поскольку болезнь ускоряет своё развитие «от непрерывных огорчений и неприятностей», нужно первым делом позаботиться о том, чтобы устранить причины этих неприятностей, нарушающих нормальную работу коры головного мозга. Так думает каждый материалист. Если же устранить эти причины не в его власти, то он будет применять различные средства для того, чтобы, по крайней мере, уменьшить действие вредных факторов и поддержать нервную систему больного. Наконец, играет некоторую роль и вера в выздоровление. Но сводить всё дело к желанию больного выздороветь — это значит не понимать, что такое материалистический взгляд на природу и человека. И. П. Павлов был бы очень удивлён, если бы ему сказали, что из учения об условных рефлексах следует вывод о решающей роли психики в человеческом организме.

Что касается самовнушения, то всё, что есть в этом правильного, давно известно и не имеет прямого отношения к теории Павлова. А вот вздора всякого о том, что «можно захотеть — и выздороветь», было сказано очень много, но это обычный идеалистический вздор. Французский психиатр Эмиль Куэ уже давно проповедовал «автолечение». Попробуйте по утрам завязывать узелок на верёвочке, приговаривая: «С каждым днём и во всех отношениях мне становится всё лучше и лучше», и вам действительно станет хорошо. Учение Павлова здесь совершенно ни при чём.

Скажите, может ли вера двигать горами? Может ли «величайшая, воспламеняющая, помогающая, воспитывающая, преобразующая роль воображения» избавить народные массы от «бесперывных огорчений и неприятностей»? Имушие классы отвечают на этот вопрос утвердительно. Можно поверить — и выздороветь, вообразить — и разбогатеть. Об этом же говорит и церковь. Она уже давно применяет «автоблокировку» при врачевании социальных болезней. Нет, положительно, Мариэтта Шагинян шла в комнату, попала в другую.

Для автора «Дневника» очень характерно это преувеличенное представление о возможностях человеческой воли. Все задачи могут быть решены, если у человека есть вера, если настроить определённым образом его воображение, создать род полезного мифа. Было бы несправедливо сомневаться в добрых намерениях Мариэтты Шагинян. Мысли её обращены в будущее, насыщены гуманизмом, расположены по верной схеме: борьба «нового со старым», «передового с косным», «правильного с неправильным» (см. «Дневник», запись от 5 января 1952 года). И всё же «Дневник писателя» погружает нас в атмосферу творимой легенды. Мариэтта Шагинян говорит о фактах действительного мира; задачи и трудности, заключённые в этих фактах, она переносит в некую мифологическую плоскость, где и решает их с чрезвычайной лёгкостью.

3

Давно замечено, что всякая мифология предполагает особое состояние духа, которое можно назвать эпическим восторгом. Если по дороге едет телега, она обязательно «быстроколёсная», если на ней сидит девица, то девица «густоволосая», если телега въезжает в город, то он «пышно-устроенный» и т. д. В таком состоянии вечно удивления находится и Мариэтта Шагинян. Её обычное отношение к миру есть чрезвычайная восторженность. Разумеется, каждый читатель разделяет этот энтузиазм, если речь идёт о новой технике советских заводов или трудовых подвигах новаторов производства. Но состояние эпического восторга не покидает Мариэтту Шагинян в самых обыкновенных случаях.

Во время известного горного перехода из Тбилиси в Ереван для участия в общем собрании Академии наук писательница видит, как обвязывают цепью колёса грузовика. И вот уже эта несложная операция принимает в её глазах эпические черты: «Я видела эту процедуру первый раз в жизни. Колесо с обвязанной несколько раз вокруг шины цепью сгановится похоже на альпийский горный башмак, утыканный гвоздями». Машина тронулась, но долго ещё писательница не может прийти в себя от удивления: «грузовик шёл в гору уверенно и не скользят».

В другой раз ей довелось попасть на футбольный матч. Дело было в Ленингра-

де. Сражались команды «Зенит» и «ВМС», но ни одна из них не могла забить гол другой. Отсюда писательница делает вывод, что обе команды слабые. Однако послушайте её описание благородной игры в футбол: «Мне было интересно смотреть, как оба вратаря неожиданными прыжками, броском всего тела и разными хитрыми приёмами отражали удары мяча в ворота. Конечно, мы всё сразу поняли. И то, что каждая сторона должна забить мяч в ворота противника, чему всячески мешает вратарь, охраняющий ворота; и то, как надо лучше бросать мяч и как его подкачивать ногой к нужному месту, вести мяч по земле, не давая противнику его выбить из-под ног; и как перебрасывать его своему более сильному игроку» и т. д. Описание вполне эпическое.

Открывая «Дневник» Мариэтты Шагинян, мы сразу чувствуем себя в атмосфере вечного праздника. Белый и розовый туф, мраморные колонны, фарфор... Даже простой сланец подаётся на разгрузку по железнодорожной эстакаде «необычайно остроумно». Город Минск, утверждает автор, явно преувеличивая, встал из пепла, «как Афина-Паллада из головы Зевса, — весь сразу, со своими звеньями — улицами, садами, бульварами, площадями, город-дворец социалистической планировки, какого никогда раньше не было». Мариэтта Шагинян уже забыла, что несколькими страницами ранее она писала другое — о прекрасных зданиях, стоящих над развороченными мостовыми, и о том, что очерк нового Минска проступает сквозь разрушения, нанесённые ему войной. Но как обойтись без Зевса и Афины-Паллады?

Один драматург написал пьесу о новых методах проходки туннелей. Изобретатель этих методов совстует автору пьесы изложить в заключительном монологе его мечты о ближайшем будущем — «строить туннели со скоростью 3 000 метров в месяц». Этот совет, не знаем — правильный или неправильный, приводит Мариэтту Шагинян в состояние экстаза.

«Чудеса получаются! Писатель пишет об изобретении, изобретатель диктует писателю заключительный монолог. Куда ни пойдёшь, на что ни посмотришь, всё скрепляется, переплетается. Мы идём к какому-то грандиозному культурному синтезу и всё, что делаем, — делаем на органическом внутреннем единстве».

К сожалению, Мариэтта Шагинян не общается, хорошая или плохая пьеса получилась в результате этого скрещивания. Она довольствуется громкими фразами. Нет никакой возможности изложить здесь все её сенсации. Повсюду мелькают ренессансы, грандиозные синтезы, чудеса. Читатель, может быть, спросит: да что дурного в постоянной восторженности автора «Дневника»? Эта невинная страсть к восклицательным знакам, эта привычка во всём видеть чудесное может быть даже полезна — она поддерживает оптимизм, веру в наши великие дела.

Нет, не поддерживает. Инфляция громких слов приводит к тому, что они теряют всякую ценность. Не надо думать, что советский читатель так прост, чтобы не видеть, как словесный восторг переходит в равнодушие к делу. Если в частной жизни чрезмерная восторженность вызывает иронию, то почему мы должны быть менее разборчивы в делах общественных? Дельный человек если не скажет, то подумает: сократите ваши восторги, ибо действительные чувства выражаются более скромно.

Вот небольшая картина, достойная книги современного Федотова или Перова. Ночью, в полной темноте, Мариэтта Шагинян въезжает на «Победе» в большое село Крестцы. Спала хорошо. Оказывается, в Доме крестьянина можно получить чистую постель. Проснувшись на другой день в прекрасном расположении духа, писательница и сопровождающие её лица начинают хвалить местные порядки. «Позёвывая, одевается спавшая рядом с нами женщина с недовольным лицом. В ответ на наши восторги она мрачно молчит. На прямой вопрос отвечает: «Ничего тут хорошего не вижу!» Оказывается, это работник райфо и недовольна: во-первых, клопами в гостинице; во-вторых, кустари туго платят налоги; в-третьих: «Отчего, например, с мая месяца нет электричества?» Слозную в местную стенную газету заглянули...»

Ну, что ж, стенные газеты делом занимаются — критикуют недостатки. В Крестцах живут люди, трудящиеся, у них своя жизнь, свои заботы и трудности, а приедем много ли нужно, как верно заметила женщина с недовольным лицом. Ведь завтра они укатят на своей машине и унесут с собой приятное воспоминание, только и всего.

Что в постоянной восторженности Мариэтты Шагинян есть элемент безразличия к людям, показывает другой пример. Дело в том, что писательница является членом редакционной коллегии журнала «Крестьянка». Вместе с другими работниками редакции она ведёт борьбу против «сюсюкания». И вот как это происходит. Прислали как-то члену редакционной коллегии рассказ под названием «В выходной». Писательница дочитала рассказ до конца, не отрываясь, и тут же набросала резолюцию: «Презосходно! Печатать непременно! Привлечь к нам автора!» Другие члены редакционной коллегии пытались выразить некоторые сомнения, но Мариэтта Шагинян подавила их своим литературным авторитетом.

Действие происходит в конторе лесозащитной станции. По случаю воскресенья уборщица только что вымыла пол и вяжет чулок, отдыхая. Между тем в комнату один за другим робко пробираются служащие конторы под тем предлогом, что они чего-то не успели сделать вчера и скоро уйдут. Так постепенно является на работу весь штат. Начинаются звонки в другие учреждения — и что же? Оказывается, и там люди на работе в выходной день Комический элемент представлен уборщицей, которая возмущается тем, что только что вымытый пол будет запачкан. Мариэтта Шагинян в качестве знатока литературных жанров утверждает, что рассказ имеет экспозицию, миттельшпиль и эндшпиль.

Всё это он, может быть, имеет, но пошлость остаётся пошлостью. Автор подсказывает мысль, что в советском обществе грудящиеся должны работать без выходных дней. Рассказ «необычайно жизнен», оправдывается Мариэтта Шагинян. «Он передаёт вам правду главного, бессмертного импульса нашей новой жизни». Читатель ждёт очередного чуда, и оно действительно совершается: «Тут вовсе не то, что люди в выходной потянулись на службу. Ничего подобного! Это — настоящий выходной, и люди развёрнуты в их личной жизни. Но только стремление пойти «на люди» и выражает их личное, желание отдохнуть в спокойном, широком, развёрнутом во времени (когда не надо суетиться и торопиться, а можно поговорить и провести время) пребывании вместе. Советскому человеку уже скучно одному. Ему хорошо, когда он вместе с себе подобными».

Сколько софистики для того, чтобы окрестить псрося в карася! Всякому понятно, что факт остаётся фактом: люди приходят на службу в выходной день, вместо того чтобы отдыхать. Несмотря на все дополнительные разъяснения Мариэтты Шагинян, рассказ о выходном дне хуже, чем «сюсюканье». Советский человек может, в случае необходимости, работать без выходных, но он имеет право на отдых и, если нет чрезвычайных обстоятельств, хочет воспользоваться этим правом без всяких чудес. Автор рассказа фальшивит. Если человеку скучно, он может отправиться в гости, в клуб, на прогулку, в театр. Контора не единственное место, где он находится в обществе «себе подобных». Наконец, и в своей семье он не один. Странно было бы думать, что люди могут общаться между собой только на службе. Когда человек проводит время за книгой, посещает музей, смотрит картину в кино, он общается со всем народом, даже со всем человечеством. Именно автор фальшивого рассказа хочет отнять у трудящегося человека эту возможность более широкого общения, делает его отшельником своей конторы.

Легко лгать, прикрываясь общественной пользой, очень легко. Мариэтта Шагинян поверила автору вследствие своей постоянной восторженности: «Превосходно! Печатайте непременно! Привлечь к нам автора!» Собственные её рассуждения относительно «главного, бессмертного импульса нашей новой жизни» очень слабы. Если мы верно поняли «Дневник писателя», то главный импульс советских людей состоит в том, что они хотят быть вместе, то есть в одном помещении. «Советскому человеку уже скучно одному. Ему хорошо, когда он вместе с себе подобными». Это лезть советскому человеку, но лезть неудачная. Скажите, когда человеку не было скучно одному, если он нормальный человек, а не паук? Вспомните народные хоры и пляски, посиделки, вечерники. А дружба, любовь, семейная жизнь? «Не добро человеку быть единому» — эта закономерность давно известна.

Возвращаясь к вопросу об отдыхе, нужно сказать, что сама Мариэтта Шагинян признаёт его полную необходимость. По поводу некоторых привычек Леонардо да Винчи она говорит о полезной паузе, помогающей успехам творческого труда. «Самое плохое, когда люди линейно набивают

время, мешком его себе представляют, изо дня в день ведут работу по прямой с того самого места, на котором остановились вчера. А время набивать, как мешок, нельзя; время — это дорога зигзагами, диалектическое нечто».

Легко заметить, что здесь есть противоречие с теми взглядами, которые Мариэтта Шагинян высказывает по поводу рассказа «В выходной». Девушка-бухгалтер, механик, завхоз и прочие сотрудники конторы тем и занимаются, что «линейно набивают время», «изо дня в день ведут работу по прямой» и даже в воскресенье хотят начать «с того самого места, на котором остановились вчера». Но здесь речь идёт о простых служащих, а Мариэтта Шагинян имеет в виду творческих работников, писателей, художников. Это для них время есть «диалектическое нечто». Им нужен «досуг — резерв свободного времени у человека, имеющий великое значение для культуры». Нужен ли этот резерв для простых людей, пур ле жанс, мы не знаем. «Надеюсь, — пишет автор «Дневника», — что при коммунизме строительная польза «пропуска», паузы, остановки в работе на два-три дня, необходимость досуга (не только в смысле механического выходного!) будет ясно осознана всеми и ритм нашего труда будет учитываться с паузами, планироваться с видимой и невидимой работой».

В этой прекрасной фантазии остаётся неясным — будут ли при коммунизме планироваться паузы для сотрудников лесозащитных станций, которые не хотят отдыхать в свой механический выходной, а сидят на работе и набивают время, как мешок. Им уже сейчас скучно за пределами своей конторы. Что же будет, если эта закономерность полностью разовьётся?

Похоже на то, что Мариэтта Шагинян не сводит концы с концами. Если читатель хочет проверить это наблюдение, пусть он познакомится с отношением автора к буржуазной литературе ужасов, к так называемым «детективам». В субботу, 29 декабря 1951 года, Мариэтта Шагинян записывает в свой дневник справедливые слова о грязной, кровавой, звериной философии, отравляющей чувства и мысли людей в странах, подчинённых «американскому образу жизни». Она беспощадно разоблачает детективную литературу, в которой описываются страшные кварталы и страшные люди, чудовищные преступления и безум-

ства. «Живя при капитализме в царской России, я тоже, случалось, дышала воздухом мистики и борьбы со здравым человеческим смыслом». Но всё это было, всё это уже в прошлом.

Оказывается, не совсем так. В субботу, 15 марта следующего года, «Дневник писателя» приоткрывает завесу над личным чтением Мариэтты Шагинян. Время от времени она, оказывается, ещё глотает воздух мистики и борьбы со здравым человеческим смыслом. Писательница следит за англо-американской детективной литературой и даже находит в ней настоящие жемчужины. «Из детективов, прочитанных мною, исключительно хорош роман Сайрилы Хара «Трагедия в области правосудия».

Итак, спереди — господа, взовазв, а сзади — вскую шаташася. Советская печать обращается к народным массам с призывом бороться против низкопоклонства перед растленной буржуазной идеологией. Мариэтта Шагинян во всяком деле берёт самую высокую ноту. Почему же она делает для себя исключение из общего правила?

Может быть, не вся современная литература ужасов достойна презрения и часть её следует всё же рекомендовать советскому читателю? Едва ли. Думаем, что такую позицию трудно защищать.

Может быть, Мариэтта Шагинян читает детективную литературу для того, чтобы бороться против её разлагающего влияния? Это было бы хорошо.

Конечно, и здесь не обходится без маленького чуда. Базарная пошлость превращается в разоблачение капитализма. Книга Сайрилы Хара, по мнению Мариэтты Шагинян, есть один из тех детективов, в которых «унтер-офицерская вдова сама себя высекала». Этот роман выводит на чистую воду нравы английского суда и поэтому очень полезен. «Прежде всего, он не бульварное чтиво. Роман своеобразен по форме, — в одно и то же время и выдержан в старомодных тонах консервативного уважения к старине (то, что англичане называют «old fashioned») и написан модернизировано лаконичным языком современной западной беллетристики. Несмотря на жанр детектива, он совершенно реалистичен».

Не знаем, почему соединение консервативных идей с модернизированным языком современной западной беллетристики пленило Мариэтту Шагинян. Что касается реализма — пусть судит читатель.

Дело происходит на юге Англии. Главный судья выездной сессии, чванный дурак, обязанный своей карьерой жене, столь же бездарен в деле управления собственным автомобилем. Он искалечил на улице пианиста и теперь живёт в страхе перед разорением, так как пианист намерен потребовать с него 15 тысяч фунтов стерлингов. Иск ещё не подан, переговоры затяннулись. Между тем главный судья получает анонимное письмо, в котором ему угрожают смертью. И действительно, он подвергается нескольким покушениям, причём всякий раз его спасает жена — не только образованный юрист, но и мужественная женщина. Все эти покушения остаются ужасной тайной, несмотря на усилия местной полиции и Скотланд-Ярда. Наконец, неизвестный убийца достиг своей цели. Судья заколот.

Адвокат-неудачник Петигрю, некогда влюблённый в жену судьи, начинает понимать, кто совершил убийство. В полном смятении чувств, но верный своему долгу джентльмена, Петигрю пишет любимой женщине загадочное письмо: «Дорогая Хильда! (1938) 2 К.О.202 Ф.» Письмо имело неожиданные последствия — через два дня жена судьи покончила самоубийством. Оказывается, это она была убийцей своего мужа. В качестве юристки лэди Хильда нашла средство избавиться от разорения. Для этого достаточно было затянуть переговоры на шесть месяцев, а затем покончить с собственным мужем, ибо по истечении указанного срока пианист уже не имел права вчинить свой иск наследнице несчастного дурака-судьи, как об этом гласит страница 202 второго тома «Королевских судебных отчётов» за 1938 год. Роковое письмо открыло жене судьи, что её карта бита.

Весь этот вздор Мариэтта Шагинян считает разоблачением буржуазного суда, его «формальной и бездушной машины», где движущей силой служит «не любовь к правде, не желание найти истину, а мелкая борьба самолюбий, зависимость от человеческих характеров, их ничтожество, их нечистоплотность». Вздор, потому что реакционная сущность буржуазного суда не в борьбе самолюбий и т. п., а в классовом его характере. Если следовать за «Дневником писателя», то каждую базарную книжку с участием Нат Пинкертонов и Ник

Картеров (извините нашу отсталость) можно истолковать как разоблачение буржуазного правосудия. Стоит только вспомнить, какими глупыми и беспомощными выглядят всегда в этой литературе официальные представители полиции и судебных органов. Известно, что детективный жанр есть прославление частной инициативы в области сыска.

«Роман поучителен, — пишет Мариэтта Шагинян. — Его серьёзный и мрачный тон внезапно воспринимается, хотел или не хотел этого автор, как великолепная сатира. Вы чувствуете, что такое положение правосудия есть показатель гнили всей общественной системы». Правосудие здесь совершенно ни при чём. Оно торжествует в конце романа. Правильнее было бы сказать, что серьёзный и мрачный тон таких литературных вздоров отвлекает умы людей от действительного содержания общественной борьбы, а «разоблачениями» давно прикрывается вся буржуазная литература, сеющая отчаяние и мистический ужас перед жизнью.

4

Итак, примеры показывают, что Мариэтта Шагинян не всегда сводит концы с концами. Дневник рисует автора то пылким энтузиастом, то разносторонним человеком, владеющим всеми оттенками культуры, то глубоким практиком, способным разбираться в сложных вопросах техники и народного хозяйства. Время от времени выясняется и оборотная сторона медали: скоропалительность вместо действительного знания фактов, двоякая мера вместо «органического внутреннего единства».

Просим иметь в виду, что у нас нет желания изболочить в чём-нибудь Мариэтту Шагинян. Единственная наша цель — доказать, что женщина с недовольным лицом в Доме колхозника была права. Давно замечено, что народные массы тонко чувствуют всякое проявление фальши. Следуя великой традиции нашей классической литературы, нужно воспитывать в себе отвращение к риторике и фразёрству. Не смеем давать советы такой опытной писательнице, как Мариэтта Шагинян, но что-то в этом роде нам хотелось бы выразить.

Заметный недостаток действительного содержания заставляет автора «Дневника» прибегать к различным средствам литературной бутафории. Сюда относятся

особая приподнятость речи, лирические отступления и так называемые образы, а также рассуждения, имеющие претензию на философскую глубину. Исследуем прежде всего систему образов Мариэтты Шагинян.

Записывая факты и цифры, автор «Дневника писателя» украшает их розами своего красноречия. Мы можем узнать, например, что Мариэтта Шагинян полюбила коров, которых прежде боялась и считала глупыми. «И вот они начинают вытягивать к нам милые морды с влажными губами, с большими круглыми кроткими глазами, с крутыми лбами и локонами между рогов...» Коровы с локонами — это недурно для очерка о животноводстве. «После коров показали нам большого белого хамаданского осла — замкнутое и надменное животное, себе на уме». Что такое бывают себе на уме, если это им выгодно, — факт доказанный, но Мариэтта Шагинян приехала не в зоологический сад для подобных наблюдений. То же самое нужно сказать о сравнении лошадей с балеринами, «скаковых летунов» с модной барышней, производителей на конском заводе с «цветущей матерью-домохозяйкой» и т. д.

Очень часто Мариэтта Шагинян обращается к сравнениям кухонного и дачного порядка. Вот она осматривает установку для бездымного сжигания сланца. В камере сжигания имеются три круглых окошечка, и можно видеть, как бушует пламя горящего газа. «Мы, впрочем, наблюдаем это и без оконцев каждый день в Москве, на кухне, когда зажигаем газовую плиту!» — восклицает автор. Чтобы пояснить, как посредством нагревания без доступа воздуха из сланца добывают газ и смолу, Мариэтта Шагинян применяет термин «томление»: «Я выдумала это слово сама, по аналогии с кухонной духовкой». В том же духе Мариэтта Шагинян объясняет, что такое «зависание сланца» в камерной печи. Ей немедленно приходит в голову процесс засорения чайника на даче в Кратове. «Всё труднее из такого чайника наливать воду: она течёт тонко, потом совсем не течёт; надо очень сильно нагибать чайник, чтоб появилась струйка, и т. д. Мы, наконец, приостанавливаем пользование чайником, ждём, чтоб он охладился, берём ножницы, ножик, что-нибудь длинное, колющее, буравящее и начинаем счищать изнутри чайника накипь, прокалывать заросшие дырочки».

Вот какие дела совершаются в сорока километрах от Москвы. Желая объяснить слово «фура», автор сообщает, что так зывались повозки, в которых перевозили из города на дачу мебель. Стоит Мариэтте Шагинян из окна машины увидеть фабричную трубу, как она уже переводит свои промышленные впечатления в область более знакомых и по-всему конкретных образов: «Женщины работают на торфе, лепят те самые брикеты, которыми мы зимою отапливаем дачи».

Разумеется, было бы несправедливо утверждать, что мир образов «Дневника» ограничен домашним кругом. Фантазия Мариэтты Шагинян гораздо шире. Однажды вечером, после объезда всех намеченных точек, она решает заняться историей литературы XVI века для подготовки к участию в учёном диспуте. Как передать это известие с наибольшей яркостью? Вот как: «Весь день я глядела сквозь наши советские факты вперёд. Сейчас, устроившись у настольной лампы с тарелкой винограда, сквозь наши советские факты начинаю глядеть назад, в глубь веков». И вперёд и назад, да ещё с тарелкой винограда... И глядит писательница не только в глубь веков, но и в глубину пространства. «Человек разве хуже журавля? Не зачешутся ли у нас, в конце концов, лопатки и предплечья в предчувствии того времени, когда мы, каждый из нас в отдельности, без самолётов, с помощью каких-нибудь спортивных аэролыж или аэрокрыл, сможем выпархивать из своих окон в тот голубой сад земной атмосферы, который через сотни лет по сравнению с освоенными межзвёздными путями покажется людям маленьким и домашним голубым садиком?»

Все эти мысли приходят в голову писательнице по поводу нового здания Московского университета. У неё уже чешутся лопатки. «Первое, что я почувствовала при взгляде на новый МГУ,— это мышечная реакция на пространство».

Очень может быть, что со временем мы полетим, «каждый из нас в отдельности». Но доказательства, приведённые М. Шагинян, производят странное впечатление. Первое доказательство заключается в огромности здания Московского университета. Писательница узнала, что одни лишь лестницы нового здания имеют в длину 11 километров, а чтобы осмотреть каждое помещение главного корпуса, хотя бы по

три минуты, потребуется два, два с половиною месяца. «Не значит ли это, что новым поколениям, поколениям коммунизма, придётся воспитать в себе какие-то совсем другие, новые качества? Может быть, надо изобрести приборы, усиливающие работу наших органов чувств, поле нашего зрения, глубину нашего движения? Но тут мне опять припомнилось из прочитанной книжки — о том, как П. Жаворонков «перехитрил» ветер, поставив сгрелу башенного крана по ветру. Разве не может человек перехитрить время и пространство, поставив свою нервную систему и восприятие по времени, по пространству? И разве так не делает он всю историю человечества?»

После таких глубокомысленных тирад Ленин обычно ставил своё знаменитое «уф!». Совершенно ясно, что Мариэтте Шагинян нечего сказать о строительстве высотных зданий. Факты и цифры не принадлежат автору — они известны. Да и слишком сухая материя эти факты, взятые из чужих рук. Тогда начинается искусственная конкретизация посредством образов и рассуждений.

Что такое «поставить свою нервную систему и восприятие по времени, по пространству?» Пустая фраза, набор слов. Всегда ли человек был способен совершать такие опыты над своей нервной системой или это задача новых поколений, поколений коммунизма? На протяжении нескольких фраз автор говорит и то и другое. Если верить Геродоту, в египетском лабиринте было 3000 комнат. Представим себе, что каждая из них имела в длину не более пяти метров. В таком случае общая протяжённость всех помещений лабиринта составляла 15 километров. Почему же у древних египтян не чесались лопатки? Нас тоже волнуют грандиозные масштабы Дворца науки на Ленинских горах. Но Мариэтта Шагинян устанавливает прямую связь между высотными зданиями и коммунизмом. Это обидно для жителей пятиэтажных и прочих домов. Они также надеются воспитать в себе новые качества. Второе доказательство близости тех времён, когда люди будут «выпархивать из своих окон», приведённое Мариэттой Шагинян, состоит в сравнении человека с журавлём. Знаете ли вы из чего состоит журавль? «Птица журавль — хрупкая, словно расширенный кузнечик; вся состоит

из тончайших косточек, воздушных пёрышек и серо-синей краски...» При таком несложном составе птица журавль оказалась сильнее ихтиозавров и палсозавров (Мариэтта Шагинян хочет сказать «плезнозавров»). Эти громадные чудовища передвигались очень медленно и на очень малом пространстве, «а победить время не смогли и вымерли». Другое дело птица журавль. «Она побеждает пространство своими перелётами». Отсюда знаменитый вопрос: «Человек разве хуже журавля?»

Здесь мы невольно перешли от образов к рассуждениям. Чтобы покончить с художественной частью, скажем, что образы Мариэтты Шагинян сплошь и рядом совершенно неуместны, то есть путают читателя, вместо того чтобы объяснить ему что-нибудь. Когда автор «Дневника» утверждает, что «очищение газа — это, в сущности, «доение» газа», здесь нет ничего дурного, кроме дурного вкуса. Но знаменитое сравнение перегонки сланца с томлением кушанья в духовке — никуда не годится. Сланец подвергают нагреванию без доступа воздуха, чтобы заставить его органическую часть выделиться из окружающей её породы. А блюдо ставят томиться в духовку не для того, чтобы из него вытек соус или начинка.

На другой странице своего дневника Мариэтта Шагинян описывает новое здание, «так хорошо построенное, что получаешь от двух его корпусов воздушное ощущение полёта, словно оно отрывается двумя крыльями от великолепных, широких лестниц, как самолёт от беговой дорожки». Читатель верит, что новый дом очень красив, но почему он должен быть похож на самолёт и хорошо ли это для архитектуры, если дом отрывается от лестниц?

Ещё один небольшой пример. Известную фразу Канта о звёздном небе над нами и нравственном законе внутри нас Мариэтта Шагинян сравнивает с «нарядным автобусом, в котором мы застряли на полпути к Дилижану».

Теперь понятно, что хотел сказать своей фразой автор «Критики практического разума».

5

Но оставим так называемые образы и перейдём к другому роду литературных украшений. Мариэтта Шагинян часто выступает перед читающей публикой как мыслитель. По поводу самого мелкого фак-

та она готова рассуждать о законах космоса. «Дневник» то погружает нас в глубины философии, то обращается к математике или тревожит естественные науки. При этом результат не соответствует затраченным усилиям. Сама Мариэтта Шагинян вынуждена признать свою склонность к преждевременным обобщениям: «С некоторых пор я заинтересовалась фотосинтезом. Я его ещё не совсем хорошо понимаю и по скверной привычке (самой скверной в моей жизни), ещё недопоняв, начинаю прыгать вперёд, сопоставлять, делать параллели, натягивать всякие преждевременные обобщения, что тем легче удаётся, чем менее ясно представляешь себе предмет».

Поскольку автор так хорошо знает свои недостатки, нам тоже хочется знать: с какой целью они выставлены напоказ в «Дневнике писателя»?

Конечно, тот, кто скажет, что все обобщения Мариэтты Шагинян преждевременны или ложны, будет неправ. Нет, во многих случаях её выводы совершенно справедливы. Так, например, они справедливы, когда Мариэтта Шагинян советует молодым публицистам прежде всего изучать факты, когда писательница критикует фальшивые кинофильмы и вздорные программы по педагогике или выступает против цеховой узости в науке. Совершенно правильно также её указание на те неудобства, которые вызваны переездом естественных факультетов Московского университета в новое здание, в то время как гуманитарные факультеты остались в старом. Повторяем, во всех этих случаях Мариэтта Шагинян судит очень здраво и правильно. Да и как может быть иначе? Мы имеем дело с талантливым автором, широко образованным и опытным в литературном отношении.

Но у писательницы есть поразительная способность выставить в забавном виде самые серьёзные материи. Так, например, она путает в один клубок метод исследования с методикой преподавания, организацией учебного процесса, размещением факультетов, научной популяризацией. Всё связано между собой, однако известные грани между различными областями не отменяются.

Вот Мариэтта Шагинян выдвигает идею соединения всех наук в своего рода «кафедре культуры». Проект новой кафедры связывается в её глазах с открытием фа-

культета журналистики в Московском университете, а подлинную основу для всех этих рассуждений образует проблема «общей крыши», возникшая в связи с переездом естественнонаучных факультетов в новое здание на Ленинских горах. Писательница указывает на пример Герцена, Огарёва, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Они учились в те времена, когда естествознание и общественные науки помещались вместе, в одном здании. И вот, действительно, этим знаменитым людям удалось «стать тем, чем они стали».

Заметим, что Мариэтта Шагинян отводит первостепенную роль вопросу о помещении. «Каждый новый построенный квадратный метр площади для вуза поднимает и выдвигает на первый план задачу пересмотра самого преподавания». Мало того: каждый построенный квадратный метр требует пересмотра разобщённости самих наук. Университет переселяется в новое помещение, а «с жатым инвентарём научного мышления» ещё не готов. Между тем «учёные как бы докопались до конца своих штреков, откуда уже можно перестукиваться с соседними науками».

Нет, учёные ещё не докопались до конца своих штреков. Это дело длинное, говорят, даже бесконечное, но перестукиваться всё же можно.

«Нашей эпохе, как никакой другой, необходимы общеобразовательные, популярно объединяющие многие отрасли наук, труды по истории культуры, которые стали бы настольными для наших студентов, взошли бы на кафедры и заменили в одном курсе несколько обязательных курсов». Хотели бы мы посмотреть, как труды всходят на кафедры. Кроме того, популярные труды не могут заменить обязательных курсов, которые изучаются студентами с целью овладеть непопулярной сущностью науки.

Должно быть, автор хочет сказать что-то правильное, полезное для борьбы против цеховой замкнутости в науке. Отчего же не подумать над этим более основательно, прежде чем братья за перо?

Ввиду разнообразия тем, затронутых в «Дневнике писателя», нам пришлось распределить выводы и обобщения Мариэтты Шагинян по рубрикам отдельных наук. Приведём некоторые из этих выводов, начиная с математики.

В этой области автор «Дневника писателя» имеет солидную подготовку. «Мне трижды пришлось учиться математике»,—сообщает писательница. Первые сведения об этой науке она получила в гимназии Ржевской, где преподавателем был хороший старый математик. «Очень толстый, отдувающийся, он вошёл в первый раз в класс, аккуратно написал первую задачку на икс-игрек мелом на доске, объяснил, как делать простые действия с этими буквами вместо цифр, и больше ничего не объяснил». Во второй раз писательница занималась икс-игреком в Плановой академии, где преподавал другой математик, «блестящий и острый». Воспоминания снова рисуют доску, мел, тряпку, которой стирают задачки. «Он нарисовал перед нами разграфлённые клетки, объяснил, что такое функциональные зависимости,—и в свете его объяснений иксы и игреки получили философский смысл, улеглись в определённые соотношения». В третий раз Мариэтта Шагинян училась математике, «развернув небольшую книгу С. Лурье о дифференциальном исчислении у древних».

Обладая такой подготовкой, писательница купила недавно «Энциклопедию элементарной математики» и, устроившись в постели «под уютно зажжённой лампочкой», раскрыла её с величайшей надеждой. Но — увь! — ничего не поняла. «Два тома абракадабры из формул». Мариэтта Шагинян захлопнула книгу с нестерпимой обидой. «И мне захотелось сказать её составителю, как ругаются непонятными словами дети: «Сама ты видал!»

Автор видит в этом ещё одно доказательство разобщённости всех наук. Несмотря на то, что «учёные докопались до конца своих штреков», они пишут очень непонятно...

Мариэтте Шагинян не приходит в голову, что «Энциклопедия» издана для людей, умеющих читать математические формулы. Если писательница ничего не поняла, устроившись под уютно зажжённой лампочкой, виноваты, конечно, математики. Это они сопротивляются установлению органического единства и грандиозного синтеза. Вот, например: «Такие понятия, как «координаты», «коэффициенты», «параметры», излагаются настолько изолированно друг от друга, что учащийся теряет всякое представление о родстве между ними. Утрачивается оно и в понятии «квант». Общий смысл этих понятий задушен огра-

диловкой учёных, не желающих ничего сводить к единству».

Дай только власть Мариэтте Шагинян, и она приведёт всех к одному знаменателю. Что заставляет уважаемую писательницу пускаться в рассуждения о «координатах» и «параметрах», не имея для этого самых необходимых сведений, трудно сказать. Какое родство и с чем утрачивается в физическом понятии «квант»? Пойми, кто может. В качестве представительницы школы бури и натиска Мариэтта Шагинян решает этот вопрос, не углубляясь в дебри наук. Право, мы начинаем думать, что «оградиловка» иногда бывает необходима.

Перейдём к другим наукам. О том, что писательница интересуется фотосинтезом, читатель уже знает. Открытие, сделанное Мариэттой Шагинян в этой области, вполне на уровне её понимания теории И. П. Павлова (о чём свидетельствуют такие фантазии, как «автоблокировка», «автополный обмен» и т. д.). Как известно, в зелёных растениях происходит процесс ассимиляции углекислоты за счёт энергии, доставляемой лучами солнечного света. Этот процесс называется фотосинтезом. Но послушаем Мариэтту Шагинян.

«Загадочный фотосинтез сопоставляю с мозговым процессом восприятия, со снами (может быть, это непроявленные дневные снимки, воспринимающиеся во сне в тёмном, бескрасочном виде, как клише?) и тому подобное». К тому подобному относится «игра самого луча солнца в мозгу, не преобразованного ни в белок, ни в углевод».

Если мы правильно поняли источник вдохновения Мариэтты Шагинян, то ей пришло в голову, что фотосинтез есть род фотографии. Кстати, о фотографии: непроявленный снимок не может восприниматься как клише. Что касается снов, то они зависят от темперамента и настроения. Бывают чёрные сны, но не всегда. Французский художник Кора сказал: «Я видел во сне розовые небеса».

Назвать гипотезу Мариэтты Шагинян о происхождении снов научной — нельзя. Луч солнца, играющий в мозгу, есть что-то из области сюрреализма. Хотя писательница цитирует марксистские книги, ссылается на классиков, шумит иногда громче всех, — увы, этот луч освещает большой беспорядок в... её представлениях о фотосинтезе.

Когда дело касается других, Мариэтта Шагинян прекрасно понимает, что «философского подхода искать на потолке нечего». Сама она, к сожалению, не придерживается этого правила и постоянно ищет чего-то на потолке. Стоит писательнице услышать новое слово или увидеть незнакомый предмет, и рассуждения текут у неё с такой же лёгкостью, как птица поёт.

В одной книге по агротехнике плодоягодного сада Мариэтта Шагинян прочла, что обрезать дерево нужно заблаговременно, так как раны, нанесённые при обрезке, болезненно отзываются на всяком растении. Тотчас же она начинает искать «философского подхода» на потолке. «Казалось бы, простые слова о простейшем деле — обрезке плодовых деревьев в саду, — а сколько рождается мыслей: во-первых, важность самой обрезки: убирать лишнее, потому что оно мешает росту главного (в дереве, как и в произведении искусства!); во-вторых, мы думаем: дерево, деревяшка, нечто нечувствительное, во всяком случае ничего не переживает, когда ломаешь ветку или сук, — а вот оказывается — оно чувствует, на нём болезненно отзываются раны. И вы вдруг, словно на вас подействовал художественный образ, начинаете переживать за дерево его боль».

Позвольте, в книге сказано только, что раны болезненно отзываются на дереве, но это вовсе не значит, что дерево чувствует боль. Открытие Мариэтты Шагинян переворачивает вверх дном все наши прежние понятия о возникновении чувствительности в природе. Дерево переживает, деревяшка чувствует боль. Мы уже говорили, что Мариэтта Шагинян живёт в царстве мифологии, где всё имеет чудесные свойства.

Одним из таких чудес является превращение прозаической вороны в древнего ворона наших былин. Подъезжая к Изборску, писательница слышит «карканье больших чёрных ворон, зловещих птиц русских летописей». Новое открытие, на сей раз в области орнитологии. «Каркает ворон-вешун у летописцев так же, как возле этих древних памятников спустя тысячелетие. Воронье тучами поднималось над стенами Изборска...» Наука говорит нам, что ворон тучами не летает, это редкая птица.

От живой природы можно перейти к общественным вопросам. Человек есть животное, делающее орудия. «Машина — создание рук человеческих, — пишет Мариэтта

Шагинян, — но всё больше и больше заметно в наши дни, когда машина стала массовой, всем доступной и ходит скопом, насколько это создание рук человеческих заимствовано людьми у природы». Все доказательства этого тезиса нам повторить не удастся; приведём только отдельные пассажи. Автор увлекается сходством между движением животных и работой машин. Например: «Гусеница, когда передвигает длинное тело, меняет точки опоры, подтягивая пассивные части (так и хочется сказать «гусеничный ход!»)» Сказать всё можно, однако трактор на гусеничном ходу или танк не меняют точки опоры, подтягивая пассивные части; это известно каждому школьнику. Почему бы не сказать, что галстук «бабочкой» летает вокруг шеи, а «змеевик» ползает в перегонном кубе?

Ещё один пример: «Кошка перед прыжком наверх, за птицей, делает нажим на свои задние лапки, совершенно так, как при старой игре в блошки мы нажимали костяшкой на самый крайний кончик круглого костяного кружочка-блошки и она тотчас же от нажима взлетала». Это сильное доказательство — известно, какое важное место в технике занимает игра в блошки. Мариэтту Шагинян можно упрекнуть только в том, что она упускает возможность сравнить игру в блошки с прыжками блохи. Само по себе описание этой игры носит эпический характер и может быть поставлено на один уровень с её описанием игры в футбол.

Но это ещё не всё. «Законы бесчисленных движений скрыты (и раскрыты) в любом животном, и звери ими идеально пользуются, выполняя закон своего бытия. Отсюда — счёт на лошадиную силу в моторах, гусеничный ход у тракторов; инерция, холостой ход, остаточное движение, сцепка, всё, что хотите, могло бы быть названо словом из зоологического, пернатого или пресмыкающегося царства». Не знаем, что имеет в виду Мариэтта Шагинян, говоря об инерции, сцепке, остаточном движении, но что касается лошадиной силы, то здесь её воображению напрасно рисуются удары копытом, крутая шея и красивый хвост, развевающийся по ветру. Под именем лошадиной силы в технике понимают только мощность, равную 75 килограммо-метрам в секунду. Эта единица, которую давно уже признают неудачной, возникла случайно (паровая машина Уатта

заменила труд лошадей при откачке воды из угольных шахт) и ничего общего с движениями лошади не имеет.

Всего забавнее выводы Мариэтты Шагинян: «И вот как раз какая-то ясная, опзраченная видимость рабочей структуры животного поражает нас, когда мы смотрим на животных в наших совхозах и на наших фермах, — мы и относимся к ним теперь как-то уже по-другому, как-то по рабочему, более дружественно и в то же время более научно, — наука докатывается до любого уборщика».

Попробуйте разобраться в этом нагромождении фраз. Кажется, Мариэтта Шагинян хочет сказать, что с тех пор, как машины ходят скопом, мы увидели, что они очень похожи на животных, и стали лучше относиться к последним в наших совхозах. Над вымыслом слезами обольюсь...

От техники перейдём к экономике. Из дневника Мариэтты Шагинян видно, что ей удалось дважды прочесть «Экономические проблемы социализма в СССР» И. В. Сталина. «Трудно передать словами, что это даёт человеку. Когда перечитывала, казалось, что это даёт при жизни пережить бессмертие». Мы верим, что писательница способна испытывать большие чувства. Но это должно быть доказано делом, а на деле Мариэтта Шагинян не проявляет совершенно естественного уважения и даже простого внимания к этой работе, настолько произвольны её комментарии.

Развивая тему об основном экономическом законе социализма, автор «Дневника писателя» выводит из него более частную закономерность, а именно «прямо пропорциональное отношение между себестоимостью и качеством» или «прямую связь между удешевлением продукции и повышением её качества». Об этом Мариэтта Шагинян даже написала статью в «Известия» под названием «Открытие закона», но в редакции, к счастью, выбросили этот закон.

Здесь автор выступает во всём блеске своего теоретического анализа. Мариэтта Шагинян даже опередила «Экономические проблемы социализма в СССР», ибо её открытие относится к более раннему времени; лишь впоследствии писательница поняла, что «прямо пропорциональное отношение между себестоимостью и качеством» входит в основной закон социализма (см. «Дневник писателя», декабрь 1951 года).

Откуда всё это берётся? — Две хорошие девушки, Тоня Жандарова и Оля Агафонова, работницы Люблинского литейно-механического завода пришли к выводу, что необходимо соединить заботу о качестве продукции с борьбой за понижение себестоимости. В газете «Гудок» Тоня Жандарова рассказала о применяемых ею методах улучшения производства. Вырезав из газеты этот рассказ, Мариэтта Шагинян без промедления принимается обобщать новые факты и поднимать их на принципиальную высоту.

Так родился новый закон. «А закон этот представился мне в таком виде: в социалистическом производстве между снижением себестоимости и улучшением качества существует прямо пропорциональная связь, открывающаяся в борьбе за «улучшение качества на каждом звене», каждой отдельной операции данного производства, — в то время как в капиталистическом производстве связь между удешевлением и улучшением продукта обратно пропорциональна. В капиталистическом производстве чем лучше продукт, тем выше себестоимость, а чем он дешевле, тем он хуже».

В своей работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» В. И. Ленин писал: «Самое верное средство дискредитировать новую политическую (и не только политическую) идею и повредить ей состоит в том, чтобы, во имя защиты ее, довести ее до абсурда»¹. Именно так поступает Мариэтта Шагинян с идеей противоположности двух социальных систем, двух типов общественного производства.

То, что сами рабочие на советских заводах сознательно стремятся к снижению себестоимости, одновременно с улучшением качества продукции, есть величайшее завоевание социализма. Но отсюда далеко до фантастических выводов Мариэтты Шагинян. Открытый ею закон практически означает, что при капитализме параштанов хорошего покроя из тонкой шерсти стоит дороже, чем такая же параштанов, сшитая из бумажной материи в мастерской гоголевского Петровича, а в социалистическом обществе должно быть наоборот: за удовольствие носить скверные штаны нужно дороже заплатить, ибо чем дешевле товар, тем он лучше качеством. Кто же будет покупать более дорогие товары? Не входя

в подробности образования себестоимости, можно сказать, что писательница отличается редким простодушием.

Ещё усилие — и мы вступаем в святые философии. Рассуждая о закономерном сближении всех наук, автор пишет: «Функциональные зависимости почему-то до сих пор не перешли в область философии, не подхвачены логикой, хотя они рвутся в эти науки». Мариэтта Шагинян говорит всегда так уверенно, что молодые авторы, для коих издан «Дневник писателя», будут читать её с трепетом. Тем не менее, «кто ей поверит, тот ошибётся». Во-первых, изучение функциональных зависимостей многим обязано философу Лейбницу. Во-вторых, о переходе функциональных зависимостей в область философии можно написать целую книгу, так как идеалистическая философия последнего столетия давно уже пользуется математическим понятием функции для борьбы против закона причинности. Наиболее яркий пример — знакомые читателю Мах и Авенариус. В-третьих, функциональные зависимости рассматриваются в огромной литературе по математической логике и это отчасти полезно для математики, отчасти вредно для логики (там, где математическая логика пытается заменить обычную логику субъекта и предиката).

На примере «автоблокировки» мы уже видели, что Мариэтта Шагинян не всегда умеет ясно отличать идеализм от материализма. Это подтверждается тем, что автор с поклоном и похвалой относит к «большим, обзорным научным трудам, начиная со знаменитых французских энциклопедистов», такую книгу, как «Описательная социология» Герберта Спенсера. Современный читатель не обязан знать, кто такой Спенсер, поэтому напомним, что Ленин видел в нём философа, близкого к направлению Маха и Авенариуса, а его рассуждения на общественные темы считал источником премудрости для филистера.

Мы не обвиняем Мариэтту Шагинян в таких страшных грехах, как буржуазный объективизм и т. п. Некоторый избыток фантазии, вот и всё. Если говорить о направлении её фантазии, это скорее противоположная крайность — прыжки вперёд, горячее желание поскорее привести всё к одному знаменателю. Описывая достоинства курса истории философии по программе Московского университета, составленной два года назад, Мариэтта Шагинян с тор-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 44.

жеством сообщает: «Буржуазной философии, которая раньше, в сущности, и составляла всё содержание курса, отведено лишь несколько часов». Почему же несколько часов? Для Гегеля и Фейербаха, Декарта и Лейбница достаточно нескольких минут. Исключение придётся сделать только для Герберта Спенсера. Мариэтта Шагинян не подозревает, как характерно это исключение для её слишком поспешного «органического синтеза».

Ещё одна величайшая врака (мы заимствуем это определение из «Дневника писателя»), на этот раз в области эстетики. Неподалёку от Еревана открыт Монумент Победы. Вдохновлённая красотой памятника, Мариэтта Шагинян тотчас же сочиняет теорию. «Назвала статью «Вперёд и выше!» Мысль: монумент в прошлом ставился обычно в честь уже сделанного, созданного, прошедшего события. Но наши, советские монументы — обращены к будущему». Заметим, что все комплименты, расточаемые автором нашему общественному строю, сводятся к унижению прошлого во имя настоящего и будущего.

Монументы в прошлом ставились в честь уже сделанного, пишет Мариэтта Шагинян. А у нас они ставятся в честь того, что ещё не сделано? Это смешная теория. Мысль, изложенная писательницей в статье «Вперёд и выше!», вовсе не мысль. Эта фраза, пустая и громкая. Она рисует автора в лучшем свете, но читатель хочет знать, для чего ставятся монументы, а фигура Мариэтты Шагинян его на сей раз не интересует. Подумав немного, он придёт к выводу, что монументы во все времена ставились для потомства и всегда были обращены к будущему. Если нужен пример, вспомним литературное отражение этого факта в «Памятнике» Горация, Державина, Пушкина.

Обливаясь слезами над вымыслом Мариэтты Шагинян, перейдём к другой области — истории литературы и общей образованности. Благо, писательница является членом учёного совета Института мировой литературы; ей и книги в руки.

24 июня 1952 года Мариэтта Шагинян ставит вопрос о том, что даёт право на звание образованного человека социалистической эры. Для решения этой проблемы она прибегает к обычному методу сравнения настоящего с прошлым. «Если не побояться

грубой и упрощённой схемы, то вот вам с х о л а с т, образованный человек средних веков, над которым тяготеет Аристотель, пропущенный через библию; схоласт отлично согласовывает в уме все свои представления, но эти представления совершенно не согласовываются с действительностью. В гоголевском невежде бурсаке, каком-нибудь Фоме Горобце, дан такой выветрившийся и ставший пережитком тип средневекового схоласта».

Бога вы не боитесь, товарищ член учёного совета! Во-первых, не Фома, а Тиберий. Во-вторых, напрасно обидели хлопчика. Стащить у бабы на базаре бублик, вертычку или маковник — вот все его преступления, а насчёт схоластики — не виновен. Может быть, писательница имела в виду Хому Брута? Философ, действительно, курил табак и любил выпить доброй горилки. А всё же назвать его за это выветрившимся средневековым схоластом было бы слишком жестоко. Скорее всего Мариэтта Шагинян спутала несчастную жертву панской прихоти с Фомой Аквинатом.

Пойдём дальше. «Вот э р у д и т XVIII в е к а, человек-кунсткамера, знающий множество вещей обо всём решительно, обучающийся по учебнику, похожему на сборник анекдотов». Это сказано об эпохе, когда примером образованности был Ломоносов, а во Франции выходила энциклопедия Дидро. Мариэтте Шагинян кажется, что социализм выигрывает от такого унижения процлых эпох, но она решительно заблуждается.

«Вот, наконец, с п е ц и а л и с т XIX века, чьё образование вместо прежнего «бообще» теснейшим образом связано с определённой специальностью. Искусство и тут подкапалось под смещные стороны этого типа, в котором «полнота», по выражению Козьмы Пруткина, «флосу подобна, потому что односторонняя». Узкий специалист, разиня-учёный, философ, упавший в яму и рассуждающий о верёвке, вместо того, чтоб за неё ухватиться, как в басне Дмитриева, — всё это черточки типа «образованного человека» XIX столетия, смешные стороны старого специалиста, ничего не смыслящего дальше своей профессии».

Философ, рассуждающий о верёвке, вместо того, чтобы за неё ухватиться, — очевидно «Метафизик», басня не Дмитриева, как пишет Мариэтта Шагинян, а Хемницера, и написана она в 1782 году, следовательно,

не имеет никакого отношения к XIX веку. По существу, рассуждения писательницы также «величайшая врака». Половина XIX века занята незрелыми попытками философского синтеза всех наук, в том числе и естествознания. В те времена существовала даже философская медицина, как в этом может убедиться Мариэтта Шагинян, обратившись к сочинениям нашего Давиды Велланского. Наконец, автор «Дневника» рассуждает так, будто в XIX веке не было великих представителей марксистской образованности, замечательных научных обобщений в области естествознания и т. д.

Не будем касаться других открытий Мариэтты Шагинян в истории литературы и общей образованности. Закончим наш обзор историей искусства.

По дороге в Эстонию писательница успела отметить новости ленинградской архитектуры. Инженерный замок (дворец императора Павла) долгое время был закрыт со стороны главного фасада. «Но оказывается,—пишет Мариэтта Шагинян,—этой крепостной замкнутости вовсе не было в проекте Росси; наоборот, Росси проектировал открытую аллею к Инженерному замку. Сейчас, восстанавливая с некоторыми коррективами замысел Росси, ленинградские архитекторы сняли стену, прорезали ход к Инженерному замку и открыли садик для народа».

Мариэтта Шагинян и сопровождающие её лица подъезжают на машине к историческому зданию. «Мы въезжаем со стороны площади в это новое, открытое пространство, видим ещё молодую, широкую аллею, помолодевший облик мрачного замка, сейчас реставрируемого,—свет сюда вошёл, новый оттенок истории, резко противоположный старому. И всё это изменение не нарушает, а выполняет замысел гениального Росси, далеко обогнавшего свою эпоху».

Сказано хорошо. Правда, все эти рассуждения держатся на том, что Мариэтта Шагинян никогда не видела старинных изображений Михайловского инженерного замка. Он стоял как бы на острове, открытый со всех сторон. Дать ему столько света в настоящее время не представляется возможным. Однако «крепостная замкнутость» в нём была. Дворец, построенный для удовлетворения рыцарских претензий Павла, имел вид крепости с внутренним двором. Подобием готического шпиля и подъёмны-

ми мостами через рвы, наполненные водой.

Конечно, Росси в этом не виноват. Но, позвольте, неужели Мариэтта Шагинян думает, что Михайловский (инженерный) замок есть создание гениального Росси, далеко обогнавшего свою эпоху? До сих пор было принято думать, что его строил Бренна, опираясь на проект Баженова.

После превращения гоголевского бурсака в средневекового схоласта можно всему поверить. В книге о Тарасе Шевченко писательница уже однажды назвала храм Христа Спасителя в Москве (теперь не существующий) «казёнщиной Витберга», хотя известно, что он построен Тоном и является образцом фальшивого стиля, созданного этим архитектором. К тому же и слово «казёнщина» странно звучит в применении к мечтателю Витбергу, которого так ценил его младший друг — Герцен. Напомним читателю «Бывое и думы».

Быть может, Мариэтта Шагинян хотела сказать, что крепостной замкнутости не было в аллее, намеченной Росси, когда он рядом с Михайловским замком построил Михайловский дворец? Но в аллеях крепостной замкнутости не бывает, так что в этом отношении гений Росси не мог обогнать свою эпоху. Кажется, писательница считает крепостной замкнутостью каменный забор, построенный в конце XIX века с чисто хозяйственной целью. В общем, её рассказ основан на странном смешении различных сведений, полученных во время беседы в машине.

Дело вовсе не в том, что Мариэтта Шагинян плохо разбирается в дворцах и храмах. Здесь нет ещё беды. Настоящая беда заключается в том, что писательница готова рассуждать на любую тему, совершенно не зная её. При всём уважении к Мариэтте Шагинян как не сказать об этом? Мы не виноваты; это сама писательница не дорожит своим литературным именем.

Ошибки и недостатки её «Дневника» далеко не исчерпаны нашей статьёй. Смешные это ошибки, очень забавные. Но, в сущности, смеяться нечего. Всё это скорее печально. Почему хорошие человеческие качества получили ложное развитие: энергия превратилась в скоропалительность, живой интерес к действительности — в пустую риторичность, разносторонность — в литературное шегольство? Нет, не смешно, когда почтенный автор смело вторгается в

любую область, будь то ботаника или архитектура, и так привыкает к этой лёгкости, что начинает забывать таблицу умножения.

Надеемся, что молодые публицисты будут следовать другим примерам,— так нельзя писать. Когда автор берётся за перо, он уже не принадлежит себе. Им владеют

И жажда знаний и труда
И страх порока и стыда.

Писать обо всём, опираясь на действительное знание дела, не заменяя конкретный разбор громкими фразами,— таковы требования, которые предъявляет к работникам печати советский народ. Недавно эти требования снова прозвучали со всей серьёзностью с трибуны совещания редакторов областных, краевых и республиканских газет.

В качестве отрицательного примера было бы проще и спокойнее выбрать автора, обладающего, так сказать, меньшим военным потенциалом. Но такая игра, с нашей точки зрения, неприлична. Часто приходится слышать, что критика отстаёт, что она критикует писателей по рангам, то есть обрушивается на слабых и щадит сильных. К счастью, Мариэтта Шагинян не принадлежит к категории слабых, она может постоять за себя. Не всякому автору по си-

лам выпустить книгу, которая так откровенно рекламирует его труды и дни, включая сюда и домашние происшествия, так добросовестно заносит в анналы истории любую мысль или, скорее, пленной мысли раздраженье, являющееся на минуту в голове автора, так смело объединяет все сомнительные места, вычеркнутые в различных редакциях из других его произведений. Перебирая все известные нам случаи, мы не находим в истории литературы ничего похожего на «Дневник писателя».

Читатель вправе спросить, является ли эта книга литературным произведением, написанным в форме дневника, или перед нами просто черновая тетрадь, не предназначенная для чтения? Ответить на этот вопрос довольно трудно. С одной стороны, Мариэтта Шагинян даёт практические советы (например, об употреблении цветных карандашей или кисточки для клея) и вообще заботится о читателе. Дневник «работает на публику», как говорят актёры; для себя так не пишут. С другой стороны, в этом произведении столько ошибок и чернильных пятен, а литературный язык так плох, что не может быть никакого сомнения — перед нами действительно настоящий дневник, не переписанный набело, рабочая тетрадь.

Даже великие писатели оставляли вопрос о публикации таких тетрадей на усмотрение потомства.



КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

★

ОТ ДИЛЕТАНТИЗМА К НАУКЕ

Заметки текстолога

Едва только Некрасов скончался, одна из одесских газет опубликовала в качестве его неизданного произведения большой стихотворный отрывок, который начинался такими словами:

Горы (?) да поляны — бедная природа.
Сторона — могила мёртвого народа.

Другие газеты перепечатали новонайденный текст, и через год он был без всяких оговорок введён в посмертное издание стихотворений Некрасова.

Между тем Некрасов никогда не писал этих клеветнических стихов о России. Их написал Михаил Розенгейм, бесталаннейший сочинитель убогих либеральных сатир, высмеянных в своё время Добролюбовым. В газетах появились разоблачения этой фальшивки.

Так неудачно начались разыскания в области неопубликованных некрасовских текстов.

Продолжались они столь же неудачно. В восьмидесятых годах на страницах такого, казалось бы, авторитетного органа, как «Русский архив», появилось другое новонайденное стихотворение Некрасова. Оно начиналось словами:

Заздравный кубок поднимая,—

и было безапелляционно объявлено тем застольным экспромтом, с которым Некрасов якобы обратился к М. Н. Муравьёву. Эта публикация долго пользовалась полным доверием исследователей. Лишь недавно удалось обнаружить, что автор этих стихов не Некрасов, а один из приближённых к Муравьёву чиновников.

Позже, в девяностых годах, тот же «Русский архив» опубликовал в качестве

«неизвестного» текста такое стихотворение Некрасова, которое было известно в печати с 1854 года, причём публикатор скандальнейшим образом приписал это стихотворение... Тютчеву.

Словно не желая отстать от «Русского архива», другой исторический журнал того времени, «Русская старина», опубликовал самодельные вирши некоего генерала Вениамина Асташева и выдал их за неизданное стихотворение Некрасова.

Третий исторический журнал, «Голос минувшего», как будто соревнуясь со своими коллегами, напечатал стихотворение Добролюбова «Дума при гробе Оленина» и объявил, что его автор — Некрасов и что оно называется «На смерть Николая I».

Ошибки эти чрезвычайно характерны для исторических журналов той эпохи. Редакторы не несли ни малейшей ответственности за достоверность своих публикаций, и потому доверяться этим публикациям было опасно. Правда, иные тексты воспроизводились с безукоризненной точностью, но то была счастливая случайность, ибо ничто не мешало им оказаться фантастикой.

Вообще не было организовано никакого контроля над материалами, печатавшимися в этих изданиях. В разное время по разным поводам «Русская старина» сообщила семь разнородных фактов, относившихся к биографии Некрасова; из них два были подлинной правдой, пять оказались ложью. Редактору было бы очень легко эту ложь обнаружить, если бы он дал себе труд проверить свои публикации по материалам, опубликованным ранее. Но у него не было склонности к такому труду: он был публикатор — и только, собиратель всякой всячины, а какой — безразлично, хотя бы то была никчёмная рухлядь.

Поскольку дело идёт о литературных явлениях прошлого, названным дореволюционным изданиям нынче соответствует «Литературное наследство», издаваемое Академией наук СССР. Стоит развернуть любой из его томов (а их вышло уже больше шестидесяти) — о Гёте, о Пушкине, о Лермонтове, о Грибоедове, о Герцене и Огарёве или о том же Некрасове, чтобы убедиться нагляднейшим образом, что и в эту малозаметную область советская культура внесла свои великие принципы, в корне изменившие самое существо всего дела. То, что было дилетантщиной, стало наукой. Организаторам этих замечательных сборников (С. Макашин и И. Зильберштейн) нисколько не свойственна роль архивариусов, слепо, без всякой проверки регистрирующих всякий документ. Прежде чем предложить читателю какой-нибудь новонайденный текст, они при содействии крепко сложенного коллектива учёных подвергают этот текст самой скрупулёзной проверке по всем параллельным мемуарно-архивным источникам, и таким образом читателю обеспечена максимальная гарантия точности каждого из публикуемых текстов. Я не говорю, что эта точность всегда абсолютна. И здесь встречаются порою погрешности, но, во-первых, их в тысячу раз меньше, чем в тех изданиях, о которых я сейчас говорил, а во-вторых, среди них уже не встречаешь таких чудовищных ошибок и промахов, какие были заурядным явлением в литературной практике старого времени.

Умственная лень, полужайство, кустарщина, безответственность, равнодушие, халатность, в той или иной степени присущие прежним изданиям подобного рода, сменились здесь научным анализом текста, пытливым стремлением проникнуть в его содержание, выяснить все обстоятельства, при которых этот текст создавался, дать воспроизведение его в том варианте, который наиболее соответствует авторской воле.

Научное мировоззрение, проникшее во все области нашей культуры, не могло не отразиться и на этом участке литературной работы. Напомню об издании классиков, осуществлённом и осуществляемом в послевоенные годы Гослитиздатом и Академией наук. Сомнительны, невнятные, недостоверны и сбивчивы были прежде изданные тексты Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Добролюбова, Слепцова, Успенского,

не говоря уже о Пушкине, Грибоедове, Гоголе, Лермонтове. Немудрено, что советский читатель начисто отверг эти издания — все до единого, отказался изучать по ним своих любимых писателей и потребовал новых, научно установленных, научно проверенных текстов. Отсюда такие прекрасные памятники советской текстологии, как 90-томное «Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого», как 20-томное «Полное собрание сочинений и писем Чехова», как академическое издание Пушкина и т. д.

Достаточно прочитать любой том основанной Горьким «Библиотеки поэта», будут ли то стихи Кюхельбекера, Огарёва, Минаева, Курочкина или Тютчева, Фета, Полонского, Константины Случевского, чтобы понять, в чём состоит та система работы над литературным наследием, которая по праву может называться советской.

Редактор каждого из этих томов лишь в силу инерции именуется здесь его «составителем», «подготовителем текста» — термины глубоко неверные, предполагающие механичность, ремесленность работы, между тем как на самом-то деле редактор в нашем советском литературном быту есть творческий работник, изыскатель, исследователь, посвятивший себя многолетнему комплексному изучению писателя, которого он редактирует. Он досконально знает и социальную и личную биографию этого автора, ему всесторонне известна эпоха, когда тот жил и творил, он с самой щепетильной тщательностью воспроизводит, а иногда и воссоздаёт его канонический текст, для чего, как, например, в случае с Фетом и Тютчевым, потребовались изощрённые лабораторные методы, так как эти тексты дошли до нас в очень недостоверной редакции, искажённой посторонним вмешательством.

Наиболее показательна в этом смысле судьба стихотворений Некрасова. Истерзанные царской цензурой, они вскоре после смерти поэта попали в руки каких-то барышников, которые сорок лет, вплоть до советской эпохи, печатали их с отвратительной, я сказал бы, преступной неряшливостью. Такому посмертному поруганию не подвергался ещё ни один из наших великих писателей. Не было в России поэта — большого или малого, — книги которого в течение столь долгого времени печатались бы в таком исковерканном виде. Дело до-

шло до того, что, например, в одиннадцатом издании некрасовских книг стихотворение «Сеятелям» было озаглавлено «Деятелям», вместо «стон» напечатано «сон», вместо «грозы» — «грёзы», вместо «кусточек» — «кусочек», вместо «селение» — «соление», вместо «поженки» — «ноженки», вместо «обграют» — «обгреют» и т. д.

У Некрасова, например, было сказано о покончившем с собою извозчике:

Над санями под навесом
На возжах висел.

А в тринадцатом издании читаем:

Над санями под навесом
На возжах сидел.

Такова была «текстология» Некрасова в досозветский период литературной истории. К тому времени многие стихотворения уже стали цензурными, но издатели, ради угождения властям, свято сохраняли давно забытые запреты цензуры семидесятых годов и на основании этих старинных запретов не включали в его книги таких произведений, как, например, поэма «В. Г. Белинский», «Вчерашний день, часу в шестом», «На смерть Шевченко», «Смолкли честные, доблестно павшие», «Что нового?», «Путешественник» и многие другие.

Когда Октябрьская революция освободила Некрасова от произвола черносотенных издателей, в 1918 году Наркомпрос постановил издать новое, раскрепощённое издание стихотворений поэта, где были бы заполнены цензурные бреши и дан строго проверенный текст. Редактировать новое издание было поручено мне. Сил и умения было у меня тогда очень мало, ибо в ту пору я не успел ещё выработать те научные принципы, которые необходимы для подобных трудов. Приходилось идти ощупью, наугад, без сколько-нибудь точной системы. Правда, в проредактированный мною однотомник, вышедший в 1920 году, было внесено около трёх тысяч стихов, не входивших в прежние издания; равным образом здесь было заполнено изрядное количество цензурных пробелов. Но из-за отсутствия принципиальных установок издание изобиловало большими изъянами, многие текстологические проблемы были решены здесь неправильно, и мне потребовалось тридцать четыре года дальнейших трудов в той же области, чтобы полностью осознать те непреложные принципы, которыми

надлежит руководствоваться при воссоздании подлинных текстов Некрасова. Эти-то принципы мне и хотелось бы сформулировать здесь, так как они кажутся мне обязательными для всех, кому придётся работать в дальнейшем над текстами великого поэта.

2

В первую очередь, нам, конечно, удобнее всего рассмотреть самые лёгкие, простые, элементарные случаи, не вызывающие ни сомнений, ни споров, чтобы потом постепенно, в порядке возрастающей трудности, перейти к более запутанным и сложным проблемам.

Таких элементарных случаев было немало. Очень часто задача сводилась к тому, чтобы, найдя в каком-нибудь частном архиве неизвестную некрасовскую рукопись, выделить в ней запрещённые цензором строки и заполнить этими строками пробелы, зияющие в текстах дореволюционной эпохи.

Закономерность подобных поправок была вполне очевидна и не подлежала сомнению. Всё здесь сводилось к самой незамысловатой и, я сказал бы, бесхитростной реставрации стихов, уничтоженных царской цензурой.

Если, например, во всех дореволюционных изданиях стихотворение «Молебен» печаталось в таком искалеченном виде:

Внемли моление наше сердечное
О послуживших ему...

после чего следовали цензурные точки, обозначающие пропуск:

.
.

было ясно, что на основе вновь найденных некрасовских текстов эта строфа должна быть напечатана так:

Внемли моление наше сердечное
О послуживших ему,
Об осуждённых в изгнание вечное,
О заточённых в тюрьму.

Иначе эту строфу и невозможно печатать. Здесь единственно правильный её вариант.

Таковы же новые, долго остававшиеся в неизвестности строки, внесённые в сатиру Некрасова «Отрывки из путевых записок графа Гаранского». Больше полувека эти отрывки печатались так:

Но после того, как был найден такой вариант:

А хватаюсь за нож — замирает рука! —

кто же мог сомневаться, что именно этот вариант и было необходимо ввести в окончательный текст?

Замены эти в огромном большинстве так бесспорны, что и не требуют никаких пояснений. Достаточно продемонстрировать их, и их закономерность будет очевидна для каждого.

Например, в «Песне Ерёмушке» во всех дореволюционных изданиях было:

Братством, Истиной, Свободою

Теперь мы печатаем (на основании добродобровольской копии):

Братством, Равенством, Свободою.

Прежде печаталось (в «Знахарке»):

Много потерпишь, дойдёшь до запою

Теперь:

Высечен будешь, дойдёшь до запою

Прежде печаталось (в поэме «Несчастные»):

Аптека, два-три кабака

Теперь:

Собор, четыре кабака

Иногда эти замены очень мелки, ограничиваются одним-единственным словом (например, в «Притче о «Киселе» слова «хан» и «визирь» заменены словом «царь»), но как бы ни были они незначительны, они в своей совокупности чрезвычайно усилили политическое звучание поэзии Некрасова.

То же можно сказать и об отдельных стихотворениях Некрасова, находящихся в государственных и частных архивах Саратова, Петербурга, Петергофа, Москвы и других городов: о стихотворениях «Смолкли честные», «Есть и Руси чем гордиться», «Н. Ф. Крузе», «Мы вышли вместе» и о многих других, никогда не включавшихся в дореволюционные издания по тем же цензурным причинам.

Здесь будет уместно отметить, что инициатором «некрасовских раскопок» был Горький, который ещё в 1898 году напечатал в журнале «Жизнь» по вновь найденной рукописи неизвестное стихотворение Некрасова «Как празднуют трусу» («Время-то есть, да писать нет возмож-

ности»), где поэт с тоскливым негодованием указывал, что так называемое «освобождение» крестьян не принесло им желанной свободы.

Почин Горького был подхвачен другими, и теперь в «Полное собрание сочинений и писем Н. А. Некрасова» входят тысячи и тысячи стихов, которых не было в дореволюционных изданиях.

4

Но текстологические проблемы далеко не всегда допускают те элементарные, простые решения, примеры которых мы сейчас приводили.

Гораздо плодотворнее кажется мне изучение той обширной категории поправок, которая потребовала более трудных, более изощрённых приёмов исследования. Поправки эти нередко служили предметом ожесточённой полемики, так как они не раз вызывали сомнение, недоверие, а порою и резкий протест со стороны читателей, рецензентов и критиков. Было немало случаев, когда редактору приходилось упорно бороться за предложенный им вариант, с бою отстаивать ту или иную поправку, которую он считал наиболее верной. Здесь-то и пришлось применять те руководящие принципы, о которых было сказано выше. Принципов этих не много, но если бы мы не следовали им, тексты наших великих писателей остались бы раз навсегда жертвой произвола редакторов.

Первый из этих принципов, фундаментальный, незыблемый, вполне совпадает с теми общими установками, которые приняты советской литературной наукой для всех без исключения классических текстов. Принцип этот заключается в том, что в основу редактируемых нами изданий должен быть непременно положен последний прижизненный текст, выражающий окончательную волю поэта. Некрасов, например, с 1846 года во всех сборниках своих стихотворений тридцать лет печатал такое двустишие:

Мне луч божественный участья
Весь тёмный путь твой осветил.

Но незадолго до смерти, готовя новое издание стихов, он зачеркнул эти строки и вместо них написал:

Верь: я внимал не без участья
Я жадно каждый звук ловил...

И, конечно, эта авторская поправка для нас обязательна. Сохранять предыдущий вариант мы не вправе. Даже если нам почему-нибудь кажется, что прежний текст был более удачен, даже если мы жалуем о том, что автор заменил его новым, наше субъективное суждение должно оставаться при нас, а воля автора должна быть беспрекословно исполнена.

Мне, как читателю, кажется, например, что стихотворение «Затворница», написанное Некрасовым на смертном одре, превосходно. Но Некрасова оно не удовлетворило, и он через несколько дней написал на ту же тему другое стихотворение «Из поэмы: «Мать», которым и заменил «Затворницу». Предположим, что я не согласен с поэтом; что первый вариант мне нравится больше второго,—было бы дико, если бы я, редактируя эти стихи, вздумал руководствоваться своим читательским мнением. Последняя авторская воля для каждого текстолога священна, и редактор лишь тогда имеет право изменить в окончательном тексте хоть единое слово, если будет доказано, что этот текст пострадал от цензуры. В таких случаях редактор, конечно, обязан освободить страницы воспроизводимого текста от увечий, нанесённых рукою врага.

В стихотворении Некрасова, посвящённом Белинскому, долгое время держался такой вариант:

И о тебе не скажет ничего
Своим потомкам ветренное племя.

Прошло восемнадцать лет, и поэт, перепечатавая стихотворение, внёс в последнюю строку такую поправку:

Своим потомкам сдавленное племя

Но не удовлетворился и этим эпитетом и через несколько лет напечатал:

Своим потомкам сдержанное племя.

Предположим, что «сдавленное» кажется мне наиболее точным эпитетом и что окончательный вариант я считаю ошибочным; моё мнение не имеет здесь ни малейшей цены, и я обязан, не прекословя, исполнить отчётливо выраженную волю поэта.

Но тут-то и встаёт перед нами главнейшая трудность, чрезвычайно усложняющая нашу работу и требующая от нас особенно тонких приёмов исследования, без применения которых мы неизбежно рискуем вступить на

зыбкую почву случайных и произвольных решений. Трудность эта заключается в одной своеобразной специфике некрасовских рукописей, из-за которой исследователям бывает не так-то легко уяснить себе, в каком из двух или нескольких текстов воплощена последняя воля Некрасова.

Дело в том, что многих «окончательных текстов» Некрасова у нас нет и не может быть. Мы не имеем права считать окончательными его беловые автографы, хотя они действительно завершают собою всю его длительную работу над текстами и тщательно отделаны им для печати. Это наиболее обдуманное, наиболее совершенное в художественном отношении тексты, и всё же они не во всех своих частях одинаково авторитетны для нас, потому что именно на последнем этапе работы, перед тем, как отдавать их в печать, Некрасов вынужден был всячески приспособлять их к цензуре. Они были наименее достоверны в политическом отношении; поэтому все те места, в которых выражается политическое кредо поэта, мы должны восстанавливать отнюдь не по этим окончательным рукописям, а по каким-то другим, более надёжным источникам.

Чтобы выполнить окончательную волю поэта, мы часто бывали вынуждены применять комбинированный метод репродукции текста.

Впервые с этим комбинированным методом я столкнулся лет сорок назад, когда в Саратове мне случайно привелось обнаружить полустёртый карандашный автограф Некрасова: три страницы «Недавнего времени». На одной из этих страниц я с трудом прочитал такие никому в то время не известные строки:

Помню я Петрашевского дело,
Нас оно поразило, как гром,
Даже старцы ходили несмело,
Говорили негромко о нём.
Молодёжь оно сильно пугнуло,
Поседали иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.
Вряд ли были тогда демагоги,
Но сказать я обязан, что всё ж
Приговоры казались нам строги,
Мы жалели тогда молодёжь.

Иные строки приходилось угадывать, так как они были написаны лишь первыми буквами, которые к тому же еле поддавались прочтению. Например, строка:

И декабрьским террором пахнуло
была написана так:

И дек. т. пах.

Имею ли я право ввести найденный отрывок в «Недавнее время»? — спрашивал я себя и не знал, что ответить. По своим литературным достоинствам отрывок этот нисколько не ниже всего прочего текста, его стиховая фактура отличается той добротностью интонаций и слов, какая не свойственна черновому наброску, но всё же это не окончательная наборная рукопись. Беглые карандашные строки, записанные кое-как неразборчивым почерком, с незавершенными словами, без знаков препинания, без учёта корректорских требований, явно не предназначались поэтом для сдачи в набор. Они, как выяснилось после детального ознакомления с ними, представляли собой тот промежуточный текст, который непосредственно предшествовал белой окончательной рукописи. Авторитетен ли для нас этот текст? Вправе ли мы пользоваться им при выработке канонических текстов? Выразилась ли в нём последняя воля поэта?

После долгих колебаний я в конце концов пришёл к убеждению, что, поскольку дело касается цензурных искажений, смягчений и вымарок, такие «преднаборные», ещё не перебелённые рукописи авторитетнее всяких других. В то время — да и гораздо позднее — это казалось ересью. Текстологи формалистского толка требовали педантической (и, я бы сказал, фанатической) верности беловому, «окончательному» тексту — даже при наличии явных увечий, нанесённых ему автоцензурой.

Помню, какие ожесточённые споры были вызваны следующими строками поэмы «Кому на Руси жить хорошо», отсутствующими в окончательном тексте:

Как ни темна вахлачина,
Как ни забита барщиной
И рабством — и она,
Благословясь поставила
В Григорье Добросклонове
Такого посланца.
Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чухотку и Сибирь.

Особенно горячо возражал против включения этих строк в канонический текст один из лучших наших некрасоведов, по-

койный А. Я. Максимович, имеющий, как известно, большие заслуги в деле научного исследования некрасовских рукописей.

Свои возражения он мотивировал тем, что в беловом тексте, который самим Некрасовым был подготовлен к печати, эти строки представлены в другом варианте. По мнению Максимовича, их-то и надлежало ввести в канонический текст, ибо они выражали окончательную волю поэта.

С его мотивировкой я не мог согласиться. Он был бы прав в своей апелляции к беловому варианту, если бы дело шло об установлении текстов, скажем, Батюшкова, Баратынского, Жуковского, Тютчева. Но нельзя же забывать, что Некрасов был революционный поэт, вынужденный всю жизнь работать в подцензурной печати, и что его беловые автографы часто являют собой варианты, наиболее приспособленные к требованиям цензурного ведомства, то есть, с нашей точки зрения, наиболее испорченные.

Некрасов и сам говорил об одной из своих поэм: «Кончивши, начну её портить; может, и пройдёт, если вставить несколько верноподданических стихов». И о другой: «Думаю, что в таком испакошенном виде (какой он придал законченному тексту поэмы, чтобы сделать его наиболее «легальным») цензура к ней придраться не могла бы», то есть сам указывал, что беловые рукописи этих поэм, искажённых под давлением цензуры, не выражают его авторской воли и что, значит, те рукописи, которые непосредственно предшествуют им, выражают эту волю гораздо полнее, точнее и правильнее, поскольку дело касается политического их содержания.

Конечно, во всём остальном для нас авторитетны, важны, обязательны лишь последние прижизненные тексты Некрасова, наиболее обработанные великим художником слова, но в отношении отдельных фрагментов, имеющих политический смысл, мы непременно должны обращаться к тем рукописям, которые непосредственно предшествуют беловому автографу, ибо в них-то выразилась последняя воля поэта.

Максимович утверждал, что стихи о Добросклонове, взятые из более ранней некрасовской рукописи, представляют собой черновик. Но можно ли согласиться с его утверждением? Эти строки стоят на самом высоком уровне некрасовского мастерства. Их словесная фактура превосходна. Я уже не говорю о том, что они несут огромную

смысловую нагрузку, так как именно в них заключается вся биография одного из главных персонажей поэмы. Ясно, что Некрасов отказался от них скрепя сердце и что, вводя их в канонический текст, мы голько выполняем его волю.

Разве не чувствуется давление цензуры в том варианте этих замечательных строк, который был предназначен Некрасовым для напечатания в тексте поэмы:

И юноша, отмеченный
Печатью дара божьего,
Стал пылким и восторженным:
Певцом освобождения
Униженных, обиженных
На всей святой Руси.

Здесь, в этом печатном варианте, нет и намёка на то, что Добросклонов — агитатор, бунтарь, будущий организатор народных восстаний. «Печать дара божьего» воспринимается здесь, как литературный талант слагателя восторженных гимнов, прославляющих какое-то невятное «освобождение обиженных», то есть чуть ли не «раскрепощение» крестьян, učinённое по манифесту Александра II. Можно ли предпочесть эти двусмысленные и явно приспособленные к цензуре стихи тому варианту, где прямо говорится о революционной подпольной работе? Не ясно ли, что здесь, как и во множестве подобных же случаев, наиболее выражающим авторскую волю Некрасова является не самый последний из всех вариантов, «испакошенный» им ради приспособления к цензуре, а предпоследний, находящийся в рукописи, непосредственно предшествующей беловому наборному тексту.

Повторяю: заслуги Максимовича в области некрасоведения неоспоримо велики. Но даже для первоклассных текстологов были величайшей помехой те топорные, прямолинейные методы, какие господствовали в текстологии тех лет и до сих пор не изжиты до конца.

В 1877 году, стремясь провести через цензуру «Пир — на весь мир», Некрасов попытался смягчить гениальную солдатскую песню, входящую в эту поэму. В доцензурной рукописи было:

Ну-т-ка, с Георгием по миру,
по миру!

то есть указывалось, что при царском режиме герой, получивший за храбрость Георгия, был вынужден, как нищий, просить

подавания. Приравливая эту строчку к цензуре, Некрасов написал в беловом варианте:

Ну-т-ка, служивенький, по миру,
по миру!

Максимович требовал, чтобы я воспроизвёл в каноническом тексте этот беловой вариант единственно на том основании, что он — беловой. Между тем для меня не было и тени сомнения, что вариант со «служивеньким» есть результат автоцензуры, так как изобразить бесприютным и нищим отверженцем георгиевского кавалера было, говоря на языке цензоров, более «дерзко», чем просто «служивеньким».

Итак, вот второе важнейшее правило текстологической работы над стихами Некрасова: уверенно опираясь на окончательный прижизненный текст, мы, поскольку дело идёт о стихах, имеющих политический смысл, должны вносить в этот текст коррективы по непосредственно предшествующим рукописям, которые можно условно назвать «преднаборными». Если предположить, что какое-нибудь стихотворение Некрасова дошло до нас в четырёх вариантах, отражающих все стадии его работы над рукописями, не может быть сомнения, что наибольшую ценность для нас (в отношении стихов политического характера) имеет не четвёртый, а третий, в редких случаях — второй, так как авторская воля воплощается именно в нём. Во всём же остальном мы должны непременно придерживаться четвёртого, то есть самого последнего текста.

5

За исключением очень немногочисленных случаев, Некрасов печатал каждое своё стихотворение дважды: сначала на страницах журнала, а потом в одной из своих книг, озаглавленных «Стихотворения Н. Некрасова».

В последнее время некоторые рецензенты и критики стали всячески отстаивать тексты, которые публиковались в журналах. Это ошибка, грозящая большими опасностями. Для меня даже не существует вопроса, какому же из двух вариантов — журнальному или книжному — мы должны отдавать предпочтение. Я давно уже убедился на опыте, что ко всем без исключения стихам, которые Некрасов печатал в журналах, цензура относилась с удвоен-

ной строгостью и предъявляла к ним такие суровые требования, каких не смела предъявлять к тем же текстам, когда они после появления в журнале печатались в какой-нибудь из некрасовских книг.

Такова была обычная цензурная практика, ибо журналы печатались для сравнительно широкого круга читателей, а книги — небольшим тиражом. Практика эта неизменна. О ней свидетельствуют десятки и сотни примеров, из которых я приведу только пять или шесть.

Напомню, например, цензурную судьбу одного четверостишия Некрасова, которое в «Современнике» (1863, № 9) было напечатано так:

Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
.

Четвёртая строка, придававшая стихотворению главную силу, была вычеркнута и заменена многоточием, а в книге «Стихотворений Н. Некрасова» (1869) она напечатана полностью:

В арабанов, цепей, топора.

То же произошло и со стихотворением «Поэту». В «Отечественных записках» (1874, № 9) оно начиналось такими строками:

Где вы, — певцы любви, свободы, мира
И доблести?.. Веке «крови и меча»!
На трон земли ты посадил банкира
.

Четвёртая строка в журнальном тексте опять-таки не дошла до читателя: её заменили точки. Но при перепечатке стихотворения в книге «Последние песни» Некрасов уничтожил эти цензурные точки и восстановил отсутствовавшую в журнале строку:

Провозгласил героем палача..

То же самое случилось позднее и с «Русскими женщинами».

При появлении этой поэмы в журнале Некрасов под гнётом цензуры был вынужден заменить многоточиями строки о сосланных в Сибирь декабристах:

(Мне новостью были оновы на них,
Что их закуют — я не знала)..

Но когда через несколько месяцев поэма была перепечатана в пятой части «Стихо-

творений Н. Некрасова» (2-е изд.), — эти же строки появились там без всяких купюр.

Как различно было отношение цензуры к журнальным и книжным текстам, показывает история стихотворения «Суд». Когда Некрасов попытался напечатать его в «Отечественных записках», оно было вырезано из книжки журнала. Но не прошло и года, как поэт включил тот же «Суд» в собрание своих стихотворений (1869), и там эта сатира прошла без малейших изъятий. Мало того: в ней появилось 12 стихов, которых не было в журнальном варианте «Суда».

До каких нелепостей привело бы текстолога доверие к первопечатным вариантам стихов, можно видеть из следующей очень типичной истории двух известных сатир — «Филантроп» и «Княгиня», впервые напечатанных в 1856 году в «Современнике». В журнале «Княгиня» начиналась такими стихами:

В век Екатерины — и никак не ближе
Началась в России, кончилась в Париже
Вот какая притча: старое преданье
Мы теперь расскажем внукам в
назиданье.

Эти строки были, так сказать, принудительными. Здесь обычный некрасовский заслон от цензуры. Ибо на самом-то деле в «старом преданье», относившемся якобы к давнему веку, поэт откликнулся на свежую великосветскую новость, которая в ту пору была злободневной.

Изуродованная под давлением цензуры «Княгиня» появилась в «Современнике» в апреле. А 14 мая, то есть по прошествии двух-трёх недель, та же цензура разрешила к печати ту же сатиру Некрасова — уже без этих злостных искажений, так как на этот раз сатира предназначалась для напечатания в книге «Стихотворений Некрасова» (1856). В книге поэт зачеркнул вынужденные стихи о «веке Екатерины» и о «старом преданье», и, конечно, мы поступили бы весьма опрометчиво, если бы в каком-нибудь новом издании Некрасова вздумали реставрировать эти стихи.

Ещё показательнее те искажения, которые претерпел «Филантроп» при своём первом появлении в журнале. Это стихотворение было тогда злободневным. Но, чтобы провести его в журнал, Некрасову под нажимом цензуры пришлось приурочить его к далёкому прошлому, чуть ли не к тому же «веку Екатерины», и, главное, придать ему форму хвалы: то есть под прикрытием

еле заметной иронии прославить то самое, что он хотел обличить. В журнале «Филантроп» начинался такими словами:

Бедных петербургских жителей,
Стариков, сирот и вдов
Общество благотворителей
Приняло под свой покров.

Слава богу! между знатными
Нынче в моде, так сказать,
Не советами печатными,
Самым делом помогать:
Вот обычай утешительный!
А то в прежние года
Был со мною удивительный,
Странный случай, господа!

Правда, эти слова о «знатных» благодетелях произносит не сам поэт, а его персонаж, но всё же вышеприведённые строки в значительной степени искажали смысл всего «Филантропа». И замечательно, что, едва только «Филантроп» из журнала перешёл на страницы некрасовской книги, цензура отнеслась к нему совершенно иначе, и поэт получил возможность уничтожить все эти шестнадцать стихов, написанных им, так сказать, из-под палки.

В один и тот же год один и тот же цензор относился к одному и тому же стихотворению Некрасова то более, то менее строго, в зависимости от того, где это стихотворение печаталось¹.

Формы правительственного угнетения прогрессивной печати неоднократно менялись при жизни Некрасова: в 1865 году, например, предварительная цензура была уничтожена, и правительство вместо неё учредило цензуру карательную. Но как бы ни менялось цензурное ведомство, вышеуказанный принцип в его отношениях к журналам и книгам оставался всегда неизменным.

Нельзя назвать ни единого случая, когда какое-нибудь стихотворение Некрасова пользовалось бы большей цензурной «свободой» (хотя бы в кавычках) при печатании на страницах журнала, чем оно пользовалось ею при печатании в книге.

¹ Существует лишь одно исключение: двухтомник 1861 года, составившийся под впечатлением репрессий, которым подвергались стихотворения Некрасова, воспроизведённые Чернышевским на страницах журнала. (См. полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского, т. 1, М. 1939, стр. 752). Поэтому двухтомник 1861 года и не принимается нами в расчёт.

Но даже если бы не существовало этих цензурных причин, мы всё же должны отдавать предпочтение текстам, напечатанным в книге, потому что они — более поздние.

6

Всё это азбука, и я не стал бы распространяться о ней, если бы, повторяю, не обнаружил, к своему огорчению, что её и сейчас игнорируют даже наиболее серьёзные из наших рецензентов и критиков.

В прошлом году, например, в журнале «Советская книга» появилась рецензия о «Полном собрании сочинений и писем Н. А. Некрасова», вышедшем в двенадцати томах в Гослитиздате.

Рецензия дельная и во многих отношениях правильная. Тем прискорбнее, что её автор, т. Гайденов, по какой-то непонятной причине проявил упорное пристрастие именно к первопечатным журнальным некрасовским текстам, то есть к таким, которые меньше всего выражают авторскую волю писателя.

С большим удивлением я прочитал у него такую похвалу моей работе над текстами «Русских женщин»:

«Говоря о других декабристских поэмах Некрасова («Княгиня Трубецкая» и «Княгиня М. Н. Волконская». — К. Ч.), хочется подчеркнуть, что редактор совершенно правильно поступил, избрав варианты первопечатного (!?), а не рукописного и корректурного текста».

Такая похвала хуже всякой хулы. Ибо первопечатные тексты обеих частей «Русских женщин» (то есть те, что появились в «Отечественных записках» в 1872 и 1873 годах) получили столько увечий от царской цензуры, что было бы с моей стороны преступлением воспроизводить этот наиболее «испакошенный», по выражению самого Некрасова, текст.

Дело обстоит совершенно иначе. Найдя в одном частном архиве подлинную рукопись «Княгини М. Н. Волконской», я получил счастлившую возможность избавиться поэму от тех искажений, которые безобразили её чуть не полвека. Наиболее искажены были, конечно, первопечатные журнальные тексты, те самые, которые кажутся критику наиболее правильными, и я начисто отказался принимать их в расчёт. За несколько лет до того В. Е. Евгеньев-Максимов нашёл доцензурную рукопись «Княгини Трубец-

кой», и, конечно, я счёл своим редакторским долгом именно эти две драгоценные рукописи положить в основу канонического текста поэмы Некрасова, отчего вся поэма зазвучала по-новому.

И в журнальном и во всех досоветских изданиях поэмы печатались, например, такие стихи о декабристах, подготовлявших восстание:

стояли они настороже,
Готовя несчастье отчизне своей.

Так что прежний читатель был вправе подумать, будто устами своей героини Некрасов высказывал осуждение революционным бойцам, готовившим несчастье своей родине.

Но, как обнаружилось в найденных рукописях, у Некрасова на самом деле было сказано так:

стояли они настороже,
Готовя войска к низверженью властей.

И, конечно, я поспешил заменить этим новым стихом ту лживую подцензурную строчку, где декабристы трактовались как враги своей родины.

Так же недостоверна была, например, та первопечатная строка «Трубецкой», где героиня обращалась к Петербургу с такими словами:

Гнездо в с е х б е д, прощай!

из чего прежние читатели могли заключить, что к бедам причисляется восстание декабристов.

Между тем на самом-то деле в некрасовской рукописи было сказано так:

Гнездо ц а р е й, прощай!

Подобными вариантами первопечатного текста политический смысл поэмы был так извращён, что один из писателей радикального лагеря счёл возможным на основании этого текста упрекнуть Некрасова в слишком мягком и даже доброжелательном (!) отношении к царю Николаю I.

Откуда же было этому писателю знать, что в подлинной некрасовской рукописи есть, например, такие стихи о царе:

Да, цепи! Палач не забыл ничего
(О мстительный трус и мучитель!)

А также такие четыре строки о том же царе и его приближённых:

Нет, нет, я видеть не хочу
Продажных и тупых,
Не покажусь я палачу
Свободных и святых.

Нынче эти строки знает наизусть каждый школьник, их декламируют на каждой эстраде, и, конечно, вводя их впервые (с десятками подобных же строк) в один из одномников стихотворений Некрасова, я тем самым очень далеко отошёл от первопечатного текста.

Здесь-то, в работе над «Русскими женщинами», и обнаружилась особенно рельефно вся сложность и трудность текстологических проблем, связанных с литературным наследием Некрасова. Ибо и в рукописи этой поэмы текст был далеко не всегда полноценный. Там было много сомнительных мест, так что редактору приходилось производить самый строгий отбор среди имеющихся вариантов,— одни принять, а другие отвергнуть. В разное время два ленинградских исследователя, С. Рейсер и А. Максимович, предлагали различные планы реставрации этой поэмы. В каждом плане были свои хорошие стороны, но ни с одним из них в целом я не мог согласиться и предложил издательству свой вариант, который в окончательном виде вошёл в третий том «Полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова».

Можно ли считать этот вариант доброкачественным? Является ли он наиболее правильным из всех возможных вариантов поэмы или я так и не достиг своей цели? Вопрос этот очень важен, ибо касается дальнейших изданий великой поэмы Некрасова. В ответе на этот вопрос живо заинтересованы миллионы советских читателей.

Но именно на этот вопрос критика и не даёт им ответа. Долгая и сложная история реконструкции этой поэмы остаётся до сих пор неизученной. И находятся рецензенты, которые даже высказывают одобрение за то, что я, не производя будто бы никакой реконструкции, просто придерживаюсь первопечатного (то есть наиболее лживого!) текста.

Такое тяготение к первопечатному тексту приводит исследователей к столь же неверной трактовке заключительного двустихия «Дедушки».

В первом печатном тексте двустихие читалось:

Скоро уж, скоро узнает
Саша в е л и к у ю б ы л ь.

Но в последнем прижизненном издании Некрасов изменил в нём эпитет, и теперь двестише читается так:

Скоро уж, скоро узнает
Саша печальную былъ.

Это вполне законное отступление от первопечатного текста показалось рецензенту сомнительным.

Очевидно, он полагает, что замена «великой были» «печальной былою» произведена по цензурным причинам. Нетрудно убедиться, что такое предположение ошибочно. Стоит только взглянуть на одну из предыдущих страниц поэмы, где имеются такие стихи по старика-декабриста:

Пел он о славном походе
И о великой борьбе.

«Великая борьба» — эти слова без помехи печатались во всех прижизненных изданиях «Дедушки», из чего следует, что тогдашняя цензура не возбраняла Некрасову называть борьбу декабристов с царизмом великой.

Значит, дело совсем не в цензуре. Почему бы стала она по капризу разрешать этот эпитет на 17-й странице поэмы и запрещать его на 19-й? Дело в том, что, заменяя один эпитет другим, Некрасов пытался тем самым выразить своё дифференцированное отношение к восстанию двадцатых годов: борьбу с деспотизмом он называл «великой борьбой», а победу деспотизма — «печальной былою» и этими словами показал, что неудача революционного восстания в России вызывает у него глубокую скорбь.

Стало быть, у рецензента не было никаких оснований тревожиться: эта строка напечатана верно¹.

7

Здесь необходимо напомнить ещё одно правило — ч е т в ё р т о е, — которое должно быть соблюдаемо с особою строгостью при выработке канонических текстов Некрасова. Правило это заключается в следующем: как бы ни было ценно содержание тех или иных строк или целых фрагментов, найденных нами в некрасовских рукописях, мы не имеем права внедрять их в последний при-

¹ В цензурном смысле выражение «печальная была» является даже более «дерзким», чем «великая была», ибо сокращаться о разгроме освободительного движения в России было, конечно, большим криминалом.

жизненный текст, если их художественная форма не обладает теми высокими качествами, какие присущи форме последнего прижизненного текста.

То есть иными словами: стремясь освободить стихотворения Некрасова от цензурных искажений и пропусков, мы нанесли бы этим стихотворениям непоправимый ущерб, если бы вздумали втискивать в них недоработанные, сырые, черновые наброски, хотя бы эти наброски и не могли быть дозволены царской цензурой.

Об этом правиле забывали не раз. Так, в одной из своих книг, посвящённых Некрасову, А. М. Еголин предъявил ко мне требование ввести в стихотворение «Рыцарь на час» следующие строки, относящиеся к первоначальной редакции:

В эту ночь со отьдом сознаю
Бесплезно погибшую силу мою...
И трудящийся, бедный народ
Предо мною с упрёком идёт,
И на лицах его я читаю грозу
И в душе подавить я стараюсь слезу...

.

Да! теперь я к тебе бы воззвал,
Бедный брат, угнетённый, скорбящий!
И такую бы правдой звучал
Голос мой, из души исходящий,
В нём такая бы сила была,
Что толпа бы за мною пошла.

Идейная значительность этих двух шестистиший не подлежит никакому сомнению, и, конечно, нельзя не пожалеть, что Некрасов оставил их в неотделанном виде. Вся их фактура показывает, что это ещё черновик. Такие выражения, как «итти с упрёком» («с упрёком идёт»), «на лицах его», «тебе бы», «такую бы», «такая бы», «толпа бы», и многое другое наглядно свидетельствуют, что перед нами стиховая «заготовка», стиль которой ещё не доведён до того совершенства, каким отличается окончательный текст величайшего шедевра некрасовской лирики.

«Рыцарь на час» замечателен тем, что в нём единое могучее дыхание, которое невозможно прервать ни на миг, пока не дойдёшь до последнего слова. Это вдохновенное произведение Некрасова монолитно, между всеми его частями такая нерасторжимая связь, что буквально некуда вставить эти двенадцать стихов. В процитированном раннем варианте стихи эти помещены между 79 и 201 стихами, но в окончательном тексте развитие темы пошло по другому руслу

и весь отрывок оказался в стороне. Внести его в окончательный текст значило разрушить его композицию. Поэтому я не ввёл его в текст, а напечатал отдельно, что и вызвало следующий гневный упрёк со стороны А. М. Еголина.

«Этот изумительный отрывок, раскрывающий проблему (?) Некрасова-поэта и его связь с массами, К. Чуковский, редактор «Полного собрания стихотворений Некрасова», запрягивает в отдел «Примечаний», в свои комментарии к «Рыцарю на час». К. Чуковский не видит той исключительной ценности, которую имеет приведённый отрывок. Впрочем, К. Чуковский рассуждает по вопросу о связи Некрасова с массами иначе. Он пишет (в статье «Формалист о Некрасове»): «Ни о каком слиянии с толпой Некрасов никогда не говорил. И там же: «Некрасов до конца своих дней трактовал эту тему по-пушкински; в его поэтику входило чисто пушкинское презрение к толпе...».

Стоит только перелистать стихотворения Некрасова, чтобы убедиться, что эти странные упрёки не заслужены мною, ибо Некрасов действительно ненавидел толпу. Толпа в его стихах неизменно является синонимом пошлого и косного сброда, воплощением затхлого филистерства. Вспомним хотя бы такие стихи:

Не верь толпе—пустой и лживой..

Венец, толпой немыслящею
свитый...

Остервенелая толпа...

По ней громадная,
К соблазну жадная
Идёт толпа.

«Пустая», «лживая», «немыслящая», «жадная» к мишурным соблазнам — вот какова толпа в представлении Некрасова. Кроме того, она душительница всего благородного:

Толпа гласит: «певцы не нужны веку!»
И вет певцов. Замолкло божество...

Не значит ли это, что, по убеждению Некрасова, толпа и народ диаметрально противоположны друг другу? Поэт сурово порицал тех писателей, которые вместо того, чтобы творить для народа, пытаются подладиться к толпе:

Напрасно быть толпе угодней
Ты хочешь, поблакая ей—
Твоё призванье благородней,
Писатель родины моей!

Проклиная и ненавидя толпу, Некрасов всегда противопоставлял ей народ, трудящиеся массы. В одной из его позднейших элегий есть двустишие, где это противопоставление толпы и народа выражено особенно чётко:

Толпе напоминать, что бедствует
народ
В то время, как она ликует и поёт...

Если бы А. М. Еголин вспомнил об этих стихах, он непременно согласился бы со мною, что в поэтику Некрасова «входило чисто пушкинское презрение к толпе». Но он, вопреки Некрасову, отождествил толпу с народной массой и, не обращая внимания на то, что перед ним неполноценный в художественном отношении отрывок, настаивал, чтобы я самовольно включил этот черновик в одно из самых совершенных стихотворений Некрасова.

Между тем наиболее убедительным доказательством, что данный набросок представляет собой черновик, и является обнаруженное в этих строках смешение «толпы» и «народа», какого нет ни в одном стихотворении Некрасова. Зная устойчивость некрасовской лексики, можно не сомневаться, что в дальнейшей работе над этим отрывком поэт устранил бы неверное слово, грозившее разрушить ту систему поэтических образов, которой он неизменно придерживался во всём своём творчестве.

Таким образом задача редактора «Собрания стихотворений Некрасова» заключалась не только в том, чтобы вводить туда такие поправки, которые наиболее соответствуют авторской воле, но также и в том, чтобы свято оберегать его тексты от незаконного вторжения черновых, неотделанных, художественно неполноценных стихов.

8

Следует ли из всего вышесказанного, что текстолог должен быть простым автоматом, машинально воспроизводящим последний, даже заведомо испорченный текст? Напротив, мы только что видели, что критический анализ публикуемых текстов есть его прямая обязанность. Если нам достоверно (достоверно!) известны те неблагоприятные причины, которые, даже помимо цензурных воздействий, способствовали ухудшению текста и нанесли какой-нибудь ущерб его смыслу, мы обязаны во что бы то ни стало устранить этот ущерб.

Таково пятое правило нашей текстографической практики.

К некрасовским текстам приходилось применять его сравнительно редко, в самых исключительных случаях. Приведу один из них — наиболее наглядный. В сатире «Современники» есть во второй части такое двустишие:

...Выступил новый оратор,
Меняло — писклива была его
речь!

В этой речи излагался чудовищно пошлый проект — об устройстве центрального дома терпимости в грандиозном государственном масштабе.

В ту пору менялами были скопцы, и Некрасов намекает на это, говоря о пискливости речи, которую произносит меняло. То был очень выразительный штрих: во главе гигантского дома терпимости ставилась ассоциация евнухов.

Но, очевидно, опасаясь, что цензура не разрешит тех стихов, где приводится речь скопца, Некрасов для этого случая заготовил такой вариант:

...Выступил новый оратор,
Меняло, — но я прозевал его речь!

Ясно, что этот вариант предполагалось использовать лишь в том случае, если бы речь менялы не могла появиться в печати.

Но цензура не изъяла этой речи, и заготовленный вариант оказался ненужен. Речь беспрепятственно появилась в последнем из прижизненных изданий Некрасова («Последние песни», 1877, стр. 77—78).

Однако, работая над «Последними песнями» во время мучительной смертельной болезни, Некрасов не мог уже с прежней внимательностью править свои корректуры. Вследствие его недосмотра в это издание проник вариант:

...Выступил новый оратор,
Меняло, — но я прозевал его речь! —

хотя из ближайших же строк можно видеть, что автор совсем не прозевал этой речи, так как она полностью приводилась на той же странице. Выходило, что он и слышал речь и не слышал её. Должны ли мы воспроизводить явный недосмотр Некрасова? Ведь всякому ясно, что это бессмыслица, которую сам автор, к сожалению, не мог устранить, так как правил корректуру буквально на смертном одре. По этой тригической причине «Последние песни» изоби-

луют такими опечатками, каких не было и быть не могло ни в одном из предыдущих изданий Некрасова. Нужно было нечеловеческое усилие воли, чтобы работать над книгой среди ужасных страданий, которые причиняла умирающему поэту болезнь. Поэтому в канонический текст «Современников» я, не считаясь в данном случае с окончательным текстом, ввожу следующий заимствованный из ранней редакции стих:

Меняло — писклива была его речь!

Нельзя же не учитывать тех обстоятельств, при которых воплощалась в данном произведении искусства последняя воля автора. Эти обстоятельства нужно знать досконально, до мельчайших подробностей. Ничего не знает о текстах Некрасова тот, кто одни только тексты и знает. Их нельзя изучать в изолированном виде, вне связи со всеми обстоятельствами личной и общественной жизни писателя, ибо советский текстолог не имеет права быть только текстологом. Он должен быть историком, социологом, литературоведом и, кроме того, ему должна быть детально известна вся подлинная биография автора, произведения которого он редактирует. Иначе он на каждом шагу рискует попасть впросак. Возьмём хотя бы тот вариант одного отрывка из поэмы «В. Г. Белинский», который на поверхностный взгляд является для нас обязательным, так как он представляет собою последний прижизненный текст. В этом отрывке есть такие стихи о секретном комитете, который был основан Николаем I для душения прогрессивной печати:

По счастью, в нём сидели люди
Честней, чем был один из них,
Фанатик ярый Бутурлин,
Который, не жалея груди,
Беснуясь, повторял одно...
и т. д.

Если не знать обстоятельств, при которых были написаны эти стихи, нужно было бы ввести их в окончательный текст, так как они, по всей видимости, отражают последнюю творческую волю поэта. Правда, они значительно хуже предшествующих вариантов, но субъективные оценки — не дело текстолога: за свои стихи отвечает Некрасов. Правда, во втором и третьем стихе утрачена рифма, которая в предыдущем варианте звучала так чётко и звонко:

Честней, чем был из них один
Палач науки Бутурлин

Но и это не служило бы помехой, если бы мы не знали, что приведённые строки Некрасов восстанавливал в памяти в августе 1877 года, то есть в тяжёлый период своей предсмертной болезни, когда из-за приступов невыносимой физической боли он вынужден был прибегать к сильнодействующим наркотическим средствам, главным образом к опию, а это — он сам признавал! — ослабляло его контроль над своими писаниями.

Хаос! мечусь в беспмятстве, в бреду! — характеризовал он этот предсмертный период.

«Из страха и нерешительности и за потерю памяти,— писал он тогда,— я перед операцией испортил в поэме «Мать» много мест, заменив точками иные строки».

Эта-то «потеря памяти» и сказалась в вышеприведённой описке, уничтожившей рифму.

Здесь нужно принять во внимание и ещё одно обстоятельство, связанное с последними месяцами жизни Некрасова. Зная, что смерть близка, поэт с судорожным напряжением угасающих сил стал готовить будущее посмертное издание своих сочинений. Он мечтал, что это издание будет сильно расширенным, что туда войдут образцы его прозы, а также такие стихи, которые в прежнее время были под цензурным запретом. К этим стихам относилась и поэма «В. Г. Белинский». Тот отрывок из неё, который процитирован выше, и являет собой попытку сделать этот текст наиболее приемлемым для царской цензуры. Иначе Некрасов не заменил бы своей меткой и беспощадной строки:

Палач науки Бутурлин

следующим бледным вариантом:

Фанатик ярый Бутурлин.

Первый вариант был злее и резче и, главное, более соответствовал истине: бездушный карьерист Бутурлин меньше всего походил на фанатика; это был ловкий придворный, раболепно (и отнюдь не бескорыстно) творивший волю своего повелителя.

В дальнейших стихах поэт напоминает о том, что мракобес Бутурлин жаждал уничтожить в России науки и предъявлял к властям изуверское требование:

Закройте университеты!

А это окончательно убеждает нас в том, что «палач науки» есть для него наиболее

верный эпитет, наиболее соответствующий представлениям Некрасова об этом николаевском oprичнике.

Прочитированный выше отрывок из поэмы «В. Г. Белинский» входит в дневниковую запись Некрасова от 28 августа 1877 года, но, если всмотреться внимательно, перед нами не столько дневник, сколько руководство для будущего редактора посмертного издания его сочинений: поэт подсказывает этому редактору те аргументы, при помощи которых ему надлежит добиваться цензурного разрешения поэмы.

В этом нас больше всего убеждает некрассовская сноска к тем строкам его записи, где говорится о секретном комитете 1848—1855 годов:

«Комитет для разбора литературных злоупотреблений».

Можно сказать с полной уверенностью, что сноска эта не только не выражает подлинной мысли Некрасова, но и находится в кричащем противоречии с ней, ибо в своё время поэт имел множество случаев убедиться на собственном опыте, что у названного комитета была другая задача: беспощадный разгром прогрессивной печати и в первую голову расправа с его «Современником». Написать об этом цензурном застенке, будто он ставил перед собой такую невинную и даже благородную цель, «как разбор литературных злоупотреблений», Некрасов мог лишь для того, чтобы облегчить будущему редактору борьбу за напечатание запрещённой поэмы.

Словом, нельзя сомневаться, что весь этот фрагмент создавался в предвидении вмешательства цензурных инстанций и, так сказать, с учётом их будущих требований. Следовательно, у нас нет оснований считать этот текст каноническим, выражающим окончательную волю поэта. Изучение всех обстоятельств, при которых возник этот текст, заставляет нас отвергнуть его.

Таких случаев очень мало, и если я упоминаю о них, то исключительно ради того, чтобы продемонстрировать на конкретном примере, до какой степени неприемлемым в текстологии слепой, автоматический подход к материалу.

Знание всех обстоятельств, при которых было создано то или иное произведение редактируемого нами писателя, может

иногда привести к обнаружению ценнейшего текста, имеющего большой политический смысл. Так и случилось недавно со стихотворением Некрасова, которое в Полном собрании его сочинений носит заглавие «Тургеневу» и начинается такими строками:

Мы вышли вместе... Наобум
Я шёл во мраке ночи.

Стихотворение это известно нам в трёх вариантах, и, работая над ними, мы всегда забывали, что два из них относятся опять-таки к периоду смертельной болезни Некрасова, когда, готовя посмертное собрание сочинений, умирающий был озабочен приспособлением своих старых нелегальных стихов к требованиям цензурного ведомства.

Первый вариант, находящийся в «грешневской» тетради поэта, был опубликован В. Е. Евгеньевым-Максимовым. Тетрадь относится к 1861 году. Посвящения «Тургеневу» в ней не было; вместо заглавия — три звёздочки. Исследователь тогда же высказал очень меткую мысль, что, по всем вероятностям, под тремя звёздочками скрывается фамилия Герцен. Его догадка была убедительна — ни к кому другому нельзя отнести тех стихов, которые встречаются в первой строфе:

В глаза ты правду говорил
Могучему деспоту.

Но вскоре после опубликования этих стихов покойный академик А. Ф. Кони представил мне другой вариант того же стихотворения — тоже автограф, — на котором имеются две собственноручные пометки Некрасова.

Первая: «Тургеневу (писано в 1861 году, когда разнёс слух, что Тургенев написал «Отцов и детей» и вывел там Добролюбова)».

Вторая: «Т-ву (писано собственно в 1861 году, к которому и относится. Теперь я только поправил начало)».

Публикуя этот новонайденный текст, я в то время ещё не мог догадаться, что в нём, как и в поздней редакции отрывка из поэмы «В. Г. Белинский», выразилось желание Некрасова легализовать свои нелегальные рукописи. Лишь после того, как я понял, что создание того варианта, который озаглавлен «Тургеневу», вызвано стремлением поэта дать всему стихотворению возможность пройти сквозь рогатки цензуры.

я по-новому переоценил оба некрасовских текста и пришёл к непоколебимой уверенности, что второй вариант несколько не зачёркивает первого, как считалось до настоящего времени. Оба текста совершенно равноправны, причём первый (то есть, казалось бы, наименее авторитетный для нас) в данном случае ценнее второго, так как во втором иные строки явно приспособлены к цензуре. Но игнорировать второй текст мы тоже не имеем оснований, ибо Некрасов, переадресовав своё стихотворение Тургеневу, ввёл туда целые строфы, которые придали всему тексту новый, самостоятельный смысл. На это указала мне М. Я. Блинчевская, работавшая в издательстве вместе со мною и пришедшая другими путями точно к такому же выводу. Тут только я вспомнил, что, вручая мне листки, где записан этот второй вариант, академик А. Ф. Кони сказал, что они находились в той кипе некрасовских рукописей, которая относится к периоду предсмертной болезни поэта. Это даёт мне право причислить стихотворение «Тургеневу» к тому же разделу стихов, что и вышеприведённый отрывок из поэмы «В. Г. Белинский». А если это так, то первый текст отнюдь не может рассматриваться как черновой материал для второго. Это совершенно законченный текст, имеющий все права на самостоятельную литературную жизнь. Мы обязаны печатать это стихотворение под 1861 годом, без заголовка и при этом указать в комментариях, что вероятнее всего оно обращено к А. И. Герцену. А стихотворение «Тургеневу» убрать из числа стихотворений 1861 года и отнести к 1877 году¹.

Вот к каким коренным перестройкам основного корпуса стихотворений Некрасова приводит текстолога более или менее точное знание тех обстоятельств, при которых данный текст создавался.

10

Характерно, что большинство рецензентов и критиков, настаивавших на самовольном включении в некрасовский текст тех или иных новонайденных строк, почти всегда выражает уверенность, будто данные строки были изъяты из текста против воли поэта, в силу каких-то неведомых цензурных причин.

¹ Так и сделано в новом издании Н. А. Некрасова, выходящем ныне в издательстве «Правда» (приложение к журналу «Огонёк»).

Это даёт нам основание выдвинуть следующее — шестое (тоже очень важное!) — правило: для того, чтобы определить, исключены ли данные строки из текста стихов в силу цензурных условий или по собственной воле поэта, исследователь должен обладать самыми чёткими сведениями о цензурных требованиях, специфически свойственных тому периоду времени, когда печатался изучаемый текст.

Всё значение этого правила станет очевидно для каждого, если мы вспомним названную выше рецензию журнала «Советская книга», где выставлено безапелляционное требование, чтобы я включил в канонический текст некрасовской сатиры «Современники» чуть ли не все стиховые отрывки, найденные мною в рукописи этой сатиры, причём почти о каждом из этих отрывков рецензент заявлял, что тот не вошёл в окончательный текст якобы по причине цензурного свойства.

Среди этих «новаций» есть такая, направленная против мракобеса Каткова:

Московского Зевеса
Я там увидел снова:
Поверьте, наша пресса
Клевещет на Каткова.
Ужьель у патриота
В основе убежденья
Тупая жажда гнёта
И похоть истребления?

Чтобы установить, мог ли этот набросок подвергнуться запрещению цензуры, я обратился к «Отечественным запискам» Некрасова, издававшимся в те же годы, и вскоре увидел, что в этом журнале Катков без больших оценок назван «башибузуком», проституткой («нарумяненным погибшим созданием»), трусом, лжецом и нахалом. Это вполне убедило меня, что совсем не цензура наложила своё вето на вышеприведённый отрывок: уж если она разрешила журналу Некрасова уличать Каткова во лжи и нахальстве и сравнивать его с продажными женщинами, — почему стала бы она возражать против того, чтобы его именовали «московским Зевесом», одержимым жаждою «истребления» и «гнёта»?

К этому нужно прибавить, что набросав вышеприведённые строки ещё в марте 1875 года, Некрасов не включил их даже в черновой предварительный план «Современников», который был намечен им в мае — июне. Это — непригодившаяся ему заготовка, отвергнутая им в самом начале работы.

Какое же я имею право насильственно втискивать её в сатиру Некрасова, если эта заготовка не входила даже в её черновики? Конечно, её необходимо печатать, но в стороне от «Современников», отдельно, в виде приложения к сатире; так мы до сих пор и поступали, и надеюсь, что всякий исследователь, близко изучавший цензуру семидесятых годов, признает такое отношение к делу единственно правильным.

Дальше. В августовской книжке «Отечественных записок» за 1875 год в тексте сатиры «Современники» были напечатаны такие стихи:

Зала № 6

Военный пир... военный спор...
Не знаю, кто тут триумфатор.
«А... вор! Б... вор!» —
Кричит зарвавшийся оратор: —
В... ваш — не патриот,
А просто — карбонарий ярый.
Куда он армию ведёт?
Нет, лучше был порядок старый.
Солдата в палки ставь и знай,
Что только палка бьёт пороки!
Читай историю, читай!
Благие в ней найдёшь уроки:
Где страх начальства, там и честь,
А страх без палки — скоротечен,
Пусть целый день не мог присесть,
Солдат, порядочно посечен,
Пусть он ночью оставял
Кровавый след на жёстком ложе,
Не он ли в битвах доказал,
Что был небитого дороже?»

Расшифровать эти стихи было нетрудно, тем более, что их расшифровал сам поэт.

В 1875 году попали под суд за казнокрадство и взяточничество два видных петербургских генерала — Аничков и Мордвинов. Значит, строку:

А... вор, Б... вор!

нужно читать:

Аничков вор, Мордвинов вор.

Строки:

В... ваш не патриот,
А просто — карбонарий ярый

тоже не являлись загадкой. Незадолго до того, в начале 1874 года, военным министром Д. А. Милютиним был введён в действие новый закон о воинской повинности, который подворил в царской армии более гуманные порядки и в то же время чрезвычайно усилил её военный потенциал. У Милютина было много врагов. Они высказывали именно те убеждения, какие

высказывает «зарвавшийся оратор» в вышеприведённом отрывке:

Милютин ваш — не патриот,
А просто — карбонарий ярый.
Куда он армию ведёт?..
Нет, лучше был порядок старый.
и т. д.

Сам Милютин в дневнике (от 17 января 1874 года) писал о «дерзких и нахальных статьях», печатавшихся против него в реакционных газетах, о «клеветах и вранье» «Московских ведомостей», «Гражданина» и «Русского мира».

Нападки этих враждебных Милютину органов, стремившихся вернуть вспять развитие русских вооружённых сил, и пародирует в своём стихотворении Некрасов.

Солдата в палки ставь и знай,
Что только палка бьёт пороки! —

здесь буквальное воспроизведение тех требований, которые предъявляли в то время к Милютину «работорцы обскурантизма», как называл он их в своём дневнике.

Рецензент убеждён, что и эти стихи исключены из некрасовской сатиры по цензурным причинам. С первого взгляда это похоже на правду: стихотворение очень резко обличает бесчеловечную жестокость казарменных нравов: «палки», «кровавый след». Но почему же, спрашивается, оно было без всяких цензурных препон напечатано в некрасовском журнале? Да потому, что и эти «палки» и этот «кровавый след» отнесены поэтом к минувшему времени, к той эпохе, которая предшествовала военным реформам 1874 года. Это порицание старых порядков цензура не могла не воспринять как косвенное восхваление новых. Ведь Некрасов высмеивает одного из врагов той «гуманной» реформы, которую только что провозгласило правительство, и тем самым как бы убеждает читателей в благодетельности этой реформы. Какой же здесь цензурный криминал? Вспомним, что и в стихотворении «Дедушка» Некрасов без всяких помех напечатал такое страстное обличение свирепой муштры в царской армии:

А недоволен парадом,
Ругаць польётся рекой,
Зубы посыплются градом,
Порет, гоняет слявзь строй!
С пеною ў рта обрыщет
Весь перепуганный полк.
Жертв покрупнее прищипет
Остервенившийся волк...

Это обличение тоже могло беспрепятственно появиться в печати лишь потому, что ему был придан ретроспективный характер:

Нынче вам служба не бремя,—
Кротко начальство теперь.

Порицание старого цензура и здесь приняла за восхваление нового. Другое дело, что, обличая старое, Некрасов тем самым восставал против нового, ибо, в условиях абсолютистского строя, новое воспринималось им, как вариация старого, так что ретроспективность его сатиры была мнимой: он бил по современной действительности. Но цензура никогда не дала бы ему на это своего разрешения, если бы всякий раз он не создавал иллюзии, будто то, против чего он восстаёт, уже отодвинулось в прошлое. Использование этой иллюзии дало ему возможность довести до читателей «Железную дорогу», «Дедушку», «Недавнее время». Благодаря этой иллюзии ему удалось напечатать в своих «Отечественных записках» такую, например, гневную сатиру на лихоимство и бесчеловечность тогдашних военных начальников, как «драматические сцены» Дмитрия Гирса «Калифорнский рудник». Это никогда не могло бы случиться, если бы в подзаголовке к «Калифорнскому руднику» не было сказано: «Сцены прошлого» и если бы в подстрочном примечании к «сценам» не повторялось по нескольку раз, будто речь идёт о дореформенных, уже отменённых порядках.

Потому-то в своём «Военном споре» Некрасов и мог обличать «существующее и ныне безобразие», что официально оно считалось уже аннулированным.

Если не знать всех этих обстоятельств, характерных для так называемой «эзоповской речи» шестидесятых — семидесятых годов, невозможно понять, почему же и «Орина, мать солдатская» и те строки «Дедушки», где говорится о бесчеловечном истязании солдат, не встретили цензурных препятствий при появлении в некрасовском журнале. А если учесть эти обстоятельства, вряд ли останешься при непоколебимой уверенности, что «Военный спор» был исключён из текста по цензурным причинам.

Третий стихотворный отрывок, который, по мнению критика, мы обязаны ввести в окончательный текст «Современников», называется «Новый губернатор». Критик вы-

ражает уверенность, что и этот отрывок был изъят по цензурным причинам: ведь здесь прямо говорится о том, что губернаторы, по требованию центральных властей, были обязаны взимать с местных крестьян недоимки:

Недоимку! недоимку!
Остальное — трин-трава!

Но если мы вновь обратимся к «Отечественным запискам» семидесятых годов, мы встретим там немало указаний на точно такие же факты. То была излюбленная тема передовой журналистики семидесятых годов — тема, которую «Отечественные записки» в ту пору трактовали особенно часто. (См. например, майскую книжку 1875 года, стр. 157 и следующие.) Если цензура силою вещей была вынуждена не возражать против подобных сюжетов, когда они трактовались в журнале, почему бы стала она возражать против их появления в книге! Ведь к журналам она относилась с наибольшею строгостью.

Я не хочу сказать, что цензура в семидесятых годах стала мягче, но её свирепость обратилась на другие предметы. Выше мы видели, сколько увечий нанесено было ею в те же самые годы некрасовской поэме «Русские женщины».

Но исследователям незачем делать из царской цензуры какое-то неопределённое и туманное пугало. Нужно отчётливо знать, какова была специфика этой цензуры в каждую эпоху русской жизни.

Рецензент, например, утверждает, что стихотворение Некрасова «Дворянские скорби и радости», входившее в первопечатный текст сатиры Некрасова и посвящённое тогдашнему съезду петербургских дворян, изъято из текста по цензурным причинам. Вряд ли можно говорить об этом с такой непоколебимой уверенностью: ведь и о съезде дворян и о выступлениях двух «зубров» — Лобанова-Ростовского и Орлова-Давыдова, над которыми смеётся в своём стихотворении Некрасов, «Отечественные записки» ещё раньше отзывались с самым резким сарказмом в двух статьях, напечатанных в майской книжке 1875 года. В одной статье было прямо заявлено, что раздававшиеся на съезде помещицы речи прозвучали, словно «крик мертвеца», а идеи, выраженные в этих речах, похожи на те «городушки», которые «строятся детьми и балаганщиками». В другой статье Лобанов

и Давыдов названы без обиняков дикарями, бушменами, которые хлопочут о «восстановлении бушменских порядков». Даже либеральная пресса громко осудила их попытки реставрировать помещицью власть.

Значит, у нас нет никаких оснований считать тему этого некрасовского стихотворения запретной. Во имя чего же мы станем нарушать ясно выраженную волю поэта и, по капризу, включать в его сатиру такие стихи, которые он сам исключил?

Ведь это было бы незаконной причудой редактора, далеко выходящей за пределы его полномочий. Да и кто же возьмёт на себя ответственность за такое чудовищное разбухание сатиры Некрасова, которую сам же поэт сократил по своей собственной воле?

Вообще редактору классических текстов надлежит проявлять осторожность в отношении ко всяким «новациям». Изменять, дополнять, исправлять эти тексты можно лишь на основе строго проверенных материалов и фактов. Смутные догадки и домыслы здесь не ведут ни к чему. Лучше оказаться чересчур осторожным, чем самоуправно хозяйничать в литературном наследии великих писателей.

11

Но, конечно, излишняя осторожность, переходящая в робость, здесь, как и всюду, вредна.

Мне и сейчас больно вспомнить ошибку, которую я допустил — именно из-за отсутствия смелости — при печатании некрасовского «Дедушки». Дело в том, что ещё в 1926 году мною было впервые опубликовано (по вновь найденной рукописи) следующее четверостишие из этой поэмы:

Взрослые люди — не дети!
Трус, кто сторицей не мстит.
Помни, что нету на свете
Неотразимых обид.

Четверостишие представляет собой вполне законченный в художественном отношении текст. Его идейное значение огромно. В нём выступает с наибольшей отчётливостью основное содержание поэмы, которое заключается именно в том, что возвращённый из Сибири старик-декабрист завещает молодому поколению — своим внукам и правнукам — ненависть к самодержавному строю и страстную волю к революционной борьбе.

Найдя и опубликовав вышеприведённый отрывок, я должен был тотчас же включить его в канонический текст, но я долго не решался на этот единственно правильный шаг. Меня смущали первые строфы поэмы, которые, думалось мне, находились в резком противоречии с содержанием нового отрывка. Мстить сторицей за вековые обиды, нанесённые народу его угнетателями, — к этому мог призывать лишь непримиримый боец, между тем как в начале поэмы «дедушка» сам говорил о себе:

Днесь я со всем примирился,
Что потерпел на веку.

Вообще при первом своём появлении в поэме возвращённый декабрист был представлен слишком уж смиренным и благостным, слишком отрешившимся от какого бы то ни было «противления злу»:

Благословил он, рыдая,
Дом, и семейство, и слуг,
Пыль отряхнув у порога,
С шеи торжественно снял
Образ распятого бога
И, покрестившись, сказал —

сказал о своём евангельском примирении с мучителями, после чего —

Сын пред отцом преклонился,
Ноги омыл старину.

Все эти строки смущали меня. Я считал невозможным приписывать такому кроткому старцу зажигательные речи о беспощадной расправе с врагами.

Ошибка моя произошла оттого, что в ту пору я ещё не в достаточной мере изучил так называемый «эзопов язык» шестидесятых — семидесятых годов. Из-за этого я оказался неспособен понять, что атмосфера евангельской святости, которой поэт окружает старика-декабриста на первых страницах «Дедушки», представляет собою обычный у Некрасова заслон от цензуры. Вспомни хотя бы «Пир — на весь мир», где революционная притча о расправе с тираном изложена в духе церковных легенд:

Господу богу помолимся,
Древнюю бьль возвестим,
Мне в Соловках её сказывал
Инок, отец Питирим.

Кроме того, для меня, как и для многих других, долго оставалось неизвестным письмо Некрасова к В. М. Лазаревскому (от 9—10 апреля 1872 года), где поэт утверждал, что старик-декабрист выведен в поэме «не-

раскаившимся», то есть таким же, как был. Лишь после того, как письмо появилось в печати, я счёл себя вправе, не считаясь с первыми страницами «Дедушки», усилить найденным четверостишием ту часть, где поэт раскрывает подлинную роль старика-декабриста, как непримиримого борца с «самовластием», продолжающего эту борьбу и по возвращении из ссылки.

Печатание «Полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова» ещё не пришло к концу, как я осознал свою ошибку и в XII томе исправил её.

Но поправка чересчур запоздала. Текст «Дедушки» напечатан неточно. Причина этой крупной ошибки — излишняя робость редактора, объясняемая неверным истолкованием первых страниц поэмы, которые были направлены на дезориентацию цензуры.

И всё же благоговейная робость в данном случае куда предпочтительнее той необузданной «смелости», с которой иные исследователи приписывают Некрасову разные недостоверные тексты. Сошлюсь хотя бы на недавнюю книгу В. Е. Евгеньева-Максимова «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова» (т. III, М., 1952). Его заслуги в опубликовании новых некрасовских текстов бесспорны (он впервые напечатал такие стихотворения Некрасова, как «Бунт», «Есть и Руси чем гордиться», «Что нового?», «Путешественник» и многие другие), но — увы! — и его соблазняют всякие фальшивые новшества, которые он с простодушной доверчивостью принимает за подлинный некрасовский текст.

К великому своему сожалению, я, например, никак не могу согласиться с той поправкой, которую он в своей книге предлагает ввести в «Размышления у парадного подъезда». При этом он ссылается на следующие слова Чернышевского, относящиеся к названному стихотворению Некрасова: «в конце пьесы (говорил Чернышевский) есть стих, напечатанный Некрасовым в таком виде:

Иль судеб повинуйся закону.—

этот напечатанный стих лишь замена другому...»

Это означает, что указанный стих написан Некрасовым под давлением цензуры и что в подлиннике существует другая строка, которую мы, текстологи, должны отыскать.

Евгеньев-Максимов убеждён, что эта строка уже давно им отыскана. «Мне удалось, — пишет он, — разыскать старую, безусловно относящуюся к шестидесятым годам, рукописную копию «Размышлений...», в которой имелась строка: «Сокрушишь палача и корону». Для меня сразу же стало ясно, что именно о ней и говорит Чернышевский...»

Но для нас это неясно и теперь. Ибо если мы примем вышеназванный стих, нам придётся заканчивать сатиру Некрасова такими непонятными словами:

Ты проснёшься ль, исполненный сил,
Сокрушишь палача и корону,
Всё, что мог, ты уже совершил,
Создал песню подобную стону
И духовно навеки почил?..

Не нужно слишком внимательно вчитываться в эти стихи, чтобы заметить, что они совершенно бессмысленны. В первых двух строках говорится, что русский народ проснётся и свергнет тирана, а в трёх последних — что он заснул навсегда, неспособный к революционной борьбе. Конец пятистишия резко противоречит началу.

В том варианте, который мы знали до настоящего времени, такого противоречия не было, несмотря на то, что его смысл был — как мы знаем со слов Чернышевского — ослаблен цензурой. Между двумя диаметрально противоположными перспективами русской истории, намеченными в этих стихах, было поставлено: или. То есть утверждалась альтернатива: или русский народ сбросит с себя ненавистное иго, или захиреет и сгинет, причём читатель хорошо понимал, что Некрасов верует в первую из этих возможностей.

В новом варианте никакого «или» нет. Альтернатива исчезла, и получилась нескладница, которую, конечно, невозможно ввести в состав гениального текста. Разрушен синтаксис. Утрачен смысл. Я не говорю уже о том, что самое словосочетание «палач и корона» не может внушить доверия. У Некрасова такой неуклюжей фразеологии никогда не бывало. Ведь «сокрушить палача» в данном случае значит: уничтожить царизм, а вместе с ним все атрибуты царизма, в том числе, конечно, и корону.

Главное же обстоятельство, которое лишает текстологов права воспользоваться предложенным текстом, заключается в следующем. Когда-то, в давние времена, в 1917 году, этот текст уже был обнаружен

тем же исследователем, но тогда Евгеньев-Максимов читал этот текст совершенно иначе. Согласно тогдашнему его сообщению, найденный им текст был таков:

Ты проснёшься ль, исполненный сил,
Сокрушив палача и корону,
Иль судеб повинуюсь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил...
и т. д.

Этот вариант был осмысленнее, но и его было невозможно принять, так как в нём сохранялась строка:

Иль судеб повинуюсь закону,

то есть та самая строка, которая, по словам Чернышевского, представляла собою замену другого стиха. Здесь же эта строка сохраняется в полной неприкосновенности. Другая строка не заменяет её, а ставится с нею рядом. Так что исследователь едва ли имел основание утверждать с такой категоричностью, что «именно о ней и говорил Чернышевский». Чернышевский говорил не о новой, дополнительной строке, а о варианте старой, уже известной читателям.

В конце концов мы остаёмся в неведении: который из двух текстов был обнаружен исследователем. В двух разных изданиях он воспроизвёл свою находку по-разному, и оба раза она оказалась не отвечающей самым элементарным текстологическим требованиям. В одном случае нам предлагали читать: «сокрушив палача и корону», в другом — «сокрушишь палача и корону». В одном случае нам предлагали эту строку как замену, в другом — как дополнение к тексту.

Пусть же не смущаются молодые текстологи никакими авторитетами, именами, заслугами. Пусть сызнова обратятся к некрасовским рукописям, сызнова изучают в них каждое слово и подвергают самой строгой проверке всё, что было сделано нами.

12

С 1920 года и по нынешний день я лично несу ответственность за все стихотворные тексты Некрасова, ибо в течение этого времени я был их единственным бесценным редактором. Но теперь я с большим удовлетворением вижу, что во многих университетских и педвузах уже выдвинулась молодая фаланга учёных, прекрасно подготовленных для этой работы.

У нас, некрасоведов, уже выросла крепкая смена, и дело в надёжных руках. Ещё за несколько лет до войны начал свою плодотворную деятельность молодой, пылкий, энергичный текстолог А. Я. Максимович, имя которого упоминалось на предыдущих страницах. Он изумительно быстрыми темпами проверил по рукописям всю проделанную мною работу и внёс в неё ряд поправок, которые я принял с большой благодарностью. Мною было прочитано «горячие слёзы», Максимович поправил по рукописи: «горючие слёзы». У меня было: «скажем что-нибудь», у него «скажет кто-нибудь». У меня было: «погибнет», он установил, что необходимо: «покинет». Я прочитал: «подмерзлой», он доказал, что необходимо: «подмерзшей». Я читал «плутократия». Максимович прочитал «плутосократия».

Выше я отметил своё несогласие с некоторыми текстологическими принципами А. Я. Максимовича. Но, конечно, нельзя же принять с величайшей признательностью все вышеперечисленные поправки молодого учёного — результат тщательной и кропотливой работы.

Утешительнее же всего было то, что уже через несколько лет другой молодой исследователь — Александр Гаркави — продолжил текстологический труд Максимовича и внёс несколько важнейших коррективов в работу своих предшественников, в том числе и в работу А. Я. Максимовича.

Один из этих коррективов относится к некрасовскому стихотворению «Родина», которое в первом издании называлось «Старые хоромы». На раннем черновике этих «Старых хором» сохранились какие-то буквы, которые мы до сих пор не могли прочитать, так как они были густо зачёркнуты, очевидно, самим поэтом. При всей своей зоркости Максимович прочитал эти буквы неверно:

В. П. Б — ну,

то есть «Василию Петровичу Боткину», — из чего следовало, будто Некрасов посвятил одно из самых боевых стихотворений такому эстету и эпикурейцу, как Боткин, с которым в то время (1846 год), был мало знаком и состоял лишь в деловых отношениях.

Но вот недавно в ту же зачёркнутую строчку всмотрелся Александр Гаркави и обнаружил, что она читается так:

В. Г. Б — му,

то есть «Виссариону Григорьевичу Белинскому», и, конечно, эта строчка приобрела для нас величайшую ценность. Отныне все биографы Некрасова, говоря о его отношениях к Белинскому, непременно упомянут многозначительный факт, который был обнаружен Александром Гаркави. Этому молодому исследователю некрасовская текстология обязана целым рядом подобных поправок. Особенно много было сделано им на основе изучения недавно найденной «солдатенковской рукописи», позволившей ему уточнить несколько неверных датировок, установленных ещё Пономарёвым в конце семидесятых годов. Он же установил более правильный текст некрасовского стихотворения «Старушка».

К Александру Гаркави, работающему в Калининградском педвузе, прикнюнул молодой петрозаводский учёный М. В. Теплинский. Хотя его кандидатская диссертация о некрасовских «Современниках» не свободна от существенных промахов, в ней есть несколько отличных наблюдений, обновляющих текст сатиры. Текст этот, как известно, впервые появился в журнале «Отечественные записки» (1875), и там был выведен какой-то юбиляр, которого чествовали за «плодотворную» административную деятельность:

Путь, отечеству полезный,
Ты геройски довершил,
Ты не дрогнул перед бездной.

Перед какой бездной, никто не догадывался. Стихотворение казалось неясным и бледным, и мы полагали, что именно по этой причине Некрасов изъясил его из текста сатиры. Но Теплинский, проанализировав вышеприведённый отрывок, пришёл к убеждению, что «бездна» здесь отнюдь не метафора, как это казалось текстологам вот уже 70 лет, а название села, находящегося в Спасском уезде, Казанской губернии, того самого села Бездна, где в апреле 1861 года поднялось крестьянское восстание, зверски усмирённое казанским губернатором графом Апраксиным. Очевидно, его-то и чествуют в сатире Некрасова за то, что он «не дрогнул» перед убийством безоружных крестьян села Бездна:

Путь, отечеству полезный,
Ты геройски довершил,
Ты не дрогнул перед Бездной.

Это новое осмысление отрывка обязывает нас перенести его в канонический текст.

Достаточно познакомиться с кандидатскими диссертациями о некрасовском творчестве, защищёнными в эти последние годы молодыми филологами Москвы, Ленинграда, Петрозаводска и других городов, чтобы прийти к самым оптимистическим выводам о будущих судьбах литературного наследия Некрасова¹.

В работе молодых некрасоведов замечательна её коллективность. Они работают дружной артелью, и с каждым годом их становится всё больше. В далёкое прошлое отходит то время, когда, трудясь над воссозданием канонических текстов Некрасова, я чувствовал себя, как на необитаемом острове. Человек у всех на глазах исправлял (а может быть, и портил?) десятки стихотворений одного из величайших поэтов России, и хоть бы кто заинтересовался вопросом: верно ли он поступает, этот рети-

¹ В Государственной библиотеке имени Ленина имеются 22 диссертации на кандидатскую степень, посвящённые жизни и творчеству Некрасова. И Гаркави, и Теллинский, и Гин, и Беседина, и многие другие молодые некрасоведы — ленинградцы, университетские питомцы проф. В. Е. Езгеньева-Максимова.

вый редактор, не оставляющий камня на камне от всех досоветских изданий Некрасова? В печати появлялись, конечно, рецензии — иногда враждебные, иногда благосклонные, но всегда очень беглые, написанные, так сказать, мимоходом и, за исключением двух-трёх, совершенно лишённые какой бы то ни было принципиальной основы, не дающие мне, редактору, никаких конкретных указаний. Как будто поэзия Некрасова не является одним из величайших сокровищ нашей национальной культуры, как будто всякий по своему произволу может бесконтрольно хозяйничать в ней.

Но это уже особая тема: о критике изданий классических авторов. Она всё ещё не изжила своих старых пороков: импрессионистична, придирчива, оторвана от широких научных идей и почти никогда не считается с общим объёмом произведённой работы, а чаще всего судит о ней по случайным и нехарактерным деталям.

К счастью, и в этой области нынче как будто намечаются сдвиги: последнее время читатели всё громче требуют отчёта от тех, кому вверены тексты великих писателей. Одним из таких отчётов — по необходимости кратким — и является настоящая статья.



КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ю. Карасёв. «Звезда Востока». — Ю. Герман. Повесть с русских полярных мореходах. — З. Богуславская. Творчество Тренёва.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Симонов. Опыт передового совхоза. — Вал. Зорин. «Остановите печатные машины!» — Б. Жаров. Сражающийся Вьетнам. — И. Иноземцев. В мире минералов.

Литература и искусство

«Звезда Востока»

Осенью 1951 года в Москве была проведена декада узбекского искусства и литературы, явившаяся знаменательным событием в культурной жизни Узбекистана. Во время декады было обсуждено немало произведений узбекских писателей. Писатели Узбекской республики выслушали отзывы и пожелания московских товарищей, поделились с ними своими планами.

Но после этого в узбекской литературе наступило внезапное затишье и лишь после двухгодичного перерыва начинают появляться новые произведения.

Этот «штиль» не мог, конечно, не захватить и журнал «Звезда Востока», орган Союза советских писателей Узбекистана. Раньше журнал печатал крупные и нередко интересные произведения. А в 1952 году не опубликован ни один роман, созданный писателями республики, ни одна повесть, ни одна пьеса, ни одна поэма. В двух номерах (№ 8 и № 11 за 1952 год) не было даже и рассказов...

Только в середине 1953 года журнал приступил наконец к печатанию крупных по объёму прозаических произведений.

Долгое время в «Звезде Востока» над всеми остальными материалами преобладали очерк и публицистика. Отдел публицистики одерживал порой верх над другими отделами и в качественном отношении. Публицистические материалы отличались прежде всего целеустремлённостью отбора.

Из этих материалов можно составить несколько сборников с цельной, самостоятельной тематикой.

За последние полтора года в журнале были опубликованы содержательные передовые статьи — «Два Востока», «У нас и у них», статьи А. Ниалло и Н. Халфина «Туркестанский хлопок и американские миллионы» (о подрывной деятельности американских дельцов в Средней Азии), Н. Халфина «Американское проникновение в Индию и Афганистан в первой половине XIX века», С. Ибрагимовой и У. Рустамова «Среднеазиатское командование» и его агрессивная сущность», Н. Гусевой «Индии нужен мир» и другие. Убедительными, красноречивыми фактами насыщены статьи, раскрывающие сущность панисламизма, пантюркизма, мюридизма: А. Кутлумуратова «Мюридизм — оружие иностранных хищников», С. Ибрагимовой и У. Рустамова «Панисламизм на службе американско-английских империалистов», А. Тверитиновой «От национал-шовинизма к национал-предательству». В этих статьях рассказывается, как империалисты используют ислам для подавления национально-освободительных движений на Востоке, для закабаления мусульманских народов; как под маской поборников ислама орудовали на Кавказе и в Средней Азии иностранные разведчики, подстрекавшие среднеазиатские народы к борьбе против России; как ревностно служат турецкие шовинисты своим американским хозяевам.

Было бы хорошо, если бы эти публицистические материалы были дополнены в журнале литературно-критическими статьями, в которых бы давался бой рецидивам национализма, вредным пережиткам прошлого в узбекской литературе. В последнее время критика идеологических ошибок и извращений встречалась лишь в статьях, анализирующих труды по истории (к ним относятся хорошо аргументированная статья Н. Халфина о двухтомной «Новой истории стран зарубежного Востока», передовая «Славный путь», острое выступление Н. Хан «О восточных рукописях и ответственности учёного», упомянутая уже статья А. Кутлумуратова).

К публицистическим материалам журнала примыкают в известной мере и познавательные ценные обзоры и рецензии, в которых разбираются произведения писателей зарубежного Востока, — например, обзор прогрессивного иранского журнала.

Большая часть публицистических статей, напечатанных в журнале, убеждает прежде всего умело подобранными фактами. Красноречивых цифр, конкретных данных в этих статьях больше, чем общих слов и отвлечённых рассуждений, часто перекочёвывающих во многих журналах из статьи в статью. В «Звезде Востока» статьи звучат свежо, и читатель почерпнёт из них для себя немало полезного и нового.

Хуже обстоит дело с очерками. Им не хватает цельности, яркости, глубины. Авторы не вмешиваются в жизнь, а только фиксируют факты, ограничиваются случайными наблюдениями, схватывают лишь внешние черты явлений и героев; из этих случайных наблюдений и внешних черт не вырастают (в отличие от публицистических статей) серьёзные обобщения. А. Стрельцова в очерке «Путь горняка» приводит два эпизода из детства героя, упрощённо объясняющих, как возникло у него призвание к профессии горняка, поверхностно описывает его учёбу и производственную практику и под конец информационно, сухо рассказывает о его работе. Отдельные живые эпизоды выглядят в очерке случайными. Вяч. Костыря прибегает в своём очерке «Швея Миновар Абдурахманова» к стандартной схеме: ответы героини на вопросы очеркиста и реплики окружающих перемежаются с сообщениями о работе швеи. Беглостью изложения, беспорядочностью в распределении материала грешат и другие очерки: Дм. Волина

«Задарьинская новь», М. Лобачёва «Инженер», Г. Притчина «Волго-Дон». Впечатляющий, цельный рассказ о событиях подменён здесь пересказом и перечнем, яркие портреты — торопливыми зарисовками. Выделяются лишь очерки А. Удалова и очерк А. Стрельцовой «Хозяйка больших дорог», написанные более живо, и «Сельские механизаторы» Вл. Зыбина — серьёзный, хотя местами и суховатый, очерковый материал.

«Большая проза» в журнале представлена двумя романами и повестью.

Об историческом романе С. Бородина «Звёзды над Самаркандом» говорить ещё рано — роман не закончен печатанием. Полностью в «Звезде Востока» был опубликован роман В. Артищева «Партии рядовые» — о современном колхозном Узбекистане.

Роман в частности свидетельствует об одарённости автора, умеющего передать местный, национальный колорит, строить выразительные, живые диалоги, выделять в героях своеобразные чёрточки их характеров; удачны образы некоторых колхозников, трактористов.

Однако в целом роман испорчен многими серьёзными недостатками.

В его основу положено столкновение между передовыми людьми района, борющимися за высокие урожаи хлопка, и председателем колхоза Камбарали Шакировым, которого поддерживает второй секретарь райкома Закиров.

Такая борьба возможна в действительной жизни; но автор ушёл от жизни, посчитав, видимо, что сатирическое заострение образа требует открытого саморазоблачения героев.

Когда-то Шакиров был чайханщиком. Он «скупал краденые вещи, сбывал из-под полы анашу, опиум». В колхоз он вступил поздно. Но в колхозе-то и началась его головокружительная, для бывшего чайханщика, карьера. Побывав в счетоводах, кладовщиках, завхозах, он стал председателем колхоза. Честного руководителя из него не получилось, но «зато на собраниях он держал такие громовые разоблачительные речи (чайханщики народ речистый и на язык острый), что прослыл на первых порах чуть ли не честнейшим человеком в районе... Влиятельные друзья помогли ему в партию пролезть и «колхозным генералом» сделаться».

«Падение Камбарали Шакирова» не заставило себя ждать. Вскоре же он попался

на сокрытии посевных площадей и его выгнали из артели. Однако благодаря «сильной руке» в райкоме — Закирову — он ушёл из-под удара, и ему удалось даже побыть, в течение нескольких лет, на многих руководящих должностях — вплоть до председателя райисполкома! Шакиров и тут оставался верным себе, продолжал заниматься тёмными махинациями. Его разоблачали, но Закиров вновь и вновь спасал своего «подопечного». Во время денежной реформы Шакиров, очутившись «в кресле заведующего районной сберкассой», совершил нечистую операцию с обменом денег, и тут уж ему не смог помочь и Закиров: проходимца исключили из партии. А вскоре он всплыл в колхозе «Пахтакор» в должности... председателя. И — развалил колхоз.

Почему же так ревностно защищал жулика и проходимца Закиров? Что он сам из себя представляет?

Участник гражданской войны, Закиров, рассказывает автор, слыл когда-то авторитетнейшим человеком в районе, пользовался репутацией неплохого организатора и, главное, «хорошего оратора». (Автор почему-то считает, что последнее из этих качеств особенно высоко ценится нашими людьми и что за красноречием они готовы простить что угодно.) Жизнь шла впереёд, а Закиров постепенно отставал от жизни. Из поклонников у него остался, в конце концов, только Шакиров. Закиров оказался падким на лесть, да и не в силах был отказаться от шакировских подношений. Падшего секретаря райкома и падшего председателя колхоза связала корыстная дружба. У Закирова появился штатный подхалим, постоянный поставщик барашков, у Шакирова — «сильная рука» в райкоме. Защищая «друга», Закиров идёт на антипартийные, антигосударственные поступки. Он предупреждает Шакирова о посылаемой в колхоз комиссии для проверки фактов покражи, перехватывает адресованное первому секретарю письмо, которое может разоблачить Шакирова.

В среде честных людей затесался явный мерзавец. И всем известно, что он мерзавец. И все непростоительно долго терпят его. Именно эту ситуацию избрал для своего романа В. Артищев. В сатирическом произведении она может быть художественно оправданной. Но перед нами роман, где соблюдены все пропорции обыденной жизни, кроме одной: поведения отрицательных героев и отношения к ним героев положительных.

Шакиров подличает открыто. И Закиров защищает его открыто. А писатель, дабы оставить ситуацию именно такой, пошёл на уловку: он заставил положительных героев ничего не замечать. В результате мы то и дело наталкиваемся на противоречия.

Шакиров неоднократно разоблачал себя в прошлом перед общественностью района как прожжённый аферист, расхититель народного добра. Опекающий его Закиров к тому времени уже «свихнулся», как выразился о нём один из героев романа; «сильная рука» постепенно ослабевала, по этой руке могли и ударить. Однако даже при таком положении Шакиров почему-то оказался способным противостоять всей партийной организации района!

Но оставим в покое прошлое, допустив, что какие-то чрезвычайные обстоятельства помогли «дружкам» удержаться на поверхности, а не пойти ко дну, и обратимся к настоящему, когда Шакиров стал председателем колхоза.

Порой (как, например, в случае с кражей баранов) Шакиров ведёт себя хитро, изворотливо, хотя и здесь многое шито белыми нитками. Но эта кража не единичный эпизод в деятельности Шакирова. Он к тому же пьянствует, потакает лодырям, чтобы задобрить их, и сопротивляется всем благородным начинаниям колхозников. Почему же всё это сходит ему с рук? Да потому, что так хочет автор. Председатель ревизионной комиссии, коммунист Рашидов, раскрыл перед колхозниками действия Шакирова во всей их неприглядности (а колхозники и сами не любят своего председателя: «...пьяница он, грубиян... К тому же всем известно, за что его после денежной реформы с работы сняли»). И всё же, устами одного из героев, автор высказывает сомнения: «Если колхозники вчера не решились его выгнать, это значит, что они не совсем убеждены в правоте Рашидова». Выдвигается и ещё один аргумент: Шакиров, освобождая лодырей от работы, привлёк этим на свою сторону... половину колхозников! Но автор вовсе не хочет охаять колхоз «Пахтакор» и поэтому в дальнейшем заявляет: «Работают они (колхозники. — Ю. К.) неплохо. С подтёмом, с огоньком. Весь коллектив». Убедительно показывая, что в «Пахтакоре» нет почвы для Шакирова, автор пытается создать её. Получаются сплошь «неувязки». «Неувязки» возникают и тогда, когда речь идёт о Закирове.

Шакиров целиком зависит от Закирова. И поэтому автор, чтобы дольше продержался Шакиров, всячески стремится поддержать падающего секретаря райкома. Он настойчиво подчёркивает, что Закиров всё ещё обладает авторитетом. А позднее выясняется, что авторитет давно им утерян и если кто и верит в него, то только по принуждению автора. По «авторскому хотению» действуют и первый секретарь райкома Урунов и главный герой романа, партийный работник Ковылин. На районной партконференции коммунисты (несколько поздно опомнившись) резко критикуют Закирова, а Урунов берёт его под защиту, хотя Закиров для него ясен: он раскрыл себя и в покровительстве Шакирову и в разговорах с самим Уруновым — разговорах антипартийных. Почему же Урунов благодушен к нему? Может быть, он вообще не в меру благодушен? Нет, в остальном он удивительно «правильный человек»... Играет в дипломатию с Шакировым и партработник Ковылин, хотя на протяжении всего романа он выступает как человек прямой, честный и принципиальный. Лишь решив, что материал для «столкновения» между героями исчерпан, автор отдаёт Закирова на решительный суд коммунистов района. Тут оказывается, что за душой у Закирова тьма-тьмущая в сем известных грехов, которых в партии не прощают. Шакиров попадает на скамью подсудимых, а Закирова исключают из партии.

Нет, не Закиров спасал Шакирова! Обоих — и Шакирова и Закирова — спасал автор, ибо, не приходи он им во время на помощь, роман свёлся бы на нет: в нём ведь отсутствует та «питательная среда», в которой могли бы произрастать именно такие, как Шакиров и Закиров, люди.

Роману «Партии рядовые» присущи и другие недостатки. В нём много эпизодов, ситуаций, лежащих вне стержневой сюжетной линии, причём они не представляют собой ответвлений от главного сюжета, а вообще существуют обособленно. Главы, рисующие работу МТС или жизнь соседнего с «Пахтакором» колхоза, зачастую пристроены к сюжету без сколько-нибудь прочной связи с ним. Скороговорка мешает автору чётко обрисовать характеры героев, участвующих в куцах, осколочных сценах.

Работа над композицией выдвигает задачи трудные и для опытных писателей. Но особенно трудно с нею справиться писателям

молодым, начинающим. Они забывают, что действительность надо охватывать не только зорким писательским глазом, но и всепроникающей писательской мыслью, которая поможет отсеять лишнее, случайное, отобрать необходимое.

В первой книжке «Звезды Востока» за 1953 год, под рубрикой «Творчество молодых», напечатана повесть И. Буланова «Разгон», действие которой происходит в среде железнодорожников.

Автор, видимо, хорошо знает производственный материал. И ему хочется, хоть понемногу, рассказать обо всём, что он знает: о диспетчере, о ремонтниках, о вагонном мастере, о кондукторах, о стрелочниках, о теплотехнике. Писатель совершает вместе с читателем обход различных участков железной дороги и показывает, чем заняты люди той или иной профессии. С некоторыми героями нам доводится встречаться всего лишь один-два раза.

Автор, например, приводит нас в промышленный цех депо. У паровоза работают люди. Вот молодой теплотехник Самсонов, вот машинист-инструктор Мудров, вот бригадир слесарей (без фамилии). В общем, коротко сообщено обо всех, кто находится в цехе. Читатель вправе ждать, что впоследствии эти герои как-то раскроют свои характеры, сыграют в повести какую-то роль: ведь недаром же автор познакомил с ними! Но оказывается, что единственная их функция в повести — ненадолго предстать перед нашими глазами. Если бы автор взялся по этому же принципу описывать собрание, он должен был бы перечислить всех присутствующих в зале. Каждый из персонажей И. Буланова как будто занят своим делом. Но в повести большинству из них делать нечего: им не на чем, да и некогда проявить свою человеческую сущность.

Даже те, кому автор уделил наибольшее внимание, — машинист Туйчиев, помощник машиниста Медведев, кочегар Шило, дорожный мастер Хакимов, его дочь Кумрихон, в которую влюблён Туйчиев, — охарактеризованы лишь с внешней стороны, да и то непоследовательно. Автор уверяет, что горяч Туйчиев, но горячность чаще всего проявляет не он, а Шило. О Хакимове говорится, что это опытный, честнейший мастер, но именно на его участке, из-за халатности самого Хакимова, происходит авария.

Паровозная бригада Туйчиева борется за скоростное вождение составов—это одна из

главнейших линий повести. Но борьба-то здесь как раз и мало. Сопротивления молодым железнодорожникам никто не оказывает. Лишь глухо, в разговорах, упоминается, что начальник депо — предельщик, что он держится за старые нормы, «глушит ценную инициативу». Однако автор легко отодвигает предельщика в сторону — пусть не мешает молодёжи «бороться»... Неудачи и помехи несут эпизодический, случайный характер и лихо устраниваются героями. Повесть построена по принципу короткого замыкания: замысел — свершение.

Секретарь узлового парткома Добрычев «дозором обходит владенья свои» и то сам вносит какое-нибудь предложение, то одобряет предложения рабочих. Где он ни появится, там открываются производственные неполадки, промахи в работе, словно только сейчас люди впервые критически взглянули на свои производственные деяния. И ликвидируют они неполадки легко — так сказать, не сходя с места. Только и слышится: «Молодец, верно», «Мысль очень даже неплохая!», «Пожалуй, мысль ценная», «Это вы верно подметили» и т. д. Остаётся лишь недоумевать: где же все эти рационализаторы были раньше?.. Вот ведь как легко всё поправить и усовершенствовать...

Герои и разговаривают друг с другом в плане «замыслов — свершений». «Надо сделать то-то», — заявляет один. «Верно!» — соглашается другой. «И ещё то-то!» — добавляет третий. Все дружно берутся за дело — что надумали, то сразу и сделали.

Вдобавок скажем, что в этих «замыслах — свершениях» непосвящённому читателю далеко не всё понятно, столько специальных словечек и технических терминов произносят герои.

Молодому писателю, вероятно, хотелось, чтобы читатель полюбил его героев, потому-то он и наращивает с такой поспешностью успех на успех, то и дело аттестуя всех своих героев «молодцами». Но так легко не может быть достигнута такая литературно нелегко достижимая цель.

Авторы «Звезды Востока» (особенно молодые) подчас упрощённо представляют себе самый процесс литературной работы. — об этом свидетельствует и повесть И. Буланова и многие рассказы, опубликованные в журнале. Повидимому, им кажется: выбрал тему, придумал сюжет — и больше заботиться не о чем. Но сюжет — не умоглядное построение. В сюжете, не говоря

уж об остальном, выявляются характеры персонажей.

Когда читаешь иные из рассказов, помещённых в «Звезде Востока», то создаётся впечатление, что авторы, ещё не увидев героев рассказа, уже определили сюжетную линию и основные ситуации. Мысль, которую автор собирается провести в рассказе, представляется ему ясной и отчётливой, сюжет окончательно определившись. И писатель не пытается доказать истинность этой мысли изображением жизненной правды, сделать так, чтобы идея произведения органично вытекала из реальных человеческих характеров и судеб.

В рассказе «Сад Назарали-ата» И. Сизов, взяв тезис: «Человек остаётся жить в своих делах», — торопливо проиллюстрировал его и, не веря в воздействие художественного изображения (в данном случае — справедливо не веря), вложил этот тезис в уста одного из героев: «Хорошо тому, кто вырастил сад, построил дом, написал книгу — хорошо тому, кто трудился всю жизнь и оставил людям плоды своего труда. Разве может умереть Назарали-ата? Он будет жить ещё сто лет в каждом дереве своего сада, во всём хорошем, что сделано им за долгую жизнь». Характерно в рассказе нет; есть тезис плюс статичная иллюстрация: к заболевшему старику-садоводу приходят школьники — посмотреть его сад. Такой рассказ вряд ли заинтересует читателя.

Нет нужды повторять общеизвестную мысль, что идея литературного произведения живёт полной жизнью лишь в художественно-конкретных образах. Однако заботой о создании индивидуальных образов людей не прониклись даже наиболее талантливые из числа печатающихся в «Звезде Востока» писателей.

К. Файзулин пишет интересно, живо. Это писатель наблюдательный; в его рассказах немало живых, хороших деталей. Однако и ему свойственна избыточная умоглядность.

В рассказе К. Файзулина «Урок» отличники Московского высшего художественно-промышленного училища приезжают на одну из строек, чтобы оформить летний кинотеатр. Работая над эскизами барельефов, они в то же время осматривают стройку, знакомятся с людьми. Эскизы, которые они заканчивают, оказываются неудачными. Студенты сами чувствуют это, им говорит о том

же и молодой экскаваторщик, «паренёк из народа». Студенты не знали жизни, и поэтому в их художественную мысль проникла фальшь, искусственность. Узнав жизнь, студенты решают переделать свои эскизы.

Основная идея (художник должен знать жизнь) получила в рассказе лишь пунктирное обозначение. Как работали студенты над эскизами, что именно они изображали, как росла в них неудовлетворённость работой, какие сомнения их одолевали. — обо всём этом читатель почти ничего не узнаёт. В рассказе лишь расставлены сюжетные вехи, в нём нет людей, нет характеров. А ведь герой, если наделить его своеобразным нравом, может иные из этих вех и опрокинуть!.. Характер сопротивляется сюжетной схеме, под которую его стремятся подогнать.

В рассказе А. Якубова «За то, что он такой» авторский замысел выражен в следующей сюжетной схеме.

Зульфия и шофёр Алимджан любят друг друга. Зульфия собирается ехать на учёбу в сельскохозяйственный институт. Мать Зульфии не хочет отпускать от себя дочь и говорит ей, что Алимджан не согласен, чтобы она училась. «Как это я могла, — думает Зульфия, — полюбить такого... нехорошего, отсталого человека, такого... эгоиста?» Чем дальше, тем больше негодует Зульфия: «Волк под овечьей шкурой!» и «чёрная тень грусти... ложится на её сердце». В конце концов Алимджан вызывает Зульфию на откровенный разговор, и тут-то выясняется, что для всех её переживаний не было причин. «...Неужели ты всерьёз поверила тому, что тебе передали от моего имени?.. — говорит Алимджан. — Да я не то чтоб помешать тебе, я сам решил ехать учиться».

Весь рассказ построен на недоразумении. И если бы автор следовал правде задуманных им характеров, всё его хрупкое сюжетное построение рухнуло бы.

Алимджан, судя по авторским определениям, вовсе не эгоист, не отсталый человек. И Зульфия — девушка умная и отнюдь не легкомысленная. Кроме того, она (в отличие от читателей) хорошо знает Алимджана. Почему же она так легко поверила клевете на него? Да потому, что автор «подмял» характеры под надуманную схему. Острые углы схемы так и разрывают живой материал рассказа.

Порой схематичность характеров вообще мешает проявиться идее.

М. Зверев в рассказе «За ящером» повествует о заблудившемся в пустыне охотоведе Пересветове. Поступки и чувства Пересветова — это поступки и чувства «человека вообще». Ему трудно, его мучит жажда, он голоден и страдает от комаров; но нечто подобное испытывал бы любой человек, попавший один в пустыню. Герой поставлен автором в чрезвычайные обстоятельства, и это давало писателю возможность раскрыть своеобразие его характера. Однако автор этой возможностью не воспользовался. У Пересветова, собственно, есть лишь одна характерная черта (которую автор вовсе не хотел ему придать!): пассивное восприятие всего, что с ним происходит. И неясно, какая мысль содержится в этом рассказе: что заблудиться в пустыне совсем не весело? Но может ли это быть идеей рассказа?

Сама по себе исключительность обстоятельств не всегда помогает герою обрести плоть и кровь, если он даже действует активно, а не отдаётся на волю событий.

В девятой книжке (1952 год) «Звезды Востока» опубликован рассказ молодого писателя А. Ефимова «Июльская бьль». Автор повествует о подвиге советских лётчиков, уничтожающих мост, который вот-вот должны занять немецкие фашисты. События в рассказе свершаются величественные и трагичные: все лётчики-истребители, прикрывающие бомбардировщик, гибнут; на волосок от гибели находится и экипаж бомбардировщика...

Однако же читатель не испытывает чувств, которые в нём возникли бы даже при чтении краткого газетного сообщения о таком боевом эпизоде. Читая газету, мы знаем, что речь идёт о реальной жизни, и переживаем факт, как реальный. В рассказе же перед читателем заведомо вымышленные герои, и они, чтобы вызвать к себе отношение, как к людям реальным, должны «ожить» благодаря силе реалистического искусства. Но в рассказе А. Ефимова люди лишь названы по фамилии, и их подвиг обрисован общими контурами.

Герои рассказа А. Ефимова до обидного похожи друг на друга. Невыразительные реплики; одни и те же побуждения; бесстрастные высказывания. Спокойно, без внутреннего волнения, сообщает командир экипажа Ермаков о своём решении бить по

Мосту самолётом; в коротком хроникальном сообщении описывается и то, как пошёл на таран командир звена истребителей Герасимов. Герасимова и Ермакова легко поменять местами, настолько у обоих схематично написаны характеры.

Писатель, вероятно, стремился к лаконизму; и верно — сдержанность в подобном рассказе свидетельствовала бы лишь о художественном такте. Но средства индивидуализации характера многообразны; её можно добиться и речевой характеристикой и характерным жестом, интонацией. Чтобы индивидуализировать характер, не обязательно быть многословным. Однако для того, чтобы сжатость не вредила выразительности, читатель должен чувствовать, что писатель хорошо представляет себе своего героя и знает о нём больше, чем сообщает.

Среди рассказов, напечатанных в журнале, одни лучше, другие слабее, но почти всем присущи в той или иной мере недостатки, перечисленные выше.

Не свободны от них и интересные «Рассказы о недавнем прошлом» писателя старшего поколения В. Мильчакова. Образы героев рассказа «На трассе» несколько эскизные; а в рассказе «Во славу аллаха» героев, которые могли бы и должны были действовать наиболее активно, писатель оставил в стороне от главной сюжетной линии. Рассказ посвящён периоду ожесточённой классовой борьбы в Средней Азии, и писатель вывел представителей двух борющихся лагерей: кишлячных богачей и батраков — Джуру, Юсуфа, кузнеца Саттара, его сына Тимура. Люди второго лагеря — революционно настроенные. Но революционность их проявляется лишь в гневных речах. В действии же противостоят друг другу дочь богатого Тургунбая Турсунуй и слепая батрачка Ахрос, с одной стороны, а с другой — заправила кишляка и фанатичная, «рычащая от нетерпения и жажды крови» толпа, спровоцированная на убийство Ахрос. Джуру, Саттара и Тимура писатель на это время отослал из кишляка, не видно нигде и Юсуфа; проиллюстрировав образами батраков, передовых людей тезис о классовой борьбе, писатель отстранил этих героев от участия в главном событии рассказа.

Следует отметить, что в «Звезде Востока» проза написана в основном на темы сегодняшней узбекской действительности. Это несомненная заслуга журнала и авторов.

Но тем больше хотелось бы, чтобы писатели полнее и красочнее отображали жизнь.

Пожелание это относится также к стихам, печатаемым в журнале.

Любое стихотворение — обладает ли оно или не обладает внешним сюжетом — должно нести в себе конкретную поэтическую мысль. Такая мысль, в той или иной степени, присутствует в большей части стихов С. Сомовой (автор, наиболее широко представленный в журнале), в стихотворении Р. Галимова «Есть такая партия!», в отдельных стихах А. Мухтара, в темпераментных строфах стихов М. Бабаева «Проехал шах...», «Персидский ковёр», «Мулла этот лжёт!..», в лирическом стихотворении П. Ковалёва «Разговор с сердцем». Многие же стихотворения, особенно те, что написаны по поводу какого-либо события, состоят из необязательных перечислений, из общих фраз; их можно до бесконечности растягивать, можно и сокращать.

Трепещет флаг, «ура» победное гремит,
И с криком в облака взлетают стаи чаек.
На саженьцах дубов колышется листва,
И лозунги горят на мраморе портала,
И радостную весть разносит вдалеку молва,
И рукоплещет мир строителям канала,—

пишет Х. Расуль. И это «и» можно умножить до любого числа.

Такие стихи, как ни громко они славят жизнь, несут в себе слишком бедные крохи действительности.

Законно ли стремление поэтов и редакции немедленно запечатлеть значительные события на журнальных страницах? Да, законно и понятно. Каждому поэту, живущему одними чувствами, одними мыслями со своим народом, хочется поскорее написать о событии, взволновавшем страну. Хочется написать каждому — но может далеко не каждый. Подлинное поэтическое произведение возникает лишь тогда, когда налицо конкретность поэтических образов, конкретность поэтической мысли. Некоторым поэтам удаётся иногда создавать хорошие стихи по горячим следам, сразу же вслед за событием. Но это значит только одно: что их первые впечатления уже успели отлиться в чёткую поэтическую мысль. Если же этого нет, а есть лишь благое, но неопределённое намерение откликнуться на событие, то из-под пера выйдет набор слишком туманных или же пустых, бедных мыслью фраз.

Так случилось, например, с Д. Джаббаровым, который в стихотворении «Съезд победителей» так и не сумел сказать ничего своего, ничего нового. К невыразительному стихотворному реестру («Себе представил я высотную Москву», «Увидел, как в степи волнуются моря» и т. д.) поэт механически добавил общие слова о «великой директиве» (так названо здесь сообщение об открытии съезда). Поэзии не получилось.

Создать в стихах современный облик труженика — задача благородная, но и нелёгкая. И далеко не всегда поэты справляются с этой задачей.

Узбекский поэт Мирмухсин опубликовал в одиннадцатой книжке «Звезды Востока» за 1952 год стихи «Токарь», «Бухгалтер», «Письмо Ольге Агафоновой». В стихах этих есть тёплые, умные строки. Но образы тружеников лишены художественной цельности, расплывчаты, приблизительны. По письму Ольге Агафоновой нельзя даже угадать, чем занимается автор письма:

Моя работа на твою похожа,
И мой станок на твой похож Он — вот.
Работаем и мы без брака тоже,
Бригада наша, цех наш и завод.

В моей работе. Ольга, нет изъянов,
Но я мечтаю: будет пусть она
Такой, чтоб, на мою работу глянув,
Свою бы ты увидеть в ней могла.

В этом портрете не найдёшь ни одной конкретной чёрточки, которая оживила бы образ, придала бы ему своеобразие.

Свои стихи «Юность строителя», посвящённые командиру шагающего экскаватора А. П. Ускову, С. Сомова назвала «рассказом в стихах». В этом произведении тёплые, хорошие строфы задавлены отвлечёнными определениями, восторженными восклицаниями, громкими словами. Вместо рассказа получилась довольно хаотичная ода.

В последнее время на страницах «Звезды Востока» стали всё чаще появляться лирические стихи о любви, о природе. Запоминается цикл «Из лирического дневника» Р. Галимова. Это стихи немного грустные — речь идёт о безответной любви; но в них выказалось прекрасное качество души советского человека — верность.

К сожалению, лиризм иных поэтов в «Звезде Востока» выражен так, что нет никакой возможности добраться до его смыс-

ла. Пример — стихотворение В. Коркина «Кто как, дорогая, а я люблю...»

Не знаю как ты, а вот я люблю —
Собрал чемодан свой — и в путь,
А с ним (?) — и улыбку и нежность твою,
И чтоб никогда не вернуть (?).

Особняком стоят в журнале стихи для детей и сатирические стихи, чаще всего объединяемые под рубрикой «Поднявши рифм отточенные пики». Подобные стихи (в публикации их редакция проявляет похвальную последовательность) встретишь, пожалуй, не во всяком журнале.

Хороши стихи для детей К. Мухаммади, особенно те, где нет дидактики, нет прямого нравоучения.

Некоторые из стихов цикла «Пионерский лагерь Ак-Таш» А. Иванова носят слишком описательный характер. А вот такие, как «Важное поручение», «Барабанщик», «Стенгазета», «Нагорные тропинки», привлекают конкретностью, живой интонацией, ненавязчивой моралью.

Сатирические стихи, по большей части, представляют собой басни или стихотворные фельетоны. Остро, интересно, на актуальные темы сегодняшнего дня написаны басни В. Липко, С. Абдукаххара, басни и фельетоны В. Дробина. Только не всегда понятно: почему поэты-сатирики никак не могут обойтись без зверей? Ведь в иных баснях С. Абдукаххара и В. Липко достаточно подставить на место зверей обыкновенных бюрократов или приспособленцев, и басня легко превратится в стихотворный фельетон... Сатириками, видимо, владеет инерция басенной формы, инерция ложного представления о ней, как о сравнительно лёгком способе обобщить любое явление. Дескать, человек, любящий подхалимаж, — это, может, и единичный случай; а вот Лев — это уже обобщение!.. Однако это — упрощённое представление о басне. У неё есть свои законы, и не стоило бы всякий раз обращаться именно к басенному жанру. Существует немало других форм действенного сатирического разоблачения и кроме басни.

Недоумение вызывают напечатанные в двенадцатой книжке журнала за 1952 год «Стихи о Ходже Насреддине» Мих. Макарова, где в среднего качества строфах пересказаны известные легенды о Насреддине, и басня Н. Мизина «Трактор и Колода». Трактор корчует в Придонье пни, расчищая дно будущего моря, а Колода справед-

ливо недоумевают: напрасная работа! Пусть пни и корни остаются на дне, никто их не заметит.

— Нет! — Трактор возразил.—

Не та эпоха!
Чтобы достойно жить в такие времена,
Кристалльно-чистым надо быть до дна!

Параллель, прямо сказать, полная ложного глубокомыслия.

Во многих стихах, нашедших место на страницах «Звезды Востока», форма обработана неряшливо. Порой кажется, что, например, качество рифмы авторов совсем не интересует: они строят её по принципу «ботинки — полуботинки». Ю. Коринец дал такой «вольный перевод» стихотворения Х. Расуля:

Встают в пустой степи заслоны ЛЭС,
Загородив листовку дорогу суховеям.
А ночь ослеплена огнями волжских ГЭС,
И ветер над волной седую пыль развеял.

Почти в каждом стихотворении наталкиваешься на досадные неточности, неряшливые выражения, невнятные фразы. Приводить их нет смысла: перечень получился бы слишком длинным. Безвкусицей испорчены, к сожалению, и лучшие стихи С. Сомовой.

Весьма слаб критический отдел «Звезды Востока».

Однажды завязался было в журнале интересный разговор о мастерстве перевода, но вскоре был свёрнут. Отголоском его является лишь статья В. Липко «Работая над поэтическим переводом», но автор в этой статье чересчур сбивается на частности, мало обобщает.

На острую, нужную тему написана статья С. Лиходзиевского «О прошлом и настоящем узбекской сатиры». Однако, начав с верных теоретических положений, критик тут же перешёл к простым перечислениям объектов сатиры: в таких-то стихах обличается то-то, а в такой-то басне — то-то. В статье не раскрыты особенности сатиры узбекских классиков и современных писателей, не развёрнуты и не подтверждены конкретным анализом общие теоретические высказывания автора — например, о революционном оптимизме советской сатиры. На каталогизации тем построена и статья М. Швердина «Сатира Муками». Что Муками «безжалостно клеймит святош и ханжей», что «художественные образы произ-

ведений Муками отличаются большой выразительностью», что стихи его «пронизаны неясностью к богачам», — это читатель легко поймёт из самих стихов. И, по существу, статья ничего не добавляет к произведениям, которые в ней разбираются.

Не обязательно посвящать специальные статьи той или иной проблеме; в любой статье или рецензии, в любом обзоре можно, на анализе конкретного материала, высказать интересные мысли.

К 125-летию со дня рождения Л. Н. Толстого в центральных журналах было опубликовано немало статей, и радовало в них то, что каждая решала конкретную проблему, насущную и для наших дней. А вот в статье «Проза Гафура Гуляма» С. Анарбаева (к 50-летию Гафура Гуляма) преобладают, в основном, общие места, пересказ произведений узбекского писателя. Это, скорее, сообщение, а не статья.

Журнал печатает статьи, приуроченные к юбилеям писателей братских республик (о Якубе Коласе С. Лиходзиевского, о П. А. Грабовском Л. Грабовской); опубликовал рецензию С. Лиходзиевского на роман латышского писателя В. Лациса «К новому берегу», рецензию Ш. Шамухамедова на роман армянского писателя Г. Севунца «Тегеран». Хорошо, что журнал знакомит узбекского читателя с историей и достижениями братских литератур. Пожелаем лишь, чтобы статьи эти носили не только информационный характер, чтобы они содержали не один лишь пересказ или общеизвестные сведения.

Попытка выдвинуть общую проблему в обычной рецензии предпринята В. Липко в его «Заметках о поэтическом мастерстве» (о сборнике стихов А. Иванова). Отдельные замечания В. Липко точны и любопытны; но в конце концов критик свёл всё дело к разбору неудачных строк и их классификации.

Немало в иных статьях и теоретической путаницы. «Литературная газета» в обзоре критического отдела «Звезды Востока» (29 сентября 1953 года) упрекала редакцию (по поводу статьи «Неустанно совершенствовать мастерство») в беспринципности. Статья эта содержит в себе явно противоречивые суждения; но виной этому, мы думаем, не столько беспринципность, сколько ложный принцип. Характерно, что положительные оценки произведениям даются в этой статье, когда речь идёт о теме, а от-

рицательные оценки — когда говорится о художественном воплощении темы. Тема рассматривается в отрыве от реального содержания, в котором она осуществлена. Писателей хвалят за выбор темы, хулят за художественную неполноценность произведений. Ничего не может быть вреднее и ошибочнее такого вот разделения неразделимого.

Особенно путаные взгляды высказываются в журнале по вопросу о литературных влияниях. В нескольких статьях поставлен вопрос о влиянии на узбекскую поэзию творчества В. Маяковского («Настойчивее изучать русскую литературу и её влияние на литературу Узбекистана» А. Бабаханова, «Маяковский и узбекская советская поэзия» А. Саидова, «О традициях Маяковского в творчестве Гафура Гуляма» Б. Имамова). И во всех этих статьях проблема влияния рассматривается слишком общо. За результат влияния Маяковского выдаётся и широкая тематика стихов узбекских поэтов, и возникновение в этих стихах темы борьбы за мир, и патриотизм авторов. Но ведь и сама жизнь подсказывает писателю новые темы, а советский патриотизм — это свойство любого подлинно советского человека.

Авторы упомянутых статей подчас принимают доказывать, что не писать аполитичные стихи — это уже значит находиться под влиянием Маяковского. Под традициями Маяковского критики понимают вообще традиции русской и советской литературы. В этих статьях попадают и интересные наблюдения. Но они теряются в неправомерном универсализме самой постановки вопроса.

Отдельные содержательные статьи и рецензии: «Выдающийся деятель советской культуры» (о С. Айни) Р. Мукимова, «Мятеж» Фурманова...» Г. Владимиров, «Правда жизни» Б. Лунина, удачные подборки читательских писем не меняют общего впечатления о слабости критического отдела.

Надо сказать, что редакция «Звезды Востока» внимательно прислушивается к критике её работы. Она охотно перепечатывает и обсуждает статьи, отмечающие недостатки как всей узбекской литературы, так и работы журнала, соглашается с критикой, дополняет её самокритическими замечаниями. Будем надеяться, что признание недостатков уже приблизило «Звезду Востока» к деловому исправлению их.

Ю. КАРАСЕВ.

★

Повесть о русских полярных мореходах

Перед нами историческая и приключенческая повесть «Путь на Грумант» К. Бадигина. Пусть это не покажется читателю странным, но разбор её нужно начать с разговора об авторе.

Лет 25 тому назад семнадцатилетний Бадигин вступил матросом на палубу советского торгового корабля. Много дальних рейсов совершил он по Атлантическому, Тихому, Индийскому океанам. Затем попал в Арктику. Через десять лет — в 1937 году — он уже капитан парохода. И в этом же году название этого парохода — «Георгий Седов», — так же как и имя его капитана, становится известным во всём мире.

У Ново-Сибирских островов «Седова» затирает неодолимыми полярными льдами. Начинается знаменитый 27-месячный дрейф, прославивший повсюду отвагу и мужество советских полярников.

К. Бадигин. «Путь на Грумант. Поморская быль». Издательство «Молодая гвардия», М. 1952.

153 раза испытал «Седов» сжатие льдов. Не раз угрожала гибель горсточке советских моряков. Так было 31 декабря 1937 года, когда гигантский ледяной вал высотой в семь метров надвигался на судно, ломая метровой толщины лёд, словно куски стекла. «В несколько минут он измял огромное ледяное поле, сплющивая и растягивая в пыль многолетние торосы. Трескались огромные поля льда. Их обломки переворачивались и лезли друг на друга со свистом и шипением... Гремела канонада, словно рядом с нами палили батареи дальнобойных орудий... Если бы в ту памятную новогоднюю ночь грозный вал продвинулся ещё метра на 2 вперёд, он достиг бы кормы «Седова» и смял её, — вспоминает Бадигин. — Но, к счастью, четырёхметровая гряда торосов, завалив рулевое управление, вдруг остановилась».

И вот в дьявольски-трудных условиях борьбы с могучими льдами, обжигающими морозам, свирепыми метелями, в тяжких бытовых условиях, когда спальные мешки

примерзали к матрацам, экипаж «Седова» во главе со своим капитаном взялся за научную работу, за разгадку тайн полярного бассейна. На скованном льдами судне неустанно велись астрономические, метеорологические, гидрологические наблюдения, хотя научных работников, в собственном смысле слова, среди «седовцев» не было. Это были всё моряки-практики.

По отзывам видных учёных, дрейф «Седова» сыграл роль «крупнейшей научной экспедиции». Собраны были в высшей степени ценные данные о движении ледяных полей в центральной части Арктики. Установлено было, что существует постоянное течение, действующее в западном направлении и влияющее на дрейф ледяных полей. Определены и другие закономерности — в соотношении ветров и дрейфа льдов, что в какой-то мере прояснило запутанную и сложную арктическую картину.

«Невольно возникает вопрос, — пишет профессор Н. И. Зубов, автор предисловия к книге Бадигина «Три зимовки во льдах Арктики», — как же случилось, что 15 простых моряков сделали такое большое дело? Разве кто-нибудь бросил бы в них камень, если бы они ограничились только сохранением своего корабля?» Профессор Зубов сам же отвечает на этот вопрос. Всё дело в том, что это были советские моряки, люди с высоким чувством долга и ответственности перед своим народом, перед Родиной.

Так вовлёкся капитан Бадигин в научную работу. Тяга к науке осталась у него и после высвобождения «Седова» из ледового плена, после триумфального возвращения на Большую Землю и награждения всех участников героического дрейфа высоким званием Героя Советского Союза. Продолжая работать в торговом флоте, К. С. Бадигин одновременно учится на географическом факультете педагогического института. За полтора года он оканчивает его и поступает аспирантом в научно-исследовательский институт географии МГУ.

«Какое же это имеет отношение к исторической повести, написанной Бадигиным?» — спросит читатель.

Самое близкое и прямое.

От изучения природы Арктики научные интересы Бадигина передвинулись к изучению её людей. От грандиозных успехов советского народа в освоении полярных пространств протянулись нити в про-

шлое, к предкам доблестных советских полярников, к тем малоизвестным и совсем безвестным русским людям, которые в далёком прошлом на своих лодьях, раньшиках и кочах устремлялись в зловещее, недоступное «Студёное море».

Весной нынешнего года в одной из аудиторий старого здания Московского университета прославленный полярный капитан защищал кандидатскую диссертацию на тему «Ледовые плавания русских поморов с XII по XVIII век». Защита прошла блестяще. Оппоненты — академик О. Ю. Шмидт, член-корреспондент Академии наук А. Н. Ефимов и другие — в один голос признали, что работа К. С. Бадигина — ценный вклад в историю русского мореплавания.

Нелёгкую задачу взял на себя Бадигин. Письменные источники сохранилось чрезвычайно мало. Да и как могло быть иначе в условиях презрительного равнодушия казённой «науки» к великому научному значению многовековых плаваний русских поморов, к их географическим открытиям и заслугам?

Нельзя читать без чувства глубочайшего возмущения приводимые в книге Бадигина строки из официального исторического очерка, изданного Гидрографическим департаментом в 1893 году. Чьим-то сухим канцелярским пером написано, что плавание русских поморов «не могли дать каких-либо гидрографических сведений», потому что эти моряки «не обладали научными познаниями». Только, видите ли, в конце XVI века, когда англичане и голландцы предприняли целый ряд экспедиций в Ледовитый океан для отыскания северо-восточного пути в Индию, «было положено начало гидрографическим сведениям о Белом море...» Позорное свидетельство холопского пресмыкательства царских чиновников перед дутыми иностранными авторитетами!

Немало усилий приложил Бадигин, чтобы своей диссертацией развеять эту постыдную ложь, покончить с ней раз и навсегда. Бадигин правильно вскрывает корни этого преступного замалчивания роли русских полярных мореходов.

«В Западной Европе морскими экспедициями руководили люди с громкими фамилиями, известными при дворах монархов, причём экспедиции снаряжались во многих случаях при участии и на средства коронованных особ или царедворцев... Морепла-

вание на севере нашей родины развивалось трудами простого народа. Главным действующим лицом тут был «чёрный люд», «мужики»...

И вот именно из-за «простонародности» полярные походы поморов оставались долгое время неизвестными, а имена даже крупнейших мореходов забытыми.

«Студёное море», которое с давних времён, с XI—XII веков, бороздили корабли русских поморов, получило название Баренцова, хотя знаменитый голландец появился в этом море лишь на рубеже XVII века. Честь открытия Груманта, которого поморы достигли ещё в XII веке, была приписана тому же Баренцу. Старинное название островов оказалось забытым, и им было дано новое название «Шпицберген».

Долго и упорно трудился Бадигин над восстановлением исторической истины. Он записывал старинные сказания, усердно изучал поморский фольклор, рылся в рукописях. Исключительно ценной оказалась ставшая известной совсем недавно рукопись начала XV века, записки мореплавателя Ивана Олеговича Амосова (Ивана Новгородца) — «Си книги оуставець акияна моря русьского и воде и ветром. Хождение Иванново Омельковичя сына ноугородца». В этой книге Бадигин нашёл описания морских и океанских плаваний поморов с XIII века.

Очень помогло Бадигину тщательное и любовное изучение поморской речи. Он собрал около двух тысяч (!) морских терминов, созданных поморами. Это всё самобытные слова поистине необыкновенной выразительности и образности.

«Чего стоят такие меткие точные речения, как *тертюха* (мелкотёртый лёд), *битье* (битый лёд), *гладуха*, *гладца* (ровное ледяное поле), *«дворы»* (гладкие, толстые льдины между двумя несаяками), *ходячий лёд* (дрейфующий), *сморозь* (смёрзшиеся мелкие льдины)!.. Для каждого положения льдин, движения льдов поморами выработан свой термин — меткий и образный. Так, соприкосновение двух льдин называется *стычина*, сжатие льда — *жом* и т. п.

Особые названия есть для разных видов и состояний морских волн: крутая приливая волна, валом катящаяся в устье реки, называется *наката*.. Ветровая волна в открытом море называется *взвонень*;

волна, заходящая с моря в бухту, — *огибень* (огибает мыс); *мёртвая зыбь* — *колышень*.

Этот богатейший словарь как нельзя более ярко свидетельствует о высокой морской культуре поморов, об их обширном и точном знании ветров, течений, ледяного покрова, ледовой обстановки, способов вождения кораблей в полярных условиях.

Так, чёрточка за чёрточкой, звено за звеном, восстанавливалась историческая правда. Выходцы из Новгорода в незапамятные времена вышли к берегам Белого моря. Их интересовали не только моржовые клыки и пушной зверь. Вольнолюбивые люди «с крепкой волей, сильными руками и живой практической сноровкой», они неудержимо продвигались по побережью Северного Ледовитого океана и первыми в истории человечества положили начало ледовому плаванию, на несколько столетий опередив в этом искусстве западноевропейских моряков. Продвигаясь всё дальше в неизведанные полуночные просторы, они достигли островов Медвежьего и Груманта.

Это было бы невозможно, если бы поморы не создали особых типов кораблей, приспособленных к плаванию во льдах. До последнего времени общепринято было мнение, что знаменитый «Фрам» Фритиофа Нансена был первым кораблём, построенным с учётом специфических условий ледового плавания. В книге датского географа Акселя Альмана, например, мы читаем: «Фрам» был построен его конструктором, судостроителем Колин Арчером по совершенно новым принципам. Киль его был как можно больше закруглён, чтобы лёд нигде не мог оказать на него прямого давления, и потому судно, вместо того, чтобы подаваться вниз, поднималось льдом вверх».

Между тем по этому «совершенно новому» принципу русские поморы строили свои корабли несколько веков тому назад! Их раньшины, весновальные лоды, весновальные карбасы строились с широким днищем и яйцевидным корпусом, чтобы сжатие льдов (если оно не чрезмерно сильно) их не раздавливало, а выносило на поверхность. Понимая, как важно придать корпусу корабля возможно большую упругость, поморские строители кораблей вытачивали шпангоуты из корней. Носовую часть, наконец, поморы делали сильно скошенной, под острым углом к горизонту. Это давало

возможность вытаскивать корабли на лёд и для промысловых целей и в случае сжатия.

Нельзя не восхищаться конструкторской мудростью безымянных старинных мастеров русского кораблестроения. Ведь найденные ими приёмы — яйцевидный корпус и обводы носовой части, приспособленные к вползанию на лёд, — легли в основу современного ледоколостроения.

Разумеется, даже эти замечательные открытия не могли сделать плавание по полярным морям лёгким и безопасным. Много людей погибало в борьбе с грозными стихиями моря, ветра и льда. Зимовки на необитаемых берегах были полны невероятных лишений и невзгод. Страшна была цынга — хотя поморам и удалось обнаружить целебные свойства «травы-салаты», свежего мяса, крови только что убитых животных.

Но поморам ничто не останавливало. Всё дальше и дальше они проникали в неприступное царство холода и многомесячного мрака, всё больше познавали они полярный мир, исследуя побережья материка и островов, изучая ветры, движения льдов, господствующие течения, действия приливов и отливов и т. д. Бадигин приводит из записок Ивана Новгородца, датированных XV веком, описания берегов Студёного моря и ледовой обстановки у Терского берега столь поразительной точности, что они немногим отличаются от данных современной лощи, изданной в 1932 году. Можно считать установленным, утверждает К. С. Бадигин, что ещё в XV веке, если не раньше, русские поморы положили начало научному исследованию полярного моря.

Об этих славных, до сих пор почти неизвестных страницах истории русского Севера Бадигин рассказывает в интересно и живо написанном популярном очерке «Русские северные мореходы», послесловии (или, скорее, предисловии) к повести «Путь на Грумант».

Создавая повесть, Бадигин-беллетрист многое почерпнул у Бадигина-моряка, полярного исследователя, историка. Глубоко сроднился он с суровым миром Арктики, изучив его до мельчайших подробностей. Как нельзя более знаком ему характер русского полярного «морепроходца», выкованный в повседневных жестоких ис-

пытаниях, как нельзя более близка героика ледового плавания¹. Пытливый и вдумчивый историк, он глубоко проник в прошлое русского мореплавания. И когда перед Бадигиным развернулась картина отважных путешествий поморов в таинственную глубь Арктики, образы наших замечательных предков-мореходов ожили в его воображении.

Бадигин не ушёл от исторических фактов. В основу его повести («поморской были», как называет её автор) положено действительно имевшее место событие: растянувшаяся на шесть лет (1743—1749) вынужденная зимовка на одном из островов Груманта четырёх мезенских зверобоев — кормщика Алексея Химкова, его двенадцатилетнего сына Вани, Степана Шарапова и Фёдора Веригина.

По напряжённости фабулы, по обилию опасных для героев перипетий «Путь на Грумант» можно с полным правом отнести к приключенческой литературе. По своим беллетристическим достоинствам повесть Бадигина не уступает очень многим произведениям «профессионалов» этого жанра. А в одном — и очень важном — отношении она превосходит многие из них. Когда читатель с неотрывным, неослабевающим интересом следит за приключениями четырёх мезенских поморов, его ни на миг не покидает ощущение подлинной правды происходящего — достоинство, не столь часто присущее книгам приключенческого жанра.

Так ощутимо, с таким богатством деталей с такой несравненной точностью описан мир, в котором очутились герои «Пути на Грумант», так естественна цепь их приключений. Это всё реальные жизненные испытания, «на роду написанные» людям, заброшенным на далёкий необитаемый полярный остров.

Многодневная пурга засыпает снегом жалкую избёнку поморов. Вот уже занесло трубу, дым грозит задушить её обитателей, и нужно тушить спасительный огонь. Голодный белый медведь разобрал лапами крышу и свалился прямо на голову Вани.

¹ Героический дрейф «Седова» описан К. С. Бадигиным в двух объёмистых книгах «На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый океан. Записки капитана» (1940) и «Три зимовки во льдах Арктики» (1951), в очерке «Во льдах Арктики» (1951), в книжке для детей «Седовцы» (1953). В книгах этих немало образных, живописных страниц.

Страшная пурга застигает Ваню и Степана, и в течение многих часов им не вылезти из снежного сугроба. Отколошавшаяся от ледника колоссальная глыба обрушивается в море, и утлую лодчонку, в которой находятся Веригин и Ваня, захлёстывает бешеная волна. Лодку заливают водою, смывает вёсла, и только железное самообладание и богатырская сила Веригина, искусное управление им лодкой спасают его и мальчика от верной смерти.

Вот в жестокий мороз отправляется на поиски пищи Степан Шараров. Нужно достать свежего мяса для больных цынгой Химкова и Веригина. Авось покажется у разводьев тюлень... Меткий бросок остроги... Но раненый зверь тащит за собой охотника, и Степан Шараров — в ледяной воде. Дважды окунувшись, он еле освобождается от запутавших его ремней и, напрягшись изо всей мочи, выплывает на лёд.

«Теперь он лежал на льду, но сил подняться не было. Мороз беспощадно превращал одежду в твёрдые, как железо, ледяные латы. Смерть снова угрожала ему. Степан зашевелился, поднялся на четвереньки. Потом выпрямился и пошёл... Его шатало, как пьяного... Всё его существо, мускулы, нервы — всё собралось в одном усилии: двигаться! двигаться вперёд! Он не чувствовал мороза, не слышал и не видел ничего, кроме тоненькой струйки дыма, едва заметной в опаловом вечернем небе».

На полпути к избе Степан рухнул в снег. Встать он уже не мог. Он пополз вперёд — «медленно, тяжело, упорно». Когда он очнулся, «всё, что осталось живого в Степане, толкнуло его вперёд».

И когда зимовщики на какие-то еле слышные удары открыли дверь, они увидели у порога «что-то большое, бесформенное, белое. Не то стоны, не то всхлипывания послышались из груды смёрзшейся одежды и льда».

На следующий день оживший Степан рассказывает друзьям, что с ним случилось.

«— Степан, а стучал ты чем в дверь-то? — Головой, Ванюха».

Ваня посмотрел на курчавую, как прежде, но побелевшую, как снег, голову Степана и ничего не сказал».

Невольно вспоминаешь рассказ Н. К. Крупской о том, как она читала Владимиру Ильичу рассказ Джека

Лондона «Любовь к жизни». В нём сходный мотив: «Через снежную пустыню, в которой нога человеческая не ступала, пробирается к пристани большой реки умирающий с голоду больной человек. Слабеют у него силы, он не идёт, а ползёт... полумёртвый, полубезумный добирается он до цели...» Рассказ, как известно, чрезвычайно понравился Ильичу.

Бадигин нашёл удачный — и психологически оправданный — композиционный приём, связав большинство приключений с Ваней. В двенадцатилетнем подростке «текла кровь предприимчивых русских людей, открывателей неведомых земель, стремившихся, не щадя своей жизни, разгадать тайны Студёного моря». Ваню тянет в море, он жадно стремится к неизведанным островам, к неоткрытым местам.

На второй год зимовки, несмотря на строгий запрет отца, Ваня отправляется на найденной зимовщиками лодис-осиновке в заманчивую морскую даль. Вне себя от радости он добирается до неизвестного старшим островка. Он набредает на остатки древней русской лоды и, шаря в люке, находит таинственный запёртый резной ларец. Затем он еле ускользает от нападения разъярённых моржей, окруживших скалу, куда он забрался.

Так мужает и крепнет в испытаниях этот мальчик, становясь настоящим, заправским помором. Без промаха бьёт он из лука пса и оленя. Настаёт радостный день, когда он слышит от отца: «Бери «Чайку» всегда, когда захочешь. В такие руки, как твои, можно лодку отдать. Только сам бережись».

Нельзя без волнения читать эту повесть о русских «северных Робинзонах». Приговорённые, казалось бы, к неминуемой гибели, они не дрогнули, не пали духом, не сдались и выстояли в долготетней борьбе с неисчислимыми трудностями и бедствиями. Только Веригин умер от цынги.

Если Робинзон попал на остров с благоприятным климатом, где ему никогда не угрожал голод, не мучила забота о пище и питье, то четверых поморов забросило в край, где не растёт ничего, кроме ложечной травы, в край голых скал, безжалостной зимней стужи, мрака и буранов. Кремнёвая пищаль, рожок с порохом на 12 зарядов и 12 пуль, топор, котелок, багор, полпуда ржаной муки, огниво, немного трута и по промысловому ножу у каждого — вот

всё, что есть у Алексея Химкова и его товарищей, когда они высаживаются на «Малый Берун».

Упорно и настойчиво, отвоёвывая каждый шаг, вступают поморы в борьбу с природой. Из обломков погибшего корабля, прибитых волной, извлекаются гвозди и болты. Валун становится наковальней, оленьи рога — кузнечными клещами. Из гвоздей выковылаются наконечники для стрел и иголки, оленьи сухожилия превращаются в нитки, а медвежьи — в крепкую тетиву. И когда иссякает дюжина зарядов и пуль, готовы лук и стрелы для охоты за оленями, рогатины — против медведей, капканы — на песцов.

В повести обретает наглядность то, что Бадигин с такой любовью описывает в очерке «Русские северные мореходы». За плечами грумантских отшельников богатый опыт дедов и прадедов. Очутившись на острове без компаса, кормщик Алексей Химков возрождает находки далёких предков. Для определения стран света он мастерит «ветромет». При помощи «астрономической палки» он узнаёт широту острова, самодельным дальномером измеряет высоту горы. После тщательного обследования «Малого Беруна», он наносит карту острова, вырезывая её ножом на брусочке.

Из тюленьих кож зимовщики ухитряются вырезать верёвки и снасти. А из шкур молодых оленей — ровдуги можно шить отличный парус. И когда Ваня находит остатки старинной лодьи, из брёвен которой можно построить новую лодью, перед пленниками Груманта встаёт заря надежды на скорое возвращение домой.

Этой надежде не суждено осуществиться. Здесь мы подходим к мотиву, кровно близкому и дорогому душе автора, участника и руководителя героической полярной экспедиции советских людей. Этот мотив — верной, стойкой дружбы, крепкого товарищества — проходит сквозь всю повесть. Сила крохотной артели зимовщиков не только в опыте, давшемся трудом и лишениями, не только в знаниях, перешедших из рода в род, не только в физической закалке. Их силы удссятерены душевной, моральной крепостью.

Дважды спасает Ваню Фёдор Веригин: один раз — на море, а другой раз — молниеносно раскрыв череп свалившемуся в избу медведю. Бережно лечат поморы Сте-

пана Шарапова, самоотверженно отправившегося в жестокий мороз на опасную охоту. И вот настает тяжёлый час для богатыря Веригина, подкошенного цынгой (старовер, он упрямо отказывался от тёплой крови и свежего мяса). Длившаяся почти месяц пурга держит поморов взаперти в избе. Фёдор мучительно страдает от холода, дров больше нет. И тогда зимовщики, несмотря на все уговоры Фёдора, не задумываясь, бросают в печь брёвна, остатки новгородской лодьи, великодушно отказываясь от блснувшей надежды на возвращенис...

И всё же нужно сказать, что «обстоятельства» (и сюжет) удались автору больше, чем «характеры».

Несколько раз подчёркивается, что Степан Шарапов — «весельчак». Но в ходе повествования это никак не показано. Режут иногда ухо нотки сентимснтальности (скажем, сцена, где Химков гладит больного Веригина по голове). Очень интересно задумана «вставная» историческая новелла — повествование о плавании новгородского корабля XV века «Святой Архангел Михаил» (остатки которого были найдены Ваней) на Грумант. Но написана она по прившимся трафаретам исторической беллетристики. Автор забывает, что это рассказ Алексея Химкова, передающего записи кормщика «Святого Архангела Михаила», извлечённые из лапца, и сбивается с тона. Рассказ уснащён такими пространными диалогами, описаниями и подробностями, которых в записях кормщика не могло быть.

Подчас автор следует плохим литературным образцам. Таково описание переживания Алексея Химкова в первое утро пребывания на острове. Море, небо и скалы представляются ему, «как что-то единое, враждебное. Мозг Химкова напряжённо работал, ища выхода и не находя его.

«Одни... без припасов, без оружия...»

Но вот издалека, сквозь льды и туман, через всё Студёное море, глянули на него лица жены и детей, оставшихся дома... Губы их шевелились, как будто говоря: «Не оплошай, Алёша, отец! Вернись, кормилец. Погибаем мы одни. Сбереги себя».

Прошла минута, другая. Пелена сошла с глаз, — вспомнил, где он и что с ним...

— Нет, рано сдаваться. Хоть страшен и силён ты, Грумант, а русский человек сильнее. Выдюжим!

Алексей выпрямился и сжал кулаки. Он, простой мореход, принял вызов судьбы и решил бороться до конца».

Это чистейший штамп.

К счастью, таких мест в повести совсем немного.

Хорошо, что Бадигин не пошёл на поводу у унылых ревнителей кипячёной и дистиллированной речи, пугающихся каждого свежего, полновесного, «зернистого» слова, если оно, не дай бог, «областное». Язык повести обогащён и расцветен поморскими речениями.

Свободна от нажима и стилизации колоритная речь поморов. «Ежели будет время, остров разведем, на полдень становище должно быть. На моей памяти мезенские там избу ладили. А здесь нам жить невозможно. Зимовье-то наше русское, да без понятия поставлено, словно заморскими руками. Дверями-то уж всякая изба промысловая на берег глядит, а наша — в лошину. И берег далеко да неладный, добром сюда лодья не пойдёт. А и подойдёт ежели, всё равно нас с лодьи не доглядят».

Но как можно рядом с этим ставить:

«Завершение первоочередных предзимних работ позволило Химкову привести в исполнение его замысел обследовать весь остров».

«С методами и результатами своей работы он знакомил остальных зимовщиков».

Или такие неуклюжие и высокопарные фразы:

«Чутким ко всему прекрасному поморам были близки чувства Степана».

Укажем в заключение на одну историческую неточность.

В ларце со «Святого Архангела Михаила» находится бумага с печатью, грамота Марфы Посадницы своим сыновьям. Ваня прочитывает на ней дату: «тысяча четырёхста шестьдесят восьмой год». Так не могло быть по той простой причине, что нынешнее летоисчисление введено в России только при Петре Первом. До 1700 года летоисчисление на Руси велось с «сотворения мира». Так что Ваня должен был прочесть на печати «6976 год».

В обращении к читателю автор пишет, что им готовится к печати продолжение «Пути на Грумант» — «Чужие паруса». Пожелаем читателю скорого выхода в свет новой книги и надеемся, что он её прочтёт с таким же интересом и чувством благодарности, как и первую повесть Героя Советского Союза К. С. Бадигина.

Ю. GERMAN.

★

Творчество Тренёва

Написать о К. А. Тренёве — это значит показать сложный, полный исканий путь писателя, проанализировать накопленный им положительный опыт, который сегодня стал достоянием нового поколения прозаиков, драматургов, режиссёров и актёров. И книга Е. Суркова «К. А. Тренёв» отвечает этим требованиям. Со страниц её встаёт образ Тренёва, ищущего, яркого, предельно честного художника. Критик показывает Тренёва во всём многообразии его творческой деятельности. Он и создатель прозаических произведений — «Мокрая балка», «Затерянная криница», «Человек» — и автор известных пьес «Любовь Яровая», «Гимназисты», «На берегу Невы», «Пугачёвщина» и других. С добросовестной последовательностью автор проследил становление мировоззрения и мастерства писателя от первых его прозаических опытов, где

Тренёв был одним из выразителей протеста дореволюционного крестьянства, до наиболее зрелых произведений, где он выступает глашатаем новых идей, певцом народа, победившего в социалистической революции, в гражданской и в Отечественной войне.

Но полнее и лучше всего книга Е. Суркова исследует творчество Тренёва-драматурга. И это нам представляется самым ценным в ней.

Можно назвать целый ряд появившихся в последнее время работ о советских драматургах. Две книги о Корнейчуке, книги о Симонове, Афиногенове, Лавренёве начинают этот список. Но среди вышедших работ почти нет исследований, рассматривающих творчество драматического писателя как особый вид литературы.

Книга Е. Суркова выделяется именно тем, что в ней пьесы Тренёва анализируются во всём своеобразии их жанровых признаков. В центре исследования стоят проблемы, свя-

занные с конфликтом и характерами героев, с композицией и языком пьес. Автор показывает не только то, о чём написал Тренёв, но и то, как он это сделал. Единство анализа формы и содержания, метода и стиля, мировоззрения и мастерства писателя — принципиально важная черта книги Е. Суркова, определившая её удачу. Примером тому может служить анализ пьесы «Любовь Яровая», сделанный критиком особенно содержательно. Е. Сурков раскрывает идейный смысл героической пьесы Тренёва, доказывая при этом, что многообразие жизненного содержания потребовало от драматурга новой формы драмы, определило её «многолинейность», органическую необходимость показать «историю героини и героя» в связи с социально-историческими событиями. Идея и структура пьесы были подсказаны драматургу самой жизнью, и, следуя ей, Тренёв не мог не отобразить в течении сюжета, в композиции, в характерах героев борьбу двух лагерей, столкнувшихся в революции.

«Схватка двух миров, — пишет Е. Сурков, — двух антагонистических исторических порядков, с необходимостью завершающаяся торжеством революционного народа, — вот реальное историческое содержание центрального драматического конфликта, обуславливающего характер всех развёртывающихся в пьесе частных сюжетных столкновений».

Глубоко раскрывает Е. Сурков противоречия творчества Тренёва, корни которых лежат в противоречиях его философии, миропонимания. Путь писателя предстаёт в книге как борьба, преодолевающая ошибки, заблуждения, творческие срывы, как целеустремлённое движение вперёд.

Критик считает вершиной творчества Тренёва «Любовь Яровую». Но, утверждая это, автору следовало бы основательнее продумать, в чём сильные и слабые стороны мастерства писателя в произведениях, созданных после его лучшей пьесы. Тогда, мы думаем, последняя глава книги написана была бы с большей глубиной. с той горячей взволнованностью, которая отличает первые части исследования.

Ценный материал в книге Е. Суркова найдут режиссёры и актёры. Книга обогащает их представления о героях, об их внутреннем мире, об атмосфере, в которой они действуют. Много новых, тонких наблюдений сделано автором о возможностях сценического воплощения образов Любви

Яровой, Шванди, Кошкина, о философии и композиции пьесы «Пугачёвщина», о средствах обобщения и типизации в пьесе «На берегу Невы».

Интересны, на наш взгляд, страницы книги, посвящённые языку драматурга.

Е. Сурков прослеживает, как изменялись взгляды писателя на язык, совершенствовались и обогащались его словесные характеристики по мере изменения и преобразования жизни в нашей стране. Критик подошёл творчески к определению своеобразия литературной манеры Тренёва.

Существенно прежде всего уже то, что автор не ограничился определением общих свойств языка Тренёва, а сделал попытку дать конкретный, всесторонний анализ некоторых речевых характеристик в его пьесах, показать на ярких примерах, как эмоциональный, живописный язык, никогда не являясь самоцелью, становится у Тренёва средством выражения образа, формой его организации. С большим мастерством это сделано Е. Сурковым в исследовании речи Кошкина и Устины.

В ранних повестях и рассказах Тренёв подчас ещё злоупотребляет такими образительно-выразительными средствами языка, как эпитеты, метафоры, сравнения, а для индивидуализации персонажей чересчур часто прибегает к местным диалектизмам. Излишняя живописность, колоритичность языка отвлекали иногда читателя от содержания сказанного. Е. Сурков отмечает, что впоследствии язык Тренёва становится всё более экономным и точным, в характеристиках героев всё более отчётливо слышится внутренняя авторская интонация.

Но если книга Е. Суркова отвечает на вопрос о том, какова сущность произведений Тренёва, как рос и формировался талант художника, то вопрос о значении Тренёва для советской литературы, о влиянии его пьес на драматургию современную, им почти не затронут. Те немногие литературные сопоставления, которые есть в работе, интересны и идут в верном направлении. Таковы сравнения Расстёгина с Егором Булычовым, Шванди с образами «братшек» в других пьесах. Но таких аналогий очень мало. Автор как будто не решается раздвинуть рамки своего повествования и посмотреть на произведения Тренёва как на существенные звенья единого литературного процесса. В труде Е. Суркова хотелось бы сильнее почувствовать атмосферу, в кото-

рой создавалось то или иное произведение драматурга, услышать пульс времени.

Недостаточно чётко в работе Е. Суркова разработан вопрос о традициях в творчестве Тренёва. Автор прав, когда ищет истоки литературной деятельности Тренёва в творчестве Толстого и Горького, отчасти Гоголя. Но ссылки на традиции Чернышевского, Некрасова, Чехова в произведениях Тренёва нам кажутся менее уместными. При таком подходе к освоению культурного наследия само понятие традиций растворяется и становится гождественным понятию изучения всего созданного великими художниками прошлого. Но не всех, кого изучает и читает советский писатель, он продолжает в своей творческой практике. Чересчур много оказалось предшественников у Тренёва!

А ведь исследователь умеет говорить о традициях, не декларируя, а обнаруживая их в творчестве Тренёва. Так, о его путевых украинских очерках 1916 года и о гоголевской интонации в них он пишет: «Время словно бы остановилось над великой украинской рекой, и тень Гоголя не случайно всё снова и снова возникает перед нами. Ведь кажется, что всё та же унылая, застойная скука стоит над городами и сёлами, мимо которых столетие тому назад проехал гениальный художник, проехал — и сказал своё знаменитое: «Скучно на этом свете, господа». И хотя младший его собрат посетил эти места почти сто лет спустя, в годину великого народного бедствия, ему всё же не осталось ничего другого, как только повторить этот грустный приговор: «Здесь нет всё изменяющего времени! Оно прошло где-то мимо...» В этом отрывке и поэтический образ трятовской деревни и точное определение того, в чём восприятие Тренёва совпало с гоголевским восприятием.

Много важного и нового можно найти в работе Е. Суркова по вопросам эстетики советской драматургии, её новых форм и жанров, обусловленных новым содержанием эпохи. Но с трактовкой некоторых вопросов теории драмы хочется поспорить.

Вызывают возражение некоторые формулировки автора, касающиеся определения границ и законов исторической пьесы. Ссылаясь на Пушкина, который требовал от драматического поэта «...воскресить минувший век во всей его истине», Е. Сурков упрекает Тренёва в том, что в своей «Пугачёвщине» «он «дополнял» исторический материал, «примысливая» к нему свои психо-

логические и моралистические концепции, неизбежно вступающие в разительное противоречие со всем тем, что было в пьесе истинного, исторически правдивого». И здесь слово «неизбежно» может ввести в заблуждение читателя относительно того, допускает ли автор право писателя на домысел или нет. Ведь в подтверждение своей мысли Е. Сурков ссылается на такие произведения прошлого, как «Тарас Бульба», «Война и мир», «Воевода» и другие. Но разве в названных произведениях «дополнения» к историческому материалу и психологические концепции писателей всегда вступали в противоречие с исторической правдой? Конечно, это не так. Если художник верно раскрыл историческую закономерность эпохи, правильно определил её борющиеся силы, то его домысел отнюдь не будет неизбежно вступать в «разительное противоречие» с истинной историей, а, наоборот, поможет ещё более полному раскрытию её внутреннего смысла. Идеиные несовершенства «Пугачёвщины» Тренёва объясняются не тем, что автор дополнил исторический материал, а тем, что в своём домысле драматург пошёл против исторической правды, исказил её содержание.

И ещё один момент, касающийся теории драмы, кажется в книге спорным. Е. Сурков рассматривает эстетические позиции Тренёва в последние годы его жизни. В статьях и высказываниях этих лет писатель вновь и вновь возвращался к определению специфики драматургии. Его мысли по этому поводу настолько интересны и поучительны, что хочется воспроизвести их целиком. Вот одно из высказываний Тренёва.

«Разница между рассказом и пьесой, — говорит он, — между прочим, в том, что рассказ — роман ли, повесть ли — рассказывает о том, что было — может быть, вчера, а может быть, много веков тому назад, а драма показывает то, что происходит сейчас — здесь, на сцене, где в течение каких-нибудь полутора, максимум двух часов, проходит, может быть, вся жизнь человека, а если не вся, то, во всяком случае, важнейшие драматические моменты его жизни, и при этом, что самое важное и необходимое для драмы, показывается жизнь не одного, а нескольких лиц, связанных между собою самыми глубокими и серьёзными и, опять-таки, драматическими отношениями. И это не простые отношения, а какая-то напряжённая борьба (в этой борьбе и специфика драмы),

борьба, изменяющая, может быть, всю жизнь человека, его судьбу, которая проходит перед нами здесь, на сцене, от начала до конца в один вечер». Это глубокое наблюдение Тренёва не потеряло своего значения сегодня и может служить отправной точкой для молодых драматургов, начинающих свою жизнь в области самого трудного литературного жанра. Поэтому комментарии критика, вступающего в полемику с Тренёвым, кажутся нам малоубедительными. Е. Сурков считает признаки драмы, выдвинутые Тренёвым, не обязательными и не специфичными, а «недочёты» вышеприведённой формулировки очевидными. Автор утверждает, что борьба, изменяющая судьбу человека, не обязательна в современной пьесе и подобного рода изменений нет в таких пьесах, как «Платон Кречет», «Мой друг», «Победители» и другие. Вспомним, что Тренёв говорит: «...борьба, изменяющая, может быть (разрядка моя — З. Б.), всю жизнь человека», то есть, может быть, и не всю, но всё же изменяющая его жизнь и судьбу. И это бесспорно. Нельзя назвать ни одной глубокой реалистической пьесы, в которой борьба, конфликт не внесли бы существенных изменений в жизнь её героев! И те произведения, на которые ссылается Е. Сурков и которые якобы должны подтвердить его точку зрения, разве они не опровергают его же суждений? Разве борьба Платона Кречета с Аркадием (пьеса А. Корнейчука «Платон Кречет») не внесла коренных, определяющих изменений в жизнь того и другого? Разве столкновение Гая — героя пьесы «Мой друг» Погодина — с силами, противостоящими его планам горячего производственника, пламенного борца за

социализм, не привело к существенным переменам в его жизни? А те пьесы, где борьба не вносит изменений в жизнь героев, всегда малоубедительны и в конфликте и в развязке. Ведь произведения, порождённые пресловутой теорией бесконфликтности, содержали именно тот порок, что герои их оставались в конце такими же, какими мы их узнавали в начале, и происходило это опять-таки потому, что борьба между ними сглаживалась, притуплялась драматургом, не приводя к изменениям ни в их судьбах, ни в их характерах.

Негочность определения специфики драмы у Е. Суркова относится только к его комментированию высказываний Тренёва и отнюдь не определяет позицию критика, когда он анализирует драматургию Тренёва в целом. Здесь, в разборе пьес «Любовь Яровая», «Пугачёвщина», «На берегу Невы», автор выступает поборником острых и ярких столкновений, борьбы, преобразующей героев драмы, меняющей их психику, их взгляды на действительность.

В книге Е. Суркова поставлены острые проблемы, волнующие литературно-театральную общественность, в ней затронуты вопросы, интересные и для всякого читателя. Глубина исследования сочетается в этой книге с популярностью и яркостью изложения. Кто бы ни прочитал работу Е. Суркова — специалист, много лет изучавший творчество Тренёва, или человек, впервые узнавший о многих его произведениях, — он найдёт здесь интересные мысли и наблюдения, он научится глубже и разностороннее понимать творчество большого советского художника.

3. БОГУСЛАВСКАЯ.

★

Политика и наука

Опыт передового совхоза

Совхоз имени Сталина (или «Хуторок», как он назывался ранее) расположен на берегу реки Кубани, в 18 километрах от Армавира. Это крупное, высокомеханизированное и рентабельное хозяйство. Развитие здесь получили не только растениеводство и животноводство, но и подсобные промышленные предприятия.

М. Г. Ширман. «Совхоз имени Сталина». Сельхозгиз, М. 1953.

«Новый мир», № 2.

Автор монографии «Совхоз имени Сталина» М. Г. Ширман собрал и изучил большой материал, представляющий значительный практический интерес. Написанная популярным языком, книга последовательно раскрывает перед читателем все стороны деятельности совхоза, ставшего одним из передовых и образцовых хозяйств.

Кубанское помещичье имение «Хуторок», на месте которого был организован совхоз имени Сталина, представляло собой типично

экстенсивное и хищническое хозяйство. Основными отраслями являлись овцеводство камвольного направления и откорм скота. В полеводстве производились малоценные злаки: рожь, ячмень, овёс. Каждый год в имении работали четыре-пять тысяч временных и подённых рабочих. За тяжёлую, от зари до зари, работу помещик платил гроши. Люди жили в невероятной тесноте, в грязных и душных казармах.

При советской власти «Хуторок» превратился в многоотраслевое социалистическое хозяйство. Земельный массив совхоза имени Сталина протянулся на 35 километров, занимая в ширину 5—8 километров. Вся земельная площадь совхоза составляет более 20 тысяч гектаров, из них 18 тысяч отведено под пашню. Ведущими отраслями являются производство зерна, разведение крупного скота и свиноводство. Совхоз имеет сады, ягодники, виноградники и пашки.

За семь послевоенных лет продукция зерновых культур возросла в 2,4 раза, молока — в четыре и мяса — почти в десять раз. Больше миллиона пудов зерна сдаёт совхоз государству ежегодно.

Автор книги отмечает, что руководители совхоза уделяют много внимания развитию производства семян трав. В 1951 году в совхозе убрано шестнадцать видов злаковых и бобовых трав на семена и было собрано более 5 500 центнеров семян многолетних и однолетних трав. Как показала практика, летние посевы трав на семена имеют преимущества перед весенними. Урожай семян получается значительно выше. Из книги М. Ширмана читатель почерпнёт полезные сведения об агроприёмах травосеяния, дающих положительные результаты.

Опыт совхоза по созданию собственного семеноводства однолетних и многолетних трав имеет тем большее значение, что во многих хозяйствах недостаток семян трав тормозит практический переход к многопольным севооборотам. Запущенность семеноводства трав, указывалось в докладе Н. С. Хрущёва на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС, является основной причиной того, что в ряде колхозов и совхозов плохо организовано введение и особенно освоение севооборотов.

Партия поставила перед работниками сельского хозяйства задачу: добиться расширения посевных площадей и резкого по-

вышения урожайности кормовых культур. Ценной кормовой культурой является, как известно, кукуруза.

В совхозе имени Сталина под кукурузу в 1952 году было отведено более тысячи гектаров площади. Почти весь посев кукурузы производится квадратно-гнездовым способом. Урожай этой культуры в 1951 году составлял в среднем по совхозу 19 центнеров с гектара (в початках), а в 1952 году — 27,4 центнера.

Как отмечает автор книги, освоенные совхозом травопольные полевые и кормовые севообороты в сочетании с продуманным комплексом агротехнических мероприятий и использованием новейшей техники обеспечивают дальнейшие быстрые темпы роста производительности хозяйства, высокие и устойчивые урожаи.

В совхозе широко применяются перекрёстный и узкорядный посевы колосовых культур. Все посевы зерновых производятся сортовыми семенами. Расширяется применение различных минеральных удобрений. Предпочтение отдаётся гранулированным и, в частности, азотистым удобрениям. Это даёт значительную прибавку урожая по сравнению с тем, что получается при внесении в почву удобрений в порошкообразной форме. Полностью оправдал себя опыт внекорневой подкормки минеральными удобрениями зерновых культур с самолётов.

Коллектив совхоза имени Сталина производит интересные эксперименты при высеве разных культур. В книге описывается, например, посев яровой пшеницы и ярового ячменя под зиму, в декабре, что даёт более высокие урожаи, чем при посеве весной; кроме того, при посеве под зиму полученное зерно как семенной материал не повреждается пыльной головнёй. Посев однолетних трав после уборки культур, рано освобождающих поля, например, озимых или овса на корм скоту, позволяет получить два урожая в год. Правда, эти повторные урожаи пока собираются с небольшой площади — два процента всей пашни, и поэтому о них ещё рано говорить как о существенном достижении.

Как известно, в директивах XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР говорится о необходимости значительного расширения овцеводства. В решениях сентябрьского Пленума ЦК КПСС указывается на серьёзном отста-

вание производства картофеля и овощей в колхозах и совхозах.

А что делается в этом направлении в совхозе имени Сталина? К сожалению, вопросу развития овощеводства М. Ширман отнёс в монографии всего лишь две страницы текста и ограничился, по существу, лишь короткими сведениями о посевных площадях и об урожайности отдельных культур.

Количество крупного рогатого скота в совхозе достигало в 1952 году без малого 3 тысяч, из них коров — около 600. По сравнению с 1943 годом поголовье скота возросло в шесть раз, превысив довоенный уровень в три раза.

Что касается среднегодовых удоёв, то рост их по отношению к довоенному времени всё же невелик (в 1940 году — 3 136 килограммов на одну корову, в 1952 году — 3 601 килограмм). Имеющиеся в совхозе возможности для увеличения выхода молока, повидимому, полностью не используются. Поэтому здесь далеко ещё до среднегодовых удоёв коров, например, совхоза «Караваяево» Костромской области, где средний удоё составляет 6 400 килограммов в год.

В совхозе имени Сталина продуктивность коров увеличилась в 1952 году против 1940 года на 14,6 процента. Это не так уж много, если учесть значительное расширение кормовой базы как за счёт сена, так и корнеплодов, силоса. Животноводческие фермы получают также со спиртового завода большое количество питательного корма — барды (свыше миллиона декалитров), при этом каждая корова имеет до 50 килограммов барды в сутки.

Автор пишет, что посевная площадь корнеплодов, силосных и кормовых бахчевых культур увеличилась по сравнению с довоенным периодом почти в четыре раза. У читателя невольно возникает вопрос: чем же объяснить явное несоответствие роста продуктивности коров с расширением производства кормов?

Нам представляется, что М. Ширман поступил бы более правильно, если бы в этой главе книги рассказал о тех резервах повышения продуктивности молочного стада, которые, безусловно, есть и ещё не вскрыты работниками совхоза.

В монографии описывается применение сдельно-премиальной оплаты труда на молочно-животноводческих фермах совхоза

в зависимости от количества скота, закреплённого за каждым рабочим, и получаемой продукции. Этот порядок даёт положительные результаты.

Совхоз хорошо оснащён первоклассной техникой. В 1952 году в совхозе работали 78 тракторов, 32 комбайна и много других сельскохозяйственных машин и орудий. Это позволяет полностью механизировать пахоту, боронование, сенокосение, посев и уборку урожая.

В совхозе числится около 2 тысяч рабочих и служащих. Из 258 человек, составляющих механизаторские кадры, половина работает в совхозе более десяти лет и только 10 процентов до трёх лет. Устойчивыми являются также и кадры специалистов.

Инженеры и рабочие вносят много рационализаторских предложений, направленных на увеличение производительности труда. Это даёт значительную экономию рабочей силы и денежных средств. Немало есть и своих конструкторов. Так, например, старший инженер-механик совхоза К. Беличенко создал стогометатель, захватывающий копну весом от 150 до 250 килограммов и поднимающий её на высоту 9 метров. Применение стогометателя принесло экономии за двадцать дней работы в 27 тысяч рублей и высвободило сто рабочих, занятых на укладке сена в стога. Заведующий гаражом Ф. Васюков сконструировал механический шнековый автотранспортер для зерна, установленный на автомашине. Благодаря этому приспособлению трёхтонная машина разгружается в течение 2—3 минут одним шофёром.

Книга М. Ширмана содержит много познавательного материала. Она принесёт пользу работникам совхозного производства, тем более, что подобного рода монографий о передовых совхозах появляется у нас ещё мало. Её с интересом прочтут и люди, непосредственно не связанные с сельским хозяйством.

Однако, говоря об общем впечатлении, которое оставляет эта работа, хочется отметить прежде всего тот, на наш взгляд, не всегда оправданный и обоснованный оптимизм, в отдельных местах граничащий просто с захваливанием, с которым автор описывает деятельность совхоза имени Сталина.

Бесспорно, коллектив совхоза добился немалых успехов, его работники продолжают вести упорную борьбу за дальнейшее развитие хозяйства. Но ведь не только

в признании их заслуг суть дела. И не статичную фотографию, как бы ни была она интересна, не детальную паспортизацию всего, что есть в совхозе, хочет увидеть читатель в книге, призванной продемонстрировать передовой опыт с тем, чтобы использовать его в других хозяйствах.

Насколько бы увеличилась практическая ценность книги М. Ширмана, если бы автор, не ограничиваясь лишь показом хозяйственных успехов в работе совхоза, охарактеризовал те трудности, преодоление которых позволило сделать совхоз одним из передовых в нашей стране; выдвинул бы ряд проблемных вопросов, стоящих перед коллективом совхоза в свете последних решений партии, и вскрыл те резервы, использование которых поможет новому подъёму совхозного производства.

В совхозах ещё высока себестоимость производства сельскохозяйственных продуктов, на что указывалось в решениях XIX съезда партии и сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Это положение имеет место и в совхозе имени Сталина. Правда, сравнительные данные за 1947—1951 годы, сообщённые в книге М. Ширмана, говорят о том, что себестоимость зерновой продукции в совхозе снизилась на 39,1 процента, молочной — на 6,4 процента, мясной — на 18,7 процента. А как обстоит дело после 1951 года и что практически предприни-

мается для дальнейшего снижения себестоимости?

Совхоз расположен в зоне действия суховеев и «песчаных бурь». Несмотря на это, совхоз добился значительного повышения урожайности. Узнать более подробно, какими путями это достигалось, было бы очень интересно. К сожалению, из книги ничего конкретного в этом отношении не почерпнёшь. Едва ли окажут практическую помощь совхозам и колхозам в борьбе с суховеями и «чёрными бурями» общие декларативные рассуждения автора, вроде следующих: «работники совхоза, применяя новейшую машинную технику, используя данные передовой агробиологической науки и опыт передовиков, получают из года в год высокие урожаи зерновых и других сельскохозяйственных культур».

Существенным пробелом в работе М. Ширмана является то, что она не освещает такой насущный вопрос: как передовое государственное предприятие — совхоз имени Сталина — влияет на улучшение сельскохозяйственного производства в колхозах, расположенных в том же районе. Не может быть, чтобы совхоз, созданный более двадцати пяти лет назад, накопивший огромный опыт, не помогал колхозникам повышать культуру земледелия и работал изолированно от колхозов.

Н. СИМОЦОВ.

★

«Остановите печатные машины!»

Советский читатель знает американского прогрессивного журналиста Джорджа Мариона по его книге «Базы и империя», переведённой на русский язык. «Остановите печатные машины!» — так назвал он свою новую книгу.

Интересна предистория этого произведения.

Нравы буржуазной печати США известны Мариону не с чужих слов, изучались им не в тиши кабинета, а на собственном опыте человека, проведшего многие годы на работе в редакциях крупных буржуазных газет. «Весной 1946 года, — рассказывает Д. Марион, — у меня была хорошая работа, поскольку её может предоставить газета, и я получал больше жалование, чем, скажем,

99 из каждых 100 американцев. Но слишком длительное и слишком близкое соприкосновение с реальной действительностью газетного дела, пять лет работы в бульварной херстовской нью-йоркской газете «Дейли миррор» в годы войны и, наконец, развёртывающаяся кампания ненависти к России окончательно опротивели мне. Я не мог больше выносить этого. Поэтому я распрощался с коммерческим журнализмом».

Честный журналист решил показать американскую прессу так, как она выглядит в действительности. Он написал брошюру, которую назвал «Свободная печать — портрет монополий». И ему пришлось лишний раз убедиться в том, какова на деле «свобода печати» в сегодняшней Америке. Книга не была допущена к читателю. Её распространению чинились всяческие препятствия.

G. Marion. „Stop the press!“. New York. 1953. (Д. Марион. «Остановите печатные машины!». Нью-Йорк, 1953.)

Марион решил не сдаваться — он написал ещё одну книгу. Это была — «Базы и империя: план американской экспансии». Но все буржуазные издательства просто-напросто отказались выпустить её в свет. Тогда Марион на свои средства издал рукопись и сам взялся за распространение книги. Если бы в Соединённых Штатах Америки существовала действительная свобода печати, говорит Марион, мне бы не пришлось тратить три четверти своего времени на продажу собственных книг.

Реакция не ограничилась, однако, пассивными мерами, направленными к тому, чтобы широкий читатель не услышал голоса прогрессивного публициста. Автор книг, пришедшихся не по вкусу маккартистам, подвергся самым ожесточённым преследованиям. Против него возбудили судебное дело.

Вся эта возня заставила Джорджа Мариона вновь вернуться к вопросу о пресловутой «свободе печати» в Америке. Он дал читателям книгу «Остановите печатные машины!»

«Это очень важная книга, полная глубокого смысла,— пишет в своём предисловии к ней Говард Фаст.— Я читал её с неослабевающим интересом и волнением, ибо таков рассказ, который решил поведать нам Джордж Марион, рассказ о печати, находящейся под жестоким контролем, печати, направленной против интересов народа с большей безжалостностью, чем в какой-либо другой стране мира. Вот почему «Остановите печатные машины!» становится необходимой книгой нашего времени».

Марион разоблачает лицемерие буржуазных проповедников, утверждающих, что в США существует свобода печати потому якобы, что американский гражданин имеет формальное право издавать свою газету. «Если мы удовольствуемся формальной свободой,— пишет он,— то обсуждать нечего. Несомненно, конституция Соединённых Штатов формально гарантирует каждому право издавать газету. Закон справедлив и равен для всех; он запрещает и безработному рабочему и миллионеру спать на скамьях в парке, гарантирует обоим право покупать или основывать огромные предприятия, именуемые газетой. Правда, когда каждый из них пытается осуществить это своё равное право, возникает то затруднение, что один имеет деньги, а у другого их нет. Поэтому миллионер приобретает средства для реаль-

ного осуществления свободы печати; рабочий остаётся в стороне».

В книге приводятся данные, показывающие, сколько стоит издание в США газеты. Из чего же складываются эти расходы? Так, например, «Нью-Йорк таймс» потребляет две с половиной тысячи вагонов бумаги. Для однодневного тиража газеты это обходится в 200 тысяч долларов. Чтобы обеспечить себя бумагой, владельцы «Нью-Йорк таймс» так же, как и другие газетные тресты, приобрели в собственность большие лесные массивы и контролируют многочисленные бумажные фабрики. Но дело не только в бумаге.

Владелец «Нью-Йорк таймс» Артур Сульцбергер признал как-то, что для выпуска его газеты требуется работа трёх тысяч семисот пятидесяти человек. Их ежедневное жалованье составляет сумму в 275 тысяч долларов. Напечатать тираж большой газеты можно лишь при наличии сложного оборудования и машин. Оборудование печатного цеха, указывает Марион, стоит около 10 миллионов долларов. К этому необходимо добавить стоимость зданий, в которых располагаются редакция и типография, а также транспортные расходы.

Исходя из всех этих расчётов, автор книги делает вывод: для того, чтобы издавать сейчас в Соединённых Штатах Америки газету, которой не грозит участь быть задушенной своими конкурентами, требуется капитал, не менее 25 миллионов долларов.

«Таково реальное содержание нашей свободы печати,— пишет Марион.— Бумага, на которой написана конституция, должна быть подкреплена бумагой, на которой напечатаны доллары, прежде чем ваше право на свободу печати действительно станет свободой печати... Закон разрешает каждому гражданину издавать газету: в нём просто ничего не говорится о низменной стороне дела, о «материальных условиях» для этого. Закон не устанавливает правил; он говорит, что игра должна быть открыта для всех. Закону нет дела, если в ходе игры в печать вступительная ставка возрастает до 25 миллионов долларов. Закон не интересуется, где вы возьмёте печатные машины, бумагу, деньги для уплаты жалованья рабочим и служащим». А каков результат? Результат тот, что из 155 миллионов человек, живущих в Соединённых Штатах, лишь маленькая кучка в несколько сот человек имеет

возможность преодолеть пропасть между «правом» и «возможностью» и осуществлять на практике торжественно провозглашённую «свободу печати».

Некоторые буржуазные журналисты, пытаясь отрицать очевидные факты, утверждают, что они могут писать всё, что захотят. Д. Марион цитирует высказывание одного из крупнейших американских газетных магнатов — Эдуарда У. Скриппса, который, нимало не стесняясь, заявил: «Владелец газеты, наниматель, требует, чтобы нанятые им писали то, во что наниматель либо верит, либо хочет, чтобы поверили его читатели... Он никогда не допустит, чтобы газета использовалась для выступления против его собственных мнений. Он не будет также платить журналисту жалованье за создание материала, появления которого в своей газете он не хочет...»

Не удивительно, что подавляющее большинство американских журналов и газет, являясь неразрывной частью «большого бизнеса», выступает в защиту интересов монополистического капитала. Только его интересы определяют то, что появляется в буржуазной печати США.

Монополиям выгодна гонка вооружений — и буржуазная печать изо дня в день раздувает военную истерию, клеветает на Советский Союз и страны народной демократии, вопит об угрозе «советской агрессии». Уолл-стриту нужны обманенные и запуганные люди, из которых можно вербовать послушное пушечное мясо, — и газетам и журналам даётся приказание систематически печатать материалы, растлевающие читателей. Монополисты напуганы усиливающимся движением американских трудящихся за свои права — и реакционная американская пресса усиливает антикоммунистическую кампанию, поднимает на щит Маккарти и ему подобных мракобесов, натравливает на передовых людей Америки фашистских громщиков. Можно ли в подобных условиях говорить о какой-то «свободе» печати капиталистической Америки!

Автор приходит к логическому заключению, что сам торгашеский дух буржуазной печати, желание оглушить читателя ведут к тому, что американец не может узнать правду из этой прессы. Проблемы повседневной жизни, то, что касается миллионов людей, не находят отражения в «новостях», печатаемых американскими газетами. Упор делается на скандал, на сенсацию, руковод-

ствуясь притом известной буржуазным газетчикам установкой: «Если собака кусает человека — это не новость, а вот если человек кусает собаку — это новость». «Сенсация, — говорит Марион, — становится отравляющим средством, фальсифицирующим духовную пищу общества».

Любители поговорить на тему о «свободе печати» в Америке разглагольствуют о том, что многочисленные американские газеты печатают на своих страницах самую различную информацию. Поэтсму, дескать, американский читатель может составить себе объективное представление о любом событии. В книге Мариона разоблачается и эта сказка. Автор показывает централизацию и стандартизацию информации, попадающей в газеты и распространяющейся по всей стране. Все такие материалы представляются лишь тремя крупнейшими агентствами — Ассошиэтед Пресс, Юнайтед Пресс и Интернейшнл Ньюс Сервис, монополизировавшими это дело. Только Ассошиэтед Пресс обслуживает 1 300 из 1 700 американских газет. Поэтому новости и их интерпретация, помещаемые в нью-йоркских газетах, как две капли воды похожи на то, что печатается в Чикаго или Сан-Франциско, Бостоне или Филадельфии, Питтсбурге или Лос-Анжелосе.

Агентства не ограничиваются только информацией, но рассылают в газеты и статьи, и обзоры, и даже почти целиком готовые номера, в которых потом вставляется небольшое количество заметок из местной жизни. О характере этого централизованного потока материалов можно судить уже по одному тому, что монополия на его изготовление находится в руках всё той же небольшой кучки магнатов. Даже реклама, публикуемая печатью, распределяется централизованно несколькими крупнейшими рекламными агентствами.

Отмечая тот факт, что газеты и журналы принадлежат в подавляющем большинстве частным владельцам и действуют как коммерческие предприятия, Д. Марион говорит: «Система печати в Соединённых Штатах — это самая мощная, концентрированная и опасная монополия. Промышленная монополия, не уступающая крупнейшим промышленным монополиям. А кроме того, почти абсолютная монополия над мышлением американцев».

«Остановите печатные машины!» — восклицает Марион, требуя прекращения «хо-

лодной войны» и систематического отравления живыми сведениями американского народа. Печать, указывает он, должна служить не целям обмана и обольщения людей, а благородному делу просвещения, быть средством правдивой информации.

Честная и смелая книга Джорджа Мариона срывает маску с тех, кто под лозунгом свободного обмена мнениями ведёт членовеннавиственную пропаганду, раздувает вражду между народами.

Вал. ЗОРИН.

★

Сражающийся Вьетнам

Во II веке до нашей эры войска китайского императора вторглись во Вьетнам и покорили его. Надменные завоеватели пытались заставить вьетнамцев забыть даже название своего государства: Вьетнам, что в переводе означает «страна юга», они переименовали в Аннам — «умиротворённый юг». Однако умиротворить эту страну всё же не удалось.

Через несколько веков, в результате крупных народных восстаний, вьетнамцам удалось освободиться от чужеземного ига. Но на смену одним захватчикам вскоре пришли другие. В конце XIX века Вьетнам стал добычей французского империализма. Однако не так просто было поставить на колени свободолюбивый народ. С момента, когда французские колонизаторы вступили на землю Вьетнама, народ вновь начал бороться за свою свободу. Вооружённое восстание, организованное Демократическим фронтом борьбы за независимость Вьетнама (сокращённо Вьет-Мин), созданным по инициативе Коммунистической партии Индо-Китая, завершилось в 1945 году полной победой народа. Была создана Демократическая Республика Вьетнам, и теперь страну можно по праву назвать освобождённым югом.

О героическом прошлом и освободительной борьбе вьетнамского народа, о его замечательных успехах на пути новой жизни рассказывает книга Т. Николаева.

Наибольший интерес, конечно, представляют главы, посвящённые современному Вьетнаму. Автор образно описывает невыносимый гнёт французских колонизаторов и японских империалистов, хозяйничавших здесь во время второй мировой войны.

Хозяйство страны было окончательно подорвано. В промышленности и торговле царил полнейший застой, дороги, транс-

порт и ирригация были разрушены, земледелие пришло в упадок.

Наводнение и засуха 1944—1945 годов вызвали неурожай, за которым пришёл голод, унёсший два миллиона жизней.

В этих условиях развернулось движение за национальное спасение, охватившее сотни тысяч людей. Во всех концах страны население устраивало демонстрации, вооружалось, захватывало японские склады с продовольствием. Коммунистическая партия Индо-Китая развернула борьбу против японских оккупантов. Патриоты уходили в горы и джунгли, где создавали партизанские отряды. К концу 1944 года эти отряды выросли в Народную армию, освободившую от японских захватчиков семь провинций Северного Вьетнама.

Разгром советскими войсками японской армии открыл вьетнамскому народу реальный путь к освобождению. В августе 1945 года во Вьетнаме вспыхнула народная революция, которая в течение нескольких дней смела реакционное правление иностранных поработителей. Второго сентября Временное народное правительство опубликовало Декларацию, в которой говорилось: «Французы бежали, японцы капитулировали. Император Бао Дай отрёкся от престола. Наш народ сбросил иго, тяготевшее над нами в течение почти ста лет, и сделал, наконец, наш Вьетнам независимой страной». В январе 1946 года состоялись всеобщие выборы в Национальное собрание Демократической Республики Вьетнам. Было избрано правительство во главе с президентом республики Хо Ши Мином, а затем единодушно принята первая в Юго-Восточной Азии демократическая конституция.

Образование Демократической Республики Вьетнам явилось серьёзным ударом не только для французских империалистов, потерявших одну из наиболее богатых своих колоний. Оно ослабляло также империалистический лагерь в целом, служило могучим стимулом для дальнейшего разви-

тия национально-освободительного движения в Юго-Восточной Азии — сфере колониальных владений США и Англии.

Автор правильно указывает, что в интервенции против молодой республики приняли участие не только французские колонизаторы, но и американские и английские империалисты. Более того, к подавлению освободительной борьбы вьетнамского народа были привлечены также только что разгромленные японские оккупанты.

К сожалению, в книге ничего не говорится о деятельности американского империализма, хотя известно, что в том же 1945 году, когда для разоружения японских войск в Северный Вьетнам вошли гоминдановцы, с ними прибыли также представители правительства США. Американские агенты развили бурную деятельность. Они пытались добиться от демократического правительства военных и экономических привилегий для Соединённых Штатов, рассчитывая постепенно поставить Вьетнам в полную зависимость от США.

Американская агрессия во Вьетнаме особенно усилилась после победы Народной революции в Китае. Вашингтонские поджигатели войны стали рассматривать Вьетнам как один из наиболее важных стратегических плацдармов для нападения на Китайскую Народную Республику.

Соединённые Штаты оказывают щедрую «помощь» французским колонизаторам. Они уже передали Франции 44 тысячи тонн различных военных материалов. Многочисленные американские инструкторы обучают солдат армии колонизаторов обращению с новейшими видами оружия. По мере того как положение империалистов ухудшается, американское вмешательство в войну во Вьетнаме принимает всё более открытые формы. Соединённые Штаты теперь обязуются покрывать 40 процентов расходов на ведение этой «грязной войны». Кроме того, генералы из Пентагона добиваются, чтобы американские офицеры командовали марionеточной армией, которую французы пытаются сколотить сейчас из предателей вьетнамского народа.

Под видом оказания «помощи» американский капитал захватывает в свои руки ключевые позиции в экономике оккупированной части Вьетнама. Используя так называемые смешанные американо-вьетнамские компании, дельцы Уолл-стрита в

значительной степени поставили под свой контроль добычу олова, производство каучука и риса.

В этой войне Франция несёт большие жертвы. За время боёв она потеряла свыше 250 тысяч солдат и офицеров, включая сюда и потери марionеточных войск; на эту войну она ежегодно расходует до 800 миллиардов франков. Совершенно очевидно, что без американской поддержки французские империалисты давно были бы изгнаны из Вьетнама. Поддержка Соединённых Штатов продлевает войну на некоторое время, но, конечно, не решает её исхода в пользу империализма.

Теперь не только широкие круги французской общественности, но и многие буржуазные политические деятели, занимающие официальные посты в правительстве и парламенте, сознают бесполезность продолжения войны во Вьетнаме. Они прекрасно понимают, что опасность для Франции исходит не из далёкого Индо-Китае, а создаётся в Европе Соединёнными Штатами Америки в лице агрессивного западногерманского государства. Вот почему такой горячий отклик встретило во Франции недавнее заявление Хо Ши Мина о готовности республиканского правительства вести мирные переговоры с французским правительством. С требованием прекращения военных действий во Вьетнаме выступают представители различных политических направлений. Ряд депутатов Национального собрания высказался за установление почётного мира с правительством Хо Ши Мина. Среди них такой видный политический деятель, как бывший председатель Национального собрания Эдуард Эррио.

Совершенно по-другому реагируют на возможность прекращения войны в Индо-Китае агрессивные круги Соединённых Штатов. В настоящее время, после прекращения военных действий в Корее, мир в Индо-Китае означал бы установление мира в Азии. Это совсем не по вкусу поджигателям войны. Поэтому представители агрессивных кругов и печать монополий США настаивают на продолжении войны во Вьетнаме. Отражая подобные настроения, орган деловых кругов США газета «Вашингтон пост» писала недавно: «Государственный департамент считает, что в настоящее время никакое перемирие в Индо-Китае невозможно». США выступают за расширение войны во Вьетнаме. Они усиливают помощь фран-

цузскому экспедиционному корпусу и даже ставят вопрос об отправке американских войск во Вьетнам.

Автор довольно подробно рассказывает о военных действиях и успехах Народной армии Вьетнама.

Народная армия непрерывно накапливала силы и вела активные боевые действия, рассчитанные на изматывание врага. В 1950 году произошёл перелом в ходе войны. Вьетнамские войска, вдохновлённые великими победами китайского народа, захватили инициативу в свои руки. Был освобождён ряд городов-крепостей вдоль китайско-вьетнамской границы — Као-Банг, Ланг-Сон, Динь-Лап, Лао-Кай и другие. Тем самым было прорвано кольцо военной блокады республики.

В следующем году Народная армия освободила город Нинь-Бинь. Она показала, что является уже достаточно сильной, чтобы вести успешные наступательные операции. Оккупанты потеряли убитыми, ранеными и пленными свыше четырёх тысяч человек. На сторону Народной армии перешли 1200 новобранцев, насильственно завербованных в так называемую армию Бао Дая. Опыт боёв на фронте Нинь-Бинь имеет огромное значение, так как в руках французских колонизаторов находятся главным образом большие города, расположенные на равнине, как, например, Сайгон, Ханой, Хайфон, Гуэ и другие. 1952 год ознаменовался новыми успехами. В начале года после тяжёлых боёв регулярные вьетнамские части разгромили в районе Хоа-Бинь отборную армию противника, которая, по планам французского командования, должна была начать генеральное наступление на республику. В конце года на северо-западе страны в результате ожесточённых сражений был освобождён обширный район в 28 500 квадратных километров.

Автор рассказывает, как в условиях жестокой блокады, когда у республики были захвачены основные районы рисосеяния, когда французские воздушные пираты уничтожали ирригационную систему страны, сжигали напалмом посевы, революционный подъём народа помог ликвидировать голод и обеспечить страну продовольствием. Всё население вышло восстанавливать дамбы, плотины и ирригационные сооружения. Каждый клочок земли был обработан и засеян. В своём обра-

щении к народу министр сельского хозяйства Вьетнама заявил: «Революция одержала победу над голодом. Эта победа является одним из величайших достижений нашей новой демократии».

Патриотизм народа сыграл большую роль и в создании национальной промышленности. Из оккупированных захватчиками городов рабочие буквально на руках вынесли оборудование заводов. Промышленные предприятия были поставлены прямо в джунглях. Героический рабочий класс Вьетнама сумел наладить производство многих видов военной и мирной продукции, в том числе такой, которая никогда раньше не производилась в стране.

В книге говорится и о больших переменах в деревне. В трудных условиях военного времени Народное правительство сумело осуществить первые шаги к проведению коренной аграрной реформы. Для облегчения положения крестьянства арендная плата за землю была снижена от 25 до 50 процентов. Введён единый сельскохозяйственный налог. Запрещено ростовщичество, которое за годы французского и японского владычества приняло огромные размеры. Земли, принадлежавшие до революции французским колонизаторам и помещикам, бежавшим на территорию, оккупированную французами, конфискованы и распределены между безземельными и малоземельными крестьянами. Общинные земли, как правило захваченные кулаками, также перераспределены между трудовым крестьянством.

Достоинством книги является то, что автор отразил ожесточённую классовую борьбу в связи с аграрными преобразованиями.

Помещики и кулаки всеми силами стремились сорвать аграрную политику правительства, сохранить за собой прежнее господствующее положение в деревне. Кулаки всячески тормозили временное распределение земель и перераспределение общинных земель. Помещики, чтобы избежать сокращения земельной ренты, собирали ренту тайком и в уплату за землю заставляли крестьян работать на себя.

В конце января 1953 года состоялся 4-й пленум ЦК Партии трудящихся Вьетнама. Пленум отметил, что до сих пор жизненный уровень крестьян ниже жизненного уровня всех других слоёв населения. Вслед за пленумом, определившим главные задачи

работы в деревне, состоялось совместное заседание Постоянного комитета Национального собрания и комитета Единого национального фронта, на котором был намечен конкретный план всеобщей мобилизации крестьянских масс для полного осуществления аграрной политики правительства.

В освобожденной стране бурно развивается национальная культура. Можно без преувеличения сказать, что во Вьетнаме все учатся. К настоящему времени в значительной степени ликвидировано наследие колониального режима — неграмотность. Общее число школ в республике увеличилось с 1945 года в десять раз. Помимо средних и специальных учебных заведений, в стране открыто несколько высших учебных заведений, готовящих специалистов для народного хозяйства.

Из книги Т. Николаева читатель узнаёт, как в ходе отечественной войны крепло единство народных масс Вьетнама, сплотившихся вокруг своего демократического правительства, как организовался и расширился единый антиимпериалистический национальный фронт.

В дополнение к Демократическому фронту борьбы за независимость Вьетнама — Вьет-Мину, в 1946 году был создан Национальный фронт — Льен-Вьет, расширивший движение сопротивления французской агрессии. Он объединил в своих рядах интеллигенцию, национальную буржуазию, патриотически настроенных землевладельцев и духовенство, которые понимали, что над страной нависла угроза нового порабощения. По предложению Вьет-Мина в феврале 1949 года было принято решение об объединении Вьет-Мина и Льен-Вьета в Единый национальный фронт борьбы против франко-американской агрессии, за построение независимого, объединённого демократического, процветающего Вьетнама. Такой фронт был создан в марте 1951 года. Он получил название Льен-Вьет.

В настоящее время Единый национальный фронт объединяет свыше 12 миллионов человек — все патриотические слои населения Вьетнама. Ведущей силой Единого национального фронта является прочный союз рабочего класса и трудового крестьянства. Вместе с тем в освободительную борьбу всё шире вовлекается интеллигенция.

Руководящей и направляющей силой Единого национального фронта является Партия трудящихся Вьетнама (Лао-Донг), которая в настоящее время насчитывает в своих рядах 700 тысяч человек. Выдающимися заслугами перед страной, понесёнными жертвами во имя свободы и независимости родины, политикой, отвечающей национальным интересам государства, она завоевала глубокое доверие и безоговорочную поддержку всего народа.

Партия трудящихся Вьетнама была создана в феврале 1951 года. По своим революционным целям, говорит автор, она является достойной преемницей революционных традиций Коммунистической партии Индо-Китая. Манифест и программа Партии трудящихся, кратко изложенные в книге, убедительно подтверждают этот вывод.

Однако у читателя возникает вопрос: что же стало с Коммунистической партией Индо-Китая, какова судьба тысяч последовательных борцов за новый Вьетнам — коммунистов? Автор книги лишь указывает, что в целях «обеспечения условий для объединения всех сил нации в её борьбе за свободу и независимость Центральный Комитет Коммунистической партии Индо-Китая опубликовал в ноябре 1945 года декларацию о роспуске Коммунистической партии Индо-Китая».

Действительно, декларация такая была. Но на самом деле партия не была распущена, а на некоторое время, по тактическим соображениям ушла в подполье. Второй съезд Коммунистической партии Индо-Китая, состоявшийся 2 ноября 1951 года, принял решение о превращении компартии в Партию трудящихся Вьетнама. Таким образом, основной костяк Партии трудящихся, её ядро составляют закалённые в боях, имеющие большой революционный опыт коммунисты. Генеральным секретарём Партии трудящихся является один из выдающихся политических деятелей Вьетнама — Трουνг Шин.

Несмотря на отмеченные пробелы, книга Т. Николаева «Великие перемены во Вьетнаме» представляет большой интерес для советского читателя. Она написана живым образным языком, имеет большое познавательное значение. Для каждого, кто прочтёт эту книгу, станет ясно, что за семь лет отечественной войны вьетнамский народ сорвал планы империалистов, помешал и:

задушить республику в кольце военной, политической и экономической блокады.

Выход Народной армии к границам Китайской Народной Республики прорвал военную блокаду. В настоящее время свыше 90 процентов территории страны освобождено от французских колонизаторов. Оккупанты удерживают лишь отдельные пункты в центре страны, устье Красной реки на севере и долину реки Меконг на юге. Народная армия с 1950 года не выпускает инициативы военных действий из своих рук.

Дипломатическое признание Демократической Республики Вьетнам Советским Союзом, Китайской Народной Республикой и

странами народной демократии ликвидировало политическую изоляцию страны и вывело её на широкую международную арену. Создание независимой национальной экономики, укрепление государственного строя, улучшение системы снабжения и торговли ликвидировали экономическую изоляцию Вьетнама.

Успехи вьетнамского народа во всех областях жизни создают необходимые предпосылки для изгнания франко-американских интервентов с территории страны и дальнейшего развития республики по пути народной демократии.

В. ЖАРОВ.

★

В мире минералов

Среди различных областей естествознания видное место занимает геохимия — наука о законах возникновения и перемещения химических элементов в земной коре. Наряду с другими областями геологии она помогает создать прочную базу для прогноза и поисков полезных ископаемых. Один из основоположников геохимии, академик А. Ферсман (1883—1945), немало способствовал её развитию и внедрению в практику.

Камень, минерал — во всём богатстве форм, в каких он встречается в природе, в бесконечном разнообразии его применений человеком — основная тема научных исследований А. Ферсмана.

Неутомимый путешественник, изыскатель и разведчик недр, А. Ферсман прожил большую, наполненную кипучей работой жизнь. За Полярным кругом, в слабо заселённых областях Кольского полуострова, учёный исследовал склоны Хибинских гор, он возглавлял экспедицию в пустыню Кара-Кумы, изучал минеральные богатства Урала и других районов СССР. Он видел мраморные карьеры Каррары и пещеры Тюрингии, спустился в рудники и шахты Чехословакии, наблюдал за работой французских учёных, получавших искусственные рубины.

Облик Ферсмана-популяризатора не менее примечателен, чем облик Ферсмана-деятели науки. Ферсман показал, что учёный может стать своеобразным художником, когда им движет желание передать

А. Е. Ферсман. «Занимательная минералогия». Дэтгиз, М.—Л. 1953.

читателю свою страсть к познанию мира? Удивительная живость воображения, яркий литературный талант проявляются с исключительным блеском в его книгах для молодёжи.

Нельзя не приветствовать поэтому выход в свет нового издания «Занимательной минералогии», свидетельствующего о том, каким признанием и любовью пользуется в нашей стране увлекательный, глубокий по содержанию рассказ о достижениях советской науки.

По своему построению книга представляет, на первый взгляд, своеобразную мозаику сведений из истории камня, отрывков из воспоминаний о путешествиях, описаний диковинных и необычных явлений, происходящих в мире минералов. Но в простоте и многообразии фактов, по-новому раскрывающих «сухую», согласно привычным представлениям, науку о минералах, заключается один из секретов «занимательности» книги. В этой мозаике — глубоко продуманный план.

Автор ведёт нас в Минералогический музей Академии наук с его собранием редких и прекрасных минералов, в горы Хибин, где среди скал с серыми мхами и лишаями он находил камни ярчайших расцветок; далее мы попадаем в мир пещер с их причудливыми отложениями солей, наблюдаем, как растут железистые скопления на дне болот и озёр, давая начало железным рудам, ищем вместе с автором серу в пустынных просторах Кара-Кумов.

Вот автор задержался у витрины со сверкающими самоцветами. Каждый из

этих камней позволяет ему то **дать** читателю любопытную историческую справку, то развить интересную догадку о происхождении минерала, то высказать свежую и глубокую мысль о применении, которое найдёт этот камень в технике будущего. С вълнением говорит А. Ферсман о минеральных сокровищах нашей страны, собранных в Ильменском заповеднике и тщательно охраняемых здесь по постановлению, подписанному В. И. Лениным; о высоком искусстве русских камнерезов, о мастерстве, с которым они обрабатывали камень, украшая им набережные Невы, дворцы Ленинграда, подземные сооружения Московского метро.

«...В мёртвых скалах, песках и камнях мы научимся читать великие законы природы, по которым построена вселенная», — пишет А. Ферсман. Эта мысль, утверждающая в сознании юного читателя материалистическое учение о познаваемости мира, особенно последовательно проведена автором во второй и третьей главах «Занимательной минералогии». То прямо излагая понятия современного естествознания, то образно рисуя ощущения человека, вдруг овладевшего способностью видеть воочию кристаллическое строение вещества, устройство атома или процессы, протекающие в глубинах земли и в мировом пространстве, автор вводит читателя в круг тех вопросов, которые составляют одну из важнейших проблем науки.

Учёный-популяризатор ищет путей к тому, чтобы теоретические обобщения сложной науки сделать зримыми, реальными, научить наблюдать проявления этих законов в самой природе. Рассказывая историю камня, которая в его изложении становится кратким историческим очерком минеральной жизни Земли, А. Ферсман насыщает очерк яркими примерами, неожиданными сопоставлениями, показывающими, какие тонкие связи существуют между живым и неживым миром, между камнем и растением.

Однако факты из минеральной природы, сами по себе диковинные, порой поражающие воображение, никогда не выступают в книге как самоцель. Занятно и неожиданно, например, узнать из книги, что камень, подобно живому существу, испытывает сезонные изменения, но эту мысль А. Ферсман иллюстрирует не только экзотическим примером с **выцветами** пустынных

солей. Он тут же подчёркивает, что сезонные изменения испытывает и вода, что на берегах Карабогаз-гола именно в зимние месяцы отлагаются ценные для промышленности соли. Наблюдения над жизнью камня искусно связываются таким образом с производственной деятельностью человека.

Не случайно поэтому примерно половину своей книги академик А. Ферсман отдаёт главам, рассказывающим о промышленном значении камня и минерального сырья. В главе «Драгоценный и технический камень» перед читателем проходят живые зарисовки, сделанные знатоком русского самоцвета и технического камня. Вот алмаз — камень высокой твёрдости, без которого не обходится техника точных приборов, горный хрусталь, дающий тончайшие кварцевые нити, топаз, берилл, турмалин — сложные образования, возникшие из паров расплавленной магмы в пегматитовых жилах.

В главе «Камень на службе человека» в кратких очерках, отражающих большой жизненный опыт учёного, показано всё разнообразие минералов, преобразуемых человеком в процессе производства. Рассказывая читателю о грандиозных масштабах, в каких потребляет промышленность созданные природой ресурсы минерального сырья, автор попутно заглядывает и в историю каждого минерала, в его геологическое прошлое, раскрывает и бесконечные перспективы новых путей использования минералов на базе высокой техники коммунистического будущего.

«Занимательная минералогия», подобно «Жизни растения» К. А. Тимирязева, — одно из тех произведений научно-популярной литературы, где сконцентрировалась целая жизнь учёного, отразились самые любимые его идеи, самые заветные думы.

Есть в книге А. Ферсмана как бы сквозное течение, связывающее, цементирующее отдельные рассказы и приводящее их к единству. Такими связующими звеньями выступают в книге геохимические идеи автора. А. Ферсман возвращается к ним постоянно, то рассказывая о том, как «живёт» и «умирает» камень в природе и в технике, то связывая характер современной земной поверхности с историей развития органического мира.

В «Занимательной минералогии» А. Ферсман использовал арсенал разнообразных средств, помогавших ему более чётко, вы-

пукло донести до читателя свою основную мысль. Тут и простейшие, несложные опыты (например, с выращиванием кристаллов или наблюдениями над кристаллами сисга), и использование яркой, выразительной цифры (чтобы показать, как велико участие живых существ в образовании почвенного покрова, он приводит любопытный факт: гигантские черви Мадагаскара ежегодно пропускают через свой организм... кубический километр земли!), и умелый отбор редкостных явлений природы, говорящих о том, как сложен и своеобразен мир минералов (в главе «Диковинки в мире камня» рассказано, например, о камнях твёрдых и мягких, жидких и летучих, волокнистых и пластинчатых, мылящих и даже съедобных).

Но основным выразительным средством автору служит всё же образ. Только обладая глубоким, всесторонним знанием предмета, можно так непринуждённо писать, например, о «нежных сосульках известковых натёков», ежегодно вырастающих под Кировским мостом в Ленинграде, или о том, что бриллианты сверкают, «как капли воды, чистые, с пёстрыми переливами, немного холодные камни горячей Индии, пустынной Африки и тропических зарослей Бразилии». Образ, однако, никогда не возникает у учёного-художника случайно, — он всегда связан с основной мыслью, с тем кругом представлений, которые ему нужно вызвать в нашем сознании.

Не менее важна в книге роль фантастического элемента. Рассказывая, например, об огромном значении железа в жизни современного человека, учёный рисует довольно мрачную фантастическую картину мира, внезапно потерявшего этот металл: исчезли рельсы, поезда, рухнули здания, «даже камни мостовой превратились бы в глинистую труху, а растения начали бы чахнуть и гибнуть без живительного металла».


Но фантастика не сведена в книге лишь к роли художественной иллюстрации, помогающей уяснить сложные процессы природы. Автор смело ведёт за собой читателя в технику завтрашнего дня, мы как бы участвуем в полёте мысли исследователя, увлекающего нас перспективами будущего, когда человек овладеет тайной изготов-

ления искусственного алмаза, преобразит технику бурения гор и металлы станут обрабатывать искусственным алмазным резцом; когда из мира железа и угля трудовое человечество перейдёт в век лёгких металлов, которые в неисчерпаемых запасах хранятся ещё в кладовых природы.

Новое издание «Занимательной минералогии» хорошо оформлено, снабжено цветными таблицами и интересными иллюстрациями. Хочется, однако, отметить, что оно было бы ещё более полезным, если бы ему было предпослано небольшое введение от редакции (частью этого введения должна была бы стать и имеющаяся в данном издании редакционная справка о новой космогонической теории академика О. Ю. Шмидта). Необходимость в таком введении есть. Геохимия — молодая, растущая наука, она занимает важное место среди других наук, развитие которых определяется в нашей стране задачами строительства коммунизма. Между тем новое издание «Занимательной минералогии», естественно, не может отразить успехов и достижений этой науки и смежных с ней областей за годы, протекавшие после смерти автора. Кроме того, на отдельных страницах книги звучит несколько объективистская, неверная нотка, когда, рассказывая юным читателям об уничтожении человеком накопленных природой богатств, автор не подчёркивает существенного различия между хищническим истреблением минерального сырья в странах капитализма и планомерной хозяйственной деятельностью советских людей. Умело написанное введение могло бы внести в книгу необходимые дополнения и поправки.

Краткий словарь «научных слов и специальных выражений», приложенный к новому изданию, не всегда достигает цели. В нём не найдёшь, например, таких понятий, как «брекчия», «контактный метаморфизм», употребляемых в тексте. Тщательно отобранные фотографии, к сожалению, не сопровождаются столь же интересными картами и схемами, если не считать довольно сухих и плохо выполненных схем на страницах 94—95, к тому же мало понятных для неподготовленного читателя.

И. ИНОЗЕМЦЕВ



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть II (1925—1953 гг.). 1204 стр. Цена 19 р. 25 к.

В. Алхимов, И. Дудинский. Распад единого мирового рынка. 112 стр. Цена 1 р. 35 к.

Н. Анисимов. Развитие сельского хозяйства в пятой пятилетке. 216 стр. Цена 2 р. 60 к.

Г. М. Беспалов. Возрождение германского милитаризма — угроза миру. 240 стр. Цена 3 р. 85 к.

И. Владимирова, В. Жамин. Успехи экономического строительства в Китайской Народной Республике. 100 стр. Цена 1 р. 20 к.

Л. М. Володарский. Развитие промышленности СССР в пятой пятилетке. 144 стр. Цена 1 р. 70 к.

Г. Л. Епископосов. «Атомная социология» — идеологическое оружие американского империализма. 112 стр. Цена 1 р. 30 к.

Ф. И. Калошин. Содержание и форма в произведениях искусства. 240 стр. Цена 4 р. 40 к.

Наша великая Родина. Часть I. 320 стр. Цена 4 р. 90 к.

Н. Н. Николаев. Внешняя политика правых лейбористов Англии (1935—1940 гг.). 256 стр. Цена 4 р.

Я. Б. Турчинс. Обострение неравномерности развития капитализма в итоге второй мировой войны. 356 стр. Цена 5 р. 85 к.

Е. Усенко. Причины империалистических войн. 72 стр. Цена 80 к.

П. Черемных. Как возникли классы и почему происходит классовая борьба. 88 стр. Цена 85 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ашот Гарнакерыан. Парус под ветром. Стихи и поэмы. 104 стр. Цена 2 р. 75 к.

М. Горький. О литературе. Литературно-критические статьи. 868 стр. Цена 21 р. 50 к.

Пётр Крученюк. Стихи. Авторизованный перевод с молдавского. 84 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Кудреватых. За годом год. Очерки. 336 стр. Цена 5 р. 50 к.

Алексей Новиков. Ты взойдешь, моя заря! Роман. 596 стр. Цена 10 р. 85 к.

В. Озеров, Д. А. Фурманов. Критико-биографический очерк. 144 стр. Цена 2 р. 20 к.

О писательском труде. Сборник статей и выступлений советских писателей. 372 стр. Цена 8 р. 35 к.

Владимир Соколов. Утро в пути. Стихи. 112 стр. Цена 2 р.

Лев Стекольников. В добрый путь. Стихи. 84 стр. Цена 1 р. 55 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

М. И. Алигер. Ленинские горы. 248 стр. Цена 6 р. 95 к.

Никола Бажан. У Спасской башни. Стихотворения. Перевод с украинского. 56 стр. Цена 1 р. 10 к.

Б. И. Бурсов. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. 387 стр. Цена 10 р. 15 к.

Венгерские повести и рассказы. Перевод с венгерского. 472 стр. Цена 8 р.

Н. В. Гоголь в русской критике. Сборник статей. 652 стр. Цена 11 р. 45 к.

В. Иванов. Из истории борьбы за высокую идейность советской литературы. 1917—1932. 256 стр. Цена 6 р. 70 к.

Ольга Кобылянская. Избранное. Перевод с украинского. 662 стр. Цена 11 р. 65 к.

М. Коцюбинский. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 800 стр. Цена 12 р. 20 к.

Молдавский фольклор. Песни и баллады. 332 стр. Цена 7 р. 70 к.

А. П. Свидницкий. Люборацкие. Семейная хроника. Повесть. Перевод с украинского А. Деева. 232 стр. Цена 4 р. 55 к.

Словацкие повести и рассказы. Перевод со словацкого. 478 стр. Цена 9 р. 30 к.

А. Е. Тесленко. Избранные рассказы. Перевод с украинского Л. Нестеренко. 224 стр. Цена 5 р.

Леся Украинка. Лесная песня. Драма-феерия. Перевод с украинского М. Исаковского. 112 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Т. Федоренко. Очерки современной китайской литературы. 256 стр. Цена 6 р. 75 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Желиговский. Проблемы механизации сельского хозяйства. 32 стр. Цена 40 к.

М. Задонский. Денис Давыдов. Историческая хроника. 384 стр. Цена 9 р. 10 к.

В. И. Козлов. Люди особого склада. Перевод с белорусского Е. Мозолькова. 312 стр. Цена 6 р. 50 к.

М. Пришвин. Весна свега. Избранное. 592 стр. Цена 20 р. 90 к.

В. Прокофьев. Две морали. Мораль религиозная и мораль коммунистическая. 56 стр. Цена 1 р.

А. Твардовский. За далью даль. Стихи (1945—1953). 152 стр. Цена 4 р.

В. Тренёв. Русские моряки. 372 стр. Цена 8 р. 35 к.

Василий Чалай. Вешний день. Стихи. Перевод с марийского. 80 стр. Цена 2 р. 20 к.

Владимир Шаховец. Навстречу. Перевод с белорусского. 176 стр. Цена 3 р. 30 к.

ДЕТГИЗ

А. Августынюк. Серебряный паровоз. Повесть. 116 стр. Цена 2 р. 70 к.

А. Буянов. Чудесный атом. Рассказы об углеороде. 208 стр. Цена 3 р. 95 к.

Н. Гернет. Сестрёнка. Повесть. 196 стр. Цена 4 р. 70 к.

Грузинские сказки. Перевод с грузинского Н. Долидзе. 72 стр. Цена 2 р. 10 к.

О. Гукасян. Записки Гасана. Перевод с армянского Ал. Бархударяна. 168 стр. Цена 3 р. 65 к.

О. Донченко. Василько. Повесть. Перевод с украинского В. Печерской. 168 стр. Цена 4 р.

Классики русской литературы. Критико-биографические очерки. Переработанное издание. 552 стр. Цена 21 р. 25 к.

З. Косенко, А. Ремезова. Рассказы о жизни мозга. 176 стр. Цена 4 р. 50 к.

Латышские рассказы. Перевод с латышского. 328 стр. Цена 5 р. 40 к.

С. Маршак. Сказки, песни, загадки. 480 стр. Цена 9 р. 40 к.

В. Невский. Вокруг света под русским флагом. 216 стр. Цена 6 р. 25 к.

В. Пистоленко. Ласточка. Рассказы. 224 стр. Цена 3 р. 60 к.

Б. Прилежаева-Барская. В древнем Киеве. 124 стр. Цена 2 р. 80 к.

Солдаты родины. Рассказы. 548 стр. Цена 10 р. 45 к.

Те Ги Чен. Стихи. Перевод с корейского. 94 стр. Цена 2 р. 10 к.

Т. Сыдыкбеков. Дети гор. Повесть. 184 стр. Цена 3 р. 85 к.

Г. Тушкан. Джура. Повесть. 576 стр. Цена 11 р. 35 к.

Чжан Тянь-и. Друзья-пионеры. Рассказы о китайских детях. Перевод с китайского А. Гагова. 32 стр. Цена 45 к.

С. Шляху. Товарищ Ваня. Повесть. Перевод с молдавского Е. Златовой и З. Шишовой. 192 стр. Цена 3 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Вопросы общего кризиса капитализма. Сборник статей. 237 стр. Цена 10 р.

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. Том I. 1620—1647 годы. 584 стр. Цена 32 р. 50 к. Том II. 1648—1651 годы. 586 стр. Цена 32 р. 50 к. Том III. 1651—1654 годы. 644 стр. Цена 32 р. 50 к.

История русского искусства. Том 1. 573 стр. Цена 60 р.

М. И. Лукьянова. Японские монополии во время второй мировой войны. 393 стр. Цена 16 р. 35 к.

Милитаризация экономики США и ухудшение положения трудящихся. 382 стр. Цена 16 р.

Д. Е. Михневич. Очерки по истории католической реакции (Иезуиты). 311 стр. Цена 6 р. 13 к.

Г. А. Оборина. Положение и борьба рабочего класса Италии после второй мировой войны. 191 стр. Цена 8 р. 50 к.

Е. И. Рубинштейн. Политика германского империализма в западных польских землях. 253 стр. Цена 11 р. 70 к.

В. В. Сущенко. Экспансия американского империализма в Канаде после второй мировой войны. 255 стр. Цена 10 р. 90 к.

Г. Д. Тягай. Крестьянское восстание в Корее. 1893—1895 гг. 205 стр. Цена 9 р. 40 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

М. Алексеев. Пути-дороги. Роман. 303 стр. Цена 5 р. 85 к.

И. Е. Будовский. О воспитании волевых качеств офицера. 142 стр. Цена 3 р. 10 к.

Всемирно-историческая победа под Сталинградом. Сборник. 62 стр. Цена 1 р.

С. Голубов. Когда крепости не сдаются. Роман. 1040 стр. Цена 16 р. 50 к.

В. Мельник. Испытатели. Повесть. 204 стр. Цена 4 р. 95 к.

Советский военный рассказ. Сборник. Том I. 1917—1940. 526 стр. Цена 10 р. 15 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Положение о выборах в Верховный Совет СССР с приложением форм документов, установленных Президиумом Верховного Совета СССР и Центральной избирательной комиссией, и пояснениями. 64 стр. Цена 60 к.

Николай Жданов. Дело жизни. Очерки и рассказы. 256 стр. Цена 4 р. 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ф. Болсовер. Америка над Британией. Перевод с английского. 142 стр. Цена 2 р. 80 к.

Фатмир Гята. Вода спит, враг не спит. Повесть. Перевод с албанского. 110 стр. Цена 3 р. 5 к.

Мао Цзэ-дун. Избранные произведения. Том 4. Перевод с китайского. 623 стр. Цена 15 р. 40 к.

Вальдек Роше. Путь к освобождению крестьянства. Перевод с французского. 174 стр. Цена 5 р. 65 к.

Назым Хикмет. Избранное. Перевод с турецкого. 623 стр. Цена 19 р. 65 к.

Чжао Шу-ли. Избранное. Перевод с китайского. 374 стр. Цена 11 р. 45 к.

«ИСКУССТВО»

А. Виннер. Материалы и техника монументально-декоративной живописи. 756 стр. Цена 31 р. 90 к.

Наследие Станиславского и практика советского театра. 227 стр. Цена 12 р. 35 к.

Пьесы советских писателей. Том 1. 507 стр. Цена 17 р. 50 к. Том II. 616 стр. Цена 17 р. 50 к.

Русская народная драма. 355 стр. Цена 12 р. 60 к

Салтыков-Щедрин о литературе и искусстве. 586 стр. Цена 28 р. 65 к.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

А. Н. Бахарев. Научно-атеистическое значение учения И. В. Мичурина. 36 стр. Цена 1 р.

Л. Р. Коган. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского. 408 стр. Цена 12 р.

Мастера театра об искусстве актёра. 192 стр. Цена 6 р. 20 к.

Н. И. Пузанчиков. Опыт работы нашего колхоза. 44 стр. Цена 1 р.

С. А. Рейсер. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. 372 стр. Цена 9 р. 35 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

В. Николаев. Политика КПСС — жизненная основа советского строя. 51 стр. Цена 65 к.

Опыт передовых колхозов и совхозов. Сборник. 121 стр. Цена 1 р. 50 к

С. Юрин. В колхозе имени Молотова. 192 стр. Цена 80 к.

М. Язвицкий. Удобрение сада. 111 стр. Цена 1 р. 45 к.

МУЗГИЗ

Т. Ливанова. Русская музыкальная культура XVIII века. 564 стр. Цена 26 р.

А. Соловцов. Фридерик Шопен. 32 стр. Цена 80 к.

ПРОФИЗДАТ

А. Дьяконова. Школа у станка. 60 стр. Цена 75 к.

М. Евстратов. Профсоюзы Народного Китая в борьбе за новую жизнь. 96 стр. Цена 2 р. 10 к.

В. Еременко. Широкий шагом. Очерки. 161 стр. Цена 2 р. 35 к.

Рассказы московских строителей. Сборник. 104 стр. Цена 2 р. 50 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

П. К. Иванов. Приёмы создания мощного пахотного слоя на чернозёмах. 112 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. С. Марков. Пастбищное кормление и содержание крупного рогатого скота в условиях Крайнего Севера. 116 стр. Цена 1 р. 50 к.

ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ

П. Н. Астахов. Опыт передовых машинистов по вождению поездов. 96 стр. Цена 3 р. 30 к.

И. В. Бартев. Железнодорожные станции и узлы. 504 стр. Цена 10 р.

С. Ф. Маталасов, В. П. Поталов. Холодильное дело и организация перевозок скоропортящихся грузов на железных дорогах. 264 стр. Цена 7 р. 5 к.

ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Д. Вермель, И. Хлыстов. МТС — решающая сила в колхозном производстве. 44 стр. Цена 40 к.

Леонид Иванов. Сибиряки. Роман. Книга первая. 224 стр. Цена 5 р. 15 к.

Литературный Омск. Сборник произведений омских писателей. 176 стр. Цена 3 р. 55 к.

Ольга Макарова. В дни войны. Повесть. 196 стр. Цена 4 р. 85 к.

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Б. Бельтюков. Рассказы. 68 стр. Цена 1 р.

Е. Марьенков. Детство Алёши Боброва. Повесть. 376 стр. Цена 6 р. 95 к.

Н. Рыленков. На старой Смоленской дороге. Повесть. 396 стр. Цена 7 р. 35 к.

Главный редактор **С. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

С. П. Антонов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),

В. П. Катаев, С. С. Смирнов (зам. главного редактора),

С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 24/ХII-53 г.

А 01008. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 2657

Подписано к печати 12/1-54 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.